12.1974

Иностранная литература

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ С 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ» МОСКВА

№ 12

Декабрь 1974

СОДЕРЖАНИЕ

КАЗИМИРА ИЛЛАКОВИЧ — Стихи *(Перевод с польского и вступление Н. Астафьевой)* 3

ГУРДИАЛ СИНГХ — Поминальный огонь *(Повесть Перевод с пенджабского И. Кудрявцевой и И. Рабиновича)* 12

ЦИРИЛ КОСМАЧ — Рассказы *(Перевод со словенского и вступление Александра Романенко)* 77

МИГЕЛЬ ДЕЛИБЕС — Пять часов с Марио *(Роман. Окончание. Перевод с испанского Елены Любимовой. Послесловие Сельсо Амьевы)* 121

Литературные иллюстрации

РИЧАРД БАХ — Чайка по имени Джонатан Ливингстон *(Повесть-притча. Перевод с английского Ю. Родман. Послесловие М. Туровской)* 176

Критика

ПАНТЕЛЕЙ ЗАРЕВ — Драматургия гуманистическая и современная *(Перевод с болгарского С. Пархомовской)* 199

М. ХАРИТОНОВ — «Привычные святыни покидая...» 203

Культура и современность

Заметки на полях

А. Кукаркин—Личность под прессом «геополитики». ◆ Две стороны одного диалога *(Перевод с французского В. Орла. Вступление А. Галкина).* Нодар Джинджихашвили — Негативные функции Герберта Ганса 210

Публицистика

А. ЗВЕРЕВ — Другая музыка 222

Наши публикации

АНРИ БАРБЮС — Обращение к студентам и интеллигентам молодого поколения *(Перевод с французского и публикация М. Болдыревой и Е. Нечаевой. Вступление Ф. Наркирьера)* 233

Изобразительное искусство за рубежом

Л. ДЬЯКОВ — Бернар Бюффе 238

Наши гости

Л. ЗАВЬЯЛОВА — «Пишу о рабочих Франции» (В редакции «Иностранной литературы» — французский писатель Андре Ремакль) 240

Отклики, встречи, впечатления

АНТОН РЕФРЕЖЬЕ — Из мексиканских зарисовок *(Перевод с английского Т. Шумейко)* 254

Среди книг

Издано в СССР

Н. Попова — В поисках «птицы-правды». К. Атарова — Далекое и близкое. С. Беркин — «Злой гарпун яви и огонь надежды» 242

Издано за рубежом

С. Востокова — По приказу совести. Ю. Брагин — Контрасты Санджака. В. Шагаль — Взгляд в будущее. Л. Аганина — Когда боги отступают 247

Из месяца в месяц

264

Авторы этого номера

281

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА» ЗА 1974 г. (№№ 1—12) 283

На обложке: гобелен болгарского художника МАРИНА ВЫРБАНОВА.

На цветной вкладке: работы французского художника БЕРНАРА БЮФФЕ.

© «Иностранная литература»», 1974.

КАЗИМИРА ИЛЛАКОВИЧ

■

Перевод с польского и вступление
Н. АСТАФЬЕВОЙ

В 1972 г. в Польше отмечалось 80-летие со дня рождения старейшей поэтессы Казимиры Иллакович (род. в 1892 г.), творчество которой незадолго перед тем было удостоено Государственной премии первой степени. Изданный к юбилею двухтомник ее поэзии — итог пути — насчитывает более тысячи двухсот страниц стихов.

Казимира Иллакович родилась в Вильно, рано осиротела (мать зарабатывала на жизнь уроками и молодой умерла от чахотки). маленькой девочкой ее взяла на воспитание чужая женщина, заменившая ей мать и давшая ей образование. Жила она в сельской местности в тогдашней Витебской губернии, на стыке Белоруссии, Латвии и Литвы.

Когда читаешь ранние стихи Иллакович (первая книга стихов вышла в 1911 г., а первое стихотворение она опубликовала в журнале еще 12-летней девочкой), видишь, как рано определился ее поэтический голос. Песенно-сказочное начало, которое легко ощутимо и в публикуемых здесь поздних стихах Иллакович, уходит корнями в детские и отроческие годы. Один польский критик в 30-е годы заметил, что любовная лирика Иллакович напоминает причитания белорусских баб-плакальщиц. Среди ранних ее стихов есть и портреты таких баб, которых она прекрасно помнит, начиная со своей няньки, тоже белорусской женщины.

В годы первой мировой войны Иллакович, подобно многим девушкам ее поколения, ушла из университета сестрой милосердия в действующую русскую армию и два года провела в лазаретах, санитарных поездах и сырых фронтовых землянках, облегчая страдания раненых и умирающих солдат.

В 1918 г. она приехала в Польшу, не имея ни родных (ее приемная мать тоже умерла), ни средств к существованию — только образование и знание нескольких иностранных языков. Она пошла служить, чтобы самостоятельно (ведь это было поколение женщин, своей биографией утверждавших право на равенство!) зарабатывать свой хлеб, и долгие годы работала в Министерстве иностранных дел.

Сентябрьская катастрофа 1939 г. и весь ход последующих событий открыли глаза поэтессе на близорукость и авантюризм тех, кто руководил внутренней и внешней политикой буржуазной Польши. Стихотворение «Птенчик, мертвым брошенный в яму...», написанное в годы войны, полно боли и горечи, но торжествует в нем вера в бессмертие народа, который «воспрянет».

В сентябре 1939 года, когда многие польские писатели (например, Тувим) добирались, спасаясь от гитлеровцев, до Франции или Англии через еще нейтральную в тот момент Румынию, Иллакович, не имея средств, застряла в городе Клуж, центре Трансильвании (Семиградья). Здесь ей предстояло прожить всю войну, перебиваясь уроками языков. О своих житейских трудностях тех лет она с большим юмором рассказала впоследствии в автобиографической прозе. А в стихах военного времени она говорит о трагедии Польши, попираемой оккупантами, но не сдавшейся («О тебе»), о переживаниях человека, оторванного от родины («Зима»). Мощная красота Трансильванских Альп, почти сказочные образы буйволов («Лиловые буйволы») не могут заслонить видения Польши, из которой «не слышно зова» (здесь Иллакович перефразирует строки Мицкевича, тоже полные ностальгии).

Многие стихи этих лет песенны. Таково стихотворение «Холодным летом»:

Как в Румынии холодным летом
умирал чабан молоденький по-над лесом,
и просил он последним словом:
«Схороните меня под деревом еловым...
...Дайте знак моей зазнобе — колечко...»

В стихотворении «На сухой тростинке» появляется чисто песенная формула «колечко — судьба». От песенной народной традиции — и обилие уменьшительных суффиксов у Иллакович: «молоденький», «тростиночка», «серенькие воробьи». Фольклорны и стихи Иллакович о похоронах молоденького советского лейтенанта, погибшего в боях с немцами на румынской земле осенью 1944 г. («Советские похороны»), и стихи о том, как плачут румынские и венгерские женщины над русским, убитым в Клуже («Немцы убили...»). Эти стихи — дань памяти неизвестным героям.

Первой весточкой с родины была телеграмма от Тувима, вернувшегося в 1946 г. из США. Он же помог Иллакович оформить выезд на родину. В эти месяцы, нетерпеливо тоскуя о Польше, Иллакович написала стихотворение «Столяр и птица». Сочувствие одинокому старому столяру переплетается с мыслями самой Иллакович о родине, которую она так давно не видела.

Радость возвращения была омрачена памятью о погибших, о пепле сожженной польской земли. Эти противоречивые чувства запечатлело — хрестоматийное уже — стихотворение «И снова, снова...».

Писательница поселилась в Познани, где живет и сейчас. Дважды — в 1956 и 1967 гг.— она награждалась литературной премией города. Премией была отмечена и ее переводческая работа (она переводила в послевоенные годы «Анну Каренину» Льва Толстого, трагедию Гёте «Эгмонт», венгерскую поэзию и прозу).

Поздней лирике Казимиры Иллакович посвятил прекрасное эссе Ярослав Ивашкевич. Когда-то в юности, как признавался он в недавнем стихотворении, именно Иллакович и Ахматова осеняли его первые поэтические строфы. Сейчас он пишет о позднем творчестве поэтессы, которая «уже все знает и знает цену слова, и стиха, и рифмы, и размера, а прежде всего знает цену жизни». Он отмечает в ее поздних стихах «мастерство, доведенное до максимальной простоты», и еще «что-то такое, что сжимает горло».

Стихи Иллакович действительно всегда волнующи. Независимо от того, говорит ли она прямо о себе (например, стихотворение «Жернова», где надвинувшуюся на нее в старости слепоту она одолевает усилием духа, ежедневно создавая «горсточку света», то есть несколько строк поэзии) или вспоминает общеизвестное предание об Иове, переосмыслив несчастья Иова через личный опыт тяжелых военных лет, так что сюжет, использованный много раз поэтами многих стран, поворачивается по-новому, в стихотворении звучит народная житейская мудрость.

Во многих стихах последних лет Иллакович пишет о творчестве, о поэзии («Надел», «Осень в Познани», «Хоть одна бы эта нить»). Поэзию она понимает как родник, из которого смогут напиться все. Такова ее собственная поэзия.

Зима

В Семиградье снег падает, падает,
выметает отчизну из памяти.

Хлопья снега, нестрашные, клейкие,
налипают, слепляют веки.

Как из теста — метель густая:
заживляются раны, зарастают.

Шрамы снег припорошит, залечит...
«Или нет в тебе души, человече?

А раны? А родина, что затоптана сапогами?!»
Все завеяло, замело снегами...

Усыпляет, залепляет веки,
укачивает, как в колыбельке,
укачивает человеческое — в человеке.

О тебе

Ветер поет о тебе и стонут деревья в Клуже,
о тебе — старике или женщине, мальчике или муже,
о тебе — в кандалах оподлевшем
иль возвысившем дух свой в темнице.
Ясный день о тебе говорит, слезный дождь над тобой струится...
То сжимающийся кулак, то костлявая пятерня
крепко в волосы мне вцепляется, сердце-колокол теребя.
Дым утрат разъедает очи, горьким ладаном щиплет стыд...
...И орел твой, орел твой кружит и протяжным криком когтит.

Терновник

Бежит ручей в низине,
в кустах ежевики синей.
Кусты склонились хило,
вода их опоила.

Вверху, на скалах горных —
крест, а вокруг — терновник,
он высох, но корнями
рвет скалы, рушит камень.

Остаться бы мне на скалах, на высокой горе,
выломать жизнь из камня, силы черпать в борьбе.

Лиловые буйволы

Будто горы, буйволы лиловы!..
Склоны голы, скалы суровы.
И не слышно, ах, не слышно зова!..

Лбы крутые, горбатые спины,
ярой силой пышут исполины.
И ни снов, ни светлой годины.

Пашут землю — год за годом все то же,
с темно-синей землею схожи...
И ни праздника! Ни свободы! О, боже!

По хребтам идут, по долине,
тащат плуг по камням и по глине,
в облаках и по лазури синей...

Так обходят холмы и долы,
грузны, хмуры, тупоголовы...
Будто горы, буйволы лиловы.

Немцы убили...

На улице в Клуже, у больницы местной,
молоденького русского убили немцы.
Лежал он, раскинув руки крестом,
в кровавой луже, к небу лицом.
Стояли товарищи над ним недолго:
«Не время теперь для последнего долга.
Бывай, Саша, друг, а нам — в дорогу!»
Пришли поплакать матери с ближних улиц,
белую рубашку на тело натянули...
«Может, мой Иштван где-то в поле так!..»
«...Может, Юли, может, Вили мой от пули пал!»
«Сыночек мертвый, дай тебя укрою».
Вот так, прикрытый чужой землею,
лежит здесь молоденький советский хлопчик
без креста, а на маленький могильный холмик
носят розы и лилии,— как над сыном, тужат
семиградские матери в румынском Клуже.

Советские похороны

Несли его, мертвого, медленным шагом
в длинном ящике, оклеенном красной бумагой:
под бинтом окровавленным — лицо мальчишечье стынет,
ордена на груди, цветы в руке синей.
Молодые лица — побледнели, окаменели.
Крышку гроба несли на двух простынях белых.
Один, впереди, нес венок астр фиолетово-красных,
другой — револьвер, третий — шапку, четвертый — фотографию.
Шли один за другим, ни на кого не глядя,
а ветер их светлые волосы трепал и гладил.

Красное и белое

Заглушили меня листьями сухими,
навалили еловые ветви,
и шалел надо мною всю зиму
злой, пустой и холодный ветер.
Но я разрастаюсь непокорно
и вся становлюсь корнем.
А когда после мрака и скорби
прогремят весенние грозы,
на заре на утренней ранней
выйду пышной и триумфальной
красной и белой розой.

Столяр и птица

Тридцать лет здесь живет столяр,
пан Бохенко, старый поляк,
старый поляк колошварский,
дом двенадцать по улице Мадьярской.

Мастерская — на все мастерские похожая,
под окошком — сирени, как у художника,
на окошке — клетка, а в клетке ютится
не скворец и не кенарь — голубая птица.

Столяр строгает весь день и пилит —
нет-нет на птицу глаза подымет,
а птица, клювом орех буравя,
нет-нет на мастера взглянет лукаво.

Из деревни ушел пан Бохенко
на чужбину, в поисках хлеба.
В мастерской «Под голубой птицей»
Польша старому столяру снится.

То он видит Польшу в ореоле,
будто вот она, колышется, как поле,
вся из хлебных колосьев и хоругвей
и святых при дорогах фигуры.

То он видит Польшу иначе,
Польшу гнета, раздоров и плача,
вспомнит детство крестьянское черное,
тяжелое, как мельничный жернов.

Но возьмет он рубанок, строгает доски —
снова станет светлым взгляд стариковский,
а из клетки глядит на него, косится
лукавым глазом голубая птица.

Птенчик, мертвым брошенный в яму...

Птенчик, мертвым брошенный в яму,
в милосердной земле возродится бурьяном.
Бурьян, пусть втоптанный в чернозем,
с песком перемолот, новым взойдет зерном:
уже его соки играют и кружат,
уже воскресает он терновником, грушей...
Так, бит, колочен, молочен стократно,
народ, проигранный вождями, как в карты,
устлавший трупами райские страны, —
музыкой, словом, цветом воспрянул
и кружит в жилах целого света
стоцветной лентой — музыкой, словом, цветом.

И снова, снова...

И снова, снова любовь, бессмысленнейшая на свете,
к размокшим плоским полям, к березовым листьям этим,
к несчастным ветхим плетням, к распятиям придорожным
и к этим серым глазам, бесслезным и безнадежным.

Человек был вольным, как дух, был, как облако, одинок,
вынес все, что должен был вынести, и худшего ждать не мог;
давно отжалел свою жалость и отболел свою боль,
и ступал упруго и твердо, и видел лишь суть и соль.

Но снова все неизбежное меня обступило прошлым:
пепел костей сожженных льнет и липнет к подошвам,
каждый камень тяжел от обиды и каждый стебель — от грусти...
Оплела меня польская нежность и уже никогда не отпустит!

Иов

Этот Иов — неведомо кто: кочевник, может быть, даже бедуин?!
После тяжкого испытанья встал из праха как властелин:
снова имел неисчислимые тысячи овец,
жен и сыновей не сосчитал бы самый быстрый в счете человек,
а из друзей, и слуг, и гостей, обивавших порог,
он мог бы выставить полк.
Опять, как в годы былого богатства Иова,
каждый ему кадил и каждый завидовал.

Он, однако же, на вопрос, кто ему всех милее,
качал головой, улыбался, про себя разумея.
А рукой, что давно от работы отвыкла,
гладил кудлатого пса, с кем горькие беды мыкал,
пса, что теперь обгрызает мослы отборных баранов,
а тогда одинокому зализывал гнойные раны.

Рождественские стихи

Памяти Тувима[1]

Обступили нищенку малыши
под елкой из огня и снега:
«Расскажи нам о соловьях —
почему они улетают на небо?»

Оперлась, усталая, на клюку,
иссохшая, одетая бедно:
«Самые певучие соловьи
раньше всех улетают на небо.

Перышки, клювик, и коготки,
и легкий череп костистый
чересчур тяжелы ему, соловью,
самой певучей птице.

Ему, соловью, даже песни свои
тяжелы, как буханка хлеба,
раньше ли, позже ли — соловьи
все улетают на небо.

Люди не в силах любовью своей
их удержать от побега,
одни окольней, другие прямей —
все улетают на небо».

[1] Ю. Тувим умер 27 декабря 1953 г.

Так нищенка сказку свою вела,
а метель мела издалече...
И сказали дети: «Жаль соловья!
А там ему будет легче?»

«Легче ли — нам не узнать о том...
Такая уж им, видно, планета!
Здесь — чужие, так, может быть, там их дом
и поэтому улетают на небо».

Хоть одна бы эта нить...

Если время уходить,
пусть бы хоть малость,
хоть одна бы эта нить
от меня осталась.
Пусть погибнет остальное —
только это нечто,
это звонкое, хоть слепое,
пусть пребудет вечно.
То, что всех живее жило
в этой жизни смертной,—
любовь бессмертная за могилой
не отвергнет.

На сухой тростинке...

К слабенькой тростиночке, к стебельку,
я подвесила колечко, свою судьбу.
Подлетают серенькие воробьи
судьбу колеблющуюся теребить.
Зернышки чистые, пушистые, стеклянистые
кружатся там вечно, волнисто,
и растут весною ягоды лесные,
а осенью падают листья...
...На сухой тростиночке — колечко колотится,
не тяжельше ягодки, не больше колокольчика.

Надел

И хоть бы бог знает где,
откуда ни выйти, ни выехать, глубоко на дне,
где гулкие, пустые сердца...
Даже там — едва лишь с полей ржаных
на торфяники полетит пыльца,
едва от рассыпанных скерцо
окрепнет стих
мелодией грубой и простецкой...
...От цветенья до отцветанья,
от пуха, осыпавшего вишневую ветвь,
до свеч на каштане —
там исчисление моих лет.

От земляники — до первых рыжиков,
от родников — до озерного серебра,
это моя пора.
Иной не вижу...
От щебетанья апрельской капели
— через скрипочки и свирели —
до Бетховена — вот она,
моя цена.
Возглас ласточки, грай ворон,
стук телеги по мосту, клен,
пальчатый лист под хлебом, чистой воды кружка...
И, конечно, Бах... И уже ничего не нужно.

Ничто не мило

Утомило меня усилье, опустошило,
ничто мне уже не мило,

ни друг, ни тем более враг ненавистный,
ни Темза, ни Сена, ни Висла.

Все уже было — и паденья, и взлеты —
И Шекспир, и Гомер, и Гёте.

Только еще — колес по дороге скрип,
да горечь мяты, да цветенье лип,

да писк в траве какого-то птенца,
и преданных, простых людей сердца...

И реки — где еще ничей не виден след,
и книги — что еще не выпущены в свет...

И снова целый мир, что радугой могучей
вновь окружил меня, вновь радует и мучит.

Осень в Познани

Обопрись на меня, белый свет,
обопрись.
Облетел с тебя липовый цвет,
птицы вдаль собрались,
на кистях рябины румянец...
На плече мне твоя тяжесть не тянет,
исхудавший бедняга, белый свет.
Чем, как пьяный, шатаясь, плестись,
обопрись.

Твои пальцы прозрачно тонкие
ничего не удержат.
Твои узкие горизонты
еле брезжат.

Не проглотишь доли — не по тебе кусок,
не задержишь бега — тащит тебя поток...
Уже мутит тебя и морочит, в глазах темня,
так обопрись на меня.

Нас обоих вот-вот золотою засыплет листвою...
Ничего не скажу... Ты останешься там, над землею,
стеблем сухим или камнем без всяких примет,
и никто даже знать не будет... Только поэт.

Жернова

Были звезды — нет их сейчас,
ангел был, но погас.
Мраком окружена,
каменные верчу жернова
и мелю ежедневно, хоть нелегко мне это,
маленькую горсточку света.

Когда пробьется родник

Когда пробьется родник,
напьются все.
Кто-то подхватит тонкую нить —
путь к воде.
Нить эта, может быть, будет из капель,
может быть, света след,
может быть, видимая во мраке,
может быть, нет.
Ищущий, может быть, рухнет ниц,
может быть, крикнет: «Ко мне!»...
Но когда он найдет родник,
напьются все.

■

ГУРДИАЛ СИНГХ

Поминальный огонь

ПОВЕСТЬ

Перевод с пенджабского И. КУДРЯВЦЕВОЙ и И. РАБИНОВИЧА

1

Нанди сидела у себя во дворе, когда ей вдруг почудилось, что из дома Сутхи вышел какой-то чужак и пошел прочь из деревни. Старуху разобрало любопытство и, прихватив клюку, она потащилась к соседке.

— Ну, заходи уж, заходи, бедолага,— с усмешкой протянула Сутхи, еще издали заметив приближавшуюся Нанди. Потом громко произнесла: — Припадаю к стопам твоим, матушка!

Отставив горшок, который перед тем чистила, Сутхи пододвинула поближе скамеечку, кивком головы предложила Нанди сесть и вновь принялась за работу.

— Да будет счастлива твоя старость, да одарит всевышний долгой жизнью твоих детей, твоих героев! — пожелала ей Нанди.

Затем она опустилась на скамеечку, отставила в сторону клюку и, придвинувшись поближе к Сутхи, спросила:

— У тебя сегодня был гость?

— Ага,— по-прежнему громко подтвердила Сутхи.— Сын тетки, отцовой сестры, приходил из Кханы.

— Ну и как, сопутствовала ли ему удача в его дороге?

— Ага. У него дочка счастливица — заневестилась. Вот он и пришел, чтобы посмотреть сына Гхудды.

Нанди притихла. Маленькие глазки ее на мгновение сверкнули, но тут же снова погасли, будто утонувшие в тумане звезды.

— Доченька! — спустя некоторое время обратилась она к Сутхи полным мольбы голосом.— Доченька! Что бы тебе сходить наудачу куда-нибудь косов [1] за двенадцать, обойти там дома да устроить судьбу твоего младшего деверя!

Сутхи не сумела сдержать улыбку и, чтобы скрыть ее от Нанди, поспешила упрятать лицо в край сари, будто утирая пот. А рассмешило ее выражение «младший деверь». Говоря с соседками о своем сыне, Нанди никогда не называла его «твой старший деверь», хотя все женщины квартала — и солидные хозяйки, и только-только вышедшие

[1] Кос — около четырех километров.

замуж молодки — знали, что ее Джагсир погодок многих свекров да тестей.

— Уж я кланялась, кланялась, сестрица,— фальшиво затянула Сутхи,— да эти бездетные, по которым и собака не взвоет, глаз к нам не кажут. Возраст, видишь ли, не подходит...

— Да что им, грудного младенца, что ли, нужно? Подумаешь — возраст! Может, ему девять десятков стукнуло? Будто не видали в нашей деревне шестидесятилетних да семидесятилетних женихов! Скажешь, красавцы какие были?

— Это уж их женам виднее. Нам-то что до них, матушка?

Нанди опять умолкла. Маленькие глазки ее вспыхнули и вновь подернулись дымкой...

Сутхи составила чистые горшки в ряд, убрала их в корзинку и принялась крошить кизяк для очага: надо было еще сварить чечевицу. Да к тому же Сутхи знала, что если бы она подсела к соседке, та не закрыла бы рта до вечера. После смерти мужа Нанди словно бы тронулась в уме: с кем ни заговорит — обязательно свернет на свое. Все окрестные женщины изнывали от этих разговоров. Да еще из-за ее глухоты: со старухой вечно приходилось надрывать горло. Нанди замечала, что женщины ее сторонятся, но во дворе не сиделось, в пустой лачуге становилось жутко; сломленная одиночеством, она плелась куда глаза глядят, выслушивала ядовитые замечания и насмешки, обижалась и, немного посидев, вновь уходила в свой по-кладбищенски пустынный дом.

Вот и теперь, приметив настроение Сутхи, Нанди малость посидела, потом, словно набравшись решимости, встала, опираясь о клюку, и поплелась восвояси.

— О, Ра-ам, один лишь ты...— горестно шептали ее губы.

Когда старуха перебиралась через порог, ей вдруг почудилось, что Сутхи произносит те ехидные слова, которые Нанди слышала много, много раз, пока еще не стала глохнуть:

«И что ты так печешься о свадебном поезде? Не горюй, ты еще повесишь амулет на шею невестки, когда она выйдет из паланкина у твоих дверей!»

Согбенная спина заныла сильнее. Придерживаясь левой рукой за стену, всей тяжестью налегая на клюку, Нанди двинулась в путь. Придя к себе, она тотчас повалилась на стоявшую во дворе кровать, словно все силы разом покинули ее.

— О, Ра-ам! — еще раз громко вздохнула она и принялась беседовать сама с собой, будто с кем-то споря: — Эй вы, детоубийцы! Может, мы требуем в приданое кобыл и жеребцов? Женили бы его хоть на слепой или кривой! Вот уже двадцать лет, как я, несчастная, маюсь в этой яме! Пусть бог проливает слезы о своем сыне!.. Только бог-то не спешит нам помочь. Можно подумать, мы засеяли поле жареным зерном! В народе говорят, что если усердно возносить мольбы мусорной куче, то и она через двенадцать лет откликнется на просьбу, а вот наших молений никто не услышал. Иные по семь раз женятся, а мой... Ох, горе, черное горе!..

Велико было счастье Нанди, когда после четырех дочек она наконец-то родила мальчика. Ей казалось, что мир — джаг выделил и для нее долю — сир, поэтому она назвала своего сыночка Джагсиром. Какого труда ей стоило вырастить мальчика, какие надежды она на него возлагала! Но когда настало его время, судьба заартачилась. «Держи при себе этот бесплодный куст, Нандие,— словно бы сказала она матери,— я не дозволю, чтобы его ветви украсились плодами». На какие только уловки не шла Нанди, стремясь обойти судьбу и сладить семью для своего Джагсира! Она валялась в ногах у таких людей, которым в

другое время и вслед бы не поглядела,— и все впустую. Миновало уже два года с тех пор, как сыну стукнуло сорок, а воз и ныне там...

Отец Джагсира умер лет пятнадцать назад. Пока еще муж был жив, Нанди без конца его упрашивала, чтобы он согласился хоть на дешевинку да устроил судьбу сына. Но старик крепко держался устоев, он не желал слушать Нанди. «Я уж и так худо выдал дочек, так зачем же сына-то позорить буду?» — в сердцах отговаривался он. На том и стоял до последнего своего вздоха.

Упорство мужа еще куда ни шло, с ним бы можно и поспорить, а вот отсутствие у Джагсира родни по материнской линии — это уж было такое пятно позора, которого Нанди никак не удавалось спрятать от людей. В нем-то и крылась основная причина, которая каждый раз мешала привести к доброму концу уже совсем было слаженное дело. Стоило прийти кому-нибудь в дом, чтобы посмотреть жениха, как немедленно возникал все тот же вопрос, порожденный бесчисленными сплетнями и слухами: «А где родные матери?»

Что могла ответить на это Нанди? Она лгала, изворачивалась, как могла. Если бы любители совать нос в чужие дела не спешили опровергнуть подобную ложь, мир, наверно, не знал бы холостяков.

Да, у Нанди не было отчего дома. Правда, сам отец Джагсира никогда, ни одним словом не поминал об этом, но он не в силах был ничего поделать со злыми языками. Человек может схватить занесенную над ним руку, но где ему удержать язык сплетника! Нанди принадлежала к касте санхси — бродяг и воров. Бог весть где нашли последнее успокоение ее родители. Нанди о них вот уже много лет ничего не знала. Вспоминая о прошлом, о жестокосердных родителях, которые ни разу не явились, чтобы хоть взглянуть на дочь, она плакала ночи напролет, потом затихала и снова набиралась терпения...

Нанди и отца Джагсира соединила любовь. Однажды ее бродяги-родители забрели в эти места, и тут она встретила своего суженого. Девушка отбилась от семьи и сбежала в деревню. Когда же все племя санхси явилось, чтобы увести с собой заблудшую дочь, она сама вышла к ним навстречу. Старожилы и до сих пор помнят, как стояла она, словно львица, против толпы родичей, подоткнув подол сари и закинув на плечо косарь. Отец Нанди, видя, что она нипочем не сдастся, не позволил брать ее силой. Только сказал со слезой в голосе, но — как отрезал:

— Отныне ты умерла для нас, Нандие. Ступай к себе или в любой другой двор. Куда хочешь...

С тех пор они не видались. Нанди не пробовала разыскать родичей, да и они никогда не заглядывали в эти края. Нанди словно бы и позабыла эту историю, но память о ней, как шрам от глубокой раны, все жила в сердце...

То, что у Нанди не было родных, помешало пристроить дочерей в хорошие дома. Три из них были выданы за парней, которые порядком засиделись в холостяках. Нанди твердила отцу Джагсира, что уж если дочек швырнули в такое пекло, следовало бы взять за них хорошие деньги: «Повсюду люди только и разевают рты, чтобы хапнуть побольше, так что же нам-то стесняться? А будут деньги — тогда и сыну простится отсутствие родни». Только отец Джагсира твердо помнил о законе чести. «Того, кто забывает об этом законе, и человеком-то называть нельзя!» — говорил он.

— О, несчастный! — сетовала Нанди, споря с отцом Джагсира, словно бы он находился тут же, рядом с ней.— Послушайся ты меня тогда, разве не обрел бы ты радость на собственном дворе? Стоило только внуку прислониться к твоим похоронным носилкам, и ты был

бы счастлив в раю. А теперь ты, верно, горишь в адском пламени... Ну что, спас тебя твой закон?

Но тут Нанди умолкла: ей вдруг показалось, что, произнеся слово «ад», она как бы прокляла отца Джагсира. Едва лишь эта мысль пришла ей в голову, как она почувствовала, что каждую морщинку на лице жжет огнем, что само небо изрыгает пламя. Перепуганная старуха натянула на лицо край сари и обернулась к стене лачуги. Так и пролежала она до вечера, пока не вернулся с работы сын.

— В чем дело, матушка? Разве нынче пост? — спросил Джагсир, взглянув на холодную плиту.

— Когда матушка собирается на тот свет, к сыну приходит пост: некому ведь поставить перед его носом еду,— ответила колкостью Нанди.

Джагсир криво усмехнулся. На душе у него было невесело. До тошноты надоело! Мать, видно, совсем из ума выживает! Стоит только ему переступить порог, как по тому или другому поводу, явно или скрыто она затевает все один и тот же разговор. По этой-то причине Джагсир по целым дням не бывал дома, иной раз и ночевать не приходил. А когда появлялся, она тут же накидывалась на него с расспросами да переспросами — где был? Все это невесть как докучало Джагсиру, но тут же приходила мысль: кто знает, сколько еще она проживет? Год? Два? Так вправе ли он ее печалить? И подавляя вздох, он покорно выслушивал речи матери, норовил найти шутливый ответ. Поэтому Нанди жила в твердом убеждении, что ее Джагсир — хороший сын.

— Матушка, завтра я выхожу пахать свое поле,— сказал он, желая отвлечь старуху от ее вечной заботы.

Слова «свое поле» заставили Нанди мгновенно умолкнуть. Опираясь о клюку, она поднялась с кровати и прошептала:

— Это благо!

Наступал день, который Нанди чтила как великий праздник. Потому-то и набралась она сил, чтобы подняться и поплестись в лачугу, к старому сундучку. Нашарив на дне стоявшей в нише корзинки ключ, она принялась открывать заржавленный замок сундучка.

— Может, мне попробовать, матушка? — со смешком крикнул со двора Джагсир.— Замок-то, кажется, заело.

Не отвечая сыну, Нанди продолжала ковырять ключом в замочной скважине. Только дважды в году, в месяцы хархи и сауни, открывала она сундучок и никогда не разрешала сыну совать в него нос. Джагсир прекрасно знал, что в сундучке нет ничего, кроме старой рухляди да пары серебряных монет, и все же ему хотелось заглянуть туда. Что может прятать мать? Но каждый раз приходили на память слова, сказанные Нанди вот уже много лет назад, когда она лазила в сундучок перед севом в месяце хархи: «Пока я жива — к сундуку не прикасайся. Когда помру — делай что хочешь».

С того дня Джагсир и близко не подходил к материнской сокровищнице.

Спустя некоторое время Нанди появилась на пороге лачуги.

— Держи,— сказала она, протягивая сыну серебряную рупию.— Купишь на восемь ан очищенного рису да на восемь ан сахару. Там еще есть две монеты. Если я переживу сауни, останется одна, в случае чего, справишь для меня саван.

— Что-о? Саван за рупию? — смеясь отвечал Джагсир.— Да я для такого случая двойную шаль куплю! Вот увидишь, я тебе устрою такие проводы, что весь народ ахнет!

— Ну, ахнет народ или нет, двойная шаль не поможет мне попасть в рай.

Видя, что мать снова принялась за свое, Джагсир взял деньги и пошел в лавку.

2

Джагсир встал с первыми петухами. Тонкий месяц только поднимался на небо — шла девятая ночь после новолуния. Джагсир окликнул мать, но она уже и без того проснулась. Пока сын доил козу, Нанди вскипятила воду. Напившись чаю, Джагсир зашагал к дому Дхарама Сингха за быками. К его приходу Дхарам Сингх, как обычно, уже задал быкам корм.

— Быки поели, брат? — спросил Джагсир.

Дхарам Сингх сунул руку в ясли.

— Давно поели,— отвечал он. Потом погладил бычьи бока.— Вон как раздулись! Забирай их.

Джагсир, по обычаю, обнял ноги Дхарама Сингха, и тот благословил его:

— Пусть корни твои уйдут вглубь и достигнут воды, пусть тело твое не знает болезни, пусть удвоится и утроится твое счастье!

Джагсир впряг быков в плуг и двинулся к полю. На ходу он размышлял о самых разных вещах: то думал о грубом нраве Бханты, старшего сына Дхарама Сингха, то о том, что сам Дхарам Сингх не отступается от закона чести. Вот уже более тридцати лет, с тех самых пор, как Джагсир стал пригоден для работы, он два раза в году выходил на свое поле. В эти дни Дхарам Сингх поднимался ни свет ни заря и сам задавал корм быкам. А вот Бханта вчера отказал Джагсиру, когда тот попросил у него быков. Да еще как обидно отказал-то:

— Что за спешка? Уж не на свадьбу ли торопишься? Денька четыре обождешь со своей пахотой: мне самому нужны быки — горох молотить. Тебе бы только свое сделать... Деревня горит, а глупая девчонка косу плетет!

От этой суровой отповеди Джагсир совсем было нос повесил, но Дхарам Сингх прервал сына и велел издольщику приходить утром за быками.

Хотя нрав Бханты становился день ото дня все круче, отцу он еще перечить не смел. Однако Дхарам Сингх старел, хозяйство постепенно переходило в руки старшего сына. Отец видел, что за человек этот Бханта, и очень печалился. До сих пор мудрость Дхарама Сингха спасала семью от домашних свар, но со временем их, видно, не миновать!

Наконец, Джагсир добрался до полей, увидел «свою» землю, и горечь с души его как рукой сняло. Сколько времени прошло с последнего полива? В те дни Бханта ел Джагсира поедом и отцепился лишь тогда, когда была вспахана и засеяна каждая бороздка на землях Дхарама Сингха. Теперь все поле заросло кхаббалом. Джагсиру почудилось, что поблескивающие в лучах месяца жесткие листья сорняка глядят на него и посмеиваются.

Джагсир с самого детства сердцем прирос к этому полю. С тех пор, как начал себя помнить, он приходил сюда, видел, как отец пашет эту землю, называя ее своей. И доныне Джагсир считал, что у него есть две собственности: дом и поле. А на самом деле земля эта принадлежала Дхараму Сингху. Но когда-то, много лет назад, отец Дхарама Сингха преподнес отцу Джагсира тюрбан из своей родовой деревни — в знак особого уважения и как бы признания между ними близкого родства, а также продолжая платить издольщику положенную часть

урожая, выделил ему четыре вигхи [1] своей земли. Отец Дхарама Сингха намеревался переписать эти четыре вигхи на имя отца Джагсира, но тут пошли споры о прямом и косвенном владении, и желание это так и осталось неосуществленным.

— Эх, издольщик! — не раз в сердцах говаривал отец Дхарама Сингха.— Были бы мы с тобой сыновьями одной матери — да я бы записал на тебя половину имения!

Джагсир помнил, как каждый год отец Дхарама Сингха вместе с его отцом отправлялись на ярмарку. Для этого случая они надевали одинаковые тюрбаны, одинаковые рубахи, одинаковые туфли — на двойной кожаной подметке, расшитые настоящей золотой нитью. В деревне друзей так и звали — «пара лебедей». На людях отец Дхарама Сингха не решался садиться рядом со своим издольщиком, но когда Джагсиру было лет пять, он однажды застал их в полевой сторожке распивающими вино из одной глиняной чашки. Отцу Дхарама Сингха часть земли досталась по наследству. Но отец Джагсира и сам Джагсир так рьяно, вкладывая всю душу, на ней трудились, что к концу жизни хозяин вдвое расширил свои владения. Никогда не забудет Джагсир, как его отца позвали к смертному ложу отца Дхарама Сингха.

— Дхармиа [2],— обратился к сыну умирающий.— Отныне считай, что мой издольщик — это я сам. Если ты его обидишь, покоя мне не будет на том свете, гореть мне тогда в аду. Всем своим добром обязан ты издольщику — он поливал своим потом нашу землю, он рисковал жизнью, расплющивая головы кишащим там змеям. Без него быть бы мне водоносом... Хоть и разные у нас семьи, по сути дела в этом последнем рождении мы с ним кровные братья. То, что он увидел свет под другой крышей,— чистая случайность.

Горько стеная, отец Джагсира омыл слезами ноги умирающего. И тут, на глазах у всей семьи, отец Дхарама Сингха знаком велел своему издольщику сесть на край постели и уже холодеющими руками потянулся обнять его...

Дхарам Сингх не нарушил отцовской воли; сам выдал замуж дочерей издольщика, сам нес бремя расходов его семьи. И ни разу не попрекнул отца Джагсира, когда тот одряхлел и не мог уже работать по-прежнему.

А потом наступил черед и для отца Джагсира. В тот день он позвал к себе Дхарама Сингха. Соединив его руку с рукой сына, отец Джагсира сказал:

— Вот так, Дхарам Сиан! Когда-то твой отец в предсмертный свой час вложил мою руку в твою. А ныне я прошу тебя принять руку моего сына — и ухожу... Теперь — как тебе совесть подскажет... Сделай его своим братом, будь ему хранителем...

Волю отца Джагсира Дхарам Сингх тоже исполнил. Он никогда не смотрел на Джагсира только как на издольщика. И хотя теперь, постарев, он все больше отходил от дел, передавая их Бханте, Джагсира он не оставлял. Не раз уже Бханта ударялся в споры с отцом, намереваясь отобрать у Джагсира его четыре вигхи, однако Дхарам Сингх твердо стоял на своем:

— Ты, сынок, не забудь: мы не знаем, чей хлеб едим. Кипятком пожара не устроишь. На таких умников, как ты, бог с небес глядит, и ты ведь не знаешь, что он о вас думает. Спесь пучит, а смирение возносит. Что посеешь, то и пожнешь.

Бханту бесили эти нравоучения. Люди душатся из-за пайсы, а его

[1] Вигха — мера земли, приблизительно 0,25 гектара.

[2] Здесь и далее при обращениях имя собственное меняет форму: Дхарам — Дхармиа Сингх — Сиан Джагсир — Джагсиа и т. д.

отец отвалил какому-то издольщику четыре вигхи земли! Здоровые, сильные парни не гнушаются ничем, лезут в любую кабалу, лишь бы их взяли в долю, а отец его отдает этому змею, этому выжиге четвертую часть урожая!

Обо всем этом думал и передумывал Джагсир, пока добирался до своего поля. Теперь же, оставив быков на меже возле дороги, он направился к дереву тахли, под которым стоял сложенный из камня поминальный столбик — мархи. Джагсир достал из кошеля несколько зерен риса и комок патоки и, возложив свою жертву на мархи, склонился перед ним. Когда лоб Джагсира коснулся каменной кладки, в ушах его вдруг зазвучал ровный голос отца: «Поставь мне под этим тахли поминальный столб и всегда заботься о моем дереве».

Из-за этого поминального столба и тахли Джагсиру житья не было от Бханты. Разве природный землевладелец, сын землевладельца, может терпеть на своем поле мархи какого-то издольщика? Только Дхарам Сингх и спасал.

Джагсир поднял голову и взглянул на тахли. Кажется, с прошлого года оно разрослось чуть ли не вдвое! Он встал, погладил листья на одной из нижних веток и вдруг почувствовал, что от их нежного прикосновения тело его стало легким, почти невесомым. Одним взглядом охватил он все дерево, со всеми его ветвями, и в них при неярком лунном свете ему представилось лицо отца. Долго простоял Джагсир, не отрывая взора от тахли...

Потом спохватился: время не ждет! Торопливо подошел к быкам, затянул потуже ярем, огладил бычьи спины и принялся за пахоту. Поскольку борозды сильно заросли, вначале пахал не очень глубоко, но потом сообразил, что Бханта, пожалуй, не даст быков для повторной пропашки, и начал изо всех сил налегать на поручни плуга. Быков он всегда уважал и теперь, понимая, что задал им нелегкую работу, решил подбодрить животных:

— Ведь это же земля, мои львы, только земля! А вам и камень расколоть ничего не стоит!

Этих двух быков Джагсир сам вырастил и вскормил. С разрешения хозяина каждый день оставлял для них невыдоенными два соска на вымени их родительницы. Видя, с каким рвением выхаживает он телят, Дханно, жена Дхарама Сингха, не перечила ему.

Быки пошли живее, лемех плуга яростно вгрызался в землю, как пила, резал корни сорняков. Треск стеблей кхаббала веселил сердце Джагсира.

— Молодцы, мои львы! — крикнул он, и быки еще прибавили шагу.

Тридцать лет отец Джагсира пахал это поле. Тридцать лет поливал его своим потом. И сегодня, начиная пахоту, Джагсир ощутил в запахе, идущем от земли, примесь мускуса. Много полей вспахал за свою жизнь Джагсир, но ни одно из них не пахло так, как это.

Он работал и вспоминал, как относился к своей земле отец. Снятый с нее урожай он никогда не возил на рынок. Это зерно предназначалось лишь на еду и на семена. Какова бы ни была нужда, он не продавал ни горсти. Нанди не раз напускалась на мужа, бранила за блажь, но он упорствовал:

— Глупая! Подумай, разве благочестивый человек продаст кому-нибудь своего сына? — серьезно спрашивал он.

— Мозги у тебя отшибло! — еще больше распалялась Нанди.— Сын — одно дело, зерно — другое.

— А разве свое, домашнее зерно, не то же, что свое дитя? Вот и выходит, что ты ерунду болтаешь. Поразмысли-ка хорошенько!

Однако размышлять умел только отец Джагсира. Мать же не раз

потихоньку от домашних продавала это зерно за деньги, меняла на товары в лавке. Джагсир, пока был несмышленым мальчишкой, не мог уразуметь сути этих споров, однако рассуждения отца ему чем-то нравились. Когда же он вырос, то стал жить по заветам отца и до сих пор не продал ни зернышка с этого поля.

Джагсир вспахал уже половину борозды, а на соседних полях все было по-прежнему пусто и немо. Он остановил упряжку, провел ладонью по холодным бычьим спинам, потом достал из-под тахли завернутую в край мукки [1] патоку, протянул по большому комку быкам и долго стоял возле животных, пока они облизывали ему пальцы. Быки лизали руки Джагсира, и в груди у него разливалось что-то теплое... Но вот он снова взялся за поручни плуга и двинул упряжку вперед, подбадривая быков:

— Живее, живее, мои львы! Пока солнце не поднялось высоко, мы с вами вспашем половину поля!

К тому времени, как показалось солнце, через поле протянулись уже две свежие борозды. Когда теплые лучи упали на спину Белого, Джагсир вдруг увидел, что она сверкает, будто золотая прошивка. Никогда еще бычья спина не виделась ему такой красивой. Он остановил упряжку, залюбовался спиной Белого, потом стал ласкать его, машинально глядя на дорогу, ведущую к деревне, и будто что-то вспоминая. Но вот взгляд его стал более пристальным. Вначале Джагсир ничего не мог разобрать, потом приметил на дороге крошечную сгорбленную фигуру матери. Опираясь на клюку, она семенила по обочине дороги. Тогда Джагсир оставил упряжку на борозде, а сам уселся под тахли. Нанди торопливо ковыляла к полю. Казалось, в ее маленьком теле клокочет бурное пламя. По мере того как она приближалась, Джагсир все явственнее различал каждую черточку ее лица. Сколько уж лет в праздничный день пахоты подмечал он на лице матери эту улыбку! В солнечном сиянии бесчисленные морщинки на ее лбу уподобились затейливым золотым украшениям, белые волосы сверкали, будто серебряные струны. Джагсиру почудилось, что перед ним не Нанди, а Лунная Мать, та самая Лунная Мать, что пряла свою пряжу,— чеканное изображение на серебряном блюдце, виденное им давным-давно, в далеком детстве...

— Еле добралась... Совсем дышать нечем...— бормотала себе под нос Нанди, подходя тем временем к тахли.— О, враг мой, муж мой! Хоть бы ты поскорей призвал меня к себе!..

В ответ на эти сетования Джагсир только усмехнулся. Он поднялся с земли, чтобы снять с головы матери решето с едой, принял от нее кувшин сырого молока. Навалившись на свою клюку, Нанди пыталась распрямить спину. От боли морщины на ее лице стали глубже, из глаз полились слезы. Одной рукой она вцепилась в палку, другую уперла себе в поясницу и все никак не могла выпрямиться.

— О-о, строптивец! — не то вздохнула, не то простонала старуха и, словно лишившись последних сил, опустилась на землю.— В мои-то годы прислуживать тебе в поле! — И снова к нему, к тому, кого уже не было: — Всю свою жизнь ты толковал о законе, но если бы сам ты следовал закону, разве довелось бы мне терпеть такое?..

Она прикрыла лицо краем сари и от души всплакнула, затем, всхлипывая, принялась тихонько напевать вайны — плач по усопшему:

Ты навеки ушел, вознесясь в небеса,
О изверг всех моих жизней!

[1] Мукка — полотенце, накидка, которую носят мужчины, чтобы уберечься от зноя.

Ты ушел — и тебе не нужна жена,
О сын моего свекра!

Ты оставил нас без семьи и земли,
О отец, обездоливший сына!

Над тобой не горит упокойный огонь,
О жилец безымянной могилы!

Нам не смерть сулила разлуку, друг,—
Нам жизнь присудила разлуку, друг!

Джагсир вначале принимал все это спокойно, однако причитания матери переворачивали ему душу. Как ни крепился, а и его прошибла слеза.

— Да будет тебе, матушка! — взмолился он хриплым голосом, утирая глаза краем тюрбана.

Но старуха не унималась. Она плакала и выводила вайны до тех пор, пока не облегчила сердце. И все это время Джагсир не мог одолеть слез.

— Разве станет поминать тебя мой единственный сын, о, ты, сошедший в ад! — всхлипывая, укоряла она отца Джагсира, а сама тем временем раскутала решето и все бормотала над ним, все бормотала:— Пока был жив, не сумел позаботиться о сыне, так что уж теперь... Не переправил сына на пароме жизни туда, на счастливый берег, а самому ему нынче уж и не переправиться...

Не переставая причитать, Нанди вынула из решета сладкий хлебец, посыпала на него горсть вареного риса и возложила на поминальный столб. Потом плеснула на камни немного молока и поставила кувшин себе на голову.

— Ладно, что было, то было... Но теперь уж на меня не надейся. Если к уборке приведешь в дом невестку, я как-нибудь дотащусь к тебе на небо, а нет — так бог тебе судья... Мне уж долго не протянуть. А если ты ничего другого не можешь, так хоть призови меня к себе,— сил моих больше нет глядеть на все это!..

Наконец, Нанди оторвалась от мархи, взяла из решета еще один хлебец и, опираясь о клюку, направилась к упряжке. Разломив хлебец на две равные части, она протянула их быкам, коснулась рукой лбов животных, сложила руки лодочкой в знак покорной просьбы. Потом вернулась под дерево, положила на оставшиеся три хлебца по горсти риса и предложила сыну. Джагсир принялся за еду, но он был так расстроен, что кусок не лез в горло. Никогда еще причитания матери не растравляли так его душу. Обычно стоило Нанди начать свое нытье, он тут же норовил обратить ее слова в шутку и заставлял замолчать. Но сегодня ему самому было не до смеха.

— Матушка, убери хлебцы в решето, я потом поем, сейчас что-то не хочется,— сказал он, складывая еду в металлическую кружку из-под риса. И, не дожидаясь ответа матери, пошел к упряжке.

Укладывая хлеб в решето, Нанди вновь расчувствовалась, снова принялась за свои вайны. Решето с едой она оставила в корнях тахли, а сама потащила свое дряхлое тело в обратный путь и, полумертвая, почти без памяти, добралась наконец до дома.

3

Джагсир отвозил на базар хлопок. На обратном пути, на мосту возле малого канала, он повстречал Никку — деревенского цирюльника, тащившего куда-то узел. В молочно-белом одеянии, в туфлях на двойной подметке и великолепном тюрбане, цирюльник, казалось, парил над землей.

— Эге! Как здоровье? — зычно гаркнул Никка.

— Тебя повстречал — здоровым стал,— привычно отозвался Джагсир. Он так и обмер, пораженный нарядом цирюльника, особенно его туфлями.

— А как тебе солнышко светит? Все резвишься, как белка в лесу? — привычно тягуче проговорил Никка. Сняв с плеча мукку, он прислонился к перилам моста и принялся обмахивать ею туфли.

Джагсир не нашелся что ответить и молча глядел, как Никка отряхивает туфли.

А цирюльник все тянул:

— Эх ты, проказа! Сладил бы вовремя свои делишки, так были бы сейчас у тебя в доме два-три здоровых работника. Поставили бы они тебе постель под баньяном и ты бы прохлаждался, как раджа, закинув ногу на ногу...

— Что дозволено сильным, то не записано в судьбах слабых,— заученно ответил Джагсир. Он произнес те самые слова, которые много раз слышал от «больших» и «старших».

— Э, друг, слабый просит, да сильный не дает — вот тебе и вся судьба!

Подобно Джагсиру, Никка также повторил слова «больших» и «старших» и, скрипя подошвами, зашагал по настилу моста.

Сидя на передке повозки, Джагсир смотрел вслед Никке. Гладкое белое лицо, иссиня-черная борода, большие блестящие глаза, крепкие узловатые щиколотки — весь вид цирюльника поверг Джагсира в глубокое раздумье. Глядя на плотную, упитанную фигуру сверстника, он впервые за много лет задумался о себе.

Отведя взор от Никки, Джагсир взглянул на свои руки. Сплошные кости! Руки, похожие на птичьи лапы. А ноги? А предплечья? Казалось, они напрочь лишены плоти. Он провел руками по лицу: пальцы его ощутили остро выпирающие скулы, глубокие впадины глаз, загрубевшие ладони накололись о жесткую бороду... Какое-то чужое лицо... Оно, верно, никогда не было молодым...

Молодость, красота, здоровье — может, все это привиделось Джагсиру во сне? Но ведь в юности он всегда обыгрывал Никку в каури [1]; а когда парни состязались в борьбе, Джагсир швырял его оземь, как котенка. Во всей деревне тогда только два сверстника могли сравняться с Джагсиром силой — Геба, сын Шамы, и Гхила, сын тугоухого Магтхара. Но и им он никогда не уступал, а зачастую держал над ними верх. Дома его вели на слабых вожжах. Нанди, видевшая в сыне божье благословение, никогда не повышала на него голоса. Еда была хорошая. Отец работал как издольщик на Дхарама Сингха, так что единственной заботой Джагсира было собственное поле. Правда, сам он от работы не бегал и все что надо делал быстро, толково. Но свободного времени все же оставалось немало, и все его без остатка Джагсир отдавал площадке для борьбы.

Это занятие увлекло Джагсира, сделалось для него почти страстью. Он, Геба и Гхила часами торчали на площадке — натирались мазью, без конца упражнялись. Другие парни, их однолетки, тайком от домашних собирались где-нибудь на выгоне, пили хмельное, болтали о девушках либо отправлялись на базар — полакомиться простоквашей, пирогами с горохом или еще какой-нибудь снедью. Джагсиру все это было не по душе, но порой, когда Геба и Гхила затевали разговоры о девушках, у него тоже разгорались глаза. Иногда и его под-

[1] Раковина, используемая как мелкая монета.

мывало рассказать что-нибудь эдакое, но он был застенчив, откровенность была не в его натуре.

В то время Джагсир был красив, как сам Рама. Гхила подчас завистливо поглядывал на него, приговаривая:

— Вот сукин сын! На каком только станке тебя сработали? Отец, видно, очень старался, когда вытачивал твои ноги — точно столбики у прялки. Смотри только, как бы тебя не сглазили...

И Гхила обязательно сплевывал — тьфу-тьфу!

Деревенские девушки засматривались на Джагсира. От их взглядов он весь холодел, потуплял взор, а в ушах тут же начинали звучать вечные наставления отца: «Тот, кто, забыв стыд, не почитает дочерей и сестер деревни, тот не человек! Куда это годится, когда люди забывают о чести ближнего?»

Но со временем, чем больше набирала силу молодость, тем глуше становился Джагсир к поучениям деревенских мудрецов. Он уже настолько осмелел, что позволял себе смотреть в упор на девушек, и чувствовал при этом, как по всему телу разливается сладкая истома. Однако едва лишь девушка начинала смеяться, как глаза его опускались и он, словно вор, торопился уйти прочь.

Случалось загулять и приятелям Джагсира. Иногда они и его подбивали выпить. Во хмелю он входил в раж, болтал о девушках, но когда парни, прихватив косари, отправлялись горланить по переулкам, он убегал на свое поле и отсиживался там до утра. Явиться домой, к отцу, пьяным казалось невозможным, он и помыслить об этом не смел. Геба, Гхила, как и все другие парни, пили, а после выпивки безобразничали, но Джагсир в их похождениях не участвовал.

Понемногу парни стали обзаводиться семьями. Когда к дому кого-нибудь из сверстников прибывал свадебный паланкин, Джагсир, Геба и Гхила пили вино, а затем всю ночь проводили под тахли, на поле Джагсира.

Но вот приспела свадьба Никки. Трое друзей были приглашены на праздник. Джагсир впервые был гостем на свадьбе, и, когда гуляли в доме тестя, девушки совсем одолели красивого парня. Джагсир в жизни своей не видел, чтобы над кем-нибудь еще так измывались. Зверем в западне — вот кем он себя чувствовал! Его дразнили, задирали, донимали шутками, а если он не находил в ответ меткого словца, обзывали дурнем, придурком, дуралеем, птенчиком, коршуном, толстяком и бог знает как еще. Они загнали его в угол! А когда Гхила явился на помощь другу, девушки совсем осатанели:

— Эй, дылда, убирайся вон!

— Ты что, нанялся к нему? Может, у него изо рта золото сыплется?

— Он только и умеет, что глаза пялить!

— Он «э-э» сказать не может!

Но постепенно Джагсир вошел во вкус, ему начали нравиться эти перепалки с девушками. А когда свадебный поезд добрался до их деревни, все стали пить. Геба и Гхила все рвались посмотреть лицо невесты, но Джагсир не мог одолеть себя: войти в дом пьяным... Они договорились, что посмотрят молодую как-нибудь позже.

Назавтра жена Никки ушла к родителям, а вместе с нею и сам Никка. На третий день состоялось окончательное водворение молодой жены в дом мужа. В этот день друзья поймали Никку на гумне.

— Эй, эй, ты, столбик от прялки! — обратился к нему Гхила, скаля зубы.— Ты что же, так и не покажешь нам жену? Может, она у тебя красавица из придворных Индры? Цирюльник привел в дом цирюль-

ничиху, которой и цена-то — две с половиной аны, а чванится, будто сам Сакандар [1].

— Хух! — Никка тоже оскалился.— Что это ты развоображался?

— Это ты воображаешь! Ходишь тут, пузыришься, будто ослица тханедара [2], что свезла поклажу и от важности места себе не находит.

— Не будет мне покоя, покуда не превращу этого недовертыша в вороньего хахаля! — возопил Геба, хватая Никку за руку.— А ну-ка, братцы, согнем его пополам, сунем голову промеж колен да задницей в муравейник! Поглядим, как этот павлин тогда запляшет! Мигом выпрямится, что тебе кукурузный початок!

— Ух! — крякнул Никка, еще больше обнажая зубы.— А угощение, что полагается при поднятии покрова, твой дядя принесет?

— Мы принесем! — гордо заявил Джагсир, похлопывая ладонью по кошелю.— Ты что же, друг, совсем за голодранцев нас держишь?

— А это я еще погляжу! — отозвался Никка.— Ишь, ростовщичьи хари! С них причитается пять серов ладду[3], а они думают обернуться со своими жалкими четырьмя пайсами!

— Ах ты шлюхин муж! По-твоему, мы не способны купить пять серов ладду? Рыло ты, рыло, плоское, как чашка нищего! — И Гхила отпустил Никке затрещину.

Парни загоготали.

Они потащили Никку переулком. В лавке Дасаундхи Гхила купил на рупию с четвертью ладду и завернул в край мукки. Убедившись, что ему не отвертеться от старых друзей, Никка молча шагал впереди. Но по мере того, как они приближались к цели, цирюльник все больше темнел лицом и к концу пути плелся уже позади всех.

— Ступай вперед, негодяй! — прикрикнул на него Гхила.— Чего прячешься, ты, рожденный после девчонок!

— Ты потише.— Геба чуть тряхнул приятеля и покосился на Джагсира.— Среди нас и в самом деле кое-кто родился после девочек.

Джагсир потупился.

Заметив возле дома шумное сборище, мать Никки вначале чуть поворчала, но потом вышла навстречу гостям.

— Примите благословение матери,— сказала она с улыбкой.— Где это вы поймали моего страшилу?

— Твой страшила, тетушка, как сыграл свадьбу, вообразил себя раджой из Нильгири! — смеясь, отвечал ей Геба.— Три дня пропадал невесть где, только сегодня еле отыскали его. Мы говорим: покажи жену, а он ни в какую. Боится, видно, чтобы мы не сглазили его небесную пери.

— Что вы, сынки! — проговорила мать Никки, с веселой усмешкой поглядывая на собственного сына, которого, как арестанта, гости держали за руки.— Да глядите на нее сколько влезет — она сущее божье воплощение. Только уж страшилу-то моего пощадите!

Все засмеялись. Мать Никки отодвинула в сторону прялку, которой был перегорожен вход, и пригласила:

— Проходите, она сидит на веранде. Только ведь она, счастливица, из богатого дома, к ней с пустыми руками нельзя.

— Мы все принесли, тетушка, вот выкуп за поднятие покрова,— сказал Гхила, показывая ладду, завернутые в край мукки. И, ухватив за шиворот Никку, подталкивая его впереди себя, закричал: — А вот и ее забава!

— И ночная незадача...— закончил стоявший позади Геба.

---

[1] Сакандар — Александр Македонский.

[2] Тханедар — начальник околотка, полицейского участка.

[3] Сер — около 1 килограмма. Ладду — пирожные в виде шариков.

Все вошли во двор. На веранде, на низенькой скамеечке сидела жена Никки под покрывалом. Увидев, что к ней идут посторонние, она еще плотнее укуталась в покрывало и в смущении отвернулась.

— Малышка! — обратился было к ней Гхила.— Нет, братцы, вы только поглядите, она будет почище нашего Никки: с самого начала пустилась на хитрости!

— Да будет тебе! — остановил его Геба, пропихивая Никку вперед.— Сам первый задираешься, а потом пищать начнешь, как белка, на обиды жаловаться.

— Ладно уж, попал в оборот, так не отвертишься. Ваша власть, вестники смерти, делайте что хотите,— сказал Никка, пытаясь скрыть за шуткой свою и женину беспомощность.

— А ну, убирайся, не торчи тут столбом! — скомандовал Гхила, отпихивая его в сторону.— Тетушка,— обратился он к матери Никки,— правда, я тут самый младший?

— Нынче, сынок, для меня все стали младшими,— смеясь, откликнулась она. Потом, чуть подумав, подтвердила: — Да, ты всех моложе, хотя разница-то между вами месяца в три-четыре, не больше. Мой страшила Никка старше всех вас будет.

— Прочь с дороги, упрямцы! Первая очередь всегда принадлежит младшему деверю! — заявил Гхила и вприпрыжку подбежал к жене Никки.

Она чуть пошевелилась, взглянула в его сторону и тут же снова отвернулась. Гхила медленно опустился перед ней, держа на вытянутых руках ладду, и проговорил:

— О ты, самоцветами украшенная, в дивные перья убранная, прошу тебя — отведай и покажи лицо свое. А будешь упрямиться, так мы превратим твоего милого в доброго коняшку и загоняем до смерти. Не пощадим, хоть бы он у нас в ногах валялся.

Слова парня рассмешили жену Никки, но за двойной завесой накидки лица ее не разглядеть было, и смеха этого никто не заметил. Она сидела по-прежнему неподвижно и не произнесла ни слова.

— Никка, скажи хоть ты ей! Смотри, коли не уговоришь, мы поступим с ней по-свойски! — пригрозил Геба, становясь рядом с Гхилой.

— Ладно уж! — осклабился Никка и, покосившись на мать, тихонько шепнул жене: — Покажись им, покажись! Иначе от этих псов-холостяков не отвяжешься!

— Гляди какой благородный выискался! Как по этому по носу врежут туфлей водоноса — и спрятаться негде будет! — поддразнил молодого супруга Гхила.

Не зная, что ответить, Никка принужденно захихикал:

— Ага! Ага!..

В этот момент на веранду вихрем ворвалась младшая сестренка Никки.

— Братец, тебе охота посмотреть лицо сестрицы? — спросила она Гхилу.— Давай покажу...

И она с хохотом сорвала с невестки накидку, наполовину обнажив ее голову.

— Не вредничай, дочка! — прикрикнула на нее мать.

Девочка еще раз дернула накидку и, сбежав во двор, принялась плясать.

От стыда жена Никки согнулась чуть ли не пополам. Она ухватила рукой накидку, чтобы вновь набросить ее на себя, и в это мгновение Джагсир, стоявший в стороне, увидел ее лицо. Точнее — левую половину лица. И ослеп — словно от вспышки молнии... А тело стало тяжелым, будто каменным... Такого белого широкого лба, таких прекрасных глаз, таких длинных ресниц ему еще не доводилось видеть. Вперт-

вые он почувствовал, как притягательна может быть женщина. Он замер неподвижно, словно остолбенел, ничего не видя и не слыша.

Жена Никки быстро управилась с накидкой и теперь снова была укутана с головы до ног.

— На миг сверкнула — и только-то? Не вышли у нас смотрины, друзья, зря мы с вами старались! — иронически протянул Гхила, поднимаясь на ноги.

— А долго и нельзя! — вступилась за невестку свекровь.— Два-три месяца пусть попрячется, потом, слава создателю, в ваших же домах работать будет [1].

— Пока дождемся от нее работы, она совсем госпожой заделается,— заметил Геба.

— Вот смеху-то будет, братцы! — подхватил Гхила.— Мем Никка-сахаб!

И парни, гогоча и перешучиваясь, двинулись к выходу.

Только Джагсир не смеялся. Что-то сместилось у него внутри. Земля под ногами колебалась. Не поднимая глаз, он плелся следом за товарищами без мыслей, без чувств.

В течение трех последующих дней Джагсир не встречался ни с Гебой, ни с Гхилой. Душу его грыз какой-то голод. По ночам ему не спалось, днем не работалось, он только и делал, что сидел на своем поле под тахли.

На четвертый день к нему пришел Геба.

— Что случилось, о великий безумец? — спросил он, взяв руку друга.— Что это ты маешься, будто мать схоронил?

Джагсир хотел было отшутиться, но не вышло.

— Да так... Все что-то болит... Руки, ноги... — чуть скривив рот в усмешке, соврал он.

— Э-э, будет молоть! — не поверил Геба.— Глухой переулок не спасет от вора. Слушай, дружище: недуг, что тебя поразил, покидает тело человека только вместе с жизнью. Беги от него, пока можешь, не то знаешь что получится? «Вздумалось старухе буйволице с темным человеком подружиться. Не водись дурища буйволица с тем, кто хочет мясом поживиться». Вот что будет.

Джагсир тогда отделался-таки от приятеля какой-то остротой, но вскоре он и сам стал подмечать неладное. День ото дня он все слабел, забросил борьбу, перестал встречаться с друзьями, дурачиться. Дни его проходили будто в полусне, работа валилась из рук, по ночам он не смыкал глаз. «Уж не заболел ли я в самом деле?» — думал он.

А потом им овладело бешенство, какая-то вспышка всепоглощающей, непобедимой ярости. Он начал кружить возле дома Никки. Вначале он доходил только до проулка, издали глядел на дом и поворачивал обратно. Но вот однажды он очутился возле самых ворот, и тут его словно покинули силы: войти невозможно, уйти прочь — ноги не идут. Дней через пять-шесть он настолько осмелел, что, заглянув под каким-нибудь предлогом в дом Никки, заговаривал с его матерью. А душа при этом сжималась от ужаса, как у вора, пойманного с поличным.

Заходить в чужой дом без дела не положено, поэтому Джагсир, придя, задавал обычно один и тот же вопрос:

— Тетушка, не знаешь, где Никка?

Он сам прекрасно знал, где сейчас Никка, да и не было у него к цирюльнику никакого дела. Поэтому, когда мать Никки интересовалась: «Что, сынок, что-нибудь важное?» — он, потупившись, отвечал:

---

[1] По обычаю, жена цирюльника помогает мужу — выступает в качестве свахи

«Ага...», сгорая от стыда за свою ложь, спешил уйти и потом несколько дней не появлялся в этих местах.

Бхани, жена Никки. вот уже с месяц как водворилась в доме мужа. За это время Джагсир не раз побывал у них, но, несмотря на все старания, так и не мог разглядеть толком молодую хозяйку.

Иногда он видел вскользь ее склоненное над работой лицо, порой мелькала обнаженная до локтя рука или стройная нога в плетении ножных браслетов. Все эти видения только углубляли рану, нанесенную его сердцу в тот день, когда Бхани явилась им без накидки. И на пути домой его потупленному взору представлялась жена Никки такой, какая она есть, весь ее облик словно отчеканивался в его душе — улыбающиеся губы, сияющие, иссиня-черные глаза, просторный, будто половинка лунного диска, лоб, точеный нос, стройная шея... Порой ему казалось. что Бхани вышла следом за ним из дома и сейчас идет вот тут, совсем рядом, по переулку. Он стремительно оглядывался — нет, никого... и. грустно усмехаясь, шел дальше.

Через месяц в деревню явился младший братишка Бхани, чтобы проводить ее в гости к родителям. Никка посадил брата и сестру на молодого верблюда, и они отправились в путь. В тот день Джагсир на своем поле рыхлил землю. На Бхани было то самое сари, что и в памятный день, когда парни приходили смотреть ее лицо. При виде этого сари у Джагсира занялся дух. Он не мог оторвать глаза от Бхани. Он забыл о Никке, который вел на поводу верблюжонка, не помнил о брате Бхани, сидевшем позади нее... Бхани встретила взгляд парня спокойно и открыто, потом, чуть опустив на лицо покрывало, улыбнулась. Джагсиру показалось, что левый глаз ее, свободный от накидки и сияющий улыбкой, словно бурав просверливает оба его глаза. Подобно зачарованной змее глядел он на Бхани, не в силах оторвать от нее взора. Но окрик Никки разрушил чары:

— Эй, ты, пособник дьявола! Как дела?

— Твоими милостями, брат,— словно в полусне отозвался Джагсир вновь сгибаясь над работой.

Верблюжонок прошел дальше. Долго еще слышал Джагсир шаги его на дороге, но не поднимал головы и не смотрел вслед. Взгляд Бхани ослепил его, ему казалось, что больше он уже ничего не сможет увидеть...

Эту ночь Джагсир провел во дворе у Гхилы. Видя бедственное состояние друга, Гхила заставил его выпить вина, но и тогда сон не пришел.

Всю зиму Бхани провела в доме родителей, и месяцы эти были для Джагсира мертвыми. Опустела душа. Порой, когда сносить печаль становилось не по силам, он направлялся к дому Никки, но потом вспоминал, что Бхани там нет, и с полдороги поворачивал обратно. Иногда он все же заходил в дом и перекидывался несколькими словами с матерью Никки. Всякий раз, как он переступал порог этого дома ему чудилось. что Бхани где-то здесь — печет хлебцы, чистит горошек или занята какой-нибудь другой работой. Он не мог взять в толк, что с ним происходит, не раз давал себе обещание не приходить сюда до возвращения Бхани, но вскоре забывал об этом решении.

День, когда Бхани вернулась в дом мужа, был, наверно, самым трудным для Джагсира. Она пришла — и осветила все вокруг, превратила безликую пустыню деревни в веселую ярмарку.

— Сибо, девочка, твой брат снова привел домой невестку? — спросил он у сестренки Никки.

— Да... Нынче утром. И знаешь, братец, сколько славных вещей у нашей невестки! — затараторила девочка.— У нее есть такой маленький зеркальный сундучок... И материи красивые-красивые, цвет

ные-разноцветные! А в зеркальном сундучке чего только нет! И кора, которой губы красят, и новый гребешок, и маленькие зеркальца... А на рубашке у нее такие золотые миндалинки-пуговки, вот как на твоей рубахе...

Джагсир взглянул на свою рубаху, на серебряные пуговицы, старые, отцовские. Странно, как он еще не растерял их... Ему вдруг стало неловко, он прикрыл рукой две верхние пуговицы и, оставив Сибо, побрел к дому. Придя к себе, он оторвал эти пуговицы.

Два дня Джагсир изнывал от желания пойти к Никке, два дня не отваживался ступить на его порог. Едва он выходил из дому, как ему начинало казаться, что все встречные пялят на него глаза. Он не смел взглянуть никому в лицо, до такой степени был убежден, что всей деревне известно, как его тянет к Бхани. За эти два дня он несколько раз доходил до проулка Никки, но тут же поворачивал обратно.

На третий день он повстречал возле амбаров Гхилу.

— Ну, великий безумец, видел ты свою Хир [1]? — спросил приятель.— Не мешкай, проколи себе уши, заделайся факиром — и перед тобой откроются все двери. А потом... разбей свою нищенскую чашу и собирай черепки.

Джагсир улыбнулся, но шутка друга ему не понравилась.

Шел месяц хархи, страда была в разгаре. Хозяева, боясь, как бы не пропал урожай, нанимали поденщиков, торопились с уборкой. Джагсир трудился на полях Дхарама Сингха, но работать как прежде, не щадя сил, уже не мог и плелся в своем ряду позади всех. Другие поденщики посмеивались над ним. Время от времени Джагсир, злясь на собственную нерасторопность, стискивал зубы и яростней брался за работу, но вскоре мысли снова уносили его куда-то далеко, а серп начинал жать все медленнее.

Как-то раз, возвращаясь с поля деревней, Джагсир проходил мимо дома Никки. Солнце уже опускалось на покой, в переулке было сумрачно. Джагсир воровато осмотрелся по сторонам, немного потоптался возле входа и, наконец, заглянул внутрь. Он увидел Бхани — стоя спиной к дверям, она стряпала. Увидел цветы — тонкий яркий шнурок удерживал их в высокой прическе женщины. Он замер, пораженный. При слабом мерцании светильника цветы эти напомнили ему глаз Бхани, выглядывавший из-под накидки в тот день, когда она уезжала на своем верблюжонке... Всего лишь на миг предстало перед ним это видение, в следующее мгновение в переулке послышались чьи-то шаги, и Джагсир, словно мошенник, застигнутый на месте преступления, поспешил прочь.

Ночью он долго лежал без сна и глядел на звезды. В нежном плетении мелких облачков, похожих на серые перышки куропатки, ему виделась Бхани. Потом он заснул и к нему пришли сны о Бхани — такие красивые, удивительные... Прежде ему никогда не приходилось видеть такие сны.

Утром он проснулся радостный, в поле весело набросился на работу и до самого обеда в руках у него все горело. Но к полудню мысли его снова улетели в какие-то заоблачные дали, серп начал медленнее сновать в пшенице...

Заметив, что Джагсиру не работается, Дхарам Сингх распорядился:

— Ступай-ка ты домой, принеси чаю для поденщиков да приведи мне сюда дочку.

Джагсир словно бы только и ждал этого приказания: он тут же повернулся и зашагал к дороге.

---

[1] Хир — героиня пенджабского эпоса.

В знойный полуденный час на улицах деревни увидишь одних ворон: мужчины все в поле и на токах, женщины и дети попрятались по домам. Джагсир думал об этом, а ноги сами несли его не главной улицей, а кружным путем, в переулок Никки. До самого дома он шел не поднимая глаз от земли, затем так же, как и накануне, зыркнул по сторонам и торопливо вошел.

— Никка! — окликнул он, сделав несколько шагов по двору.

Никто не отзывался. Джагсир ступил еще шага два, снова позвал.

— Да ведь его дома нет! — услышал он голос, нежный, как песня скрипки.

И споткнулся... И задрожала земля под ногами...

Прямо перед ним на веранде сидела Бхани. Совсем одна. Сердце Джагсира бешено заколотилось. Он оглянулся назад — в переулке тоже никого.

— Где... где же Никка?.. — спросил он и сам не узнал своего голоса.

— Снопы возит.

Бхани слегка надвинула на лицо край накидки, но Джагсир видел, что она не отрывает от него взгляда. Ее губы, алые от коры, в лимонно-желтом отсвете накидки казались зернами спелого граната. Она улыбалась. Джагсир не вынес зноя этой улыбки и снова опустил глаза.

Видя, что он намерен долго молчать, Бхани спросила:

— У тебя к нему дело?

— Да.

— А какое? Может, мне скажешь?

Джагсира словно что ударило. Дело... Какое дело.. Он не знал, что ответить. Снова поднял глаза — она глядела на него в упор. А он стоял перед ней, будто осужденный, не в силах шевельнуться, оторвать взор...

— Так какое у тебя дело? Да что ты уставился! Заворожили тебя, что ли? — засмеялась она и выпустила из руки край накидки.

И снова половина лица — будто долька луны... Джагсир совсем обеспамятел. Такая смелость... И это сияние красоты... Он был потрясен до самой глубины души.

— Я просто так... Просто так... — смущенно пробормотал он, и взор его совсем сник.

— Присядь. Выпей водицы-холодицы,— по-прежнему улыбаясь, предложила Бхани.

— Нет, нет... Я пойду... — Не поднимая глаз, он метнулся к выходу. Потом оглянулся, но так и не посмел встретиться взором с Бхани.

— «Просто так»! — смеясь, передразнила его Бхани.— Вот уж действительно рожденный после девчонок! А ну, наберись храбрости да посмотри мне в глаза. Будешь робеть — плохо придется в жизни. Эх, если б господь наделил тебя не только красотой, но и мужеством! Что за стан! Словно точеный. Так бы и вонзила зубы и ела бы, как дыню!

Последние слова Бхани дошли до Джагсира, когда он был уже у ворот. Он снова оглянулся. Но теперь что-то изменилось: взор ее не высекал больше огня безумия из взора Джагсира, глаза были опущены, лицо прикрыто накидкой, только губы по-прежнему улыбались.

В переулке Джагсир столкнулся с сестренкой Никки.

— Ты от нас, братец? — лукаво спросила она.

— Нет... Да... — в беспамятстве пробормотал он.

В предзакатный час, возвращаясь с поля, Джагсир снова оказался в переулке Никки. Какая-то удивительная сладость разливалась по его телу, сочилась изо всех пор. Он заглянул во двор — там никого не было. Потом из задней комнаты к кухне прошла мать Никки. Лицо ее

выглядело озабоченным. Казалось бы, что тут особенного? Но Джагсиру почудилось, что это неспроста. Он еще подождал, нерешительно переминаясь с ноги на ногу, но больше никого не увидел.

А потом была ночь без сна. В сознании Джагсира печаль и радость так перемешались, что он уже не мог разобраться в своих чувствах. Он лежал на крыше лачуги. Порой ему чудилось, что стены деревенских домов сияют свежей побелкой, что песни сторожей на токах восхитительны, а две птицы, полоскавшие молочно-белые крылья в звездном свете, цапли должно быть, напоминали лебедей, которые умчали Руп и Басант[1]. Но уже в следующее мгновение деревня казалась покинутой, дома — полуразрушенными, звездная россыпь — похожей на холодный пепел, а белые птицы мнились напуганными разлученными журавлями, и крики их разрывали сердце. Потом он ненадолго задремал, но внезапно проснулся: ему померещилось, что кто-то его душит.

Утром по дороге в поле Джагсир повстречал своего двоюродного братишку, сына дяди. Дом дяди был рядом с домом Никки.

— Где твой отец, Читту? — остановил Джагсир мальчика.

— В поле.

— А что поделывает матушка?

— На шошедей ругаетшя.

— На каких соседей?

— На дядю Никку.

Читту затряс своей стриженой, похожей на барабан головенкой и, не дожидаясь вопросов, зачастил:

— Ночью-то... ночью что было! Дядя Никка так ижмолотил новую тетю! Вот так! И вот так! И еще так!

Одновременно он принялся лупить себя по спине, по бокам и по ляжкам, наглядно демонстрируя, что означает слово «ижмолотил».

— Новая тетя кричала «ой-ой»! — продолжал он, немного переведя дух.— А дядя Никка ругалшя, и дядюшек ругал, и шештер.. А еще он кричал: «Я тебя убью! Я тебя в колодец брошу!»

— И никто его не останавливал?

— Не... — ответил мальчик, мотнув головой.— Матушка дяди Никки вше говорила: «Бей эту шлюху! Еще бей! Еще! Еще! Режь на чашти!»

И Читту вприпрыжку помчался к своему дому.

Джагсир тогда не пошел в поле. Весь день он провел на току у Гхилы, в тростниковой хижине.

На закате, когда Гхила привез последние снопы, Джагсир спросил:

— Бутылка есть?

Гхила пристально поглядел на него. Желтое лицо Джагсира было страшно.

— О-о, что это с тобой, дуралей? Ты не краше покойника!

Джагсир не отвечал. Гхила знал: разговорить этого молчуна — все равно что унять ливень. Он достал из мешка бутылку и протянул Джагсиру:

— На, пей. Только осторожно, это первач.

Не произнеся ни слова, Джагсир унес бутылку в хижину и тут же, зажмурившись, единым духом осушил ее почти до дна. Поскольку в тот день он ничего не ел, хмель овладел им мгновенно: глаза запылали, во всем теле вспыхнул пожар. Сунув бутылку за пазуху, он, шатаясь, вышел из хижины.

[1] Руп и Басант — герои пенджабского фольклора.

— Теперь я пойду, брат Гхила... Пойду, проколю себе уши... вдену серьги... с холма Горакхнатха...[1]

Стоя на верхушке воза, Гхила внимательно глядел на пьяного друга.

— Ну что ты мелешь! — с насмешливой жалостью сказал он. — Эх ты, великий пьянчуга! Выцедил бутылку — и собрался в аскеты... Да тебя с полдороги домой волочить придется!

Джагсир никогда много не пил, а вот набрался — и сразу стал похож на всех пьяниц мира. Словно бы не слыша друга, он медленно направился к деревне. Гхила забеспокоился, как бы не вышло чего худого, оставил своего издольщика разгружать снопы, а сам вскинул на плечо вилы и пошел следом за Джагсиром, опасливо бормоча себе под нос:

— Вот безъязыкий! Вот шлюший сын! Того и гляди, что-нибудь натворит...

Солнце садилось. Шагах в двухстах впереди Гхилы, пошатываясь и спотыкаясь, брел Джагсир. До деревни было еще далеко, поэтому Гхила не торопился догонять друга, намереваясь настигнуть его уже на улице. Наблюдая за тем, как приятеля заносит из стороны в сторону, Гхила тихонько посмеивался. Однако он ясно видел, что тревога не напрасна: Джагсир явно что-то задумал.

В деревне уже наступил час лампад и светильников. Гхила нагнал Джагсира, но не окликнул, а молча пошел след в след за ним. Вот Джагсир свернул в переулок и остановился перед домом Никки. Гхила наблюдал за ним из-за угла.

— Эй, Никка! — громко позвал Джагсир.

Никка не показывался. Джагсир подошел к воротам и крикнул еще громче.

— Кто там? Чего надо? — отозвался Никка. Похоже было, что его оторвали от еды.

— Выходи наружу! Поговорим один на один.

— О чем? О помолвке, что ли?

Джагсир немного помолчал, потом его словно прорвало:

— А ну, выходи! Встречай жениха, готовь помолвку!

— Если не хочешь нажить беды, убирайся отсюда подобру-поздорову! — крикнул со двора Никка.

Из кухни выскочила мать Никки, встала в проеме ворот, сложила руки лодочкой, начала молить:

— Бога ради, сынок, ступай домой! Зачем ты к нам ходишь? Хватит нам из-за тебя мороки!

— Да я ничего, тетушка... Я ничего... Мне бы только сказать словцо Никке...

Тем временем Никка сбегал за веранду, прихватил косарь и затаился за створой ворот.

— А ну расскажи, о чем это ты хотел говорить с мужем сестрицы? — злобно заорал он из-за своего укрытия.

Увидев в руках у Никки косарь, Джагсир на мгновение почувствовал, будто земля под ним колеблется... Но он тут же оправился, немного отступил в проулок и насмешливо проговорил:

— Экий молодец! Славно бьешь женщин! Ну что ж, надумал — так выходи.

— Нет, Никка! Нет! — завопила мать, хватая Никку за руку.— Видишь — он не в себе!

Но цирюльник не желал упускать такой великолепный случай:

---

[1] Горакхнатх — один из основателей секты странствующих аскетов (IX—X вв.), герой пенджабского фольклора.

наконец-то он мог разделаться с обидчиком. Выйдя из-за створы ворот, он поднял косарь, размахнулся и запустил им в голову Джагсира. Но не попал, косарь угодил в стену, разрубил доску. На грохот и треск из соседних домов высыпал народ.

— А ну, выходи, Никка, если ты не собака,— услышал цирюльник другой голос — голос Гхилы. И тут же, съежившись, снова шмыгнул за створу ворот.

Гхила ударил в створу вилами — ударил с такой силой, что один зубец отлетел.

— Ах, чтоб ты подох! Ты что же это делаешь?! — закричала мать Никки.

Она рывком захлопнула ворота и встала за ними внутри двора.

— Ну-ка, выходи, храбрый вояка! Покажи, на что ты годишься!— еще раз рявкнул Гхила и снова изо всех сил ударил вилами в ворота, так что новый зубец отлетел в сторону.

— Вылезай наружу, богатырь-стенолом! — еще пуще заорал Джагсир.— Высунь на улицу сбою рожу! — Нашарив за пазухой бутылку, он со всего размаху трахнул ею о ворота. Бутылка разлетелась вдребезги.

Тут вмешались соседи. Несколько сильных мужчин пытались удержать парней, пожилые и почтенные стали их уговаривать:

— С ума вы, что ли, спятили? Разве можно затевать драки? Из-за этих дур, женщин, во все времена лились реки мужской крови.

— И чего дерутся? Будто что потеряли. Только все перебьют, переломают...

Однако Джагсира и Гхилу было не унять. Долго еще взывали они к чести цирюльника, предлагали ему выйти за ворота. Но дом Никки словно вымер: оттуда не доносилось ни звука, горевший во дворе огонек погас. Наконец, Джагсир и Гхила вняли увещеваниям соседей и пошли прочь. В проулке снова стало тихо.

Когда Джагсир добрался до дома, родители уже знали о его похождениях. Мать пришла к нему на крышу, присела на край постели, и Джагсир рассказал ей все... Потом к ним поднялся отец.

— Джагсиа, сынок! Не выставляй нас на посмешище! — сказала Нанди, вытирая глаза.— Случись с тобой какая беда, куда мы денемся? Ведь срама не оберешься от таких дел...

Мать говорила, Джагсир молчал. В его ушах продолжали греметь те, другие голоса. По совести сказать, он и не слышал ее слов. Но вот заговорил отец, и сердце Джагсира дрогнуло:

— Джагсиа, если из-за твоих проделок люди начнут таскать меня за седую бороду, я брошусь в колодец.

Джагсир покосился на отца, увидел, как тот утирает слезы краем тюрбана, и понял, что это не угроза: коли дело примет дурной оборот, старик и вправду может наложить на себя руки.

— Успокойся, отец,— мягко сказал Джагсир.— Что было — то сплыло. Больше такое не повторится.

На следующий день Никка подбил человек пять-семь из общины собрать панчаят — общинный суд. Там, мешая правду с ложью, он поведал о деяниях Джагсира и Гхилы. Члены панчаята призвали к ответу их отцов, пригрозили, что если подобное безобразие повторится, дадут знать в участок. Отец Джагсира покорно выслушал это назидание, но отец Гхилы не смолчал:

— Сами пораспускали нахалов, а теперь на хороших парней клепают!

Никка света не взвидел от злости, но отец Гхилы был человек убастый, с ним спорить — себе дороже. Пришлось цирюльнику на-

брать в рот воды. Панчаят сделал свое дело — предупредил отцов, больше спорить было не о чем.

Весь следующий день Джагсир снова отсиживался в хижине Гхилы. Геба, еще накануне прослышавший о его подвигах, вечером явился, чтобы выведать подробности. Но в душе Джагсира словно все выгорело. Ничего в ней не осталось от пережитого — ни хорошего, ни плохого. С полей возили снопы. Джагсир лежал в пустынном поле, в хижине, похожей на собачью конуру, устремив незрячий взгляд на кривые подпорки крыши, Гхила принес ему кое-какой еды, он поел и снова лег.

— Эй, дружище, а ведь твоя Хир нас покинула! — сообщил Геба.— Сегодня поутру в деревню явились ее отец и старший брат. Говорят, они хотели прикончить Никку, да он где-то схоронился. Вся округа об этом болтает, сплетен не оберешься! Так-то вот: шила в мешке не утаишь. После обеда они припугнули мать Никки, отобрали у нее все приданое — вещи, драгоценности — и увели Бхани. Всех перепугали, старуха часа три не подавала голоса, а теперь, говорят, сидит у себя в доме и воет: «О, люди, в обоих мирах я погибла! Ограбили они меня, разорили мой дом! А мой-то великий лев, славный воин! Такого труса праздновал, что даже к обеду в дом носа не показал!»

Джагсир слушал друга совсем безразлично. Казалось, ничто на свете уже не могло причинить ему боли. Ему даже почудилось, что он уже где-то слышал эту историю и в ней нет ничего примечательного.

Позже явился Гхила, принес бутылку. Все трое пили до глубокой ночи. Геба и Гхила пытались выведать затаенные мысли Джагсира, но тот словно окаменел и даже, распивая наравне с ними, не раскрывался. В душе его завязался такой крепкий узел, что его уже было не распутать.

Там, на току, друзья и заночевали. Издольщик Гхилы принес им поесть и оставил одних.

Джагсир вскочил еще затемно и сразу же пошел на поле Дхарама Сингха. Работники потешались над ним, выспрашивали насчет его милой, он же — словно воды в рот набрал. Порой лишь криво усмехался и говорил: «Что было, то было...» — и снова умолкал.

В течение нескольких дней цеплялись к нему деревенские парни, но никому не удалось ослабить узел в его душе. Наоборот, узел этот затягивался все туже.

Шло время, и история эта из новой постепенно превращалась в старую, а потом и вовсе забылась: у людей своих забот хватало. Да и для самого Джагсира она вроде бы подернулась прахом. Но в душе его все время жила боль, порой она становилась острой, почти нестерпимой. В такие дни он не находил в себе сил, чтобы подняться с постели.

Люди собрали урожай, продали зерно. Наступил сауни, в разгаре был сев. В семье Джагсира решили засеять поле просом и гуарой [1]. Отец еще с вечера наказал сыну, чтобы тот утром собирался пахать. Но когда наступило это утро, Джагсир, легший накануне чуть ли не с курами, с трудом поднялся, так ломило у него все тело. Он взял у Дхарама Сингха быков и пошел со двора, но добрел только до наружного очага и почувствовал, что еле тащит ноги. Тогда он решил заглянуть в лачугу Раунаки, благо там уже горел светильник. Поцыкав быкам, Джагсир вошел. Жена Раунаки, Санто, заваривала чай.

— Ну как делишки? Скоро ли представишь отчет богу смерти?— пошутил Джагсир с порога.

---

[1] Гуара — кормовое просо.

— Ах ты, негодник! Что это ты несешь? — засмеялась Санто.

Раунаки, до того куда-то выходивший, вернулся в лачугу тут же за Джагсиром и слышал его слова.

— Тебе-то что до бога смерти? — подхватил он.— Скажи лучше, чего ради ни свет ни заря ты явился в этот бедный дом?

Джагсир глянул на Санто и ничего не ответил.

— Что это ты, друг? Разве тут есть чужие, кого надо стесняться? Здесь только Санто, та самая Санто, которая по целым дням торчит у печки и поносит всех и вся! — И Раунаки тоже покосился на жену.

Санто тут же озлилась:

— А тебе только бы сиднем сидеть да читать по целым дням «Сукхмани»[1]! — съязвила она.

От этих слов Джагсиру стало вдруг смешно и легко.

— Что-то тело у меня нынче ломит,— признался он.

— Молодец! — гаркнул Раунаки.— Чего же тут стесняться? Бери хоть пять серов!

И, достав из прикрепленного к рубахе кошеля довольно объемистую коробочку, он вынул и протянул Джагсиру катышек величиной с вишню.

— Держи! Увидишь: как глотнешь — сразу тебя помчит, будто на скакуне из Котала.

— Угощай его, угощай! Пусть разъезжает на скакунах из Котала, пусть пешком ходить разучится! — прицепилась Санто.— Лиса только и знает, что с шакалом гуляет!

— Встань и дай воды гостю! — прикрикнул на нее муж.— Разверещалась тут! Если хочешь знать, Джагсиа — младший братишка твоего мужа.

— Если он тебе младший братишка, так, по-твоему, надо зажать ему голову между колен да истыкать иголками? Так, что ли? Лучше бы уж убил его сразу!

Но Санто все-таки зачерпнула кружку воды и подала мужу.

Джагсир с усмешкой отправил в рот опиум и запил водой, которую плеснул ему в горсть Раунаки. Таясь от жены, хозяин тоже сунул в рот катышек и хлебнул воды, но это не укрылось от глаз Санто.

— Вот бешеный. Тебе хоть дом набей опиумом — все сожрешь!

Санто ворчала, Раунаки хрипло отругивался, женщина заводилась еще пуще... Джагсир немного позабавился их перебранкой и, посмеиваясь, пошел в поле. Тело его теперь было легким, мысли — быстрыми. Какое-то время он еще думал о Раунаки и Санто, а потом — потом вспомнил Бхани. Это было больно, очень больно — отстранять от себя ее образ; больнее, чем думать о ней. И все же он страшился мыслей о Бхани.

Вот тогда-то и начал он худеть. Вскоре умер отец, и все заботы легли на плечи Джагсира. Правда, своей семьи у него не было, но время от времени то та, то другая замужняя сестра приходила пожить в родном доме, и с каждым таким посещением были связаны новые издержки, так что порой расходы семьи превышали доход. Все эти заботы не давали покоя. К тому же Джагсиру перевалило за двадцать пять, он уже не чувствовал себя молодым парнем. Теперь, за что бы он ни принимался, все делал с основательностью семейного человека. На него навалилась вся тяжесть издольщины, которую прежде нес отец. Из-за обилия работы и скудной еды тело начало слабеть, душу же не оставляла тревога.

Целых два с половиной года не решались родные Бхани отпу-

[1] «Сукхмани» — священный гимн выдающегося пенджабского поэта, одного из сикхских вероучителей Арджуна (1563—1606).

стить ее к мужу. До Джагсира доходили слухи, касавшиеся этой истории. Не раз он порывался пойти к ее родителям и тут же себя останавливал: «Мальчишество!» Никка со всей родней не однажды отправлялся, чтобы забрать к себе жену, но родители Бхани заявляли, что отпустят дочку к мужу лишь тогда, когда у него вылезут последние волосы.

За эти два с половиной года Джагсир изменился: это вначале он довольствовался одним катышком опиума. Вскоре ему требовалось уже два, три, четыре... Пил он также со второго дня на третий... А чаю — так просто счета не знал: мог пить и десять, и пятнадцать раз в день. Работал как вол, вытягивая жилы, за ним одним двое не могли угнаться. Поведения был тишайшего, если выпьет, так черным словом не ругается и носа из дому не кажет. Однако Дхарам Сингх горевал о нем и не однажды говаривал:

— Джагсиа, братец, что это ты телом истаял? Так ведь и помереть недолго.

— Э, что у меня за жизнь, брат? Проскриплю еще как-нибудь лет пять-семь, а там... Если же и их зря промотаю, нечем будет оправдаться, когда всевышний спросит у меня отчет! — отшучивался Джагсир.

Несколько раз Дхарам Сингх подыскивал для Джагсира невест, но всегда дело кончалось ничем. Соглашался Джагсир — противилась Нанди. Была довольна Нанди — упиралась родня девушки. Порой свадьба совсем было налаживалась, но тут обязательно влезали деревенские пересудчики и с удовольствием портили заваренную похлебку. А Джагсир хоть и поддавался на уговоры матери и Дхарама Сингха, но всякий раз про себя думал: «Не для меня все это...» И когда помолвка расстраивалась, в душе был доволен.

Два с половиной года кланялся и унижался Никка, два с половиной года околачивал порог тестева дома, стремясь вернуть жену. Ее родные возложили всю вину за случившееся на родственников Никки, как следует приструнили зятя и, наконец, отпустили к нему Бхани. К тому времени бедняга и в самом деле порядком оплешивел. В тот день, когда Никка должен был, наконец, вновь обрести свою супругу, он до самого заката просидел на базаре, на своем цирюльничьем месте, только к ночи отправился в деревню, где обитал его тесть, и лишь под утро привез Бхани на верблюжонке своего дяди. И долго ни он, ни она глаз не казали на улицу.

Когда Джагсир узнал о возвращении Бхани, он в первый момент чуть не задохнулся от боли, но к концу дня вроде бы успокоился. Узел в его душе был затянут до отказа, теперь его не развязать бы и зубами...

В первое время Гхила и Геба пытались раззадорить Джагсира, однако он оставался спокойным, и вскоре парни тоже угомонились. Подчас Джагсиру бездумно хотелось пройти переулком Никки, но он всячески противился этому желанию, считая его блажью, такой же блажью, как и уход Бхани в родительский дом.

Миновало дней пять, приспело время пускать на поля воду. Джагсир вышел из дома, когда стемнело. От Дхарама Сингха он направился деревней. Он шагал с лопатой на плече, устремив взор в землю. Когда же поднял глаза, то вздрогнул, будто увидев перед собой змею: он оказался в переулке Никки. На мгновение он приостановился, огляделся по сторонам — поблизости не было ни души. Сердце защемила старая, привычная боль. В то же время стало стыдно: с чего это он так озирается? Придется выбираться отсюда тропкой, вьющейся между кучами кизяка, решил он, вновь потупляя глаза.

Проходя тропкой, он услышал вдруг тихий, нежный голос:

— Взгляни же на меня! Взгляни, как раньше глядел...

Ноги Джагсира вросли в землю, шея окаменела, колени задрожали...

— Всю мне жизнь изломал, несчастный, и горюшка ему мало!

Снова этот голос и негромкий плач. Джагсир подумал — вот так мертвеет тело, когда его распилят надвое...

Он поднял голову — тяжелую, разбухшую, как набитый куль. Встретил взгляд Бхани — увидел ее перед собой — в одной руке медный горшочек, другой она вытирает слезы... И ослеп. И снова опустил глаза.

— Знала бы ты, Бхано, каково мне живется!..

Только это и сказал. И пошел дальше, будто слепец, прислушиваясь к шороху собственных шагов. Немного погодя сзади послышались другие шаги — неверные, удаляющиеся...

В поле Джагсир принялся за поливку, но едва дотянул работу до половины, как силы совсем его оставили. Сказав Бханте, что его треплет лихорадка, он повалился под тахли.

В полночь, при свете луны, Джагсир приметил слева от себя что-то длинное, блестящее. Он вгляделся внимательнее. Извиваясь на холодной земле, к нему подползала большая черная змея. Джагсир не шелохнулся, не вскрикнул. Змея проползла по его ногам, затем, взяв правее, взобралась на живот. Он по-прежнему лежал неподвижно. Ему не было страшно. Змея проскользнула по его животу и спустилась на землю с другой стороны. Джагсир явственно слышал ее шипенье. Долго еще она резвилась, свивая и развивая кольца на холодном песчаном пригорке шагах в двух от тахли. Джагсир не сводил с нее глаз. Только когда змея скрылась за пригорком, он поднялся и сел.

— Она берет лишь тех, кто ей нужен,— тихо сказал Джагсир.

Не скоро оторвал он взгляд от этого пригорка, от воды, змеей вившейся в борозде, от звезд, отражавшихся в воде.

С тех пор Джагсир старательно избегал переулка Никки. Он словно боялся тех мест. Но порой, когда он не мог с собой совладать, он пробирался окольным путем к переулку, заглядывал в него и при этом ощущал такую дрожь, словно наступил на змею.

Миновали месяцы, а он даже издали не видел Бхани. С Гхилой и Гебой встречался редко — те по уши ушли в свои семейные дела. Иногда во время редких встреч принимались ворошить старое, но Джагсир всякий раз нетерпеливо обрывал приятелей:

— Что было — то сплыло. Незачем зря шелушить луковицу!

Жизнь для Джагсира стала чем-то вроде муки среднего помола: ни сладкой, ни кислой, ни горькой — так, не разбери-поймешь. Он брел по этой жизни, словно бык, вращающий давильный жом, наматывал круги все одной и той же дороги, и пыль ее окрашивала время в серовато-бурый тон. Дни его были похожи на темные ночи, а ночи по-кладбищенски пустынны и одиноки... Он уподобился страннику, который прошел долгий путь и теперь, на закате дня, ускоряет шаг, чтобы к ночи дойти до цели. Старый узел в душе казался затянутым намертво. Внутренняя боль отпала, как у быка отпадает корка на ссадине, натертой ярмом.

У Бхани родился сын. Потом — дочка, потом — снова сын. Когда до Джагсира доходили эти вести, он радовался. Ему хотелось, чтобы Бхани знала об этой радости, но сказать ей что-либо он по-прежнему считал недостойным и молчал.

К Никке он уже не питал ни злобы, ни обиды. Когда доводилось

ненароком встретиться, ему хотелось заговорить с цирюльником. И вот однажды они повстречались: Никка тащил с базара противни пирожных — видимо, для какой-нибудь свадьбы.

— Здоров ли, братец Никка? — окликнул Джагсир.

— Здоров,— сухо отозвался цирюльник, с удивлением взглянул на Джагсира и невольно залюбовался — до чего все-таки ладный парень! — А ты все такой же крепкий? — уже более миролюбиво спросил он.

— Твоими молитвами.

— Ага. Скажи лучше — милостью всевышнего... А ты, проказа, совсем носа никуда не кажешь. Где ты околачиваешься?

— Там же, где и ты: в нашей деревне.

Они пошли рядом. Говорили о видах на урожай, о свадьбах и помолвках, о том, что жизнь все дорожает и — ни слова о Бхани.

При новых встречах они всякий раз останавливались, чтобы поболтать о том о сем. Как видно, Никка тоже рассудил, что былое быльем поросло и пора выбросить его из сердца.

И вот неожиданно умерла мать Никки. Всего дня два похворала и отошла. Во время саттхара[1] Джагсир зашел посидеть с родными покойной. Среди них была Бхани. Джагсиру показалось, что она обрела новую плоть. Нет, она по-прежнему была прекрасна, но словно бы стала пониже и вообще меньше. Лишь однажды он позволил себе пристально взглянуть на женщину и снова опустил глаза, и не смел уже их поднять. Все то время, что он провел в их доме, Бхани пела вайны и буквально исходила слезами. И в душе Джагсира вновь ожила та старая боль, словно бы в прижившемся у воды корне, внезапно обнаженном коровьим копытом... Глаза его тоже наполнились слезами. Как ни силился Джагсир их унять, они все лились и лились, так что в конце концов он поспешил уйти. Он чувствовал, что старый узел в его душе вот-вот развяжется, а ведь в нем хранилось все нажитое и завоеванное тридцатью годами жизни...

И вновь его стало томить какое-то влечение, снова начал он наведываться в дом Никки. Кое-кто из злопыхателей все еще поглядывал на него косо, но вообще-то его посещения этого дома никого особенно не задевали. Джагсир бывал там только в присутствии хозяина: болтал с его ребятишками, порой перекидывался шуткой с Бхани. Однако был осторожен и не поднимал глаз на жену цирюльника.

У Никки в отношении Джагсира не было теперь никаких подозрений. К тому же цирюльник был единственным мужчиной в семье, в хозяйстве ему требовался помощник. Джагсир пахал его поле, боронил, отводил воду, и, когда Никка подсчитал расходы и доходы и подбил итог, ему стало ясно, что такая сделка для него куда как выгодна. Поначалу не обошлось без пересудов, кое-кто из любителей почесать язык норовил поддеть Джагсира, но он не обращал внимания на сплетни, и они сами собой утихли.

Со временем Джагсир и вовсе перестал стесняться: он приходил к Никке как к себе домой, при этом зачастую в отсутствие цирюльника. Порой Бхани заводила прежние разговоры, но Джагсир не шел на них.

— Полно, Бхани, стоит ли ворошить эту пыль? Не надо вспоминать. Теперь у меня и сил-то не осталось на такие дела. Мне бы только дотащиться до смертного часа, и все... Так что — будь, что будет!

---

[1] Саттхар — обычай, согласно которому родственники тринадцать ночей спят (как правило, на соломе) в доме умершего; слово «саттхар» означает — солома.

И все же Джагсиру начинало казаться, что узел в душе вот-вот развяжется, и он торопился уйти, растерянный и напуганный.

Деревенские насмешники взяли в оборот Бхани: распускали сплетни на ее счет, срамили и бесчестили. Когда женщина жаловалась на них Джагсиру, тот спокойно говорил:

— О, всевышний! Можно подумать — воры стену разобрали! Кого она позорит, эта грязь? Пусть несут что хотят. Кто плюет вверх, на того плевок и упадет.

Любители плевать вверх и в самом деле оказались с заплеванными лицами. А луна по-прежнему светила, в свое время прибывая, в свое время убывая... И сейчас так же светит...

Джагсир вздрогнул, будто от удара. Он все еще трясся на передке повозки, деревня была совсем рядом. «Эх ты, счастливчик!» — со вздохом сказал он себе. То, что он так явственно обозрел сегодня весь свой жизненный путь, принесло ему какое-то облегчение. Он подхлестнул быков, и животные, с раннего утра находившиеся в дороге, весело побежали к дому.

Джагсир привязал быков во дворе Дхарама Сингха, перекинул через плечо вынутую из-под передка повозки мукку и кружной дорогой зашагал к переулку Никки. Перед домом цирюльника играла маленькая дочурка Бхани. Джагсир высунулся из-за угла, а когда девочка его заметила, снова спрятался.

— Дядя Джагчи! — завопила она, кидаясь следом за Джагсиром.— Эй, Бхитто, гляди, дядя Джагчи!..

Маленькие ручонки с такой силой обвились вокруг его ног, что он еле устоял. Немедленно на поле боя оказался старший мальчик — Бхитту: он подскочил, сдернул с плеча Джагсира мукку — и был таков.

— Ну чего тебе, глупышка? — засмеялся Джагсир, пытаясь разнять гребешком переплетенные пальцы девочки.— Ведь этот обезьяныш все у меня отобрал!

Девочка кинулась к брату, который пристроился на ступеньках дома и пыхтел над узлами мукки.

— Братик, а мне?.. Бхитто, мне!..— залепетала она, просовываясь то с той, то с другой стороны, но Бхитту уже успел зажать свою добычу между колен.

Сестренка его вначале действовала мирно: сложила руки лодочкой и принялась упрашивать, но вдруг она рванулась вперед и ухватилась за край мукки. Поднялась возня с криками и воплями. Джагсир медленно приближался к детям. Эти споры из-за гостинцев всегда доставляли ему огромное удовольствие, но сегодня при виде воюющих ребятишек ему вдруг стало нестерпимо грустно.

— Не драться! Эй, не драться! — смеясь, прикрикнул он.

В дверях показалась Бхани.

— В чем дело? Из-за чего шум? — спросила она.

— Ма-ам! Дядя не дает... Дядя Джагчи не дает...— захныкала девочка.

Бхани поправила накидку, глянула на Джагсира и чуть заметно усмехнулась.

— Можно подумать, что дядя Джагсир золото принес. Он нарочно таскает вам сласти, чтобы полюбоваться, как вы деретесь, словно петухи.

Джагсир, тихо улыбаясь, подошел совсем близко, но не сказал ни слова. Заговорить с Бхани — все равно что опозорить ее. По этой же причине он старался не смотреть на женщину: не так он к ней относился, чтобы дерзко глядеть...

Бхани отобрала у драчунов мукку и ушла в дом. За нею, уже

мирно болтая между собой, помчались оба малыша. Джагсир с улыбкой глядел на них с улицы.

— Эй, воришки! Отдайте мою мукку! — тихонько окликнул он немного погодя.

— А разве она не идет в придачу к гостинцам? — отозвалась Бхани и тут же ласково предложила: — Заходи, отдохни немного, попей воды.

— Нет, пойду. Дома ведь ребятишки плачут.

Джагсир пошутил — и сразу же пожалел о своей шутке: лицо Бхани вмиг посерьезнело. Раздавая малышам гостинцы, она казалась печальной.

Джагсир почувствовал, что надо уходить. Он не стал дожидаться, когда освободится его мукка, и быстро зашагал к дому.

4

Джагсир старательно — дважды и трижды — перепахал свое поле, разрыхлил бороной и засеял. Ни одного большого комка земли не оставил он в бороздах, ни единого корня или стебля стелющегося кхаббала, никаких других сорняков. Когда пшеница взошла, поле стало походить на свежевыкрашенную зеленую накидку. Однажды, поправляя вместе с Джагсиром канаву, Бханта увидел вдруг это поле во всей красе, и в душе его загорелась лютая зависть. Он и прежде, во время пахоты, всячески старался ущемить Джагсира, но Дхарам Сингх никогда не отказывал издольщику в его нуждах. Теперь же, особенно после того, как Бханта сравнил поле Джагсира со своими полями, он совсем зашелся от ярости: поля Бханты пестрели проплешинами, словно тело прокаженного — язвами. Джагсир тут был ни при чем — участки обрабатывали сами сыновья хозяина, тем не менее Бханта обозлился на издольщика.

Придя в поле, Джагсир поначалу остановился под тахли, оглядел свой участок, и в глазах его засияла радость. На зеленом покрове привольно раскинувшихся полей его поле выглядело искусно расшитым орнаментом. Долго разглядывал он крепкие зеленые кустики, переливавшиеся будто шелковая бахрома. Каждый из этих кустиков был для него как часть собственного тела. От их красоты взор Джагсира стал хмельным и волны радости забушевали в груди. О, каким ненавистным казался он в тот момент Бханте!

— Ступай работай, пока прохладно! — прикрикнул он на издольщика.— Нечего пялить глаза на свое поле! Может, ждешь, что на нем самоцветы вырастут? Пшеничные зерна на нем уродятся, простые пшеничные зерна!

У Джагсира был такой вид, будто у него мечту отняли. Не сказав ни слова, поплелся он следом за Бхантой, и оба принялись налаживать канаву для поливки.

Следующей ночью поили поля. Перед тем как пустить воду, Джагсир, указывая на свое поле, спросил:

— Начнем отсюда?

— Не убежит твое поле, успеешь! — резко оборвал Бханта.— После им займешься.

Джагсир смолчал. За все время, как он себя помнил, впервые случилось такое. Обычно, когда орошали поля, Дхарам Сингх распоряжался прежде других напоить поле издольщика, а потом уже отводить воду на другие участки. Джагсиру неважно было, когда пустят воду на его поле, раньше или позже, нет, его тревожила грубость Бханты. Уже третий год пошел, как это началось. Да, с Бхантой у не-

го не получится такого лада, какой был с Дхарамом Сингхом, это уже сейчас видно. Со старым хозяином они всегда жили в согласии и взаимном уважении, сподобил бы всевышний до конца дней так прожить! Да, видно, не придется...

Джагсир узнал у работавших на соседнем поле людей, который теперь час, и принялся за дело. Бханта приказал ему начать орошение, а сам набрал охапку сухой травы, развел под тахли костерок и уютно устроился под легким одеялом у подножия дерева.

Джагсир кружил по участкам — там запруживал плотины, там пускал воду в борозды. Раза два в голове мелькнуло: надо бы сказать Бханте, чтобы тот тоже поработал. Но всякий раз он отбрасывал эту мысль — не стоит обострять отношения. Ему вспомнилось, что вместе с Дхарамом Сингхом он играючи управлялся с поливкой, часов по шесть бродил от канавы к канаве и не чувствовал усталости. Зимой на ходу, бывало, подкрепится парой кокосовых орехов да патокой, и стужи не чувствует, и одеялом не накрывается. Да, все это было, было, да ушло, что уж теперь вспоминать... И, с трудом передвигая застывшие от ледяной воды ноги, Джагсир все поил и поил поля...

Примерно через час Джагсиру почудилось, что вода в канаве начинает убывать.

— Вода плохо идет,— тихо сказал он Бханте.— Я пойду вдоль отводного канала, а ты пусти воду участка на два.

— Разве отводной канал — длиной в девяносто косов? — отозвался Бханта.— Ты шутя управишься со всем полем. Тут, если постараться, и два поля напоить можно.

Джагсир расширил путь для воды в двух канавах, затем двинулся вдоль отводного канала. Бханта же продолжал отлеживаться под тахли и так и не взялся за работу.

Вот наконец оно, это место! Трава и листья забили канал, вода переливалась через край и текла на соседние поля. Джагсир разбил запруду, лопатой выгреб из канала мусор. Но ему все казалось, что помеха для воды находится где-то выше. Поэтому он дошел до более крупного канала, из которого вода поступала в отводной, сунул руку в соустье и убедился, что оно чисто. Лишь тогда он повернул обратно. Хотя земли Дхарама Сингха находились совсем недалеко от этого канала, Джагсир спешил, он боялся, что Бханта так и не побеспокоится о воде. И недаром он тревожился.

— Эй, низкорожденный! Всю жизнь жрешь нашу соль, пьешь нашу воду да еще вон что вытворяешь!

Джагсир как раз подходил к тахли, когда услышал из уст Бханты эти подлые слова — слова, каких отродясь ни от кого не слышал. От неожиданности от оторопел и со смешанным чувством удивления и гнева уставился на хозяйского сына.

— Ты зачем ушел? Месяцу помогал подняться? — бранчливо продолжал Бханта.— Больно ты хитер — ходишь тут взад-вперед... Ну да только и мы не бараны...

Джагсир все еще ничего не понимал. Кажется, никогда его так не оскорбляли, но он все же нашел в себе силы, чтобы сдержаться и спокойно спросить:

— Объясни, в чем дело?

— Он еще спрашивает, в чем дело! — с прежним напором продолжал Бханта.— «Пойду, мол, к своему полю!... Пойду по отводному каналу...»

Произнося слова «к своему полю», Бханта так оскалился, так зашипел, что Джагсир отшатнулся. Им овладел вдруг гнев, ярый гнев, с которым он еле сладил.

— Опомнись, Бханта! Своими подозрениями ты только порочишь

наш труд — мой и Дхарама Сингха! — с болью проговорил он и резко повернулся, чтобы уйти.

— Глаза бы мои не видали тебя и твоего отца! — не унимался Бханта.— Всю жизнь только и думали, как бы нас обобрать, благо что живем мы по простоте да по старинке. Больно уж вы хитры. Может, скажешь, на твои труды мы себе дворцов понастроили?

Долго еще Бханта ругался, не скупясь на разные поносные слова.

Проходя мимо своего поля, Джагсир обнаружил, что пущенная на него вода запружена. И тут он почувствовал, что сознание его мутится, ноги подкашиваются. Он сел, опустил в канаву лопату и вилы, оперся лбом о рукоять лопаты. Но тут же понял, что и сидеть нет сил. Тогда он растянулся на краю канавы, нащупал кошель, вынул из него коробочку. Там оставалось два катышка. Один он сунул в рот.

Вскоре силы как будто стали возвращаться. Джагсир приподнялся. И снова увидел Бханту. Бханту, разлегшегося под тахли, возле костра, Бханту, укрытого одеялом! Что за морока! Прихватив лопату и вилы, Джагсир встал, но взор его все никак не мог оторваться от Бханты.

Он прошел несколько шагов вдоль канавы, нагнулся и хлебнул из пригоршни воды, потом разулся, ступил в воду и одну за другой принялся поить полевые борозды.

Была глухая ночь. В деревне голосили петухи. Стояли последние дни темной половины месяца, луна взошла лишь около полуночи и сияла ярко, но даже при ее свете Джагсир не различал краев борозды. Не раз он закрывал горловины, даже не убедившись, что вода дошла до конца участка. А на некоторых бороздах вода выплескивалась через край — он и этого не видел. У него словно отшибло разум, и он в полубреду мотался по полям.

Примерно за полчаса до конца полива появился Бханта — в туфлях и с лопатой в руках, обошел участки и снова уселся под тахли. Джагсиру он не сказал ни слова, даже не подошел к нему.

Джагсир напоил почти всю пшеницу. От утреннего холода ноги и руки у него онемели, особенно ноги — стали совсем как чужие. Когда он пускал воду в последнюю борозду, лопата выпала у него из рук и поранила палец на правой ноге, но боли он не почувствовал.

На соседнем поле люди ожидали, когда наступит их очередь поливать. Бханта затеял с ними спор — утверждая, что их время еще не приспело. Джагсир, вконец измученный, присел на меже и, опершись на рукоять лопаты, закрыл глаза. Голова у него болела, суставы мозжило. Смертельно хотелось спать.

Некоторое время Джагсир сидел наподвижно, потом рывком поднялся на ноги. На соседнем поле что-то кричали — как видно, там уже начали поливку. Джагсир находился на краю своего участка — вода к нему только лишь подступила.

Еле передвигая ноги, всей тяжестью налегая на лопату, Джагсир поплелся к тахли. Бханты там уже не было, костер еле дымился. Джагсир ступил на теплую золу, добрался до корней дерева, лег, поплотнее закутался в старое одеяло и почувствовал, как от согревающихся ног блаженное тепло разливается по всему телу.

Какое-то мгновение он еще видел луну, проглянувшую сквозь густую листву тахли, затем веки его сомкнулись. Он поджал ноги, свернулся клубком и, приникнув головой к мархи отца, забылся.

Сон отпустил его, когда день уже был в разгаре. Тело горело сухим жаром, ломило кости. Джагсир сунул руку в кошель, достал коробочку и отправил в рот последний катышек. Потом поднялся на дрожащих ногах, хлебнул горсть воды из канавы и побрел к деревне. Он шел, а впереди, словно дьявольское наваждение, возникала все

та же картина: Бханта, закутанный в одеяло, сидит у костра под тахли... Джагсиру чудилось, что тело его сгорает на этом костре...

Дома он свалился в злой лихорадке.

5

Два дня пролежал Джагсир в постели. Он сгорал от жара. Сетка кровати впивалась в тело — ни накиданное на нее тряпье, ни подстилка не смягчали этих жестких объятий.

В ночь после второго дня он вдруг открыл глаза и сел. Нанди измаялась в эти дни, ухаживая за сыном, и теперь спала. Джагсир завернулся в одеяло, встал на ноги. Они не очень-то его слушались, однако он собрался с силами и кое-как пошел. Заперев на щеколду наружную дверь, он отправился на огонек к Раунаки.

Возле дома Кхемы Чхатти Джагсир почувствовал: все, дальше он не ступит ни шагу. Подпирая обеими руками поясницу, он опустился на чурбан, вкопанный возле порога, чуть передохнул, поднял голову — и вдруг увидел перед собой лачуги их квартала. В ночной тьме они представлялись не человеческим жильем, а собачьими конурами — маленькими, темными, ушедшими глубоко в землю. На некоторых лачугах крыши были так низко посажены, что человеку хорошего роста под ними и не выпрямиться. Дворы были огорожены чем попало, стены обмазаны кое-как, в одних местах глина выпирала буграми, в других образовались впадины, словно язвы на теле прокаженного. Насколько помнил Джагсир, здесь никогда и никто не строился заново. Случалось, в сезон дождей у какой-нибудь лачуги осядет крыша или завалится стена. Тогда разыскивали старые доски и кирпичи, латали прорехи — и продолжали жить, как жили.

«Собачьи конуры!» — Джагсир рассмеялся. Чего ради пришло ему в голову такое? В этом квартале он родился и вырос, здесь сорок лет и еще два года жизнь дарила его своими радостями, и никогда лачуги не казались ему собачьими конурами. На его памяти — он тогда уже был взрослым парнем — в этих лачугах родились дети. Теперь они стали юношами и девушками, некоторые уже сыграли свадьбы, и дворы их, как пчелиные ульи, гудят ребячьими голосами. В иной лачуге, где прежде жили двое-трое, теперь сходятся на ночлег человек десять. Рассовывают по углам мелкую утварь, громоздят друг на друга глиняные миски и кувшины, расставляют большие и маленькие кровати с веревочными сетками, спят по двое и по трое вместе в тесноте и духоте, но никто и не думает расширять жилье.

Не раз Джагсиру доводилось присутствовать при ссорах молодых людей с собственными родителями. Женился сын, шумела в доме свадьба, а потом растерянные старики уступали свое место в лачуге молодым, сами же устраивались во дворе, под навесом. В холодные зимние ночи они тряслись под рваными одеялами, не могли сомкнуть глаз, а чуть забрезжит утро, вставали и безропотно принимались за привычную работу. И снова приходила ночь... Когда же кто-нибудь из малосемейных сочувственно советовал: «Да построй ты себе другую хижину!» — ему отвечали: «Стоит ли? Тут всего-то и дела, чтобы ночь провести...»

«Всего-то и дела, чтобы ночь провести!» Джагсир снова засмеялся. А день? О том, как проходит день, соседи его говорили примерно одно. Спросишь такого, как поживает, а он вздохнет да ответит:

— Хорошо... День прошел — и ладно...

Или еще так:

— Да, хорошо. День минул — смерть придвинул...

Не было в их квартале человека, лицо которого светилось бы ра-

достью. Даже когда люди смеялись, по лицам их бродили какие-то скорбные тени. Редко когда мудрая речь не сопровождалась ругательством, грязным словцом, оскорблением. Когда в квартале играли свадьбу, дней пять-шесть кипело веселье, щедро орошаемое самогонным дождем; казалось, зачерствевшие души оживали, подобно деревьям, на которых после доброго ливня то тут, то там начинает пробиваться листва. Но кончалось брачное застолье, и снова воцарялась та же грубость, та же брань, та же печаль...

— Человеку дал творец десяток тел, человек изжил одно, а девять — где? — тихо сказал Джагсир. Так говаривал старый Лалу, тот самый, что помер год назад. Старый Лалу, отрада всей округи, древо счастья среди людского сухостоя...

Ну и шутник был этот Лалу! В детстве, бывало, Джагсир с приятелями — ребятишками из их квартала — до поздней ночи толпились вокруг Лалу, слушали его россказни, пересыпанные забавными шутками. Лалу того времени запомнился Джагсиру всегда веселым, неунывающим, постоянно он над чем-нибудь потешался, вечно крутился юлой. Но вот Лалу женился, стал отцом. Родились мальчики, девочки... Два его сына спутались с бандитами — одного из них на плантации сахарного тростника пристрелила полиция, другой и по сию пору скрывается неизвестно где; третий был еще мальчишка. Подросли и заневестились дочери. Беспутство детей и домашние заботы до времени состарили Лалу: в пятьдесят лет он выглядел на все семьдесят, от железного здоровья и четверти не осталось. И в такие-то годы он польстился на заработок: пошел издольщиком в хозяйство с двумя упряжками. Он выбивался из сил, чтобы подкопить денег на приданое дочкам,— и вдруг умер. Уже за год до кончины его нельзя было узнать. Тот самый Лалу, который прежде так и сыпал историями о волшебных пери, принцессах и воинах, Лалу, весельчак и насмешник, превратился в «обладателя десяти тел». Так и звали его в последнее время люди. И сам он, вздыхая, без конца повторял эту поговорку, будто слова священной книги: «Человеку дал творец десяток тел, человек изжил одно, а девять — где?»

Джагсир уперся руками в колени и с трудом встал на ноги. Лицо его, омраченное этими вроде бы не идущими к делу мыслями, стало еще печальнее. Подобным мыслям и раньше случалось посещать его, но никогда еще не раздумывал он так пространно о жителях своего квартала, обитавших в собачьих конурах.

Он побрел прочь. Потом оглянулся — и тут только увидел новые ворота Кхемы Чхатти, ворота, крепко пригнанные к трем железным стойкам. Высокий свод их был празднично расписан — павы, голуби, лианы, цветы. И белые, словно бы серебряные створы... При свете звезд Джагсир отчетливо видел все это. Затем взгляд его снова обежал лачуги квартала. В сравнении с пышными воротами они выглядели еще более жалкими и мрачными, словно мархи, сложенные из необожженного кирпича...

Опустив голову, Джагсир снова двинулся в путь. Холод пробирал до костей, коченели ноги. Чтобы прикрыть их от ветра, Джагсир спустил одеяло чуть ли не до самых лодыжек. Стало чуть теплее. До лачуги Раунаки оставалось каких-нибудь полсотни шагов, но он никак не мог одолеть их.

Однако вот и проулок, а там — неплотно прикрытая дверь Раунаки и пробивающийся сквозь щель свет. Джагсир приободрился, даже ноги как будто согрелись, шаг стал тверже.

Миновало уже два года, как из этого дома ушла Санто. С тех пор Раунаки стал еще милее Джагсиру. Санто прожила с мужем пятнадцать лет — мирно, тихо, спокойно и вдруг сбежала с каким-то прохо-

димцем. Люди не понимали, что произошло, как могла она оставить такого человека, как Раунаки. Пятнадцать лет он был для Санто преданным мужем, пятнадцать лет верой и правдой служил ей. Воля жены была для него законом — покрепче полицейской власти. Обычно по утрам он, вооружась коромыслом, разносил по домам воду, а к полудню, натаскав топлива, усаживался перед печью и принимался шуровать в ее жерле. При этом он шутил с ребятишками, которых родители присылали поджарить зерно, зубоскалил с девушками. Пятнадцать лет чрево Санто оставалось бесплодным. Хлебцами, напеченными ею, чтобы умилостивить всевышнего, вымолить у него ребенка, можно было бы, верно, забить глубокий колодец. Но всевышний не услышал ее молений. Она, как и Раунаки, подманивала чужих детей, шутила и играла с ними. Случалось, что кто-нибудь из ребятишек говорил:

— Тетя, сегодня у нас мало зерна. Матушка велела передать — ту горсть, что полагается тебе за поджаривание, отдадим завтра...

— Дать еще? — спрашивала Санто и зачерпывала горсть зерна из собственных запасов.— Но тогда ты должен стать моим сынком. Согласен?

Малыш улыбался, говорил, что согласен, и женщина расцветала, и долго еще суровое лицо ее горело отсветом мимолетной радости.

Почему же Санто, такая вот Санто, покинула Раунаки? Кто поймет, кто разгадает глубокую тайну запутанной жизни?

Во дворе возле печи Джагсир увидел Раунаки. Кутаясь в небольшое одеяло, выпростав из-под него руки и зажав в зубах мундштук от хукки, он, по всей видимости, сидя заснул. Во всяком случае, веки у него были опущены. Лица не было видно — его прикрывали руки: одной он придерживал у рта мундштук, другой — матерчатый фильтр.

— Ох уж этот беззаботник-водонос! — с усмешкой, как бы про себя, проговорил Джагсир.— Загордился кот — от печи нейдет!

Раунаки, словно и не спал, тотчас навострил уши.

— А-а, Джагсиа! — он вынул изо рта мундштук хукки и оскалбился.— Тебя, видно, семейные заботы одолели? Где ты пропадал все эти дни?

Раунаки выбил из хукки огонь, разыскал в золе черепок и заложил в мундштук, который затем прислонил к цепочке от висевшей поблизости сковороды.

— Садись-ка сюда, тут тепло,— сказал Раунаки, указывая на место справа от себя.

Джагсир подсел к печи, упер локти в колени.

— Приходит, видно, время нам с тобой расстаться,— печально, с тяжким вздохом сказал он.

— С чего это ты? О чем говоришь? — спросил Раунаки то ли удивленно, то ли грустно. И тут же его крысиные усики ощерились в усмешке.— Тебе, дуралею, вздумалось, верно, завязать свадебный шнурок[1]? Все бредишь...

Приятели рассмеялись. И тут же словно устыдились этого смеха: на лицах обоих застыло смущение.

— Так в чем же дело? Слабость, что ли, нашла? — уже серьезно спросил Раунаки.

— Да уж два дня, как валяюсь в постели, а ты и носа не кажешь. Ждал я, ждал да и решил: надо идти. Друг не уважил — не посмотрю на то, сам пойду по другову душу.

---

[1] Шнурок из крашеных ниток или козьей шерсти с привязанными к нему раковинами и железным кольцом; таким шнурком связывают руки жениха и невесты во время свадебного обряда.

— Что ты! Что ты! — воскликнул Раунаки, стыдливо поеживаясь.— Ей-богу, я ничего не знал! Клянусь коровой! Иначе разве бы я не пришел?

Потом заглянул в лицо Джагсиру и важно спросил:

— А лечебные травки-отравки пьешь?

— На что их пить? Само пройдет.

— Эх ты, дурачок из породы умных! — добродушно выругал его Раунаки.— Зачем бесу жить даешь? Ладно, сейчас все устроим. Я ведь, брат, не знал ничего, клянусь молодостью, не знал! Не то притащил бы тебе настоящие пилюли, самим лекарем изготовленные! От них не только лихорадка, даже лихорадкин папаша окочурится.

Джагсир глянул на лицо приятеля, освещенное багровым отсветом затухающих углей, и невольно фыркнул. Тоже ведь скажет: «Клянусь молодостью»! Но потом вдруг посуровел. Неожиданно для себя он по-другому увидел Раунаки, словно встретил его после пятнадцатилетней разлуки: у наружных уголков глаз — густое плетение мелких морщин, от крыльев носа к углам губ пролегли две глубокие борозды, делая его и без того продолговатое лицо похожим на длинный огурец, складки на лбу превратились в бесчисленные рытвины, бородка наполовину вылезла и поседела, все лицо казалось изжеванным, смазанным. Один только нос, здоровенный нос Раунаки, остался прежним и напоминал большую водосточную трубу, прилаженную к крыше кухоньки.

Раунаки поднялся и пошел в лачугу; Джагсир бросил взгляд на его тщедушное тело, на кривые высохшие ноги и горько вздохнул: «Человеку дал творец десяток тел. Человек изжил одно, а девять — где?»

Через мгновение Раунаки вернулся — в одной руке он нес серебряную кружку с водой, в другой были зажаты две маленькие коричневые пилюли.

— На, глотай! — приказал он, подавая Джагсиру пилюли.— А то тренькаешь тут, как коровий колокольчик!

Пока Джагсир ощупывал пилюли и пытался разглядеть их слезящимися от простуды глазами, Раунаки проверил, согрелась ли вода — попросту сунул в нее палец,— и протянул кружку товарищу.

— Обе проглотить? — спросил Джагсир.

— Обе.

Джагсир положил в рот пилюли, запил водой и, взяв немного золы, принялся чистить кружку.

— Ты что это, друг? Брось сейчас же! — Раунаки сердито отобрал у него кружку.— Так чудят только люди из больших домов. Это у них такой обычай — звать другом, а почитать врагом!

И сам принялся чистить кружку.

Слова Раунаки затронули в душе Джагсира какую-то давно натянутую струну, он почувствовал, что еще больше полюбил друга. В молодости он не расставался с Гебой и Гхилой, вместе они пили вино, вместе ели, но никогда ни один из них не решился бы вычистить чашку, из которой пил Джагсир.

Раунаки почистил кружку и лучинкой, отщепленной от полена, стал ворошить горячие угли. Из топки посыпались искры, вспыхивали какие-то щепочки, травинки, и отблески этих маленьких огоньков светлячками плясали в покрасневших глазах Раунаки. Некоторое время он молчал, потом как-то глухо заговорил:

— Знаешь, Джагсиа... Иногда такое чувство — убежать бы куда-нибудь...

— Куда? В ад? — усмехнулся тот.

— Ты вот смеешься, а я... Клянусь коровой... Я все вспоминаю своего тестя...

Джагсир поднял глаза на Раунаки. Даже сейчас, в полутьме, озаренной лишь искрами, рассыпавшимися из разворошенных углей, можно было видеть густую сеть морщин вокруг глаз, дрожь крысиных усиков... Джагсир понял, о чем хочет говорить друг, и улыбка сползла с его лица. Потупившись, он тоже начал ковырять в углях щепкой.

— Джагсиа,— продолжал Раунаки натужно, будто надрывался в громком крике.— Скажи, для чего человеку всю жизнь ломать горб? У меня вот ни сына, ни дочери, случись хоть нынче помереть — никто обо мне и не вспомнит, никто сиротских слез не прольет. Вот так на закате мотыльки умирают — сотнями сыплются на землю. Мы ведь мотыльки... Мало кто из нас живет по-человечески. Только сегодня мне не хочется умирать. И кто знает, что за вселенскую забаву придумал этот житель голубой крыши?

Раунаки глубоко вобрал в себя воздух и медленно, до конца выдохнул, словно хотел вместе с ним вытолкнуть копошившиеся внутри беспокойные думы. Потом, немного помолчав и не дожидаясь от Джагсира ответа, снова заговорил:

— Вот уже два года, как она сбежала, а изнутри, подлая, не уходит. Даже во сне покоя не дает. Даже наяву все чудится ее голос: «Эй, брат, где ты? Я уже здесь, только-только пришла!» Кажется, слышу, как она пыхтит, словно бык, а войдет — как даст по макушке и заорет: «Эй, ты, жизнеед, дохлятина! Почему хвороста нет? Чем печь топить буду? Твоей головой, что ли?» Ну точно так, клянусь коровой, Джагсиа!..

Больше он и сказать ничего не мог. Только вздохнул надсадно, и из покрасневших глаз закапали в горячую золу тяжелые слезы.

Сердце Джагсира сжалось от боли.

— Будет тебе...— сказал он, пытаясь как-то утешить Раунаки.— Не падай духом, не то совсем пропадешь...

— Я старался выкинуть ее из сердца, Джагсиа... Изо всех сил старался... Только не идет она вон, не отпускает меня...— словно ребенок, судорожно вздыхая и запинаясь, жаловался Раунаки.

Признания Раунаки были не в новинку Джагсиру, но прежде он не слышал в них такой смертной тоски. Порой, вороша старые истории из своей жизни с Санто, Раунаки так потешался, словно сам он не имел к ним ровно никакого отношения. Однако Джагсиру всегда было понятно, что смех его круто замешан на печали. Несчастье Раунаки и раньше огорчало Джагсира, но так глубоко, по-настоящему, он впервые понял друга.

— Ладно, владыка! — чуть помолчав, хрипло произнес Раунаки, утирая глаза краем своего одеяла.— Если уж тебе так любо гноить наши бедные кости — валяй, действуй! Но дальше-то что будет? Ну, защемил ты наши головы в этой дыре, а как жить прикажешь? На одиноком-то положении? Хочешь — гуляй с друзьями, хочешь — принимай сватов, так, что ли? Может, выдадим замуж дочь или сестру?

Раунаки, зубоскал Раунаки, топорща свои крысиные усики, на все корки отделывал всевышнего, но Джагсир видел, что глаза его еще не просохли от слез и взгляд не прояснился.

— Близится джаго[1]!..— послышался где-то вдали сильный грудной голос.

Джагсир поспешил отвлечь друга от горьких раздумий:

---

[1] Джаго — ночное шествие женщин, несущих на головах сосуды со светильниками; один из свадебных ритуалов.

— Чья это нынче свадьба?

— В квартале гхиллов [1] сына Однорукого Красавца женят. Сегодня прибыл свадебный поезд.

— Жених — пьянчуга, здоровый, как племенной бык?

— Он самый. Из глаз вечно какая-то дрянь сочится, рот облепили болячки, будто кучи мусора — выгребную яму, а вот поди ж ты, и такому кто-то отдает дочку. Эдакий шлюший сын! Ему только бы влезть в упряжку к годовалому бычку! Я слыхал, Джагсиа, что такие вот, которые торгуют собственными дочерьми, помирают от червей в животе.

— А сама-то она что за пери из свиты Индры? Верно, хороша, как луна!

— Это уж точно! — хихикнул Раунаки.— Отдать в жены такому буйволу хорошую женщину — все равно что спихнуть ее в колодец. Муженек при первой же сваре примется колошматить жену и, глядишь, проломит ей голову. О, владыка! Если подобных скотов ты жалуешь человечьим обличием, где твоя справедливость?

— Какая там справедливость? Вот если бы те, кому следует, родились быками, это было бы на пользу тебе, мне, наверно, сотне таких, как мы...

— Близится джаго...

Теперь голос слышался совсем недалеко. Друзья обернулись в ту сторону, откуда должно было показаться шествие.

— Вот ты сказал — «мне», «тебе», «мы»... Это — как радостный колокольчик...— проговорил Раунаки.

Джагсир улыбнулся. Слова Раунаки еще больше укрепили их близость.

Голоса участниц джаго доносились все явственнее. Слушая их, друзья примолкли.

Близится джаго...
А ну-ка живо —
Буди жену, приятель!

И вот, наконец, шествие влилось в проулок. Запевала высокая женщина. На кувшине, который венчал ее голову, горело такое множество светильников, что сияние их друзья увидели от самого поворота. Впереди нее шла другая женщина. Юбка ее с одного бока была подоткнута, правый рукав рубахи высоко закатан, накидка с головы сброшена и повязана концами вокруг пояса. В поднятой обнаженной руке, чуть наклонно она держала жезл с колокольчиками, встряхивала им в такт песни, и подпрыгивала, и приплясывала на ходу. В сиянии светильников саги — золотые цветы, вплетенные в ее волосы,— сверкали, будто молнии в ночи. Вдруг откуда-то из задних рядов шествия вырвалась девушка в рубашке и шальварах, с непокрытой головой. Словно язык пламени, метнулась она к женщине, несшей жезл, сорвала с ее бедер накидку, обошла вокруг нее в пляске «Очистка хлопка» и вновь смешалась с толпой.

— Гляди-ка, гляди, как беснуются бабы! — Раунаки смеялся, не отрывая глаз от зрелища и поглаживая свои крысиные усики.

Женщины со светильниками были от них уже шагах в пятнадцати, а та, что несла жезл,— шагах в трех-четырех.

Близится, близится джаго...

Женщины пели медленно, протяжно. Неожиданно Джагсир раз-

[1] Гхиллы — этническое подразделение пенджабских крестьян.

личил голос Бхани. Она запела — и, словно смущенные сладостью ее голоса, остальные женщины мгновенно умолкли.

Близится джаго...

И те, смущенные, вновь подхватили:

Идет джаго...
Буди жену,
Подымай жену, приятель!

Усики Раунаки дрогнули. Он плотнее стянул на плечах свое одеяло.

Припев умолк, снова звучал только голос Бхани:

Идет джаго, идет джаго...

— Идет джаго! — яростно, с зубовным скрежетом завопила девушка — та самая, как язык пламени, снова выскакивая вперед. В мгновение ока она ухватила Раунаки за лодыжку, рванула — и покатила по земле его легкое, закутанное в одеяло тело. Раунаки, переваливаясь, как тючок, отлетел шага на четыре от печи.

— Ой, доченька! Да он как ежик катится! — засмеялась женщина с жезлом.

Она подошла к Раунаки, позвенела над его головой колокольчиками и поддала его ногой, словно мяч. Раунаки снова перевалился — и покатил под горку.

— Ой, шлюхи, ой, умру! Ой, шлюхи! — кричал он из своего одеяла.

Женщина с жезлом подбежала было к Джагсиру, намереваясь, видно, разделаться и с ним, но тут вступилась Бхани — это она шла впереди и запевала джаго.

— Эй, ты! — крикнула она.

Женщина остановилась.

Джагсир взглянул на Бхани. На голове ее полыхали светильники, лицо оставалось в тени, но Джагсиру показалось, что глаза ее сияли ярче светильников. Стройная фигура, плавная походка — все это пленяло, завораживало... Только мгновение глядели они друг на друга, и оба одновременно опустили глаза. Джагсир не мог вынести вида этой пронзительной красоты...

Пока Раунаки приходил в себя, шествие проследовало дальше. Парни и ребятишки, увязавшиеся следом, посмеялись над незадачливым водоносом и прошли. Только тогда Джагсир осмелел и поспешил к приятелю.

— Ты не ушибся?

— На брызги грязи да на женские причуды разве жалуются, братец? — отвечал Раунаки, поправляя тюрбан и подбирая с земли одеяло.

В голосе Раунаки Джагсиру послышалось ликование. И тут же, верно желая скрыть эту радость, Раунаки разворчался:

— Ах, негодницы низкородные! Да разве они что соображают? Ум-то у них наизнанку вывернут. Верно я говорю?

Джагсир протянул руку, помогая Раунаки подняться, и с усмешкой проговорил:

— Кабы они что соображали, то не польстились бы на тело нашего Раунаки. Что в нем хорошего?

Раунаки встал, оправил рубаху, вытряхнул и снова накинул на плечи одеяло. Потом сделал шаг и охнул: в бедро стрельнула острая боль. Он попытался поднять ногу — боль не проходила. Скрипнув зубами, он сердито выругал участниц шествия:

— Изувечили меня, чертовы вдовы!

Он немного постоял, потирая бедро и собираясь с силами, наконец, медленно захромал к лачуге.

— Входи, входи в дом! — позвал он Джагсира.

В лачуге все еще горел светильник. Джагсир чуть вытянул фитиль и присел на стоявшую в углу кровать. Раунаки завалился на другую. Бедро его все еще болело, но это была сладкая боль. Немного помолчали, и вдруг Раунаки вспомнил:

— Как чувствуешь-то себя?

— Хорошо. Славные у тебя пилюли. Жар, видно, спал.

— Ну и ладно. Ночуй-ка ты у меня, куда тебе по холоду домой тащиться? Возьми вон на веревке одеяло и подстилку... Ту самую...

Последние слова он произнес так тихо и печально, что Джагсир скорее угадал, чем расслышал их. Глаза его угасли, казалось, он чуть дышал.

Джагсир снял с веревки подстилку, одеяло и улегся против друга.

Чуть ли не всю ночь они проговорили. Об участницах джаго, о прежних своих друзьях, о женщинах и вообще о людях — таких, как они.

6

На следующий день лихорадка и в самом деле отпустила Джагсира, оставив после себя только сильную слабость. «Я просто устал»,— думал он. И все же пришлось еще дней шесть полежать.

На седьмой день он встал и потащился в поле. Во время болезни к нему раза два наведывался Дхарам Сингх — справлялся о здоровье и говорил, что́ надо бы разрыхлить землю на одном из участков по соседству с полем Джагсира, да Бханта уже дня четыре, как отправился навестить тестя и все не возвращается. Так что хочешь не хочешь, а надо было браться за мотыгу.

В конце деревни Джагсир повстречал Никку — тот тоже шел в поле.

— Ого, что это ты так чинно шествуешь, словно жених, умащенный благовониями? — насмешливо спросил цирюльник.

— Лихорадка затрепала,— не желая поддерживать шутку, коротко ответил Джагсир.

— Э-э!..— Никка тоже посерьезнел.— То-то я все думаю, куда он запропал?

Джагсир молчал и, опустив голову, медленно брел по дороге.

С последнего сева в месяце сауни между ним и цирюльником снова пробежала черная кошка, и они уже не вели прежних задушевных бесед. Человек слабый, не имеющий своего мнения, Никка обычно принимал на веру чужие слова. Так случилось и в этот раз.

Как-то во время сева цирюльник отправился в поле, а Джагсир пришел к Бхани поиграть с ребятишками. Как раз в эти дни у них гостил двоюродный брат Никки, сын тетки. Джагсир не застал его — гость ушел повидаться к кому-то в деревне. Потом он явился. Джагсиру случалось раньше его видеть, но знакомы они не были, поэтому он молча встал и ушел. Когда же вечером явился Никка, гость начал ему выговаривать:

— Послушай, братец, это скверное дело! Не годится так вот запросто пускать в дом низкорожденного. Ну, был бы он хоть свойственник или близкий сосед — тогда уж куда ни шло. Но так! Как говорится — что́ верблюду буйволенок?

Никку этот разговор страшно уязвил. В течение пятнадцати лет не думал он о подобных вещах — отчасти под влиянием Бхани, отча-

сти обезоруженный достойным поведением Джагсира, а где-то — ради собственной выгоды. Если бы такая мысль явилась ему раньше, он бы уж как-нибудь устроил, чтобы Джагсир перестал у них бывать. Да, по правде сказать, он и приходил-то нечасто. Поэтому раньше и думать было не о чем. Но раз двоюродному брату что-то не понравилось, Никка решил любыми путями отделаться от Джагсира.

Тот сообразил, откуда дует ветер, и теперь заглядывал к цирюльнику раза два в месяц — не чаще.

Бхани все еще ни о чем не знала: Никка даже не заикнулся ей о разговоре с родичем. Однажды она с укором заметила Джагсиру:

— Что это ты пропал? Ну конечно, вся жизнь впереди, и ты захотел освободиться от края моей одежды! Бежать хочешь, через реку переправиться? Смотри не утони!

— К чему теперь бежать, Бхани? — с улыбкой отвечал Джагсир.— Жизни-то осталось — всего ничего. Занят я был очень, потому и не приходил.

Бхани, конечно, лукавила: уж она-то знала, как верен ей Джагсир, с какой преданностью готов он защищать ее от всяческих бед, что бы с ним самим потом ни было. Иногда Бхани казалось, что она в неоплатном долгу перед Джагсиром, что не сумела она воздать ему полной мерой за все его жертвы. Когда ее одолевали подобные мысли, она старалась найти предлог, чтобы заставить Джагсира поднять на нее глаза.

— Посмотри, Джагсиа, мой гвоздик [1]... он что-то слабо держится. Как бы мне его не потерять,— сказала она в один из таких моментов, приближая к Джагсиру свое лицо.

Джагсир посмотрел на серьгу в ее носу, и взгляд Бхани поведал о тайном ее умысле... Сокровенная усмешка выдала эту тайну. Один лишь миг смотрел он в лицо Бхани, и снова глаза его опустились. «Долго ли можно глядеть на солнце?» — подумал он, а ей сказал:

— Ничего, еще держится. Пока не прошло твое время носить гвоздик, он не потеряется.

— Ты нынче мудрым стал, Джагсиа,— насмешливо заметила Бхани.

— Жить возле тебя и не быть мудрым... Тебе самой стало бы стыдно.

Дрожь прошла по телу Бхани. Такие слова, такую нежность, идущую от самого стержня души, ей удавалось выжать из него раз, может быть, два раза в год... В такие минуты она словно бы омывалась водой Ганга, и каждая пора ее благоухала, и многие дни спустя она чувствовала себя чистой, светлой и пьянела от ощущения этой чистоты... Проходили недели и месяцы, она снова терзалась, тщетно пытаясь заставить Джагсира поднять глаза, потом ей это надоедало; подыскав подходящий повод, она надувала губки и говорила:

— Дурачок ты, дурачок! Откуда тебе знать, когда лягушки воду пьют?

Но что мог поделать Джагсир? Долго ли можно глядеть на солнце? А Бхани для него всегда была солнцем, сияющим над его застывшим миром. Жар этого солнца пронизывал его насквозь, разогревал захолодевшую кровь, не давал окаменеть. Жар этот заставлял зеленеть все вокруг, подчас превращал зелень в золото или расцвечивал красками, подобными цветам сархона, хлопчатника, гороха, карира и акации. Это был его мир, в котором стоило жить. Солнце свое он мог орошать водой, мог склонять перед ним голову на рассвете и

[1] Гвоздик — женское украшение для носа.

лишь иногда — не часто, нет, не часто! — решался слить сияние своих глаз, в которых играли все яркие краски его души и бурая темень земли, с ее нестерпимым сиянием. Но как вместить лучезарность солнца в свои два глаза-светлячка? Этого он не знал и, верно, никогда не узнает...

— Ну, тебе дальше надо,— сказал Никка, останавливаясь возле тропы к своему полю. Сказал, верно, только для того, чтобы хоть что-то сказать.

— Да, поскорей начнем, поскорей и кончим,— так же, не вдумываясь в слова, отвечал Джагсир.

И каждый пошел своей дорогой.

7

В поле Джагсир прежде всего оглядел свой участок. Увядшие кустики пшеницы напоминали сирых, голодных детишек. Пшеница на соседних участках, получившая вдоволь воды, за эти дни подросла; Джагсиру показалось, что крепкие стебли ее надменно задрали головы. Он немного постоял, переводя взгляд с одного участка на другой, и опустился на межу. Эта лихорадка совсем его вымотала.

Спустя некоторое время Джагсир все же собрался с силами и принялся рыхлить землю в политых рядах. На свою пшеницу он не мог даже глядеть.

Солнце уже сильно припекало. Джагсира одолела голодная дурнота. Присев у канавы, он вынул из кошеля свою коробочку, отправил в рот катышек опиума, черпнул воды, застоявшейся на дне канавы, запил. От холодной воды его начала бить дрожь, но вскоре он почувствовал, что согревается. Еще немного посидел — и снова взялся за мотыгу.

Работал он долго. Уже миновало время обеда, а он все рыхлил и рыхлил... Закончив очередной ряд, он вдруг почувствовал, что окончательно выбился из сил, и решил возвращаться в деревню.

Проходя мимо тахли, он снова взглянул на свою пшеницу и тяжко вздохнул. Шел домой, а в голову лезли мысли — разные, невеселые...

На другой день вернулся Бханта. Он сказал, что с пшеницей, прилегающей к полю Джагсира, управится сам, а издольщик и Джайба — младший сын Дхарама Сингха — пусть денька четыре поработают в Реру, местности, расположенной к западу от деревни. Дхарам Сингх так и распорядился.

Поле в Реру было немаленькое — одиннадцать гхуманов[1]. Дальняя часть его — гхумана четыре — была засеяна горохом, остальное пошло под пшеницу. Чтобы разрыхлить землю, требовалось дней пять. Можно бы поспеть и раньше, но Джагсир еще не оправился от болезни, а Джайба был совсем мальчик, ему только-только минуло пятнадцать, он лишь в прошлом году перестал ходить в школу и не успел привыкнуть к крестьянскому труду.

Но вот с рыхлением было покончено. На шестой день, чуть свет, Джагсир, не заходя в деревню, отправился прямо на свое поле. Ему не терпелось узнать, есть ли вода в отводном канале, а заодно проведать свою пшеницу.

Но когда он подошел к полю, то еще издали, на расстоянии примерно двух запашек, увидел вдруг нечто немыслимое, отчего сразу зашлось сердце: тахли, его тахли, как-то странно накренилось к земле! Рядом суетились какие-то люди. Джагсир бросился было вперед, но в то же мгновение дерево с громким треском рухнуло.

---

[1] Гхуман — около половины гектара.

Земля ушла из-под ног Джагсира. Тьма, застлавшая глаза, вспыхнула огненными искрами. На миг он замер и тут же ринулся к своему полю. Да, ему не почудилось — трое незнакомых людей только что свалили тахли и теперь совещались о том, как обрубать ветки. Какую-то минуту Джагсир пытался осмыслить, что же произошло? Но гнев, неистовый гнев, от которого раскаленными углями запылали глаза, возобладал. Остановившись по другую сторону дерева, Джагсир бешено заорал:

— Кто вы такие?!

Рубщики, вытянув шеи, глядели в его сторону. Потом шепотом начали совещаться между собой.

— Молчите? Я спрашиваю, откуда вы взялись?!

— Мы с базара. Нас ростовщик прислал, Талия-шах,— послышался грубый голос одного из рубщиков.

— Кто вам позволил рубить это дерево?— все более наливался яростью Джагсир, глядя то на поваленное тахли, то на этих чужих людей.

— Талия-шах нас прислал...

— Каким дьяволом-родичем приходится он тахли? — уже не помня себя, бесновался Джагсир.

— Не говори так, брат,— с укором заметил один из рубщиков, чернявый и тощий, выступая вперед.— Мы — люди ростовщика. Он, верно, договорился с хозяином, вот и велел нам идти сюда. Нас-то ты зачем ругаешь?

— Какой бы чертов свекор вас сюда ни прислал, это тахли мое! Никто не смел его трогать, не спросившись у меня!

Однако при слове «мое» голос Джагсира чуть дрогнул, а перед глазами встал Бханта.

— Если, конечно, оно твое, то ступай, братец, говори с шахом,— посоветовал чернявый.— А нас ругать нечего.

— С шахом-то я потолкую, но до тех пор чтобы с дерева ни листика не упало, не то я такое сделаю — сами не рады будете!

И обезумевший от ярости Джагсир бросился в деревню. Пройдя шагов двадцать, он оглянулся. Ему показалось, что листья поверженного тахли уже начали вянуть. Они мертвенно поникли, подобно покровам, облачающим бездыханное тело. От капель осевшей на них еще на рассвете росы разливалось сияние, будто это был последний взгляд, последнее прощание с жизнью прекрасного дерева.

И тут гнев в сердце Джагсира сменился глухой тоской. Шаги его замедлились. Почти до самой деревни шел он понурясь. В голове бродили странные, совсем чужие мысли, не мысли, а щебень и черепки, раскиданные по земле. Бессвязные слова-одиночки ударяли в мозг, словно крупные и мелкие градины: «Землевладелец»... «Издольщик»... «Хозяин»... «Дхарам Сингх»... «Бханта»... Эти и другие слова... Одни лишь слова, значение которых не доходило до души.

На краю деревни Джагсир вдруг поднял глаза и огляделся. Дома показались ему покинутыми, мертвыми руинами, каждый — лишь небольшая кучка щебня и черепков. А все они вместе громоздились горой. У самого подножия этой горы — лачуги таких, как он, «подлых» людей, лачуги, похожие на собачьи конуры, и живут в них издольщики, на головы которых стекает вся грязь с вершины, где обитают «хозяева».

По деревне Джагсир шел уже еле волоча ноги и, не отдавая себе отчета, куда идет, направился к собственному дому. Во дворе на солнышке дремала Нанди. Заслышав шаги, она спросонок окликнула:

— Кто там?

— Это я, матушка,— ответил Джагсир и прошел в лачугу.

Нанди села на своей кровати.

— Что случилось, сынок? Почему ты вернулся?— встревоженно спросила она.

— Да так...

Ему казалось, что заговори он сейчас с матерью — и конец, он не выдержит и обрушит на нее всю тяжесть, что скопилась у него на сердце...

Нанди за последнее время почти совсем ослепла, в двух шагах человека не различала. Опираясь о клюку, она поднялась с кровати и, заслонясь левой рукой от солнца, стала оглядывать двор. Никого вроде бы не было.

— Да где же ты? Снова ушел?

— Я здесь, матушка... В доме...

Нанди не заметила дрожи в его голосе, однако что-то ее тревожило, и она, опираясь о клюку и держась за стенку, потащилась в лачугу.

— Что с тобой, сынок? Отчего ты не в поле? Или чем расстроен?— прямо с порога засыпала она вопросами.

— Нет...

Но вот Нанди добралась до кровати, обнаружила, что сын лежит, укрывшись с головой ватным одеялом, и невесть как разобиделась.

— Я, того гляди, помру, а тебе и горя мало! Скрываешься, молчишь... Улегся тут да еще закрылся с головой... Что случилось?

От огорчения старуха опустилась на землю, сникла, из глаз ее посыпались мелкие слезинки. Утирая их краем накидки, она плаксиво пробормотала:

— Эх, сынок, сынок! Да разве у меня есть кто на свете, кроме тебя? А ты все ходишь как в воду опущенный... Мне-то, проклятой, в двух мирах что остается делать?..

Джагсир и так уже почти не владел собой, а горькие сетования матери отняли последние силы.

— Матушка... Срубили наше тахли...

Тяжелые слова эти Джагсир произнес быстро, словно боясь, что замедли он хоть на мгновение, и они задушат его.

— Ах ты, Дхарам Сиан...— воскликнула Нанди и обеими руками ударила себя по голове. Но тут же она вспомнила, что Дхарам Сингх в течение многих лет честно выполнял взятый на себя долг, и удержалась от проклятий.

На какое-то время Нанди застыла без движения, словно лишилась памяти. Но вот в зрачках ее заиграли багряные сполохи, морщинистое лицо вспыхнуло.

— Это что же такое он сделал? — запричитала старуха, шаря по земле в поисках клюки.— Да я сгнию у твоего порога! Я помру, о Дхармиан! За кого ты меня принимаешь? Что ты наделал!..

Не переставая возмущенно бормотать, она поднялась на ноги, и, опираясь о клюку, засеменила прочь из лачуги. Джагсир пытался было остановить мать — куда там! Сейчас она ничего не слышала. Она даже не спросила Джагсира, кто и когда срубил тахли.

Дхарам Сингх сидел на чаупале[1] и вил веревку. Заметив еще издали причитающую старуху, он поначалу весело улыбнулся, но вдруг услышал свое имя и насторожился. Когда Нанди подошла поближе, он спросил, посмеиваясь:

— Что с тобой, старушка? Почему бродишь из дома в дом? Может, что случилось?

Нанди ступила еще шага два, потом бросила клюку и плюхнулась

---

[1] Чаупал — помост для отдыха во дворе.

посреди дороги, словно вот так шла-шла — и повалилась без сил. Лицо ее — морщина на морщине — по-прежнему пылало, глаза разгорелись ярче. С минуту она сидела на земле, не произнося ни слова, наконец, отдышавшись, завопила:

— Послушай-ка, сын, Дхарам Сиан! В нашем роду два колена рабски служили тебе. Отец до самой своей смерти разбивал головы змеям на твоих полях, сын с колыбели ворочает на тебя, как черный бык... Я всю жизнь убирала за вами мусор... А ты?... Негодяй ты, Дхармиан! Так-то ты оценил наше усердие? Так оценил...

Обхватив обеими руками голову, Нанди закачалась из стороны в сторону.

— Ох-ох-оо! Ох-ох-о-о! — рыдала она так, словно клокотавший в ней жар наконец-то вырвался наружу.

Дхарам Сингх всполошился — что это творится со старухой? Сидит посреди дороги и поносит его. Это неприятно. Это порочит его честь, которую он пронес незапятнанной через всю жизнь. В проулке возле своих домов торчат люди, они уже начали подозрительно коситься на соседа и его гостью. Подстегиваемый их колючими взглядами, Дхарам Сингх подошел к Нанди и протянул ей руку, помогая подняться.

— Полно, тетушка, войдем в дом. Там ты все мне и скажешь...

Нанди встала и поплелась рядом с Дхарамом Сингхом, не переставая осыпать его упреками.

В доме Дхарам Сингх усадил старуху на стоявшую у входа кровать, а сам уселся перед ней на полу и, по-прежнему посмеиваясь, сказал:

— Теперь, матушка, можешь бранить меня сколько душе угодно. Но сначала объясни толком, за что гневаешься.

Хотя Дхарам Сингх произнес эти слова самым обычным тоном, он был очень обеспокоен. Никогда еще Нанди не говорила с ним так. Видно, случилось что-то неладное.

То, что Дхарам Сингх так уважительно обошелся с Нанди — поднял ее, ввел в дом и усадил на кровать,— немного смирило гнев старухи, но до спокойствия ей было еще далеко.

— Это ты у меня спрашиваешь? Гляди каким умником стал! Спроси у своей совести, пусть она ответит, можно ли делать такие дела!

— Клянусь коровой, тетушка, я не знаю, о чем ты говоришь,— смиренно ответил Дхарам Сингх. Он положил руку на раму кровати.— И еще я клянусь своим смертным ложем, что никогда не злоумышлял против тебя. Поэтому и прошу — объясни, в чем дело. Но ты словно не...

— Не... Не...— перебила его Нанди.— Когда я об этом услыхала, ушам своим не поверила! Чтобы брат Дхарма так меня обидел! Экое беззаконие... Своеволие...

Дхарам Сингх молчал. Ему показалось, что Нанди просто мелет чушь.

На шум явилась Дханно, жена Дхарама Сингха, увидала сидевшую на кровати старуху, а перед ней на полу — хозяина дома. Лицо женщины, лоснившееся, будто горшок из-под масла, вспыхнуло.

— Подумать только! Эта низкорожденная ведьма расселась на кровати, а мы — на земле! — с возмущением пробормотала Дханно. Подбоченясь и ехидно усмехаясь, она громко спросила:— Что это нынче со старушкой? Может, в нее бес вселился? Чего ради она крик подняла?

Нанди не обратила внимания ни на приход Дханно, ни на ее слова. Не то было с Дхарамом Сингхом. Язвительная насмешка Дхан-

но покоробила его. Всю жизнь он страдал от злобных, больно ранящих выходок жены, всю жизнь старался сохранить в доме лад и мир. Он привык пропускать мимо ушей все, что говорила Дханно, однако отношение жены к Нанди, которую он чтил как мать, его задело.

— Эх, Дхарам Сиан! Покойников предавать не годится! — бормотала между тем Нанди.— Своими руками посадил он это тахли, выхаживал его, будто родное дитя... Перед смертью он так и сказал мне: «На моем мархи хочешь — возожги светильник, хочешь — нет, об одном только прошу тебя: заботься о тахли!» С этими словами и отошел...

Дхарам Сингх больше не вслушивался в слова старухи: из ее беспорядочной речи он уже понял, что произошло, и ему почудилось, что земля пошатнулась. Он знать не знал, когда упало тахли! Но кто в этом был повинен, он уразумел сразу и так разъярился, что случись в этот момент Бханта поблизости, один бог знает, чем бы все кончилось.

— Тахли принадлежит тем, на чьей земле растет,— все тем же язвительно-спокойным тоном сказала Дханно.— Зря ты себя тревожила, старуха! — И тихонько добавила:— Тоже, явилась! Оказала великую честь! Подумаешь, и в самом деле землевладелица.

Нанди и на этот раз не слыхала слов Дханно, однако до Дхарама Сингха дошло даже то, что та пробурчала себе под нос. Он совсем было вышел из себя, но тут же подумал, что необходимо как-нибудь поразумнее затушить эту свару.

— И кому это взбрело в голову выдумать такую глупость, тетушка? — сказал он.— Никто твоего тахли не продавал, никто не рубил. Успокойся и ступай домой.

Едва только Нанди, до тех пор будто разбитая параличом, услыхала слова Дхарама Сингха, как она и в самом деле вдруг успокоилась. Гнев ее растаял, и она сказала уже совсем другим, почти спокойным тоном:

— Мне это Джагсир сказал, сынок. Он, верно, что напутал, а я-то, я — чуть не померла! Вот, думаю, какую несправедливость учинил братец Дхарам Сиан...

В душе Нанди, правда, еще жило какое-то сомнение, но страстная вера в то, что слово Дхарама Сингха крепче золота, возобладала над яростью и безнадежностью, и она робко добавила:

— Если все так, как ты говоришь, ты уж прости мне, старой, злое слово: с тех пор как *его* не стало, я ведь и разум потеряла...

— Полно, тетушка! Дети от родителей все должны выслушать. Ты только не тревожься. Да будет проклята моя жизнь, если тебя кто обидит!

Дханно продолжала стоять, подбоченясь и насмешливо улыбаясь. Дхарам Сингх видел подлый блеск ее глаз, для этого ему и глядеть-то на нее не надо было. Гнев его все нарастал, казалось, он вот-вот вырвется наружу, но... Что случилось, то случилось... Подумав так, Дхарам Сингх взял Нанди за руку и, помогая ей подняться, сказал:

— Идем, я провожу тебя домой.

Жар, которым полыхали глаза Нанди и сотканное из морщин лицо, угас. «О, Рам!» — с облегчением вздохнула она, поднимаясь на ноги. Дхарам Сингх повернулся, чтобы подобрать ее клюку, и тут он услышал, как его жена проворчала:

— Да кто она такая, эта полоумная из сучьего племени? Издольщица? А может, богиня? Тахли ее, видишь ты, продали! А тахли-то разве ее мужа было? Гляди как зазналась, ведьма! Не будь она такая дохлая...

И эти речи жены Дхарам Сингх выпил, как воду. Подал Нанди клюку и повел домой. Дорогой он молчал, а старуха в сотый раз повторяла ему, что сказал про тахли Джагсир.

Дхарам Сингх усадил Нанди во дворе, а сам прошел в лачугу. Долго сидел он возле Джагсира. Тот поведал ему во всех подробностях историю с порубкой. Дхарам Сингх все молчал. Только под самый конец он собрался с духом и сказал:

— Дело уходит от меня, Джагсиа... Жена задумала разрушить крепкий дом. Она прибрала к рукам Бханту и совсем его испортила. Я-то надеялся, что семья моя всегда будет едина, как сжатый кулак... Уморят они меня, проклятые...

Голос Дхарама Сингха был полон печали. Джагсир ощутил его боль, как свою. Прежде чем уйти, Дхарам Сингх тихонько объяснил Джагсиру, что обманул Нанди только для того, чтобы как-то успокоить ее. И самого Джагсира просил не падать духом. Но Джагсир подметил, что, ступая за порог лачуги, Дхарам Сингх вытер глаза концом тюрбана.

8

Почти весь день провалялся Джагсир дома, лишь к вечеру встал и пошел со двора. На краю деревни ему повстречался шедший с базара Бханта. Увидев его, Джагсир вздрогнул. Все обиды, которые нанес ему этот человек, встали вдруг перед глазами. Он потупил запылавший было взор и прошел не останавливаясь, не оглядываясь. Бханта посмотрел на ссутуленную спину Джагсира — он догадывался о том, что творилось на душе у издольщика,— и с усмешкой пробормотал: «Ты, братец, прямо землевладелец! Идешь проверять, как там твоя собственность...»

Джагсир не слышал его слов. Заложив руки назад, он шел своим путем. Но взгляд Бханты он чувствовал. От этого долгого, неотрывного взгляда горела спина, по всему телу разливался жар.

Пока Джагсир добрался до своего поля, наступила ночь — безлунная, с угрюмой чернотой кустов и деревьев. За верхушки столбов, стоявших на холмах по обе стороны дороги, кое-где зацепились звезды. Прежде, когда Джагсиру случалось проходить тут поздними вечерами на полив, все это казалось сказочно красивым. В молодости на спор он не раз взбегал на холмы и отдирал щепки с верхушек столбов — тогда ему воистину мнилось, что он достает звезды. От рассказчиков кисса — древних сказаний — он слышал стихи великих поэтов. В них говорилось о влюбленных юношах, срывавших с неба звезды для своих милых. Бхани он об этом никогда не заикался: говорить ей такое значило бы хвастать, фальшивить. Но здесь, на этих небольших вершинках, взбираясь на высокие столбы и отдирая щепки с их макушек, он задыхался от радости, будто и в самом деле срывал звезды для возлюбленной. Звезды, которые всю ночь сверкали в небе, словно глаза Бхани... Звезды, вечно сияющие в ночи... Звезды, никогда не меркнущие и не дающие уснуть... Сегодня эти звезды казались ему слезами, которые нависли на ресницах, обрамлявших тусклые, грязно-серые, пустые глаза... Слезами, которые не падают и не просыхают... На эти звезды он глядеть не мог и, низко опустив голову, шагал по дороге.

Но вот наконец и поле. Джагсир поднял голову, увидел то, что осталось от его тахли, и сердце его оборвалось. Обрубок пня напоминал мертвеца. Все остальное — ствол и ветви — эти люди увезли с собой. Джагсир с минуту задержался на пригорке, глядя вниз. На душе у него было черно. Затем он спустился к пеньку и долго гладил

его, как бывало, гладил спины быков. Потом обошел вокруг пня, заметил у корней какую-то яму локтей в пять глубиной, удивленно постоял возле нее и направился на свой участок. Его поле так и осталось неполитым, пшеница на нем росла редко и плохо поднялась. Джагсир принялся шагать по спекшейся в камень пашне, по редким кустикам пшеницы, будто прикидывая, каков-то выдастся урожай. Сухие стебли трещали под ногами, как зеленая саранча. Треск этот доходил до слуха Джагсира, но ему словно бы и в голову не приходило, что он вытаптывает собственную пшеницу.

Дважды обойдя поле, Джагсир опять очутился около ямы, снова заглянул в ее пустую могильную глубь, и вдруг ему показалось, что там, в черноте, что-то белеет. Он спустился в яму и на дне ее обнаружил выбеленный кирпич от поминального столбика отца. Некоторое время он стоял, рассматривая этот кирпич, наконец, выбрался из ямы и принялся внимательно оглядывать вокруг себя землю. Да, вон там, у межи, валяется еще несколько кирпичей. Джагсир собрал их в кучу, присел рядом, не отрывая глаз от своей находки. Неожиданно он почувствовал словно бы толчок в сердце. Там, внутри, что-то переливалось — снова и снова... Потом он снял тюрбан, расстелил его, в один конец сложил кирпичи, увязал другим концом, поднял себе на голову, спустил пониже прикрывавшее плечи небольшое одеяло и отправился домой.

До деревни оставалось пройти поля три или четыре, когда Джагсир столкнулся с бежавшим навстречу водоносом. Тот уставился на Джагсира и замер как вкопанный шагах в десяти от него, словно увидел демона или еще какую нечисть. И верно, жутью веяло от этой фигуры, завернутой в приспущенное до колен одеяло, с грузом кирпичей на голове... По крайней мере, водонос почел за лучшее скатиться с дорожной насыпи на вспаханное поле; оттуда он продолжал опасливо всматриваться в Джагсира, видимо ожидая от него чего-то недоброго. А Джагсир все шел и шел вперед. Перепуганного водоноса он, кажется, не приметил.

Джагсир толкнул калитку — она была не заперта, Нанди лишь прикрыла ее. Кирпичи он свалил в углу двора и присел возле них на корточки. Долго не мог встать — ноги были словно чужие. Так и сидел, обхватив голову руками, время от времени поглядывая на кирпичи. Пересчитал их — всего оказалось одиннадцать штук.

Наконец Джагсир поднялся и взглянул на свою лачугу. Сквозь щели между досками, из которых была сколочена дверь, пробивался свет — в лачуге горел огонь. Потом послышался голос Нанди. «О, Рам! О, Рам!» — вздыхала она. И тотчас губы Джагсира сами собой искривились в усмешке — пустой, как яма у корней тахли...

Джагсир сбросил с плеч одеяло, положил его возле чауки [1], захватил большой таз и вышел в проулок. Там он набрал в таз глины. Затем налил в нее воды, размесил и в западном углу двора сложил из кирпичей поминальный столб — такой же, какой прежде стоял под тахли. Пока он укладывал кирпичи, ему вдруг вспомнилось — а где же отцовский пепел? Но мысль эта только скользнула краем и тут же ушла.

Наконец мархи был готов, и Джагсир отправился спать. Тихонько подняв щеколду, вошел в лачугу. Светильник еще не погас. Нанди, с головой укрывшись одеялом, продолжала бормотать свое: «О Рам!» — но душивший ее кашель то и дело прерывал эти возгласы. Джагсир, словно вор, прокрался к своему ложу и повалился на него,

---

[1] Чаука — четырехугольное возвышение.

даже не подстелив ничего на сетку, только завернулся в стянутое с веревки старое одеяло.

До поздней ночи пролежал он неподвижно, глядя в потолок. Иногда в голове молнией мелькала мысль: «Да что же это делается?» — и тут же исчезала, словно линия, проведенная на поверхности воды. Никогда еще в мозгу его не было такой мешанины. Усталые глаза лопались от боли, он все пытался закрыть их, но веки вновь поднимались.

— О, Рам!

Возгласы Нанди доносились до него, будто из колодца. Но вот она заговорила:

— ...Сегодня он куда-то сбежал. Кто знает, что с ним творится? Ходит, бродит, как потерянный. О, Рам! Только ты...

Но душа Джагсира оставалась немой. Не родилось в ней ответного движения. Весь он омертвел, словно высохшее дерево. А глаза превратились в камни.

Только лишь тогда, когда загорланили предрассветные петухи, взор его застлала тьма. Нет, глаза продолжали оставаться открытыми, просто он перестал видеть. А тело, казалось, готово было смешаться с землей. Один бог знает, когда он забылся. А проснулся уже знойным днем. Нанди, опираясь о клюку, стояла над ним и бормотала:

— Кто знает, когда он вернулся? Когда заснул?.. Где ты был? Сначала сказал бы, а потом и ступай куда хочешь... Знать бы тебе, как у матери сердце болит... Сердце матери — оно всегда при ней... Только сынкам и дочкам невдомек...

Не переставая бормотать, Нанди вышла из лачуги. Тогда Джагсир встал и, не сказав ей ни слова, опять ушел.

9

Из лачуги Джагсира Дхарам Сингх пошел прямо в поле, расспросил обо всем рабочих, обрубавших ветки тахли. Те сказали, что Бханта продал дерево базарным барышникам. Толковать больше было не о чем, и Дхарам Сингх отправился домой. Шел и думал, что делать дальше. Дома, захватив большую связку пеньки, он ушел под навес пристройки. Дханно велела младшей дочке отнести ему поесть. При появлении девочки Дхарам Сингх вздрогнул: близилось тяжелое объяснение с семьей. Но тут же пересилил себя и с усмешкой спросил малышку Бхилли:

— Что поделывает твоя матушка?

— Буйволице бока охаживает. Батюшка, зачем она с утра до ночи скотину лупит?

Простодушный вопрос Бхилли оторвал Дхарама Сингха от его печальных мыслей. Он ухватился за этот вопрос, как утопающий в колодце — за брошенную веревку. Громко рассмеявшись, он потянулся к еде.

— Если, доченька, скотину не бить, она слушаться не станет.

— Это почему же? — спросила Бхилли, усаживаясь возле отца на корточки и обвивая руками колени. При этом она успела еще махнуть рукой — ну точь-в-точь как умудренные опытом люди, когда желают сказать: «Ничего-то ты не смыслишь!» — Разве скотина — бесчувственная? Я раз двадцать оставляла буйволицу одну возле пруда, и она всегда находила дорогу домой. Она, батюшка, знаешь какая умная! А матушка только и делает, что колотит бедняжку! Зачем она так? Сердца у нее, что ли, нет?

Дхарам Сингх не сумел ничего ответить дочке, только внимательно

но вглядался в доброе, смышленое личико, и снова душу его стеснила печаль.

— Батюшка, а что я тебе скажу! — зашептала Бхилли, с опаской оглядываясь по сторонам, будто собираясь поведать отцу бог весть какую тайну.

— Ну говори, доченька,— сказал Дхарам Сингх, силясь улыбнуться.

— Матушка и братец Бханта позавчера все шушукались, а потом матушка и говорит: «Ты, мол, заставь отца выделить тебе землю и долю в хозяйстве, не то он всю округу кормить будет». А братец Бханта сказал: «Давайте все вместе от него отделимся, а ему оставим пристройку, пусть он там сидит и собак от дома гоняет». Батюшка, ты теперь и в самом деле будешь жить здесь, в пристройке?

Дхарама Сингха охватила ярость. Каждое слово Бхилли вздымало в голове целый ураган мыслей. Когда девочка наконец умолкла, ему стоило огромных усилий улыбнуться и ответить:

— Что поделаешь, доченька? Придется жить здесь.

— Но тебе одному будет страшно...

— А моя Бхилли? Она ведь со мной будет.

— Хорошо. Я буду приходить к тебе.

Бхилли сказала это так твердо, что Дхарам Сингх рассмеялся.

— Ты, батюшка, кушай, а я пока тут приберу. И что только делают невестка и матушка, когда сюда ходят? Смотри, какая грязь!

Бхилли сбегала за веником и принялась убирать под навесом. А Дхарам Сингх все глядел и наглядеться не мог на свою разумницу дочку. Две тяжелые слезы скатились из его глаз и застряли в густых усах. Он отодвинул еду и снова принялся за работу — вил веревку и все думал, думал...

— Батюшка, я теперь каждый день буду здесь убирать, пока не станет совсем чисто,— болтала Бхилли, сметая мусор в кучу.— А потом перейдем сюда жить. Верно, батюшка?

— Верно, дочка, верно,— отвечал Дхарам Сингх, не поднимая глаз от работы.

Покончив с уборкой, Бхилли снова уселась возле отца. В волосах у нее застрял мусор, ресницы стали совсем светлыми от пыли, но мордашка сияла довольной улыбкой.

— Что же ты не кушаешь, батюшка? — ласково спросила она.

— Не хочется, доченька.

— Ладно, за посудой я потом приду. А то как бы матушка не рассердилась, что меня долго нет. А сама-то за целый день соломинки не переломит, только и дел у нее, что с невесткой браниться да меня ругать! И когда мне в школу ходить? Когда работать?

— Ничего, доченька, как-нибудь...— грустно, не думая о том, что говорит, отозвался отец.

Бхилли ушла, и снова круговерть мыслей одолела Дхарама Сингха. Мыслей, подобных черной туче, сквозь которую не пробивался ни единый светлый лучик. В этом непроглядном мраке потонул, казалось, весь труд его жизни, вся хранимая с таким тщанием честь.

До позднего вечера просидел Дхарам Сингх в пристройке — вил веревку и думал горькую думу. Когда же он, наконец, вернулся в дом, семья уже поужинала и все улеглись спать. Услышав, как муж дернул дверь, Дханно из дома крикнула:

— Просунь в щель руку, подними щеколду. Тебе постелили там, у входа.

Дхарам Сингх и не подозревал, что дело сразу повернется так круто. На миг разум его, и без того омраченный печалью, запылал гневом. Но снова мудрость пересилила, и гнев погас.

Просунув руку между планками двери, Дхарам Сингх поднял щеколду, в кромешной тьме ощупью добрался до своей кровати.

— Если хочешь есть, ужин тут, в теплой нише,— послышался в темноте бранчливый голос Дханно.

Ничего не ответив жене, Дхарам Сингх молча улегся. «Почему же именно сегодня все вдруг изменилось?» — с болью думал он. Голова разламывалась, усталые глаза слезились. И вдруг он подумал: «А может, и в самом деле от них отделиться — выделить Бханте причитающуюся ему долю...» Но мысль эта показалась ему дикой: а как же честь рода, которой он так дорожил? «Что люди скажут? Вот, мол, глядите — вырастил сынка, а потом пошел делить с ним тряпье да горох! Проклятье тому, кто идет на такой раздел!..» От всех этих мыслей голова шла кругом. Уже миновала полночь, а он все ворочался без сна — грубые слова Дханно, словно мелкие камни, впивались в тело.

И лишь к тому времени, когда с криком петуха забылся Джагсир, благодатный сон унял боль усталых глаз Дхарама Сингха. Но боль сердца, перелившись в причудливые образы снов, окрасила небеса его пустого мира в угрюмый, землистый цвет.

10

Утром к Нанди пришла Сутхи — попросить лом. Увидав во дворе поминальный столбик, который ночью сложил Джагсир, она в первый момент оторопела, но тут же попыталась разведать, что, собственно, произошло.

— Эй, тетушка! — В ее громком окрике звучало и удивление и насмешка.— Что это за домик для светильника у вас во дворе?

— Какой еще домик? — не меньше Сутхи удивилась Нанди, заслоняясь рукой от солнца и оглядывая двор.

— Припадаю к ногам твоим, тетушка! — Сутхи подошла к кровати и прикоснулась к ногам старухи.— Вон он, домик-то, в том углу.

— Да пошлет всевышний здоровья тебе и твоим героям-детям, да будешь ты счастлива в старости,— ответила на ее приветствие Нанди и снова изумленно спросила: — В каком углу, сестрица-рани? Клянусь братом[1], не пойму, о чем ты...

— Вставай покажу.

Сутхи взяла Нанди за руку, помогла ей подняться и повела в угол двора.

— Вот, смотри.

Тут только осенила Нанди ужасная догадка. Старуха села где стояла, будто враз обезножела. Долго-долго ощупывала она руками мархи. Сотканное из морщин лицо то вспыхивало, то бледнело. Сутхи не могла взять в толк, что творится с соседкой, и продолжала улыбаться. Но вот она заметила, что лицо Нанди мокро от слез, и усмешка тут же пропала. Сутхи присела возле старухи.

— Что с тобой, матушка? — сочувственно спросила она, поглаживая Нанди по плечу.— Вы, верно, поставили поминальный столб в честь святого Тхолы?

— Не будет тебе нигде покоя, великий законник! — утирая слезы, дрожащим голосом проговорила Нанди, словно перед ней была не Сутхи, а сам Дхарам Сингх.— Вчера, когда я спросила, что ты сделал, ты надул мне в уши целый тайфун врак. Успокоил меня, сам домой проводил. И моего честного сына заставил душой кривить. Так будь же ты проклят в этом и будущем мире! Пусть у тебя и соломинки не

[1] Традиционный оборот — имеется в виду муж собеседницы.

останется! О ты, праведник! Так-то ты отплатил нам за наши труды.

Речь ее, пуганая и отчаянная, прерывалась тяжкими вздохами. И вдруг Нанди запела:

Ты, как раб, потел ради этих людей,
О отец, ушедший так рано!

И ты видишь — твой прах развеян в ветрах,
О несчастный, любящий странник!

Ты умен — так возьми же и нас в небеса,
О мудрец, ушедший так рано!

Сутхи-то нужен был лом, но творившаяся в этом доме несуразица взволновала ее. А тут еще Нанди взялась надрывать сердце.

— Полно, матушка, ну что теперь поделаешь,— дрожащим голосом успокаивала она старуху.— Зачем тревожить душу несчастного? В чем он повинен? Человек-то какой был — ровно святой! Разве знал он, сестрица, что людское сердце чернее ночи? А эти поганцы еще получат что им причитается! Ну, ладно... Ну, перестань...

Долго старуха не унималась. Но вот ей стало вроде бы полегче, и, утирая слезы, она хрипло заговорила:

— На этих грешников он всю жизнь работал, шкуры своей не жалел... Когда смерть за ним пришла, он все сына за руку держал, так и отошел... Теперь у этого в работе день за ночь заходит... Что же они такое с нами сделали? Ох, знала бы я раньше, сестрица-рани, я бы сына и на порог к ним не пустила!

Немало прошло времени, пока Сутхи удалось кое-как успокоить соседку. Она усадила Нанди на кровать и ушла, так и не зайкнувшись о ломе.

Вернулся домой Джагсир, услышал, как мать слабым, надорванным голосом поносит Дхарама Сингха и его семейство, и сразу все понял. Не сказав ни слова, он тихонько прошел в лачугу.

До самого обеденного времени сидела Нанди во дворе и отводила душу, бормоча свои проклятья. Наконец, она встала и потащилась к лачуге. Теперь она окончательно ослепла, даже слабая способность различать свет и темноту оставила ее.

— Ты пришел, сынок? — ощупывая руками дверной проем, спросила Нанди.

Но когда Джагсир тихо ответил: «Пришел», она не услышала. Где ощупью, а где по догадке, она добралась до его кровати, села возле нее на полу и начала бормотать:

— Для чего же ты, сынок, сказал мне неправду? Знала ведь я, как эти негодяи отплатят за все наши труды... Чего еще от них ждать? Они и сесть-то рядом с нами брезгуют, только издали, словно собакам, кидают нам кость. Это раньше люди для людей крови своей не жалели... А нынче...

Тут Нанди закашлялась, завздыхала...

Джагсиру от ее нытья стало совсем невмоготу, да и голова разламывалась. Поэтому он не стал слушать материнских причитаний, а закрыл глаза и натянул на голову одеяло. Так и не узнал он, долго ли еще сидела возле него мать, долго ли бормотала свои жалобы и закатывалась в кашле...

Не прошло и дня, как новость, сообщенная Сутхи, разнеслась по всему кварталу, а затем и по деревне. Иные дотошные соседи, желавшие убедиться во всем собственными глазами, тайком заглядывали во двор Джагсира и потом со смаком рассказывали остальным, что они там увидели. Кое-кто поразумнее задумался, мудрые люди решили, что такое происшествие — знак гнева божьего, и ожидали всяческих

бед. Повсюду только о том и говорили — но лишь тихо, между собой, в открытую никто не обмолвился ни словом. Умные люди считали, что не годится досаждать тем, кого и без того настигла божья кара.

А Джагсир снова, уже вторую неделю, лежал больной. Вернулась лихорадка, да еще и кашель прибавился. Нанди четыре-пять дней ходила за ним, подавала то холодное, то горячее, а потом и она свалилась. Зима принесла ей удушье. Стужа была такая, что бедная старушка подчас совсем лишалась дыхания, глаза у нее закатывались, руки и ноги сводило...

Хотя Джагсира и самого-то еле ноги держали, но ради матери он поднялся и пошел на работу. Пилюли, которые дал Раунаки, давно кончились, да и пользы от них не было. Дня два Джагсир кое-как перемогался, на третий же почувствовал, что здоров. А вот Нанди все хворала, и Джагсиру думалось, что на этот раз ей не выкарабкаться.

Однажды в студеную ночь он вдруг проснулся: ему показалось, что кровать матери пуста. В лачуге горел светильник, дверь была открыта. Он вскочил, вышел наружу и увидел, что Нанди, упираясь руками в землю и волоча за собой ноги, словно калека, ползет через двор к мархи. Джагсир услышал ее тяжелое, сиплое дыхание. Он рванулся было, чтобы поднять ее, но внезапно передумал и присел на пороге.

— Ну вот... сейчас приду... — словно в беспамятстве произнесла Нанди, добравшись наконец до поминального столбика и ощупывая его руками. Говорила она громко, словно с глухим.— Теперь уже нет на мне позора... Тебе не стыдно — ну и мне стыдиться нечего... Кабы ты хотел жить по закону, так придумал бы что-нибудь, прежде чем помереть... А теперь ни тебе нет спасения, ни мне... Зря погибли две жизни... Лучше бы нам с тобой и на свет не родиться... К чему жить, если не продолжить свой род?.. Таких пропащих и без нас немало...

Нанди захрипела, стала валиться набок. Джагсир подбежал, взял ее, как малого ребенка, на руки, внес в лачугу и уложил на кровать. Мать дышала часто, прерывисто, глаза ее неподвижно застыли. Джагсир взял из ниши глиняный горшочек, в нем было немного теплой воды; набрав воду в рот, сбрызнул Нанди лицо, но и это не привело ее в чувство. Тогда он поплотнее укутал мать одеялом, сверху положил другое, а сам встал над нею. На мгновение мелькнула было мысль позвать аскета-знахаря, однако Джагсир никуда не пошел, а присел на свою кровать и сам себе вслух сказал:

— Коли пришел ее час, не к чему тянуть. Зря только будем мучить беднягу...

Он улегся на кровати так, словно все происходившее было ему безразлично, и уставился глазами в потолок. И вдруг ему померещилось, что с потолка на него кто-то смотрит и спрашивает:

— Скажи, подлый человек этого подлого мира, зачем червям из преисподней дается людское обличие?

А потом вновь лихорадка отняла память. Когда же Джагсир пришел в себя, ему почудилось, что дыхание матери сопровождается каким-то странным звуком. Но пока он поднимался с кровати, звук этот замер. В лачуге стало совсем тихо. Джагсир подошел, взял Нанди за руку, почувствовал, как слабеет под пальцами биение крови, увидел, как потемнели наполовину прикрытые веками глаза...

Он сдернул с бельевой веревки одеяло, расстелил на земле, переложил на него мать.

— Вот ты и ушла,— проговорил он.— Ушла не взяв в рот священной воды Ганга. И я скоро уйду отсюда. Следом за тобой.

Джагсир снял и отложил в сторону подстилку с материнской кро-

вати. Затем поплотнее завернулся в одеяло, сел возле тела матери и уперся взглядом в стену. И потянулись долгие, долгие часы — пустые, бездумные.

Когда через дверные щели стал пробиваться утренний свет, Джагсир поднялся и вышел из лачуги. Прежде всего он сообщил печальную весть сведущим в таких делах старым людям из своего квартала, потом пошел к Дхараму Сингху. После того дня, когда срубили тахли, Дхарам Сингх перестал бывать в доме, а обосновался в пристройке. Джагсир нашел его лежащим под навесом, подошел к кровати и проговорил:

— Брат... Ночью матушка скончалась...

В ответ он не услышал ни удивленного возгласа, ни слов сожаления. Дхарам Сингх лишь вздохнул и сказал с каким-то даже удовлетворением:

— Скончалась — и ладно... Много, верно, хорошего сделала она в прежних своих рождениях... пока не пришла в наш мир... — Голос его пресекся.

Он встал, надел тюрбан, сунул ноги в туфли. Покрасневшие от бессонницы глаза его налились влагой. Эта влага растопила лед, сковавший Джагсира: он опустил голову, и слезы хлынули рекой, словно долгие годы копились они в душе...

— Помяни имя всевышнего... Все мы уйдем, так уж положено. Кто раньше, кто позже,— хрипловатым голосом утешал его Дхарам Сингх.

Ему хотелось укрепить сердце Джагсира, но при этом сам он так расстроился, что уж и сказать ничего не мог. Немного погодя он вытер глаза, набросил на плечи мукку и потянул Джагсира за руку, заставляя подняться.

— Идем, позаботимся о ней в последний раз. А наша печаль умрет лишь вместе с нами...

Во дворе у Джагсира собралось уже довольно много народу. Женщины омыли тело покойной. Сухти знаком позвала Джагсира в лачугу. Дхарам Сингх присоединился к сидевшим снаружи мужчинам.

— В чем мы ее положим? — с тревогой спросила Сутхи Джагсира.— Тряпки какие-никакие найдутся?

Джагсир об этом понятия не имел. Он пошел в дальний угол лачуги, стал открывать старый сундучок. Ржавый замок поддался только после того, как его хорошенько потрясли. Наконец, крышка была поднята, Джагсир сунул руку внутрь и тут же сверху обнаружил небольшой узелок, увязанный в кусок домотканины.

— Может, это оно и сеть? — предположила Сутхи, заглянув через плечо Джагсира в сундучок.

В узелке оказались три сари, саван и веревочный поясок.

— Тут все, что надо,— успокоенно промолвила Сутхи и унесла узелок.

А Джагсир остался. В душе его снова заговорил тот, ночной человек. «И это все твои сокровища, матушка?» — спросил он. Джагсир не мог сдвинуться с места и опустился на землю возле сундучка. Весь облик его представлял сейчас многоцветную загадку: одной краской была расцвечена чужая улыбка на губах; другой — цветом скорби и беды — горели его глаза; третьей краской — угрюмым цветом старой соломы в его гнезде, цветом темного будущего — отливало изможденное, высохшее лицо. В этом сочетании цветов как бы раскрывалась тайна всех прежних поколений, всех предков Джагсира. Душа его только лишь угадывала эту тайну, проникнуть же в ее глубину он был пока не в силах. Неведомое оставалось неведомым, ибо краски подчас обманывают человеческий глаз: два цвета, смешавшись, дают третий...

Спустя некоторое время Джагсир все же вышел и присоединился к сидевшим во дворе. Как бывает на подобных сборищах, затеяв обычный разговор, некоторые люди подчас увлекали его в опасное русло. Но открыто судачить никто не решался. Иногда мелькало кое-что, не особенно лестное для покойницы, однако мягкость Джагсира неустанно тупила острия шипов, пока наконец двое-трое мудрых односельчан не завели подобающую случаю беседу.

После того как тело Нанди было предано огню, жители деревни, прослышавшие о ее кончине, потянулись к лачуге Джагсира. Женщины сидели в одном конце двора, мужчины — в другом. К вечеру люди разошлись, во дворе остались лишь Джагсир и Дхарам Сингх. Джагсир упрашивал старого хозяина пойти домой, отдохнуть, но Дхарам Сингх, тяжко вздохнув, сказал:

— А есть ли у меня дом, Джагсиа?

Он с минуту помолчал, потом заговорил, словно решившись наконец сбросить груз, так больно давивший на сердце:

— У тебя — одна печаль. У тебя — никого и ничего... А думаешь, те, у кого все есть — дом, семья, земля, груда добра,— они счастливы? Ты — мой брат, что мне от тебя таиться? Когда срубили твое тахли, в доме началось такое, что я оставил все и живу теперь в пристройке под навесом, как аскет... Что поделаешь? Этот мир, верно, создан для дурных людей. Чтобы с ними жить, надо иметь костяк, крепкий, как стан железной повозки весом в семь манов, тело — жесткое, как корневище акации, а душу тяжелую, как молот. Мягкого человека легко оскорбить, мягкого человека растерзают и развеют по ветру, как ворох шелухи.— Дхарам Сингх чуть передохнул и горячо продолжал: — Что это за мир — без любви, Джагсиа? А любовь сейчас будто вымело из сердец... Земля и собственность лишь раздувают пламя вражды. Если люди не сошлись по душе, то земля, собственность — только дерьмо в их руках. И люди лижут это дерьмо... Да будь проклята такая жизнь!

Дхарам Сингх умолк. Потом с тяжелым вздохом прошептал: «О всевышний!» — и отправился домой. А Джагсир совсем растерялся. Он сидел, размышляя о том, что рассказал Дхарам Сингх, снова и снова возвращался к его словам о теле, жестком, как корневище, и о душе, тяжелой, как молот, но каким должно быть лицо у такого человека, он не знал.

Дхарам Сингх выспался, поел, прихватил пару лепешек для Джагсира и снова пошел делить с ним скорбь.

До поздней ночи длилась их беседа. Дхарам Сингх откровенно рассказал о черных замыслах Бханты и его матери. И когда в ту ночь он засыпал, на душе у него было легко. А Джагсир, хоть и любил всю жизнь Дхарама Сингха, почему-то не мог целиком уйти в его горе и лишь на словах проявлял сочувствие. Когда же Дхарам Сингх ушел спать, Джагсир не переставал думать о нем.

На третий день после кончины Нанди Дхарам Сингх сам выбрал из ее пепла все, что надлежало передать аскетам на Ганге, проследил, чтобы весь обряд был выполнен как следует, а Джагсиру сказал:

— Ты только не тревожься. Я, правда, и сам-то сейчас не в себе. Все, что у меня есть, я отдам на благие дела, тогда, может статься, и моя жизнь пройдет не без пользы. А ты теперь отправляйся в Харидвар[1]. О смерти потом толковать будем. Насчет бумажек и кругляшек не беспокойся — на вот, возьми сколько есть.

Он протянул Джагсиру пять бумажек по десять рупий, но у того рука не поднялась взять их.

---

[1] Харидвар — священное место на Ганге.

— Держи, держи! — прикрикнул Дхарам Сингх, втискивая деньги в кулак Джагсира.— Разве я вам чужой? Ведь покойница по закону приходилась мне матерью, значит, и ты мне по закону брат. Кто еще остался у меня в этом мире? — И он прослезился

— Куда же я дену твой дар, брат Сиан? — не помня себя, воскликнул Джагсир. Он прильнул к груди Дхарама Сингха и заплакал.

Дхарам Сингх утешал Джагсира, словно малое дитя, но тот все не мог успокоиться, как будто именно сегодня настало время смыть с души боль, копившуюся там в течение всей жизни.

11

Весть о смерти Нанди разлетелась по округе. В доме Джагсира собрались все его четыре сестры, пришло несколько близких и дальних родичей со стороны отца. Глядя, как принимает их Джагсир, люди рты поразевали. Во время угощения иной обладатель тюрбана из дешевого муслина не знал, куда глаза девать от стыда за свою бедность. Сестрам же Джагсир подарил по три шелковых сари каждой, по пять серов фруктов и сластей да еще деньгами дал по пять рупий. Ни одного богатого землевладельца деревни не поминали так щедро. Люди в толк не могли взять, откуда такая роскошь.

— У этого чертова шурина, видать, была где-нибудь зарыта кубышка...

— Как размахнулся, негодяй! От таких расходов не то что бедняк — зажиточный хозяин по миру пойдет...

— Всю жизнь, небось, копил...

— Жила одинокая душа, к тому же старуха, прабабка скряги, вот и насобирала за весь свой век...

Тайну знали только два человека — Дхарам Сингх и Джагсир. Да еще ее пронюхала Дханно: уже на другой день послала она Бханту на базар, в лавку к ростовщикам — узнать, сколько денег занял у них отец. К вечеру Бханта вернулся и сообщил, что Дхарам Сингх задолжал ростовщикам больше семи сотен. При этой вести Дханно словно семью огнями подожгли. Еле дотерпела она до того часа, когда Дхарам Сингх, проводив последних гостей Джагсира, пришедших почтить память Нанди, вернулся наконец к себе в пристройку. Дважды посылала она туда младшего сынишку разведать, пришел ли отец. И вот поздно вечером, едва лишь успел он прилечь, как явилась разъяренная супруга в сопровождении старшего сына и напустилась на него, словно бешеная собака.

— Так вот что ты задумал! Хочешь спалить дом — так облей маслом да подожги! Покойников оплакать — дело недолгое. Чего ради ты вздумал транжирить деньги, кормить такую ораву?

Дханно рассчитывала, что муж, вспылив, прикрикнет на нее, и тогда у них с Бхантой будет повод выложить все, что на сердце накипело, но Дхарам Сингх молчал, будто и не слышал ее слов.

— Что, кирпич в глотке застрял? — все более распалялась она.— Другой бы на твоем месте вначале семью обеспечил, а потом бы уж и душу спасал. Может, думаешь, дети и внуки весь свой век славу тебе будут петь?..

А Дхарам Сингх все молчал. От этого Дханно еще пуще озлилась. Она подступила совсем близко к его кровати, уперла кулаки в свои крутые бока и завопила:

— Этот сучий род всю жизнь к нам липнет, вше проползти не дает, а ты ради их предков по семь сотен выкидываешь да еще в долги влезаешь! И хоть бы заикнулся родным! Хочешь пустить все по ветру, так вначале придуши обоих сыновей, а мне купи саван да чашку для

подаяния, чтобы я ходила от двери к двери. Тогда уж и верно слава о тебе по двенадцати деревням прогремит!

То, что Дханно дозналась о семистах рупиях, да еще с такой глумливой насмешкой толковала о его славе, будто теркой ободрало душу Дхарама Сингха. Ему бы заорать во всю глотку: «Пошла вон, собака! На куски тебя разорву!» Но что-то и в самом деле застряло в горле. Рвущаяся изнутри боль острыми иглами пронзила тело, а уста все были немы.

— Пошли, матушка. Коли он так с нами обходится, у нас другого пути нет,— сказал стоявший позади Бханта.— До этого дня мы его почитали, но раз он сам не хочет о нас думать, чужой он нам.

Дхарам Сингх и не заметил, что Дханно пришла с сыном. Когда он услышал голос Бханты, душевная боль стала почти нестерпимой. И все же слова не шли с языка.

— Да если бы свой был, разве бы он такое сделал? — подхватила Дханно.— А что он еще натворит? Больше мы не можем находиться под защитой этого дьявола, который хочет из собственного дома погребальный костер устроить!

И поскольку муж ничего не отвечал, она с угрозой заявила:

— Хватит прикидываться смирной коровой! Прочисть уши да слушай: раз ты с нами так поступаешь, изволь выделить землю моим сыновьям и мне. Остальные четыре гхумана, что приходятся на твою душу, хоть завтра просаживай, плакать не станем. А сам ступай к тому бездетному — вместе харч готовьте, вместе и жрите. Заодно он приохотит тебя к опиуму, вину и другим пакостям. Парочка выйдет на загляденье — лебеди, да и только!

Дхарам Сингх знал, что рано или поздно это произойдет, но он и представить себе не мог, чтобы Дханно произнесла свой приговор так беспощадно. Откуда у нее взялись такие мерзкие, язвительные слова? Хотя в последние годы между ним и женой не было лада, Дхарам Сингх благодаря своему умению сносить любой напор кое-как сохранял в доме мир. Теперь же, видно, всему конец...

И сразу же голову словно обручем стянуло, горло перехватило, потемнело в глазах... Дхарам Сингх не знал, долго ли еще осыпала его бранью Дханно, не заметил, когда жена и сын ушли. Очнулся он лишь перед рассветом. Под навесом царила зимняя стужа — холод пробрался под выношенное одеяло, сковал колени. Дхарам Сингх выпростал из-под одеяла лицо и сквозь камышины, завесой спускавшиеся с крыши, увидел две ярко сиявшие звезды. Долго смотрел он на эти звезды, и ему начало казаться, что вовсе это не звезды, а плоды ритха. Потом он вдруг почувствовал какое-то жжение в спине. Он сел на кровати, но жгучая боль все усиливалась. Тогда он встал, завернулся в одеяло, сунул ноги в туфли и вышел из-под навеса. Окоченевшие колени не гнулись, но уже почти не болели, не то что спина. С трудом переставляя ноги, миновал он водоем и пересек двор.

Ночь безмолвствовала. За все полвека своей жизни не знал Дхарам Сингх столь густой тишины. В ней ощущалась какая-то особая печаль. Эта печаль разливалась в груди, словно стужа месяца пох, мертвила тело. У Дхарама Сингха даже дыхание занялось. У выхода в проулок он на миг задержался, поднял голову и беглым взглядом окинул домишки, так похожие на норы. Потом опустил глаза и побрел к базару.

12

Где бы ни появился Джагсир после смерти матери, повсюду его встречали соболезнованиями, все удивлялись терпению, с каким

Нанди переносила свои недуги, хвалили покойницу за теплоту и сердечную мягкость. Кое-кто, говоря хорошее о матери, не поскупился и на похвалы сыну. Джагсира эти похвалы приводили в такое смущение, что дня два-три после этого он глаз никуда не казал.

Все тринадцать суток, пока длился саттхар по Нанди, Раунаки провел в доме Джагсира, вместе с ним прислуживал людям, пришедшим посидеть на соломе, оплакать покойную. А потом он что-то занемог, один день даже провалялся в постели. На другой день он все поджидал Джагсира — должен же тот проведать друга! Но Джагсир не появлялся, и вечером Раунаки пошел к нему сам.

— Как дела? Здоров ли?

— А-а, Раунака! — обрадовался Джагсир.— Да я здоров, только из дома выходить неохота.

— Бывает и так,— тоном мудреца изрек Раунаки.— Где огурец до времени оторвался, там и вода из плети потечет. Так и человек... Ты, умная голова, пораскинь мозгами: нет ее — и все тут. Такова была ее воля, так она решила.

Джагсир не возразил ни словом. Оба немного помолчали. Раунаки показалось, что друг его приуныл. Тогда, погладив пальцами свои крысиные усики, он предложил:

— Может, чего поешь?

— Нет, не хочу...

— Дурачок! — Раунаки прикрикнул на друга, словно на маленького, даже щелкнул его по лбу. Потом назидательно сказал: — Тело состоит из пищи. Если оно погибнет, его уже не вернешь. Пока жив, ни от чего не отказывайся, Джагсиа... Погоди, я принесу хлебцев. Сейчас сбегаю, испеку для себя и для тебя парочку.

Заботливость Раунаки так растрогала Джагсира, что он и ответить не сумел.

— Да, вот еще... Позабыл совсем,— уже с порога тихонько сказал Раунаки.— Бхани велела передать, чтобы ты как-нибудь заглянул к ним. «Он, мол, тоскует, может, ему тогда полегче станет...»

Он умолк. Джагсиру показалось, что маленькие глазки друга покошачьи засветились. Раунаки все переминался у порога, теребя пальцами правой руки свою редкую бороденку, потом, слегка наклонившись к Джагсиру, почти прошептал:

— Ты сходи... Как поглядишь на нее — и горе с полгоря покажется... Ладно, я пошел. Только не домой, тут же вернусь — принесу чего-нибудь поесть.

Когда Раунаки ушел, лачуга показалась Джагсиру совсем мрачной. Болтавшиеся на веревке лохмотья одеял навевали жуть. Свет, что ли, зажечь? Он встал и принялся шарить по углам в поисках спичек. Но коробок куда-то запропастился. Тогда он вышел наружу. Темнота еще не сгустилась, небо на западе полыхало багрянцем. Джагсир немного помедлил на пороге и пошел прочь, так и не прикрыв за собой двери.

Он шел по дороге, ведущей к базару, миновал прудок, служивший для сбора дождевой воды, и вдруг остановился, словно о чем-то вспомнил. Оглянулся назад, туда, где осталась деревня. В плотных сумерках ее лачуги напоминали сторожевые площадки — их устраивают на деревьях, чтобы охранять урожай. Слева темнел прудок, справа раскинулись пшеничные поля. Пшеница стояла густая, как лес, высокая — почти по пояс, ровная, словно подстриженная ножницами. Джагсир посмотрел вдаль, поверх пшеницы, потом оглянулся на пруд. На дне его, будто отвар в горшке, застоялась вода — грязная, мутная. И все-таки в ней отражались звезды.

На душе у Джагсира от этой картины стало еще мрачнее. Он

стоял неподвижно, а тем временем внутри у него что-то все взлетало и падало, словно он сидел в качающемся паланкине: когда тот опускался, воздух выходил из легких, когда поднимался — грудь переполнялась.

Джагсир повернул к деревне. Эти подъемы и спады утомили мозг — голова вдруг стала тяжелой. Пройдя мимо большого пруда, Джагсир свернул к дому Дхарама Сингха, заглянул через низенькую загородку под навес — там никого не было. У Джагсира почему-то защемило сердце, он понурился и зашагал прочь. Пересек деревню. Вот и переулок, где живет Никка. Джагсир приостановился. Три шага, отделявшие его от ворот, он прошел словно по горячей золе. В доме горел светильник, слышался ребячий смех. Лицо Джагсира на мгновение осветилось улыбкой, но она тут же померкла.

Наша недотрога Бхани —
Не подруга для гуляний!

Это был зычный голос соседки, жены дядюшки. Джагсир почернел, как луна в затмение, отпрянул от ворот, будто ожегшись, круто повернулся и торопливо пошел прочь.

В лачуге его горел огонь.

— Где это ты шатался, негодяй? — встретил его Раунаки.— Я тебя бог весть сколько прождал!

Не говоря ни слова, Джагсир опустился на кровать.

— На-ка сперва поешь,— сказал Раунаки, придвигая к нему решето с хлебцами.— А потом — вся ночь твоя.

— Не хочется, Раунака.— И Джагсир растянулся на кровати.

— Да будет тебе! — Раунаки схватил его за руку, заставляя сесть.— У-у, страшилище! Дитя неразумное! Может, у тебя вместо хлебцев найдутся лепешки, жаренные в масле?

Джагсир не мог противиться другу. Он сел на постели. Раунаки принес со двора горшок воды. Некоторое время Джагсир сидел, безрадостно разглядывая бледные кособокие хлебцы. Потом взял один, разломил и большими кусками стал запихивать в рот. Наклонился к горшку, глотнул воды. Так он прикончил один хлебец, остальные сложил в решето, накрыл и поставил в нишу позади светильника.

— Пока хватит,— сказал он.— Эти на завтра.

— Ой-ой-ой! — с укором протянул Раунаки.— Ты, друг, и впрямь привередничаешь, как младенец.

Но Джагсир, не слушая его, уже снова растянулся на кровати.

— Ночуй сегодня у меня, Раунака! — попросил он.— Поговорим.

— Тут и будем спать. Хорошо, брат, что у нас с тобой не зарыты нигде золотые монеты. Ведь сторожить бы пришлось.

Раунаки опрокинул на ножки прислоненную к стене лачуги кровать и с удовольствием уселся. Настроение у него было отменное, такого он давно не помнил. Пожалуй, с тех пор, как ушла Санто, он впервые был так весел и доволен.

— Только человек — лекарство для человека, Джагсиа,— сказал он, сдернув с веревки подстилку и расправляя ее на сетке кровати.— Одинокий человек — что он может? Помереть...

— Ага! — коротко отозвался Джагсир.

Он подождал, пока друг улегся, и натянул на себя ватное одеяло, потом осторожно спросил:

— А Санто... больше не вспоминаешь?

Раунаки ответил не сразу — чуть помедлил, затем с трудом вытолкнул из себя:

— Вспоминаю.— На миг он запнулся и вдруг затараторил взахлеб, так быстро, что Джагсир еле поспевал за смыслом его речи: — Зачем

ворошить память о Санто, Джагсиа? Убила она меня! Из жизни выкинула... Уничтожила... И соломинки в душе не оставила, беспутница! Огнем спалила меня разлука, Джагсиа! К чему мне теперь жить?

Джагсир, ожидавший, что Раунаки, по своему обыкновению, обратит разговор о Санто в шутку, почувствовал себя так, будто ткнул иглой в нарыв, назревший в душе друга. Он приподнялся, пристально поглядел на Раунаки, увидел, как дергаются его крысиные усики, как дрожат, словно пламя на ветру, пальцы, теребящие редкую бороденку, и до боли пожалел, что посмел притронуться к этому нарыву.

— Я вот что думаю, Джагсиа,— снова заговорил Раунаки.— Если для людей нашего с тобой полета бог уготовил такую расправу, так уж лучше бы он создал нас птицами либо какой скотиной.

Тут Раунаки размечтался было о вольной жизни, которую вели бы они в обличье птиц и животных, но трезвая, жесткая мысль о полной недостижимости такой воли заставила мечту его, подобно граду, со свистом упасть на землю. Он умолк.

Джагсиру хотелось в разговоре с другом рассеять собственное смятение. Но обнаружив, что и Раунаки, подобно ему самому, захвачен потоком каких-то чужих, далеких мыслей, он снова впал в уныние.

А Раунаки, не обращая внимания на Джагсира, все говорил и говорил:

— Человеку дал творец десяток тел, человек изжил одно, а девять — где?.. Жил на свете один бедняк, Джагсиа,— маслодел. Весь свой век провел он у давильного жома. От старых и мудрых слышал он, что, пока длится жизнь человека, десять раз меняется судьба его. Говорят, коли возносить моления навозной куче, то на двенадцатый год и она откликнется. Так как же творцу не услышать молений человека? Но человек-то этот был любимцем судьбы, вроде нас с тобой, Джагсиа. Вот он и продолжал поджаривать то же семя, да все на той же сковородке. Наш брат носит наглазники, как бык, вертящий жом. Человек прикрыл глаза своей скотине, а творец прикрыл глаза человеку.

Миновало так и пять десятков лет, и шесть, а маслодел все хлопотал у своего жома да твердил присловье: «Человеку дал творец десяток тел, человек изжил одно, а девять — где?» Но вот грянули барабаны при дворе всевышнего: в городе остановился приезжий купец с караваном мулов, нагруженных сокровищами, а ночью один из мулов возьми да приблудись к дому маслодела. Тот провел скотину во двор, снял золотую кладь, а потом отогнал мула прочь палкой. С того дня, Джагсиа, маслодел твердил уже другое присловье: «Держи ушки на макушке, человек, или доли не сменить тебе вовек».

Раунаки умолк было, потом, так и не дождавшись от Джагсира одобрения, заговорил снова, вперив взгляд в потолок:

— В богатстве, Джагсиа, вся сила. Она-то и дает человеку другое тело, вторую долю. Недаром говорят, что у тех, чьи амбары от зерна ломятся, и дурак в умниках ходит. Нынешний мир на деньгах стоит, а у кого их нет...

И снова притих Раунаки, вроде бы и дышать перестал.

— Держи ушки на макушке, человек, или доли не сменить тебе вовек! — почти закричал он вдруг, так что Джагсир даже вздрогнул.— А тот-то, чертов тесть, единственную долю мою похитил! — И он захохотал громко и отчаянно.

Джагсир вскочил, думая, что с другом творится что-то неладное. А Раунаки все поглаживал кривыми пальцами правой руки свою бороденку, левой же вытирал слезы, и углы его рта кривились под усами, словно он еще продолжал смеяться.

— Что с тобой, Раунака? — с удивлением окликнул его Джагсир.

— Со мной? Ничего,— столь же удивленно отозвался Раунаки.— Что со мной может быть? Я все стараюсь втолковать тебе одну вещь...

Он вновь уставился взглядом в потолок и, продолжая теребить бороденку, проговорил:

— Что еще может с нами случиться, Джагсиа? Если есть тут в чем моя вина, пусть чертов шурин мне хвост оторвет!

Он вздохнул, но в словах его уже звучала привычная смешинка, заставившая и Джагсира улыбнуться.

До позднего часа длилась их беседа. Раунаки пересказывал другу старинные кисса — о Нале и Дамаянти, о воре, похитителе людских душ, о благочестивом Пуране. Джагсиру казалось, что друг взял его за руку и увел от житейской грязи в какой-то иной мир — чужой и далекий, но прекрасный. И засыпая в ту ночь, Джагсир впервые за долгое время ощутил на душе покой.

13

Утром Раунаки собрался домой. Джагсиру он сказал:

— Пойду приготовлю чай. Ты приходи поскорей.

Он пошел было, но задержался и спросил:

— Травка-отравка есть или все кончилось?

— Несколько катышков, кажется, осталось,— отвечал Джагсир со своей кровати.

Одной рукой закручивая тюрбан, Раунаки запустил другую руку в кошель. При этом он так раскорячил свои кривые ноги, что Джагсиру пришел на память Негодяй-шурин из пьески «Шурин Рани-хана», виденной им в кукольном театре. Бог весть как этот шурин Рани-хана забрел в голову Джагсира и заставил его рассмеяться.

— Мне нынче сон привиделся, Раунака,— сказал он.— Будто явилась твоя Санто, привязала твой тюрбан к балке и задумала тебя повесить. И вот вешает она тебя, а твоя рука точно так же к кошелю тянется...

— Сейчас вся моя жизнь в этой коробочке,— не обращая внимания на слова приятеля, заявил Раунаки, кое-как заматывая тюрбан и в то же время вытаскивая из кошеля коробку.— Пока еще есть, но дней через пять-семь — конец.

Раунаки кинул в рот катышек опиума, спрятал коробку. Маленькие глазки его засветились удовольствием. Но когда он выбрался из лачуги, кривые ноги его подгибались сильнее и брел он совсем медленно. Только сейчас дошел до него смысл виденного Джагсиром сна.

Раунаки ушел, а Джагсир вдруг почувствовал волчий голод. И на душе заскребли кошки — по работе соскучился, что ли? Он вскочил, достал из ниши холодную, как лед, давно застоявшуюся воду, принялся умываться. Потом прихватил с собой лопату с коротким черенком и вышел наружу. От налетевшего откуда-то холодного ветра заломило в висках. Джагсир поправил накинутое на плечи одеяло, замотал его краем лицо, но боль не унималась.

Подходя к лачуге Раунаки, он приметил там разведенный огонь, с удовольствием подумал, что сейчас наконец согреется, и вошел. Раунаки хлопотал у кирпичной печурки, на которой стоял котелок с водой,— подбрасывал в топку хворост, пучки травы. В лачуге было черно от дыма. Раунаки не заметил прихода Джагсира: он на чем свет стоит честил отсыревшее топливо.

— А Санто, видать, и вправду вешала тебя ночью на балке! — сказал Джагсир и жестом показал, как вешают за шею.

Раунаки вздрогнул, протер слезившиеся от дыма глаза.

— Где бы ни вешала — ее воля! — усмехнулся он.— Вот уж третий год пошел, как она взялась за это дело. Добро бы только во сне вешала, а то...

Речь Раунаки звучала вроде бы беспечно, однако столько в ней было затаенной любви, что Джагсир понял: до смертного часа не забудет его друг свою Санто.

Нам не смерть сулила разлуку, друг —
Нам жизнь присудила разлуку, друг!

Джагсир медленно произнес это двустишие из услышанной от друга кисса. И в слезящихся глазах Раунаки тотчас засиял ответный огонек.

— Да! — легко отозвался он.— Жизнь присудила разлуку... Эх, грешные души, зачем присудила?..

Морщинистое лицо его стало вдруг темнее дыма, глаза вновь налились слезами, и он принялся утирать их обеими ладонями.

Джагсиру подумалось, что неладно он поступил, снова затевая разговор о Санто. Он примолк. Раунаки бросил в кипящий котелок ком патоки и пригоршню чая. Темный, как виноградный сок, чайный навар забурлил и начал выплескиваться на печурку. Тогда Раунаки вылил в котелок раздобытое где-то молоко, и кипевшая ключом жидкость мгновенно успокоилась.

— Так вот и мужчина, Джагсиа,— заметил Раунаки.— Бурлит, словно чай. А женщина — как молоко: сольется с ним и вмиг успокоит...

Джагсир глянул на Раунаки и приметил во влажных глазах его прежний мягкий блеск, видный даже сквозь дымный полог, который навесила трещавшая в печурке сырая солома. Джагсир подумал, что легкий характер Раунаки спасает его от тяжелых и горьких переживаний.

— Была бы у нас с тобой какая-никакая скотина, разве стали бы мы пить эту отраву — чай? — с улыбкой спросил Джагсир.

— Таким, как мы, положено пить чай без молока,— отвечал Раунаки.— Чай — погибель наша, Джагсиа, он сжигает у человека нутро. Холостяк потому и умирает до времени, что кипит зазря, вроде этого зелья — чая. Добавить бы молока, и перестал бы кипеть. А он все кипит и кипит, пока весь паром не изойдет, а там, глядишь — котелок-то пустой...

Раунаки все болтал и чудачил, Джагсир в задумчивости кивал головой или ронял короткое «ага».

Напившись чаю и проглотив катышек опиума, Джагсир поспешил в поле. Когда он выходил из лачуги Раунаки, солнце уже сияло вовсю. То ли воздух стал теплее, то ли помогли чай и опиум, только ноги и руки немного согрелись.

Джагсиру пришло было на ум заглянуть прежде к Дхараму Сингху, но так не терпелось поглядеть на свою пшеницу, что спустя мгновение он уже быстро шагал к полю.

Вот и холмик, за ним две-три запашки, а дальше — его поле. Покамест лес дозревающей пшеницы скрывает его. Джагсир пересек дорогу, пошел полевой тропкой, потом остановился и глянул перед собой. Он увидел свою пшеницу — тощие, пожелтевшие кустики от силы двух четвертей высоты. Мгновенно гулко забилось сердце и вдруг почти замерло. Потемнело в глазах. Такого он и представить себе не мог...

Джагсир подошел вплотную к своему участку, опираясь на рукоять лопаты, присел на бугорке, в том самом месте, где однажды ночью нежилась и играла переползшая через него змея, и помертвев-

шим взором начал оглядывать поле — от одной межи до другой. Ему чудилось, что каждый из этих хилых, пожухлых кустиков впивается ему в глаза... Тут и там пшеницу потравил скот, все поле было изуродовано, будто тело, пораженное проказой. Земля зачерствела, окаменела. Никто не поил, не разрыхлял ее. Даже пробившаяся на бороздах сорная трава иссохла от жажды и стужи.

Покосившись на соседнее поле, Джагсир увидел там густую зеленую пшеницу, и острия ее стройных копий поразили его сердце больнее, чем вид собственного опаленного поля. Он поспешил отвести взор и уставился себе под ноги. Там зияла глубокая яма, громадная, как само земное око. Эта яма, эта черная пустота с безобразными неровными краями напоминала мертвую глазницу, лишенную век. Джагсир встал и принялся засыпать яму выброшенной из нее землей.

До самого обеда, ни на мгновение не разгибаясь, махал он лопатой, но яма вроде бы не уменьшалась. Лопату он прихватил узкую, будто рука без ладони, ею и пригоршню земли поддеть было трудно. Никогда еще не возился он так долго со столь несложным делом. Обычно, когда работа не спорилась, быстрее приходила усталость, нынче же и утомления не было. Он засыпал яму, сел и принялся разбивать большие комья земли, разравнивать ее. Когда, закончив работу, он поднялся на ноги, солнце было уже в зените.

Джагсир осмотрелся. Вокруг ни души, лишь там, далеко, вдоль отводного канала идут какие-то люди. Он чуть постоял, глядя по сторонам, потом закинул на плечо лопату и двинулся к холмику. Внезапно захотелось есть. Заныла натруженная спина, отказались держать ноги.

Взобравшись на холмик, он снова немного постоял и вдруг побрел обратно. Вокруг ямы, среди кустиков побитой морозом пшеницы там и сям валялись обломки коры от его тахли. Джагсир размотал тюрбан и стал складывать в него эти остатки былого.

На пути к деревне ему повстречался человек, возвращавшийся с ярмарки, какие обычно устраивают в месяце висакх. Окинув взглядом фигуру Джагсира, с узлом на голове медленно плетущегося по дороге, человек этот с усмешкой спросил:

— Куда путь держишь, друг? Видать, разжился свежей карелой[1] и теперь спешишь изжарить ее на сковороде?

Джагсир молча миновал прохожего, будто и не слышал его слов.

— Ах, ты, чертов шурин! Грязный метельщик! Подумаешь — родич Рани-хана, большого богача! Да с тобой, черномазым, и говорить-то грешно! Справил пышные поминки, а теперь пузырится, будто тесто, слова лишнего не обронит!

Как ни тихо говорил человек с ярмарки, Джагсир все же услыхал его слова, однако и тут ничего не ответил: он с трудом превозмогал боль в глазах, израненных остриями пшеничных кустов.

14

Дома Джагсир вытащил во двор кровать и немедленно улегся. Его терзал голод. Печень словно ножом резали. Обвязав поясницу домотканым полотенцем, подтянув колени к самой груди, он лежал, укрывшись с головой ватным одеялом, но грызущая боль все возрастала. Тогда он сел, уперся локтями в колени, сложился чуть не пополам. Все было напрасно. Наконец, он встал и вышел со двора. Боль, полыхавшая где-то в печени, подкатила к голове, пришлось ухватиться за

[1] Карела — название овоща.

угол лачуги, чтобы не упасть. Немного погодя тьма в глазах стала рассеиваться, он чуть оправился и двинулся в путь.

Солнце клонилось к закату. Подходя к усадьбе Дхарама Сингха, Джагсир еще из проулка приметил на чауке перед домом Дханно, месившую тесто. Он было засомневался, идти ли дальше, но тут сквозь щель неплотно притворенной калитки на него глянул большой влажный глаз. И сразу замычал Серый. Джагсира будто насквозь пронзило иглой. Он почувствовал, как что-то твердое в душе его вдруг начало таять, таять и горячим маслом разливаться по телу. Невидимая рука словно втащила его во двор.

Вот он уже возле быков, встал между ними и гладит, и ласкает их, и треплет за уши, а сам все говорит, говорит, как безумный:

— Негодники вы мои! Совсем отощали... Никто и не покормит вас толком... Ах вы, чертовы дети, простачки-дурачки! Ишь ведь как животы подтянули... Ребра пересчитать можно. Видно, только тот о вас и позаботится, кто растил да холил... А так — кому до вас дело? Людям нужна только ваша работа... Ох-хо-хо! Одни кости да кожа...

Быки лизали ему ладони, ноги, лизали так, словно спешили утолить голод. Их большие глаза светились такой лаской, понять которую мог лишь тот, кто растил их, вспаивал молоком, кто часами чистил их спины скребницей и растирал тряпками, кто умащивал маслом их рога, отчего те становились похожими на блестящих змей, кто в зимние студеные ночи без устали убирал за ними навоз и подстилал свежую солому им под ноги, кто никогда не заставлял их работать через силу и ни разу не поднял на них руку... Животные стиснули Джагсира боками, словно не хотели отпускать его от себя. А он все глядел им в глаза, все гладил их, все беседовал с ними и в этих беседах, казалось, утопил свою боль, позабыл весь мир.

— Ты ведь, кажется, сделал все, что хотел. А теперь ты задумал и их увести с собой?

Джагсира будто кто по голове кирпичом трахнул. Он оглянулся и увидел у ворот жену Бханты. Одной рукой придерживая покрывало, а другую уперши себе в бедро, она стояла точь-в-точь как ее свекровь Дханно. Джагсир глянул на женщину и смущенно потупился, словно и в самом деле застигнутый в тот момент, когда задумал свести со двора быков. Глядя в землю, он пробормотал:

— Да что ты, доченька... Мне бы Дхарама Сиуна...

— Заладил свое: «Сиуна, Сиуна»! — зло оборвала его жена Бханты.— Из-за тебя все в доме наперекос пошло. Бог знает в какой колодец, в какое болото вы его спихнули! Нам, может, и жить-то всего четыре дня осталось беда в семье, а этот важный господин явился на свидание... Подумаешь, любящая душа! Устроил старухе царские поминки, заставил ахнуть всю округу, а наш дом разорил... Живут же на свете такие люди! Кабы пораскинул умишком, так не ввел бы нас в раззор! Ты нас живьем в петлю сунул! Ты... тебе...

Женщина неистовствовала, осыпала Джагсира проклятьями. А он будто онемел. Только менялся в лице. От одних слов глаза его лезли на лоб, другие камнями ударяли в голову, третьи копьями вонзались в живот и протыкали его насквозь... Эти короткие минуты показались ему бесконечными, как годы. Словно век простоял он тут, зажатый бычьими боками. Ноги его окаменели и будто вросли в землю. Он как бы уподобился дереву — грозная буря сгибает его, вновь и вновь бьет оземь, но никак не сломит, не вырвет с корнем.

Мысли и чувства Джагсира притупились: он едва слышал, смутно видел, не различал даже ячменной соломы, подстеленной под ноги быкам.

— А этот негодяй зачем сюда явился? Что еще он хочет забрать?— услышал вдруг Джагсир.

Говорила вроде бы жена Бханты — это ее слова, как речи злого духа в дурном сне. Но на этот раз голос звучал еще резче и грубее. Бедняга поднял голову, увидел перед собой Дханно, разъяренную, как сам дьявол, и в глазах у него стало совсем черно.

— Если ты чтишь память отца своего, то лучше убирайся подобру-поздорову, не то я тебя на куски разорву! Горло перегрызу! — скрипнув зубами, проговорила Дханно.

Джагсир почти не слышал ее.

— Ах ты, толстошкурый! Ограбил семью, а теперь и поджечь вздумал! Убирайся вон из моего дома!.. И если я еще раз услышу, что ты суешь нос на наше поле, я тебе ноги перебью! «Мое поле»! Вор полевой! Чего ради ты прицепился к этому полю? Может, купил его на отцовские денежки? Твоя ведьма опозорила нашего простофилю, всю жизнь его глодала и вот сожрала... Да будь она жива, я бы у нее все космы повыдрала! Что ж это вы с нами сделали?! Вам один только грех и осталось совершить — дом наш порушить, вот ты и порушил... А он-то тебя, мерзавца, на руках носил, занял для тебя ворох бумажек... На чужие деньги поминки справил... Только не знать ей, чертовке, от этого счастья в будущей жизни!.. А ты иди, убирайся из моего дома! Еще раз увижу тебя в нашем проулке — всю кровь твою выпью, так и знай!..

Дханно бесновалась, скрипела зубами. Джагсиру показалось, будто его, спящего, ударили палкой по голове. Речь Дханно все глуше и глуше доносилась до его сознания, а потом он и вовсе лишился памяти.

Для того чтобы сдвинуть с места левую ногу, потребовалось не меньше усилий, чем если бы он вздумал вырвать с корнем дерево акации. Несмотря на стужу, его прошиб пот. Столько же сил затратил он, отрывая от земли другую ногу. Колени подгибались от слабости, будто, вырвав наконец мощный древесный ствол, он совсем обессилел. Что еще там кричала Дханно, с кем он столкнулся в проулке, кто и о чем его спрашивал — он не помнил.

Вернувшись домой, он снова улегся на кровать, под свое ветхое одеяло.

15

Несколькими днями позже, когда Джагсир грелся на солнышке у себя во дворе, к нему пришел Раунаки и тихо, сдавленным голосом проговорил:

— Я нынче, Джагсиа, новость слышал...

И поскольку Джагсир оставил его слова без внимания, он с опаской огляделся по сторонам и таинственно продолжал:

— Говорят, Дхарама Сингха который день уже нет дома...

Как раз в этот момент Джагсир зашелся кашлем, уткнул нос в колени и принялся натягивать на спину одеяло. Ему вроде бы и не до новостей было, но все же краем уха он слушал Раунаки.

— Люди разное болтают, один — то, другой — другое. Я только знаю, Джагсиа, человек он был правильный. Говорят, те-то, грешники, чего только с ним не делали! Жена его, ящерица поганая, все благородную из себя корчит, а сама — ведьма ведьмой! Слух такой идет, что избил его Бханта и из дому выгнал. А может, истомился он от печали и сам их оставил... Сколько ртов, столько и сказок... Что там у них вышло, одному богу известно. Пусть бог их и рассудит. Такие люди, как он, не в каждом доме родятся, Джагсиа. Один лишь бог...

Клянусь тебе, он сторицей воздаст этим скотам, погрязшим во грехе! У них ведь что ни слово, то тайфун лжи, они даже на близких своих смотрят как на чужаков. Да что им близость! Страшные люди.

Джагсир не отозвался на слова Раунаки. Все, что тот сообщил, было понятно еще раньше, когда жена Бханты и Дханно изругали и прогнали Джагсира. С того времени он словно немытый аскет затаился в своей лачуге и все думал, думал об одном: «Почему Дхарам Сингх ушел из дома? Зачем я взял у него деньги? Наверно, из-за этого ему и пришлось уйти. Что у них там вышло? И что мне теперь делать?» Ни на один из этих вопросов Джагсир не находил ответа. Обессиленный, повалился он на свою кровать. Снова накатил кашель, по телу разлился жар, а голова стала вдруг такой тяжелой, что не было сил повернуть ее, и он застыл, лежа на спине, уставившись глазами в потолок.

Раунаки стал кормильцем Джагсира: дважды в день приносил какую-нибудь еду, кипятил чай. Никому больше не приходило на ум позаботиться о больном. Идя мимо, соседи по кварталу порой осведомлялись — как дела? Их равнодушные вопросы только усиливали боль, надрывавшую душу Джагсира. Однако со временем мысли его приняли другое направление. Обида отошла. «У этих людей больше тревог, чем у меня. Чего ради они станут обо мне хлопотать?» — уговаривал он себя. И успокаивался, и понемногу стихала душевная боль.

Вскоре Джагсир и есть перестал, жил на одном чае. Раунаки добыл какие-то лекарственные травы, пытался пользовать ими друга, да Джагсир не захотел. Он теперь почти все время молчал, а если заговаривал, то все о вещах непонятных. Раунаки сердился, прикрикивал на него:

— Ладно, ладно, пока помолчи. Спи! Завтра поговорим.

Однажды Джагсир жалобно, как ребенок, попросил:

— Что-то мне по ночам страшно одному, Раунака... Ночуй у меня...

С того дня друг совсем перебрался в его лачугу.

У Раунаки было несколько книг древних сказаний — кисса: когда-то, еще в детстве, он научился у аскета из пу́стыни читать по-пенджабски. Теперь частенько длинными вечерами он пересказывал Джагсиру эти кисса, и, пока в повествовании говорилось о счастливых днях, душа больного отогревалась, когда же надвигались печальные события, он торопливо просил:

— Об этом не надо, Раунака!.. Тут пропусти...

Раунаки приметил эту особенность друга и уже сам стал пропускать грустные места. Однако при этом нить повествования прерывалась и Раунаки трудно было продолжать чтение.

Джагсиру же казалось, что герои сказаний на пути своем встречают канавы, неловко прыгают через них и бредут дальше, спотыкаясь и хромая. Тогда ему становилось страшно, он просил друга оставить кисса и просто поговорить с ним.

— Да о чем говорить-то будем? Ты ведь чушь несешь,— с усмешкой заметил как-то Раунаки.

После он корил себя за эти слова, но сказал-то он правду. Раунаки был убежден, что Джагсира мучает какой-то душевный недуг, от него и тело хиреет, и разум мутится. Порой он задавал такие чудные вопросы, что Раунаки только терялся и досадовал.

— Как ты думаешь, Раунака, если бы человек не родился на свет, кем бы он был? — спрашивал Джагсир.— Говорят, живое существо должно восемьдесят четыре лакха[1] жизней прожить, пока человеком

[1] Лакх — сто тысяч.

станет. А вдруг оно скажет: «Не хочу я, братец, человеком быть, дай мне еще пожить животным!» Неужто всевышний насильно даст ему человечий облик?

Но иногда с уст Джагсира срывались вопросы, которые не прочь был бы задать и Раунаки. Того разбирал смех, а потом и злость — ведь ответить-то он не мог. Но он уже не обрывал друга и внимательно вслушивался в его речи. Да Джагсир и не ждал ответа, а все сыпал вопросы:

— Скажи, Раунака, если у человека совсем ничего нет: ни дома, ни дыма, ни жены, ни детей, ни прошлого, ни будущего — зачем ему тогда жить?

— А те, у кого и земля есть, и дом богатый, и жена, и дети,— они, значит, приготовили для себя в этой жизни лучшую карму, лучшую долю, чем мы с тобой?

— Вот все говорят — карма, карма, карма. А что это значит — карма? То, что человек совершил в прошлых рождениях, или то, что он получает в этой жизни?

— Если видишь сон, это что — кусок прошлой жизни?

— Как думаешь, Раунака, когда у престола всевышнего подводят итог человеческой жизни, там говорят только о том, что он получил, или о том, что отдал? Да и как тут сочтешь? Если мы, люди этой жизни, не можем, то как сочтут тамошние? И почему, Раунака, человек должен подводить этот счет?

Конца не было мудреным вопросам! Когда днем Раунаки отправлялся за топливом и Джагсир лежал в лачуге один, он все думал, думал и порой сам дивился причудливости своих мыслей. В этих праздных размышлениях собственная жизнь представлялась ему кисса, но в отличие от сказаний Раунаки у кисса Джагсира не было единой связующей нити, не было поэтической формы, не было огня вдохновения. Кисса его жизни напоминала полевую тропку: порой на пути ее возникала канава или вставали заросли кустарника, порой она упиралась в колосящееся поле, в поле, уставленное снопами, в унылое жнивье...

— Раунака, если как-нибудь... Может, как-нибудь... Чтобы пришла жена Никки...

Раунаки прыснул — больно уж рассмешили его эти слова — «жена Никки». И тут же сердито насупился, словно коря себя за то, что вдруг, ни с того ни с сего обидел хорошего человека.

На другой день он ушел и допоздна где-то пропадал, а когда вернулся, иссеченное морщинами лицо его было уныло. Он никак не мог собраться с духом и сказать Джагсиру, что жена Никки вот уже почти месяц как ушла в родительский дом — готовить свадьбу младшего брата. Расстроенный Раунаки забыл на этот вечер даже свои кисса.

— О всевышний! О всевышний! — громко произнес он и повалился на свою постель.

И лежа, он все продолжал повторять тот же возглас, может быть, для того, чтобы с его помощью побороть другие рвавшиеся наружу слова.

Когда Раунаки только показался на пороге лачуги, Джагсир на мгновение остановил на нем пристальный взгляд и тут же уставился в потолок, да так упорно, будто хотел ввинтиться глазами в кривые балки. Он лежал, глядя вверх, и ему казалось, что там, между тонкими балками, находится большое зеркало, в котором отражена лачуга со всем, что в ней есть: и пыльные, потрескавшиеся кувшины и миски, и рваное тряпье, и одеяла, и сундучок — сверстник покойницы матери,— и ломаные-переломаные вилы, грабли, лопаты, принадлежавшие

не ему, а Дхараму Сингху. Эта лачуга была построена раньше, чем Джагсир начал себя помнить. Сквозь камышовую крышу просачивались струйки дождя и разрисовывали стены причудливыми, иногда страшными фигурами. Отдельные фигуры соединялись с другими, складывались в его воображении в целые картины, которые жили, двигались, а потом вновь исчезали, сливаясь с новыми потоками воды, растекавшимися по глиняной стене. Однако понять, о чем говорили эти водяные картины, он не мог.

— Раунака, о Дхараме Сингхе что-нибудь слышно? — неожиданно спросил Джагсир.

— Нет! — скупо ответил Раунаки.— О всевышний! — воскликнул он в последний раз и умолк.

Джагсир по-прежнему глядел в потолок. И вдруг снова, тем же тоном:

— Скажи жене Никки, Раунака, пусть она обязательно обмажет глиной мой мархи. Ты ведь сложишь мне мархи...

— О всевышний! — снова завопил Раунаки.

Однако на этот раз он не сумел сдержать того, что рвалось из сердца.

— Так вот ты как!.. Погоди убивать, пока сам не умер!.. Разве есть у меня живая душа, опора в двух мирах, кроме тебя? Ты у меня один... И ты мне... такие слова...

Голос Раунаки стал хриплым от боли, из маленьких, глубоко запавших глаз полились два скупых ручейка.

Раунаки не услышал от друга больше ни слова, не заметил, чтобы тот хоть раз оторвал взор от потолка. Джагсир продолжал лежать на спине, уставившись взглядом в кривые балки. Глаза его постоянно были открыты, в них светились неяркие огоньки. Но на пятый день и они погасли, зрачки потускнели, стали походить на ягоды ритха.

Раунаки выбрал из золы кости друга и, выполняя его последнюю волю, сложил тут же, неподалеку от места сожжения, мархи. К тому времени Бхани уже вернулась в деревню, но у Раунаки не хватило смелости ее тревожить.

Мархи, который он соорудил в память друга, выглядел невзрачным и неуклюжим. Но назавтра, в светлый предзакатный час, Раунаки снова оказался около места сожжения, взглянул на поминальный столбик Джагсира и в удивлении остановился: кирпичная кладка была аккуратно обмазана глиной, наверху, в «домике» горел светильник. Долго смотрел Раунаки на этот огонек. Вначале он был робкий, трепетный, дрожал на ветру, раздваивался, но наконец пламя набрало силу, поднялось и выровнялось в один стройный язык.

И тут до слуха Раунаки донеслись чьи-то удаляющиеся шаги. По тропинке, в сторону деревни медленно шла женщина в белых одеждах[1]. Казалось, фигура ее так же трепещет и колеблется, так же раздваивается на ветру, как и огонь поминального светильника. Но вот и она обрела силу, и она поднялась стойким языком пламени.

Ты ушел — утешенья не лечат от горя:
Юдоль безнадельная — вот наша доля,—

тихо сказал Раунаки и, вытерев глаза концом тюрбана, пошел следом за женщиной в деревню.

■

[1] Белый цвет — цвет траура.

ЦИРИЛ КОСМАЧ

Рассказы

Перевод со словенского и вступление
АЛЕКСАНДРА РОМАНЕНКО

Два публикуемые ниже рассказа Цирила Космача возвращают нас в далекое, казалось бы, прошлое — далекое если не хронологически, то, во всяком случае для многих современных читателей, несомненно, психологически. В самом деле, кому ныне интересно читать о том, что происходило почти сто лет назад в позабытой всеми деревеньке, одной из многих в заброшенной провинции лоскутной двуединой монархии Австро-Венгрии?

Но вот парадокс: напечатанный впервые по-словенски в 1959 году рассказ Цирила Космача «Тантадруй», предлагаемый сегодня советскому читателю, будучи переведенным в конце 60-х годов на несколько европейских языков, прозвучал в эфире как радиодрама на волнах доброго десятка радиостанций мира. История маленького Тантадруя и его друзей стала достоянием французов и швейцарцев, поляков и венгров, голландцев и австрийцев, чехов и немцев. «Дела давно минувших дней» нашли отклик в миллионах сердец.

Чем же это объяснить? Ведь сама по себе в европейской литературе и искусстве эта тема отнюдь не нова: издавна писали уже о «людях божьих» или «каликах перехожих», обиженных судьбою и отвергнутых обществом. Вспомним хотя бы Питера Брейгеля, неоднократно изображавшего сирых и убогих (небольшое его полотно «Нищие», хранящееся в Лувре, может послужить прекрасной иллюстрацией к «Тантадрую»). Да и манера повествования, на первый взгляд, буднична, традиционно реалистична.

Причина широкой известности и повсеместного признания рассказа Цирила Космача прежде всего, разумеется, в большом таланте, в мастерстве автора. Высокое искусство? Да, искусство, имеющее основой широкий, свободный от мелких, сиюминутных условностей взгляд на мир и тонкую, открытую навстречу этому миру душу; имеющее основой традицию Рабле и Брейгеля, традицию подлинного преклонения перед жизнью во всем ее величии и трезвого понимания ее трагизма и неизбывной неустроенности. Искусство, подразумевающее суверенное владение всеми инструментами литературы: словом, стилем, мелодией, умением легко и непринужденно вести повествование. Искусство, имеющее основой постоянные раздумья о смысле и цели человеческого существования, об ответственности и месте писателя.

Благодаря этому история о Тантадруе или, казалось бы, отдающее традиционной «народностью» повествование о битве двух гигантов — кузнеца и священника — перерастают рамки своей фактографической фабулы. И это сразу вызывает в памяти традиции «медонского кюре», делает рассказы Ц. Космача современными и волнующими, заставляет читателя смеяться и грустить вместе с автором и его героями.

А чтобы реальнее и яснее представить себе фон и место непосредственного действия произведений Цирила Космача, кстати сказать вообще тесно сцепленных, переплетающихся друг с другом, как бы переходящих друг в друга и образующих некую объемную фреску, единый большой роман, который он пишет всю жизнь, мы скажем несколько слов о том крае, где писатель встретил своих героев и откуда он вывел их в просторный и прекрасный мир...

На крайней северо-западной границе Югославии, в пределах Социалистической Республики Словении, течет река Соча. Это тот рубеж, после которого плоская

Фриульская (или, как ее называют в Словении, Фурланская) равнина начинает переходить в отроги Юлийских Альп. Сочу, «которой нет равных среди прочих рек мира» (Ц. Космач), воспевали поколения словенских поэтов.

Родная дочь зеленых гор,
ты хороша красой природной,
когда грозы глухой раздор
не застит глуби многоводной,
любимица зеленых гор!
Скользит-плывет твоя волна
походкой легкою горянки,
как воздух горный, ты ясна,
как песня горцев, ты звучна —
в ней плеск твоей волны-беглянки,
красавица свободных гор! —

(Перевод М. Петровых)

писал крупнейший поэт Словении XIX века Симон Грегорчич. Такой видел Сочу (римляне называли ее Эзонций, а итальянцы — Изонцо) поздним летом 1915 года Эрнест Хемингуэй — русло ее «устилали голыш и галька, сухие и белые на солнце, а вода была прозрачная и быстрая и совсем голубая в протоках» («Прощай, оружие!»).

Соче, стремительно катившей свои волны, не было дела ни до людских радостей (которыми судьба обделяла обитателей этих мест), ни до людских печалей (которых хватало с избытком). «Насколько я помню,— писал Ц. Космач в одном из ранних рассказов,— у нас в селе никогда о счастье много не толковали. Если кто и мечтал о нем, то про себя — говорить об этом было не принято».

Историю этого края, древнюю, новую и новейшую, творили поколения словенцев, и она стоила угнетенному словенскому народу тысяч жертв. До первой мировой войны Юлийская Крайна принадлежала австро-венгерским Габсбургам, а когда война разразилась, долина Сочи стала ареной долгих и кровопролитных сражений, в которых полегли тысячи солдат как со стороны Антанты, так и со стороны держав Тройственного союза.

По Раппальскому договору 1920 года эта часть старых словенских земель отошла к Италии — на смену одному «гегемону» пришел другой, и маленькому народу, волей случая оказавшемуся между жерновами великих держав в их «великой» игре, суждено было стать первой на Европейском континенте жертвой фашистской экспансии. В 20-е годы это еще не тот «классический» фашизм, какой мы знаем ныне, тогда еще не существовало страшного, как выстрел, слова «гестапо», не было ни Освенцима, ни Треблинки, тогда еще не окружали проволокой целые города, как это сделали с Любляной фашисты образца 1942—1943 годов. Но уже тогда пылали костры из книг (ясное дело, то были словенские книги), уже тогда в школах (если их удавалось отстоять) заставляли говорить и отвечать только по-итальянски, уже тогда черные сквадристы Муссолини метались по дорогам и селам Юлийской Крайны и Истрии в поисках врагов режима. «Кто не с нами, получит пулю в лоб»,— под этим лозунгом проводилась политика освоения новых земель, политика, как мы сказали бы теперь, геноцида. Но тогда многие либеральные и «дальновидные» международные деятели усматривали в дуче нового мессию. А народ не желал сдаваться. Уже в течение 1929—1930 годов фашисты организовали в Триесте, Пуле и Риме несколько больших политических процессов, по которым проходило около 90 молодых людей, словенцев и хорватов, в основном социалистов и коммунистов.

Среди них был Цирил Космач. В доступных нам уже на русском языке рассказах, в непереведенном пока романе «Весенний день», написанном много лет спустя, Космач вспоминал, в частности, и об антифашистском движении словенской школьной молодежи, о том, как его схватили чернорубашечники. Полтора года провел он в римской тюрьме Реджина Чели, а затем был «оправдан по молодости».

Заметим, что жертвами фашизма явились и два доживших до второй мировой войны героя рассказа «Тантадруй»: добродушный великан Матиц Ровная Дубинка был расстрелян фашистским летчиком (рассказ «Смерть беззлобного великана»), а безвредный выпивоха, «по недоразумению» ставший цесарско-королевским жандармом стражмейстер Доминик Тестен после зверских побоев, нанесенных ему оккупантами, оказался в доме умалишенных, где и умер (роман «Весенний день»).

Опаляющее дыхание истории XX века наполняет прозу Цирила Космача, определяя ее подтекст, ее эмоциональный настрой, ее нравственное содержание. Главным героем его произведений, горьких и раздумчивых, веселых и озорных, является Человек — земляк и современник писателя, он, автор и участник событий, неизменно выступает в защиту этого Человека со всеми присущими ему достоинствами и недостатками. «Жить хорошо!» — восклицает писатель, но могло бы быть еще лучше, если б не дули леденящие ветры вражды и ненависти человека к человеку, если б не было опустошающих душу и уничтожающих тело многообразных и изощренных форм истребления человеческой личности.

Цирил Космач — один из крупных мастеров современной югославской прозы, творчеству которого присущи страстная и последовательная борьба за победу добра в жизни, утверждение, несмотря на все разочарования, незыблемых гуманистических

идеалов, тонкий, соединенный с глубокой, сдержанной лиричностью психологизм и, наконец, тот внутренний, Прометеев огонь, без которого немыслима подлинная литература. Цирил Космач в то же время ведет тот неустанный литературный поиск, без которого нельзя представить себе многих выдающихся современных писателей Югославии, поиск, который обогащает эту литературу и дает ей возможность глубже, полнее отобразить жизнь во всей ее сложности и диалектической противоречивости.

«Безграничная жизнь рождает и безграничную радость, и безграничную боль»,— писал в статье о Ц. Космаче известный словенский критик, автор радиодрамы о Тантадруе Митя Меяк.

С глубокой древности, повинуясь инстинкту творчества, стремился художник запечатлеть себя среди изображаемых им героев. На египетских фресках Саккары и на античной керамике, в инициалах средневековых рукописей, на полотнах Брейгеля, Боттичелли, Веласкеса, Дюрера, Александра Иванова где-нибудь в уголке мы можем увидеть лицо автора, заинтересованно взирающего на происходящее или в нем участвующего. Не пустое тщеславие руководило художником — он использовал прием, позволивший еще больше, зримее подчеркнуть неизбывную, нерасторжимую связь искусства со своим временем, со своим народом. Почти во всех произведениях Цирила Космача мы видим его самого, автора, в качестве одного из главных действующих лиц — будет ли это писатель Петер Майцен в прекрасной и тревожной «Балладе о трубе и облаке», будет ли это вернувшийся на родное пепелище партизан в полном горечи оживших воспоминаний романе «Весенний день», будет ли это повествователь в публикуемых ниже рассказах.

Цирил Космач — югославский писатель, партизан и коммунист, вместе со своим поколением прошедший по многим трудным дорогам, неотделим от героической судьбы своего народа, выстоявшего и сохранившего свою честь и свое имя в многолетней борьбе, неотделим от судьбы своей прекрасной Словении, воспеванию которой он посвятил столько лет творчества, посвятил жизнь.

Кузнец и дьявол

I

Кузнеца нашего при рождении нарекли Михаилом, что для человека его профессии является именем вполне достойным, но все его звали попросту Фомой, поскольку верил он лишь тому, на что мог взглянуть собственными глазами и что мог потрогать собственными руками. Пока он был ребенком, это считали дурной и вредной привычкой, с которой нужно бороться внушениями и палками, позже, когда стала ясна его необычайная физическая сила, признали, что, пожалуй, это, скорее, достоинство и подлинно мужское качество. Такой перемене не следует удивляться, ибо кузнец Фома был не просто силен, как подобает кузнецу, но даже еще сильнее, силен настолько, что, по всеобщему признанию, ему далеко вокруг не находилось равных.

О том, как он куролесил в юности, мы сейчас вспоминать не будем. Достаточно сказать, что славу свою, несомненную и незыблемую, он приобрел, когда ему еще не было тридцати. А когда и самые последние его соперники своими переломанными ребрами да разбитыми головами подтвердили, что воистину не найти ему равного, он потянулся так, что захрустели все его косточки, и с сожалением воскликнул:

— Жалко, дьявола не существует! Будь он на белом свете, я б его хорошо отделал — ни одной шерстинки целой не осталось бы!

Слова эти по тем временам звучали довольно смело, и старики с укоризной ему возразили:

— Не искушай дьявола, Фома!

— А что?

— А то, что вполне, может быть, он и существует.

— Нету его!— решительно возразил кузнец.

— Коли нету, так чего ж ты его призываешь?

— Верно говорите! — согласился кузнец, уважавший, несмотря на свое упрямство, доводы разума.

— Вот видишь!.. И наверное, тебе самому пора свою силу поиному расходовать.

— И это, стало быть, правда! — серьезно признал кузнец.

А признавши, остался верен своему слову. Решил силу свою отныне использовать разумнее и полезнее. Открыл кузницу, женился на Челаревой Юлке, которая талией такова была, что и самому кузнецу нашлось, что принять в свои могучие руки, и с искренней радостью принялся творить детей и выделывать инструмент для крестьян. Все у него выходило как игрушка, и все было здоровым и складным, как и подобает такому силачу. Дети рождались крепкие да удалые, точно сказочные богатыри, а лучший и более приятный для глаза инструмент надо было еще поискать.

Жил он, следовательно, счастливо и в почете. Целую неделю с утра до вечера без перерыва крутился в своей черной, прокопченной кузне, точно дьявол в адском пекле, и сам был черным от копоти. А по воскресеньям, которые он чтил, хотя и считал себя не «кларикалом», а «лабиралом», как сам гордо подчеркивал, устраивал день отдыха. Однако тело его к отдыху не привыкло, и воскресенья тянулись бесконечно, сумерки были полны воспоминаний, и кузнеца одолевали искушения. По утрам он исполнял все, что требовалось по дому, затем отправлялся к церкви под липу и там поджидал людей, чтоб потолковать о том о сем. Отобедав, играл с детьми, а потом и с женой и после этого не мог больше усидеть дома. Он шел по холмам, открывавшимся перед ним, и жадно смотрел, как убирают сено и носят снопы на сушку, подходил к работавшим и вместе с ними принимался за дело. Когда смеркалось, беспокойные ноги вели его в трактир, и там он таскал пузатые бочки и шутя поднимал по три стола разом. А когда наступала ночь и пора было угомониться, он от скуки тянул рюмку за рюмкой. И чем больше он выпивал, тем больше нерастраченных сил пробуждалось в нем. Кузнец беспокойно пересаживался с места на место, потирал могучие руки и выглядывал, не найдется ли где им применения. Но искал он напрасно. Тогда он потягивался, так что хрустели все его косточки, и кричал:

— Жалко, дьявола не существует! Будь он на белом свете, я б его хорошо отделал — ни одной шерстинки целой не осталось бы!

Люди смеялись этой его старой шутке. Только Арнац, благочестивый бобыль, гнусаво пищал из-за печки:

— Погоди, кузнец, увидишь! Дьявол свое возьмет!

— Как это возьмет, коли нет его,— небрежно возражал кузнец.

— Есть! — гнусил Арнац.

— А если есть, пускай приходит!

— Придет, не беспокойся!

— Как же он придет, если его нету! — гремел кузнец.

— Есть!

— Нету! — Кузнец стучал по столу кулаком, и стаканы подпрыгивали и падали на пол.

— Есть! — упрямо стоял на своем Арнац.

— А раз есть, то и отправляйся к нему! — Кузнец толкал ногой стол и вставал.

— Apage, satanas![1] — испуганно вопил Арнац, стискивая свой шкалик.

— Сейчас ты у меня увидишь *«apage!»* — грохотал кузнец и, схватив его за шиворот, как щенка выносил наружу.

Так проходили годы, прекрасные и счастливые годы. Кузнец весело и храбро возделывал ниву своей жизни; семейство его процветало, и ремесло цвело. Целую неделю он работал, а по воскресеньям и праздникам по-прежнему продолжал призывать нечистую силу и выносить из корчмы набожного Арнаца, чтобы тот отправлялся к дьяволу. Но дьявола не было и в помине.

В это время и приехал новый священник.

Наш приход располагался у черта на куличках, там, где, как говорится, господь бог с белым светом прощается, да к тому же еще считался очень бедным, поэтому вряд ли стоит особенно подчеркивать, что священников отправляли туда в наказание. Епископ из Горицы присылал нам духовников, которые, по его мнению, проявили себя дурными пастырями. Почему он так поступал, сие неведомо: живя у нас, ни один не исправился. Тем не менее народ принимал их всех подряд с распростертыми объятиями, независимо от того, оказывались ли они пьяницами, бабниками или их отягощали какие-либо иные грехи — ведь заранее было известно, что в село не поедет ревностный проповедник или гонитель, но появится живой человек из плоти и крови, который поймет людей, не будет сурово их осуждать и сквозь пальцы станет глядеть на их слабости, грехи и ошибки.

Не успел новый духовный пастырь приехать, а толки о нем уже докатились до нас, ибо добрая молва слышна далеко, а худая еще дальше, утверждает народная мудрость. В данном случае это были вести торговки Катры, промышлявшей продажей яичек и масла; к сорока годам она вдоль и поперек обошла Приморье, зналась со всеми кухарками и всеми священниками горицкой епархии. О новом священнике она сообщила, будто он нарушил шестую заповедь господню, причем вкупе с заповедью девятой. Людям молодым, коим заповеди сии не известны, скажем, что шестая гласит: «Не прелюбодействуй!», а девятая: «Не желай жены ближнего твоего!»

В приходе однажды уже побывал священник, впавший в такой грех. Он оставил два живых тому доказательства, то есть двух ребятишек, да к тому же и свежую память о семейных ссорах и драках; поэтому прихожане полагали, что лучше бы новому священнику оказаться пьяницей, ибо сие, по всей вероятности, и господу угоднее, нежели бегать пастырю духовному по горам да долам за юбками замужних женщин. Зрелые женщины, считавшие, что они пострадали более других, с достоинством помалкивали, молодые девчонки украдкой фыркали в фартук, а бабки пускались в рассуждения о том, что господу угоднее: увлекаться ли священнику напитками или за юбками бегать.

— Чего попусту языком трепать! — с чувством собственного превосходства говорила Катра.— Жупник [2] таков, каков есть, он трижды согрешил. Поэтому должен он в наказание носить три знака всем напоказ. За первый грех епископ напялил ему на голову шляпу с широкими полями, как у гореньских пастухов! Когда же он согрешил вторично, епископ набросил ему на плечи шерстяную женскую шаль вместо пелерины и сказал: «Женщин оставь в покое!» А когда

---

[1] Сгинь, сатана! *(Лат.)*

[2] Жупником в Словении называют приходского католического священника. *(Здесь и далее — примечания переводчика.)*

он в третий раз опростоволосился, епископу надоело: сунул ему в руки посох двухметровый с козлиным рогом наверху и выгнал со словами: «Запомни, что ты есть козел! Скройся с глаз моих в толминские горы!»

— Ты погляди, каков дьявол! — радостно воскликнул кузнец.— Неужто в самом деле такой хват, а?

— Мужик что надо! — согласилась Катра.— И человек хороший, в пору пожалеть его. Но нет ему спасенья! — Она покачала головой и, понизив голос, шепнула: — Оседлал его дьявол!

— Вот глупая голова бабья! — сердито сказал кузнец.— Нету на свете дьявола!

— Мы о делах церковных рассуждаем,— сурово напомнила Катра,— потому не буду я с тобой спорить о дьяволе! С жупником дело обстоит так, как я сказала: оседлал его дьявол! Мне сказала кухарка викария, а ей сообщил сам викарий.

— Эх! — презрительно ухмыльнулся кузнец.— Викарий? Что этот раззява понимает в таких делах? Его три дьявола разом оседлать могут, и все равно у него ничего не выйдет против шестой заповеди. Тут сила нужна, да и кровь должна кипеть. Я-то знаю, что к чему. Не будь Юлки, я бы в ту пору, когда меня дьявол оседлывает, даже за тобой погнался бы, хотя разумнее было б в терновник сигануть.

— Господи Иисусе Христе, чтоб ты подох вместе со своим племенем,— разгневалась Катра, позабыв при этом личном оскорблении и о викарии, и о прочих церковных делах.— Тебе да на меня кидаться? Тебе да меня с терновником сравнивать? Да будь я даже такой, тебе что за дело? И на носу себе заруби, что у терновника тоже плоды бывают!

— Но не для меня! — отбивался кузнец.— Я такую кислицу в рот не возьму.

— Как же, верю! — сердилась Катра.— Сам хорошо знаешь, что исцарапаешься!

— Вот и ладно, пускай тебя новый жупник царапает! — расхохотался кузнец.

— Жупник? — У Катры перехватило дыхание.— Ты что этим хочешь сказать?

— Хочу сказать, пускай сам жупник с тебя плоды и обирает! — добавил кузнец.

— С меня? — подскочила Катра.— Не бывать тому! Пусть к твоей Юлке пристынет! Да, к Юлке! То-то по селу толкуют, будто она толстых любит!

— Что? — теперь от ярости задыхался кузнец.— Я его как дьявола изничтожу!

— Как же ты его изничтожишь,— ядовито смеялась Катра, радуясь, что смогла поддеть кузнеца,— если дьявола вовсе и не существует, а? Жупник силен, да еще как! Сам увидишь, когда он приедет!

Новый священник появился внезапно и пришел пешком. В один прекрасный день он притопал по долине, неся на себе все видимые символы наказания, которыми оделил его епископ. Под широкополой шляпой, в наброшенной на плечи большой шали, с двухметровым посохом в руках, он вышагивал гордо и ровно, точно хозяин, идущий к себе домой. Не было и признаков того, чтоб он хоть капельку стыдился содеянного, напротив, выступал он с достоинством и даже с каким-то особенным, плохо скрытым торжеством. И Катра оказалась права, человек этот в самом деле был мужик что надо; лет ему было под сорок, роста почти двухметрового, прямой, как корабельная сосна. Подбородок его рассекала на две части глубокая ямка, что

у нас считалось признаком особенной красоты, нос он имел орлиный, глаза — серые и горячие, лоб — высокий, а густая черная шевелюра была выстрижена ровно настолько, насколько нужно.

«Чего ж тут удивляться!» — думали про себя женщины, выглядывая в окна, и долго смотрели ему вслед.

— Чего ж тут удивляться! — ворчали мужики, которым работа согнула спины и оттянула руки почти до самых колен.

Кузнец, дом которого находился рядом с церковным подворьем, увидел священника последним. В кузницу с криком ворвались запыхавшиеся ребята:

— Жупник идет!

— К чертовой матери! Вон! — загремел кузнец, как раз выхвативший из огня кусок раскаленного железа и шлепнувший его на наковальню.

Ребятишки разлетелись стайкой воробьев, но замерли на пороге, осторожно повернулись и дружно пропели:

— О-о-о-чеень ба-а-альшо-ой!

Это вывело кузнеца из себя. Он отбросил железо и с молотом в руках вышел на порог. Священник шагал к церкви, словно победоносно возвращался с поля битвы. Кузнец инстинктивно почувствовал, что в нем таится истинно мужская сила, и вспыхнул, как, бывало, вспыхивал всегда, увидев соперника, который мог оказаться достойным его.

Дети позвали мать, и она, встав на пороге рядом с мужем, сложила руки на пышной груди и наклонила в сторону голову, как поступают женщины, желая что-либо хорошенько рассмотреть.

— Большой мужик, ничего не скажешь! — произнесла она, когда священник прошел.

А кузнец, пробурчав что-то невнятное, смерил жену взглядом с ног до головы, словно желая определить ей цену, пожал плечами и молча вернулся к своей работе.

Священник не мешкая принялся за дело, и как принялся! Уже на другой день он разметал хлипкую ограду, догнивавшую на церковном подворье. Кузнец протер единственное оконце в кузнице, чтобы без помех видеть происходящее. Он беспокойно покусывал ус, глядя, как расшвыривает священник доски, так что все ходуном ходит, выдергивает из земли столбы, и они сами собою вылетают у него из рук. Развалив ограду, священник отправился на лесопилку и принес оттуда такую длинную и толстую дубовую лесину, что у кузнеца от волнения свело челюсти. А когда он приволок и другую такую же, кузнец просто не мог больше совладать с собой. Он подошел к священнику, просто и коротко поздоровался с ним, а потом вдруг поднял лесину высоко над головой, отбросил на несколько шагов в сторону и сказал:

— Отличная лесина! Крепкое дерево!

— Крепкое! — кивнул священник и с чуть заметной усмешкой искоса поглядел на него. Потом нагнулся не спеша, поднял лесину и швырнул ее чуть ли не в противоположный конец сада.

Кузнец удивленно и восхищенно посмотрел на него.

— Я ее там распилю,— спокойно объяснил тот.

— А, там? — обрадованно воскликнул кузнец, проворно нагибаясь к другой лесине и приподымая ее.

— Нет, а эту здесь! — засмеялся священник.

— А, эту здесь! — разочарованно и даже почти сердито произнес кузнец, опуская ствол на землю. Он смущенно вытирал руки о штаны, облизывал губы и растерянно озирался — нет ли чего-нибудь под рукой, чтобы показать свою силу. И не найдя ничего, спросил:

— А пила, пила у вас есть?

— И пила найдется! — улыбнулся священник.

— Ясное дело, найдется! — отвечал кузнец.— Я ее мигом принесу.

— И топор! — кричал ему вслед священник.— И заступ! И молоток!

Кузнец захватил пилу, топор, заступ и молоток. И они рубили и пилили, копали и долбили, точно наперегонки. Выхватывали друг у друга из рук инструмент, показывая, как именно нужно рубить и как очищать, как вонзать заступ в землю и как вгонять кол, чтоб с каждым ударом он на аршин уходил в землю. Священник был в прекрасном настроении, смеялся, а кузнец исподволь оценивал его мощь и думал:

«Силен, дьявол проклятый!.. Силен!.. Силен!..»

Они работали дотемна, потом уселись на пороге. А так как труд более всего сближает людей и делает их братьями, кузнец почувствовал себя настолько непринужденно, что счел возможным задать священнику вопрос:

— Значит, вы совсем один?

— Один,— коротко подтвердил тот.— Мне ведь некого бояться!

Кузнец ухмыльнулся и весело добавил:

— Ну чего там, бабу мужик всюду найдет!

— Всюду! — улыбнулся священник и поднялся.— А пока я ее не нашел, надо самому ужин готовить. Доброй ночи!

Кузнец вернулся домой, и долго было слышно, как он гремел у себя в мастерской.

В воскресенье церковь была полна, чего давненько не случалось. Люди собрались со всего прихода. Даже кузнец Фома почти целиком отстоял службу под своей липой, разговаривая с «лабиралами», которые церковь не посещали. Да и в самой церкви мало кто заглядывал в молитвенник; все не сводили глаз со здоровенного священника, который легко двигался вокруг алтаря. Женщины были серьезны, и эта серьезность лишний раз подтверждала:

«Чего ж удивляться!.. Чего ж удивляться!»

— Чего ж удивляться! — только и слышно было в тот день от мужиков в трактире.

— Куда ему такое здоровье?

— И такая силища?

— Могуч, что твой бугай!

— Такому впору камни в горах таскать, когда его дьявол оседлает!

Хохот сотрясал стены. А когда смех утих, из угла прозвучал гнусавый голосишко Арнаца:

— А пусть он тогда идет с кузнецом биться! И пусть его отделает!

— Что-о-о! — с угрозой протянул кузнец, до сих пор не проронивший ни слова.

— Ну-ка скажи, ты бы с ним схватился? — стоял на своем Арнац.

— С жупником? — изумился кузнец.— Кто же с жупником бьется?

— Да ведь ты лабирал! — злобно верещал Арнац.

— Лабирал не лабирал,— вознегодовал кузнец,— но я пока не такая скотина, чтоб со священниками биться.

— Отговорка хорошая, хоть коту под хвост прикладывай! — гнусавил Арнац.— Ты его боишься!

— Боюсь? — Кузнец опустил кулаки на стол.— Чтоб я кого-ни-

будь да боялся? И жупника не боюсь! Пусть в кого угодно превращается, хоть в самого дьявола, я его хорошо отделаю — ни одной шерстинки целой не останется!

— Хе-хе-хе, в дьявола? — злобно щерился Арнац.— Как же он превратится в дьявола, если ты говоришь, будто дьявола не существует?

Кузнец попал впросак. Облизав губы, он развел руками и гневно крикнул:

— Разве я виноват, что его нет?

— Есть дьявол! — гнусил упрямый мужичонка.

— Опять начинаешь? — с угрозой спросил кузнец, оттолкнул стол и встал.

— Apage, satanas! — завопил Арнац, выскакивая наружу.

Вскоре и кузнец отправился восвояси. Он был зол и охотно бы отвесил самому себе несколько хороших оплеух за то, что позволил Арнацу посмеяться над собой.

«Что скажет жупник, если это дойдет до его ушей? — подумал он. Но потом махнул рукой.— К черту! Чему быть, того не миновать!»

Но чего именно не миновать, он не знал и на всякий случай в последующие дни избегал священника. А тот в конце концов сам зашел к нему за инструментом, и только.

Жизнь вновь потекла по старому руслу. Священника полюбили. Он быстро «сбрасывал», как у нас говорят, мессы, а проповеди его были краткие и ядреные; бога он касался ровно столько, сколько требовалось, главное же место у него занимали дельные советы по земледелию и скотоводству. Мужики гордились тем, что у них живет такой сила-человек. Втайне они гордились и его грехом и поэтому с некоторым опасливым нетерпением ждали, когда же дьявол скажет свое слово. Но ничего пока не случалось. Священник жил разумно. Кухарки он, правда, не завел, но зато каждый месяц исчезал на два-три дня; иногда же его посещала какая-нибудь сестричка или кузина; тетки и прочие пожилые родственницы к нему никогда не приезжали. Должно быть, у него их не водилось. Пока у него в доме жила женщина, жупник был хмурым, неприступным и почти нигде не появлялся. Но оставшись в одиночестве, он вновь обретал хорошее настроение и приходил в кузницу, где трудился, как говорится, в поте лица. Он смотрел, как кузнец снует за работой, потом ему становилось невтерпеж, и он сам хватал молот, чтоб показать свою удаль и силу. Они стали друзьями, хотя в отношениях между ними и оставалась какая-то напряженность. Священник то и дело посмеивался, а кузнец перестал чувствовать себя так свободно и самоуверенно, как раньше. Он по-прежнему без устали работал и столь же разгульно проводил воскресные и праздничные дни, но теперь не так часто можно было увидеть его веселым и готовым встретиться с дьяволом.

II

Прошла весна, прошло лето, наступила осень, золотая пора для всего, что золотится, пора ревущих ветров и спелых запахов, пора больших облаков и недостижимых горизонтов, пора сладкой и печальной тревоги.

В эту золотую пору кузнец возвращался однажды из города, где торговал несколько старых железных болванок. Шел он весело, довольный собою, ибо был легок на ногу и шаг у него был упругий, хотя груз оказался не из легких. В каждом трактире по пути он чуть-

чуть прикладывался, а в последнем, что находился на расстоянии доброго часа ходьбы от села, угощался почти всю вторую половину дня, потому что был уже, так сказать, дома.

Когда опустились сумерки, он так «нагрузился», что ощутил острую потребность в компании, и, встретив трех побратимов по винному делу, принялся угощать их, разумеется и сам при этом не оставаясь в долгу. Он куролесил и куражился, как давно не бывало, медленно, но верно приближаясь к той великой минуте, когда надо было вспомнить о дьяволе. Собутыльники приметили это и перевели разговор на священника и его силу.

— Силен, ничего не скажешь! — согласился кузнец.— Но я бы его отделал!

— Как знать? — усомнились побратимы.

— Верно говорю! — Кузнец хватил кулаком по столу.

В эту самую минуту дверь отворилась и в трактир вошел священник.

— Вот черт! — вырвалось у кузнеца. Однако не потеряв присутствия духа, он раскрыл объятия и пригласил священника к столу: — Извольте, господин жупник! Пропустим по рюмке-другой, а потом вместе отправимся через долину!

Священник остановился посреди комнаты, высокий и статный, и, помолчав, ответил с необычной серьезностью, почти хмуро:

— Мой путь лежит в другую сторону, кузнец!

— Жалко! — откровенно ответил тот.

— Тебе страшно? — проникновенно спросил священник.

— Мне? — кузнец почувствовал себя прежним героем.

— Ты говоришь, что схватился б и с самим дьяволом? — пронзительно посмотрел на него священник.

— Да! И отделал бы его! — подтвердил кузнец, сжимая кулаки.

— Твердое слово! — одобрил священник. Он подошел к столу, протянул ладонь и серьезно сказал: — По рукам!

Кузнец удивленно посмотрел на него.

— По рукам! — повторил священник.

— Зачем бить по рукам, когда дьявола нет? — пытался увернуться кузнец.

— По рукам!

Кузнец вытер ладонь о штаны и ударил.

— Так! — Священник отступил от стола и выпрямился.— Давши слово, держись! Сегодня ночью ты повстречаешь дьявола!

— Как это? — встрепенулся кузнец.— Как я его повстречаю, если его не существует?

— Об этом ты расскажешь завтра! — строго ответил священник и в воцарившейся после этого тишине захлопнул за собой дверь.

Кузнец фыркнул, потом задумчиво произнес:

— Чудной он какой-то сегодня!

— Чудной! — поддержали винные братья и шумно вдохнули воздух.

— Чего вы тут развздыхались? — взбеленился кузнец.— Пепа!— крикнул он служанке.— Подавай нам еще литр!

Пепа поставила на стол еще вина, но прежнее веселье больше не возвращалось, кузнец сперва хорошенько обложил своих собутыльников, а потом вовсе их прогнал. И стал собираться домой, хотя Пепа и словами и руками удерживала его, умоляя не искушать дьявола.

— Оставь меня раз и навсегда в покое с этим дьяволом! — обозлился кузнец.— Если он мне попадется, я пригоню его сюда, пусть на тебе поездит!

— Нахал! — ответила Пепа.

Кузнец бросил деньги на стол, хлопнул дверью, поднял на плечи свой груз и свирепо двинулся в путь.

Ночь была ветреная. По небу катились огромные, иссиня-черные, грозные тучи. Время от времени между ними проглядывала багровая луна и заливала долину каким-то странным фиолетовым светом. Кузнец поглядел на небо, осмотрелся вокруг, и ему показалось, будто такой ночи он еще не видывал.

— Тьфу!.. Подходящая ноченька, чтоб дьявола повстречать!.. Разумеется, если б он был! — добавил он и твердо заключил: — Но вот нету его!

Дорога тянулась как голодный год, пока в конце концов не привела к узкому ущелью, где путь лежал по краю скалы; внизу гудела и пенилась река, вверх уходили отвесные громады. Шаги кузнеца раздавались здесь необычно, точно кто-то шел навстречу. Он остановился и прислушался. И в этот миг странный свист пронзил тишину. Потом раздался вторично, необычный, протяжный. У кузнеца мурашки побежали по коже. Свист раздался в третий раз, и только тогда кузнец, наконец, понял, что это свистели выдры, игравшие в омуте.

— Тысячу молний ему в ребро, теперь еще выдры будут на меня страх наводить! — гневно плюнул он и зашагал дальше.

Кузнец едва успел сделать три шага и замер, окаменев на месте. Навстречу ему со скалы внезапно спрыгнул дьявол. Черная пелерина развевалась у него за спиной точно крылья, и вот он уже стоял перед кузнецом. Тугое белое трико и белая рубаха обтягивали фигуру, лицо его казалось таким черным, будто глаз вовсе и не бывало, а над головой торчали два рога.

— Вот он я, кузнец Фома! — громко сказал дьявол, одним движением отбросил на плечо пелерину и выпрямился — он был на голову выше кузнеца.

— Apage! — невольно вырвалось у того.

— Ха-ха-ха! — Дьявол ударил ногой по земле, и под пяткой у него проскочила искра.— Теперь «Apage!» — расхохотался он.— Но сейчас мы можем с тобой побеседовать: веришь ли ты, что я существую, или нет?

— Верю! — пробормотал кузнец.

— Хорошо,— одобрил дьявол.— Но коль скоро тебя зовут Фомой и коль скоро ты вообще Фома-неверующий, подойди поближе и дотронься до меня!

— Да ведь я и так верю! — оробел кузнец.

— Подойди и коснись меня! — рявкнул дьявол.

Кузнец шагнул вперед и дотронулся до него пальцем.

— Ты меня чувствуешь? — спросил дьявол.

— Чувствую.

— Хорошо! — ответил дьявол и поднял руку.— А чтоб ты хорошенько меня почувствовал, на-ка вот тебе разок! — И он влепил кузнецу такую оплеуху, что у того подкосились ноги.

Кузнец пошатнулся, повернулся и повалился на дорожное ограждение. Но этого ему было достаточно, чтоб исчезли всякий страх и опасения. Удар разжег кровь, в нем проснулась прежняя удаль, и он взревел:

— Дьявол ты или не дьявол, даром тебе это не пройдет! Если ты за душой моей явился, изволь-ка сперва разделаться с моим телом!

— Идет! — дьявол отшвырнул в сторону пелерину и приготовился к битве.

Кузнец поднялся на ноги и, поскольку у него уже не было вре-

мени призывать на помощь одного за другим бога-отца, бога-сына и святого духа, с возгласом: «Во имя святой троицы!» — нагнул голову и, точно разъяренный бык на красную тряпку, ринулся на дьявола.

И грянул бой, который был долгим и яростным. То был бой... но зачем нам описывать его во всех тонкостях и деталях. Что касается ярости, скажем лишь, что камни отлетали с дороги в стороны, что в расселинах скал встрепенулись совы и с криками улетели, шумя крыльями, как стаи маленьких дьяволят; в ближнем лесу проснулись пичуги и разлетелись, испуганно щебеча, а две выдры, распаленные страстью свадебных игр, несколько раз пронзительно свистнули внизу в омуте, в бешенстве выскочили из воды и укрылись в густом ольшанике. Что же касается продолжительности этого боя, то скажем лишь, что огромные тучи семь раз закрывали луну и семь раз ее открывали, а битва не ослабевала.

Но всякое сражение имеет свой конец, а поскольку здесь шло сражение с дьяволом, иными словами, битва не на жизнь, а на смерть, то и завершиться оно должно было чьей-то победой.

Победил кузнец, находившийся, правда, на пределе своих сил. Собрав последние их остатки, он в отчаянии хватил дьявола прямо по его огромному кривому носу, и тогда тот допустил тактическую ошибку — от боли и гнева у него вырвался вопль:

— Иисусе Христе!

— А... а..— с облегчением прохрипел кузнец.— Теперь ты Христа на помощь зовешь! Зови, зови! Только он тебе не поможет, ведь я и сам крещеная душа!

И он обрушился на дьявола с новым пылом, повалил его, наконец, на землю, придавил коленом грудь, схватил за буйную шевелюру и принялся ударять головой по твердому камню дороги.

— Перестань, кузнец! Сдаюсь! — захрипел дьявол.

— Нету тут никаких «сдаюсь»! — Кузнец знал свое дело.

— Проклятие! — взревел дьявол.— Ты что, не видишь, что я — жупник?

— Эге! — победоносно вскричал кузнец.—Теперь ты станешь еще за жупника себя выдавать! — Последовал очередной удар.

— Перестань, кузнец!

— Ясное дело, всякий дьявол захотел бы стать жупником, окажись он под моими коленями!

— Послушай, кузнец!

— Слышал уже,— кузнец отвечал кулаком.— Ты хочешь шутки шутить с нашим жупником! С таким человеком? С такой силой? Не выйдет! Он тоже душа крещеная, хотя и грешник! А почему б и не быть грешником? Ведь не выхолостили ж его, когда попом обряжали? И вообще, что тебе до него? И не мое это дело, пока не начнет он вертеться вокруг моей Юлки.

— Перестань, проклятый! — из последних сил закричал дьявол.— Меня твоя Юлка волнует как прошлогодний снег!

— Что? — оскорбленно зарычал кузнец.— Прошлогодний снег? Ты так говоришь о моей Юлке? Да гебе не найти такой бабы, будь ты хоть сам такой-растакой дьявол! Кабан черный! Вепрь рогатый!

— Ты в самом деле спятил, кузнец? — воскликнул дьявол.— Неужели ты не видишь, что это я, жупник? И рогов у меня нет!

— Как рогов нет? Я их собственными глазами видел!

— Нету! Погляди хорошенько!

— Верно, рогов-то в самом деле нет. Погоди, однако, темь пройдет,— сказал кузнец, так как большое облако в тот момент закрыло луну.

Когда оно уплыло, кузнец взял в руки голову дьявола и стал вертеть ее, точно старый горшок.

— Теперь видишь, что это я, жупник?

— Нет, рогов не видно,— сказал кузнец.— Но что из этого следует? Да ровно ничего. Раз я мог обломать их у быка Устинара, так и у тебя тоже нетрудно отхватить эти два корешка. Вот видишь, еще и кровь течет! — и он провел пальцем по лбу дьявола.

— Иисусе Христе, ты вовсе спятил? — закричал снова дьявол.— Будь я дьяволом, я бы давно исчез! Разве б я позволил тебе молотить себя, как собаку?

— Исчез, как бы не так! — фыркнул кузнец.— Что ко мне в руки попадет, легко не исчезнет.

— О небеса, да ведь ты вовсе не веришь в дьявола!

— Не верю, пока он в руках у меня не окажется. А поймаю, так не отпущу!

— Слушай, кузнец! — заговорил дьявол.— Погляди-ка на меня как следует и увидишь, что я в самом деле жупник!

— Не бойся, мы на тебя поглядим как следует!

— Что ты задумал? — встревожился дьявол.

— Пригоню тебя в трактир,— спокойно ответил кузнец.

— Ты совсем рехнулся!

— Помалкивай и вставай! — распорядился кузнец, подхватив свою железную болванку.

Дьявол и впрямь убедился, что кузнец сошел с ума, и отдался на волю судьбы. Завернувшись в пелерину, он пошел вперед.

Кузнец шагал следом, не спуская с него глаз. Теперь ему все больше начинало казаться, что это вылитый священник.

«А может, он в самом деле жупник? — подумал кузнец.— Но зачем он тогда налетел на меня? — И хотя мысли в голове у него двигались не очень быстро, его вдруг осенило: — Потому что его оседлал дьявол... Но на меня-то он зачем полез? Ведь не баба же я?.. Нет, тут, должно быть, дьявол руку приложил... Что же тогда? Э, будь что будет! — Он махнул рукой.— Сами скоро увидим. Если он жупник, то жупником и останется. А коли дьявол, пусть хоть люди на него вблизи поглядят».

Они были уже почти возле самого трактира. Кузнец кашлянул, решив высказать дьяволу эту свою мысль, но не успел. Дьявол молниеносно обернулся, хватил кузнеца по голове и бросился обратно.

— Дьявол ты или жупник, погоди! — закричал кузнец и кинулся за ним следом.

Вероятно, дьяволу удалось бы счастливо отделаться, если б он спустился вниз к реке, в кустарник. Но он помчался в поле. Кузнец особым проворством не отличался, но ярость придала ему крылья, и он догнал соперника в поле, где цвела гречиха. Почувствовав кузнеца почти за самой спиной, дьявол остановился на бегу и ловко подставил ему ногу. Разогнавшийся кузнец растянулся во весь рост, а дьявол оседлал его, схватил за волосы и победоносно заявил:

— Вот так, а теперь я тебя!

Однако дьявол поспешил. Кузнец успел добавить ему синяков, прежде чем позволил себя одолеть. И только усевшись у кузнеца на груди, дьявол спросил:

— А теперь решай, что я такое: жупник или дьявол?

— Не знаю,— прохрипел кузнец.

— Обещаешь, что будем спокойно разговаривать?

— Обещаю...

Дьявол соскочил с него и, сорвав пук цветущей гречихи, стал

вытирать себе лицо. Кузнец, встав на колени, глядел на него во все глаза. Дьявол бросил траву, лицо у него было теперь почти белое.

— Жупник я или нет? — Он расхохотался.

— Жупник! — Кузнец разинул рот.— Но... но... зачем эта дурацкая игра?

— Ха... ха... ха! — громыхал священник, хлопая себя по коленям.— Затем, что мне хотелось схватиться с тобой!

— Да ну? — удивился кузнец.— Ведь и мне того же хотелось... с первого же дня... Ха... ха... ха!

— Вот мы и схватились! Ха... ха... ха...

— И я вас отделал! — гордо произнес кузнец.

— А я тебя тоже! — возразил священник.— Но это не считается!

— Почему ж не считается?

— Потому что я тебе подставил ногу. А ты меня отделал не как жупника, Теодора Чара, а в личине дьявола. Если б ты притворился дьяволом, а я бы столь же глупо верил, как сейчас веришь ты...

— Я и теперь не верю в дьявола! — обиженно прервал кузнец.

— Брось! — махнул рукой жупник.— Я говорю, что тоже отделал бы тебя, если б ты дьяволом прикинулся! Всякий порядочный мужик его бы отделал. Понимаешь?

— Понимаю,— кивнул кузнец.— Вы хотите сказать, что все то, что мы устроили сегодня ночью, ничего не стоит?

— Ровным счетом ничего! — подтвердил священник.— Нам надо еще раз схватиться. Причем по-честному, глядя друг другу в глаза.

— Так давайте! — обрадовался кузнец.

— А чего ж откладывать, раз мы здесь! — озорно откликнулся священник и встал.

И снова грянул бой. И этот бой тоже был яростным и долгим, они разрыли и раскопали все поле, словно на нем боролись два стада диких свиней. Луна зашла, и заря вспыхнула, а они продолжали схватку.

— Когда зазвонят к заутрене, кузнец, перестанем. Если оба к тому времени устоим на ногах, значит, мы равны! — задыхаясь, предложил священник.

— Идет,— прохрипел в ответ кузнец и не мешкая двинул его по носу.

— Иисусе Христе! — рявкнул священник, бросаясь вперед.

Зазвонили к ранней мессе, а оба они пока держались на ногах.

Тогда они пожали друг другу руки и весело засмеялись. Охотно уселись бы они теперь рядышком передохнуть, но время не ждало. Они заправили рубахи в брюки, кое-как почистились, разыскали пелерину священника и болванку кузнеца и поспешили домой, чтобы ненароком их кто-нибудь не увидел.

— Ты, по крайней мере, пристойно одет,— говорил священник.— Сам подумай, что скажут люди, увидев, как их пастырь в трико и рубашке кутается в пелерину?

— Скажут, что ночью его оседлал дьявол,— задумчиво ответил кузнец.

— Ха... ха... ха! А ты шутник! — расхохотался священник и от полноты чувств крепко огрел его по спине.

Проворно бежали они по долине. В горном ущелье, где кипел первый бой, кузнец увидел на дороге черный чулок с зашитыми в него двумя еловыми шишками.

— Это дьявольские рога, которые ты у меня вырвал,— сказал священник.— Отнеси их домой и повесь возле оленьих.

И опять они дружно смеялись.

Потом священник извлек из кустов свою одежду. Разыскал он

и символы своей епитимьи: шаль и шляпу. И только посоха не нашлось, потому что кузнец сломал его во время сражения.

— Ничего,— сказал кузнец.— Таких палок у меня хватает. Сегодня же вам сделаю. Да и козлиный рог найдется.

Они смеялись, дружно шагая вперед.

Ох, какое же занималось чудесное осеннее утро! Засияло солнце и позолотило пожелтевшие листья, а горные склоны вокруг искрились и трепетали.

— Разве не красиво? — расчувствовался священник.

— Красиво! — согласился кузнец.— Красоту хоть ложкой хлебай.

Но священнику не удалось насладиться вволю, потому что в церкви звонили уже во второй раз.

Почти у самой околицы кузнец многозначительно кашлянул.

— В чем дело? — остановился священник.

— Вот еще о чем бы хотел я спросить,— ответил кузнец.— Только скажите мне по правде и совести!

— А разве я когда-нибудь тебе лгал? Говори...

— Скажите, есть дьявол или его нету?

Священник рассмеялся и с силой хлопнул кузнеца по спине:

— А ты не так крепок в своей вере, как я считал. Есть дьявол!

— Да ну? — раскрыл рот кузнец.

— Есть! — подтвердил священник.— Но только для раззяв. А для таких удальцов, как мы с тобой,— нету дьявола!

Наступил черед кузнеца расхохотаться от всей души, и теперь он хлопнул священника. Но поскольку ростом-то он был пониже, то и вышло, что хлопнул он его по той части тела, которую, по крайней мере когда речь идет о священниках, не годится называть настоящим именем.

— Э, так не пойдет, по заднице ты меня бить не будешь! — рассердился тот.

— Ладно, отдавайте обратно! — Кузнец послушно подставил спину.

И священник двинул его с такой силой, что тот чуть не вспахал носом дорогу. Восстановив равновесие, кузнец укоризненно посмотрел на него.

— А это тебе за то, что ты меня на совесть отделал в облике дьявола.

— Ладно, пускай! — рассмеялся кузнец.— Если по чести сказать, то и у меня все тело болит.

Они пожали друг другу руки и расстались. Но прежде чем разойтись, твердо пообещали никому не рассказывать о событиях той ночи.

А в соседнем селе с утра до вечера люди толпились на поле цветущей гречихи. Ахали, охали, осеняли себя крестным знамением, опускались на колени и брали в горсть землю, нюхали ее и даже пробовали на язык. И притом болтали всякие глупости — такие неслыханные глупости, что мне даже вовсе не хочется о них упоминать, потому что я люблю свой Толминский край. И как не полюбить его, если жили там такие люди, как кузнец Фома!

Тантадруй

Поздней, ясной и чуть ветреной ночью я возвращался из Пирана. Медленно взбирался я в гору по узкой и крутой улочке, бормоча припев застрявшей в ушах чужой песенки, частенько останавливаясь, упоенно наблюдая и слушая, как осен-

ний ветер играет с лунной ночью. Он играл с нею, точно с вуалью: шелком шуршало все вокруг меня и надо мною, бледно-золотой свет мягко переливался на пологих крышах и игриво покачивался на взволнованном море.

У меня на сердце тоже было ветрено, а в душе — непривычно светло. Вновь пришли те золотые часы, которые насквозь пронизывают меня светом и музыкой и звучат в душе так же радостно, как звенит погожий летний день, замирая посреди зеленой долины. Было слишком хорошо, поэтому я был убежден, что вскоре все затянет неведомая и непонятная тоска, смешанная с горько-сладкой грустью, которая начнет побуждать меня к писанию. И все-таки я был так счастлив, что всем и каждому хотел поведать, как хорошо жить. А раз нигде не встречалось ни одной живой души, то я рассказывал об этом мертвым; как раз в эту минуту я проходил мимо кладбища и смотрел на посеребренную надпись, светлевшую над закрытыми воротами.

«Resurrecturis»[1] *,— про себя прочитал я и вслух произнес: — Жить хорошо!*

И смотри-ка, голос мой показался мне самому каким-то странным, глухим и робким, а еще более странно отдавались мои шаги.

— Жить хорошо! — громче повторил я. И тогда мне почудилось, будто там, за черными кладбищенскими кипарисами легонько перекатывается и исчезает между белых камней эхо моего голоса, приплясывает робкой птицей и, подобно птице, тихонько посмеивается надо мною:

«Жить-жить-жить!»

Было чуть-чуть жутко, но в то же время так интересно, что, вероятнее всего, я последовал бы за своим эхом, если б ворота не были заперты. А коль скоро они оказались заперты, я проворнее полез в гору по каменистой дороге. Шаги мои звучали теперь дробно, словно за мной поспешал по меньшей мере десяток душ. Взгляд мой упал на широкую ленту ровного шоссе. Оно было светлым и пустынным вплоть до самого входа на кладбище, над которым, словно влажный, полный печальной задумчивости глаз, светилась посеребренная надпись.

— Resurrecturis...— пробормотал я. И подумал, что точно такая же надпись стояла над входом нашего сельского кладбища, хотя там она не была сложена из железных и посеребренных букв, а вырезана долотом на дубовой плахе грубой рукою плотника Подземлича. Я вспомнил об этой плахе, а потом вспомнил о матери, которая спит на том кладбище уже тридцать лет. Она припомнилась мне столь ясно, как давно уже не бывало: я увидел ее лицо, синие глаза, ласковую и озорную улыбку, услышал ее теплый голос и сказки, которые она рассказывала так живо, что, по совести говоря, я должен был бы давно уж их записать.

На душе у меня становилось тяжелее и тяжелее, сердце билось тревожнее, точно совесть обожгла меня. Словно миновали золотые часы и стал клониться к закату погожий летний день. Подул ветер плодоносной грусти и обильной плодами печали. Домой идти не хотелось. Я свернул с шоссе и зашагал по проселку, тянувшемуся вдоль выщербленной стены. Вскоре я оказался во владениях старого Берта, домишко его и крохотное поле на вершине холма окружала высокая ограда, кое-где, правда, обвалившаяся, и эти провалы заросли густым кустарником. Могучие ворота когда-то, вероятно, охраняли вход в замок, теперь же от них уцелела лишь правая верея, а на ней стоял укрепленный цементом бюст какого-то средневекового

[1] Да воскреснут... *(Лат.)*

воина в шлеме, с могучими усами и с отбитым носом. Я прислушался, все ли кругом тихо и спит ли пес, о свирепости которого предупреждала надпись на деревянной дощечке. Вокруг было тихо. Медленно, на цыпочках пробирался я мимо вереи, и одному дьяволу ведомо, почему я вдруг поднес к виску правую руку, отдал честь искалеченному старому воину и выпалил:

— Божорно-босерна!

И замер как вкопанный. Затем покачал головой и спросил самого себя, откуда взялось это небывалое приветствие. И опять я увидел свою мать, которая шутливо погрозила, а потом улыбнулась, печально и ласково; и сейчас же мне вспомнилось, что так здоровался увечный строитель Лука из ее рассказа о Тантадруе. О, воистину причудливы пути вдохновения! Почти сорок лет этот рассказ таился во мне, и вот ветреной осенней ночью он проснулся возле разбитой статуи какого-то солдата, проснулся и ожил.

Я свернул вправо, сделал несколько шагов вдоль стены, остановился в сосновой рощице и уселся на ограде. Ночь и вправду была прекрасна, и осенний ветер играл с нею; он словно прятался в сосняке у меня за спиной и там шумел сильнее. Внизу лежал пиратский Пиран. Точно нос огромного пиратского парусника, он рассекал бурлящее море, а я сидел на вершине холма, как на верхушке мачты, и плыл. Я был старым пиратом, почти ослепшим от блеска неизмеримой океанской пучины, почти оглохшим от рева далеких вихрей в ледяных морских безднах, и потому видел все вполглаза и внимал всему вполуха. Картина эта показалась мне несколько нарочитой, поэтому ей на смену быстро пришла другая, менее приятная: я был орлом, прикованным цепью к мачте. Но кем бы я ни был, старым ли пиратом или плененным орлом, я двигался, я снова уплывал в неведомое, навстречу новым глупостям и мудрости, страданиям и страсти. Белье, сохнувшее на пиранских крышах и плясавшее под ветром, стало флажками на снастях моего пиратского корабля, вымпелами моего бремени, моих неизлечимых хворей, моих недостижимых целей. Пунта[1] *стала носом корабля, украшенным торсом пышной сирены, а маяк превратился в ее красный стеклянный глаз. Равномерно покачиваясь, мы рассекали волны. Впереди к горизонту уходила полоса золотистого лунного света. Далеко-далеко на ней мелькала крохотная черная точка, словно маленький человечек шагал по широкой белой дороге.*

— Так шел Тантадруй,— забормотал я.— Отправимся-ка теперь за ним! Отправимся в погоню за счастьем!

А потом? Потом взгляд мой вновь обратился к красотам ночи: скользнул меж белых камней за черными кипарисами, по руинам старого замка, по стройной колокольне, устремившейся в небо, по пологим крышам города Пирана. Он уходил в открытое море по широкой дороге лунного света, торопясь за крохотной точкой моих воспоминаний, за историей о Тантадруе...

I

Стылая земля звенела под их коваными башмаками, и стылая луна светила им сверху, потому что зимнее небо было ясным, а утро еще было неблизко. Издалека шли люди: хозяева и батраки, купцы и ремесленники, бродячие разносчики и коробейники, перекупщики

[1] Часть Пирана, где расположен маяк, застроенная красивыми старинными домами.

и маклеры, парни и девушки, бродяги и жулики попроще, потерянные души — нищие, дурачки от рождения, которых тогда называли «дети божьи», и такие, что свихнулись позднее и не было пока надобности держать их под замком. В одиночку и толпами спешили они по всем четырем долинам, раскрывавшимся перед ними. Они шли в Мост на ярмарку, поэтому шагали молча, чтоб легче было прикидывать барыши и убытки, раздумывать о своих нуждах и надобностях.

В Мост поспешал и деревенский дурачок Тантадруй. Все давно уже позабыли, как его звали на самом деле. Окрестили его Тантадруем, потому что каждую фразу он начинал с этого странного слова, которое, однако, было не таким уж странным. В детстве ребятишки дразнили его, и несчастная мать всегда из-за этого ругалась с соседками; пальцем она тыкала в ребят, стоявших в отдалении, и громко жаловалась, что дразнил «той, и той, и той друй». А словечко «друй» в наших местах означает «другой». Ребенок слышал это несчетное множество раз на день, поэтому нечего удивляться, что скороговорка, которой он не понимал, стала для него одним словом. К тому же и первым, которое он произнес сам. «Тантантадруй!» — стонал он, жалуясь матери, и «Тан-тан-та-друй...» — тихонько напевал, играя на печке или в пыли у порога. Позже, когда он выучился говорить, словечко это служило ему для упражнений в языке. Так постепенно оно превратилось в его имя.

Тантадруй был крохотным существом и разумом обладал крохотным, а маленькая душа его была достаточно просторной, чтоб вместить в себя великое и единственное желание: умереть. С тех пор как однажды мать сказала ему, что счастлив он будет только тогда, когда умрет, желание это настолько овладело им, что, пожалуй, он и жил-то ради него одного.

Теперь исполнение этого желания снова близилось, и он спешил так, что весело позвякивали многочисленные коровьи колокольчики, которые он ремешками привязал к длинной веревке, а ее, в свою очередь, повесил на плечи, крест-накрест перевязал ею грудь и препоясался. Собственно говоря, Тантадруй даже не шел, а подпрыгивал, потому что этого требовал ритм песенки, сложенной для него хромоножкой Тратарьевой Елчицей. Равномерно и безостановочно тянул он светлым, теплым голоском, который пожилые женщины называли ангельским:

На-а небе стоит солнце,
а на земле — мороз.
Собрал я колокольца,
и все они для вас.
Та-а-та-ан, та-а-та-ан,
та-а-ан-та-друй.
Ой-ю-юй, ой-ю-юй,
Ой-ю-юй, ой-ю-юй...

Люди догоняли, обгоняли его и ласково здоровались:

— Доброе утро, Тантадруй! Ты еще не умер?

— Тантадруй, еще нет! — радостно подскакивал дурачок.— Но я скоро. Смерть уже есть у меня, и эта будет настоящей!

— В самом деле? — удивлялись крестьяне.— Как же ты умрешь?

— Тантадруй, этого я не скажу! — с таинственным видом отговаривался он.

— Отчего же?

— Тантадруй, я сперва должен рассказать господину жупнику.

— Да, да! — понимающе соглашались крестьяне, а потом приветливо спрашивали: — А как Елчица? Она тебя еще любит?

— Тантадруй, еще любит! — укоризненно подскочил дурачок.— Когда она тоже умрет, я на ней женюсь!

— Ты на ней женишься?

— Тантадруй, я на ней женюсь, и мы оба будем счастливы!

— Но вы ведь на небо пойдете?

— Тантадруй, на небо мы не пойдем, а счастливыми будем!

— Да, да! — крестьяне ускоряли шаг.

— Тантадруй, а что ж вы о колокольцах не спрашиваете? — пускался вдогонку дурачок, и громкий звон оглашал ясное утро.

— А ведь верно! — люди приостанавливались.— Сколько их ты уже собрал?

— Тантадруй, Елчица их пересчитала и говорит, что всего трех не хватает,— весело отвечал он.

— А почему трех?

— Тантадруй, Елчица сказала, что каждому мученику будет по одному, если я наберу сорок.

— Вот оно что! Ты их отдашь мученикам?

— Тантадруй, мученикам. Елчица говорит, что они все равны и что будет очень красиво, когда они встанут в ряд и разом зазвонят.

— О, в самом деле красиво будет! — соглашались крестьяне и вновь поспешали вперед.

— Тантадруй, а те три, что еще не хватает, я на ярмарке прикуплю! — спешил за людьми дурачок.— Ведь их там продают?

— Продадут, если у тебя деньги найдутся.

— Найдутся, тантадруй! — И снова все кругом радостно звенело.

— На, возьми еще монетку, чтоб получше сторговать,— отвечали крестьяне и совали мелочь.

— Я сторгую, тантадруй, непременно сторгую. А потом поскорей к жупнику!

— Ясное дело, потом к жупнику!

— Тантадруй, а потом я умру! Я так хочу умереть!

— Ты умрешь! Умрешь! — соглашались люди и теперь уже решительно ускоряли шаг, чтоб утереть слезы, которые от стужи выступали у них на глазах.

Тантадруй не мог идти с ними рядом — ведь был он маленький, на очень коротких ножках. Он отставал, но не печалился, так как верил, что теперь в самом деле умрет. Весело ковылял он по дороге, весело звенели колокольчики, и весело неслась навстречу холодной багряной заре его звонкая песенка:

На-а небе стоит солнце,
а на земле — мороз.
Собрал я колокольца,
и все они для вас.
Та-а-та-ан, та-а-та-ан,
та-а-ан-та-друй.
Ой-ю-юй, ой-ю-юй,
ой-ю-юй, ой-ю-юй...

II

В конце концов Тантадруй пришел на ярмарку. Там было почти так же хорошо, как на небесах, но в то же время и чуть похуже, потому что дул ветер и было слишком холодно, хотя и светило золотое зимнее солнце.

Под сводом у дверей старого трактира Подкоритара стоял стражмейстер Доминик Тестен в парадном мундире. На боку у него висела большая сабля, украшенная шелковым темляком, на голове сверкала

каска с длинным и острым навершием, словно из темени его вырастал серебряный рог. Стражмейстер был серьезен и могуч, как сам господь бог-отец, и столь же свысока и неподвижно взирал на площадь.

Тантадруй свернул было к нему, очень ему хотелось рассказать, как он нашел настоящую смерть,— но Доминик Тестен так спесиво выпятил грудь и так угрожающе шевельнул густыми усами, что дурачок испугался. Дело в том, что стражмейстер был совершенно трезв и таковым обязан был оставаться до самой торжественной мессы, поэтому ему и в голову не приходило сейчас выслушивать разные глупости, и менее всего такие, которые касались смерти.

Разочарованно вздохнув, Тантадруй пошел на площадь. Там в четыре ряда стояли лавки, а в них было богатства и чудес на все вкусы и все желания. Вертелась карусель, завывали шарманки, пиликали гармошки, в руках у детей пищали свистульки и гудели дудки. А сколько народу понаехало на ярмарку! Голова к голове, как на изображении Судного дня, которое Тантадруй частенько разглядывал у крестьянина Хотейца, слывшего защитником всех юродивых и нищих, обиженных богом. Правда, на той картине люди стояли неподвижно и молча, здесь же все они кружились, вертелись, спешили, толкались и пихались, говорили, кричали, смеялись, здоровались, похлопывали друг друга по плечу, пожимали руки, потому что каждому попадался знакомый, которого он давненько не встречал.

Тантадруй тоже увидел своих знакомых, ведь на ярмарке собрались все: хорошие и плохие, правые и виноватые, умные и глупые.

Сперва он налетел на Луку Божорно-босерна. Это был пятидесятилетний богатырь, строитель, мастер на все руки; однажды он свалился с высоких строительных лесов, здорово разбился и повредил голову так, что больше уже не мог обрести здравый рассудок. У него не было правой руки, а вместо левой ноги, которую ему отхватили по самое бедро, была деревяшка, подкованная настоящей конской подковой. Он бродил по селам и с апостольским жаром убеждал, что «больше нельзя строить кверху, но лишь книзу, немного по земле, а потом прямо в землю». Увидев где-нибудь строительство, он начинал кричать на рабочих и трясти леса. Голос его гремел, словно из бочки, сила у него оставалась прежняя, поэтому у строителей очень скоро начинали дрожать коленки. Они спускались вниз и дружелюбно толковали с Лукой о постройках книзу, немного по земле, а потом прямо в землю. После того, как они во всем с ним соглашались, он весело прощался.

— Так и надо, божорно-босерна! — гудел он, отдавая по-солдатски честь, и следовал дальше.

Лука много лет строил в Горице и Триесте, и в памяти у него удержалось несколько итальянских слов. Например, он здоровался только по-итальянски, но произносил не buon giorno и buona sera [1], а коротко и отрывисто выпаливал: «Божорно-босерна», причем оба слова вместе, будь то утро, полдень или вечер. Судя по всему, он уже не понимал, что означают эти слова, и употреблял их даже в тех случаях, когда ему требовалось просто подкрепить свои суждения.

Тантадруя он встретил возле лавки Войскара, где можно было поглазеть и прицениться к разным изделиям из кованого железа. Лука перебирал мастерки и молотки, громогласно и пылко рассуждая о своем способе строительства, Войскар с не меньшим пылом соглашался, надеясь тем самым поскорее от него отделаться. Сияя от счастья, Тантадруй сообщил:

---

[1] Добрый день, добрый вечер *(итал.)*.

— Тантадруй, теперь она уже здесь, и это будет самая настоящая!

— Божорно-босерна! — загудел Лука, по-солдатски салютуя ему, а поскольку мысли его были еще целиком заняты прежним разговором, добавил: — Если кверху пойдет, то ненастоящая будет!

— Тантадруй, кверху и не пойдет. Пойдет к... Нет! — испуганно подпрыгнул дурачок и приложил палец к губам.— Я должен сперва жупнику рассказать!

— Расскажи, расскажи! Но если пойдет кверху, то ненастоящая будет, и божорно-босерна! — поставил точку Лука.

— Тантадруй, кверху не пойдет! — кивнул дурачок и отвернулся.

— Ты куда идешь? — прогудел Лука.

— Тантадруй, три колокольчика покупать.

— Три колокольчика? — удивился Лука.— Ты с ума сошел!

— Тантадруй, я с ума не сошел, я дитя божье! — обиделся дурачок.— Так Хотеец сказал.

— Хотеец? — протянул Лука и, подумав, добавил: — Если Хотеец сказал, то божорно-босерна! Тогда пошли за колокольцами!

— Пошли, тантадруй! — обрадовался дурачок.

Лука, который уже успел осмотреть ярмарку и поэтому знал, где продают колокольчики, положил на плечо Тантадрую свою единственную руку и принялся проталкивать его сквозь толпу; он подталкивал его так, что все вокруг звенело, и при этом гудел:

— Берегись! Берегись! Мы за колокольцами идем!

Не успели они добраться до Локовчена, торговавшего колокольчиками для коров, как навстречу попался Русепатацис, старый, длинный и очень тощий фурланец. Без малого тридцать лет прослужил он в батраках у скупого хозяина, кормившего своих слуг только репой да картошкой. Еще в ту пору, когда его о чем-либо спрашивали, он лишь пожимал плечами и хмуро бормотал: «Тьфу! Raus e patacis!» И зная, что люди не понимают фурланского диалекта, добавлял по-словенски: «Репа и картофель!» Особо быстрым умом он никогда не отличался, но отчего лишился разума, никто не знал. В один прекрасный вечер он ни с того ни с сего просто-напросто взбесился. Сбросил со стола огромный глиняный горшок с репой и картофелем и принялся скакать по комнате, точно сражаясь с драконом. Его скрутили, окатили холодной водой и заперли в клеть. На другое утро хозяин велел ему собрать котомку и покинуть дом. Русепатацис ушел в хлев, где он спал, но котомку увязывать не стал, а, взяв топор, принялся убивать коров и лошадей. Услыхав ржанье и мычанье, люди бросились в хлев, но почти все животные уже были мертвы. Завопив, словно топор вот-вот должен был опуститься на его голову, хозяин рухнул на колени и, ломая руки, умолял своего слугу смилостивиться. Русепатацис презрительно усмехнулся и бросил топор. Тогда его схватили и до полусмерти избили, а потом передали жандармам, и те увели его с собой. Однако жандармам, как позже и судьям, Русепатацис на все вопросы отвечал презрительным фырканьем: «Тьфу! Raus e patacis, репа и картофель!» Решив, что имеют дело с помешанным, его недолго продержали в кутузке, а когда доктора удостоверили, что опасности он не представляет, отправили по месту рождения. Русепатацис не смог жить в равнинной Фурлании. Он бежал оттуда обратно в Толминский край. Это был спокойный, ничуть не опасный человек. Но стоило случайно поставить перед ним репу и

картофель, как он приходил в бешенство. Говорил он очень мало. Обычно махал рукой да презрительно фыркал:

— Тьфу! Raus e patacis, репа и картофель!

Тантадруй ему тоже обрадовался. Подбежал и поскорее сообщил, что теперь он нашел настоящую смерть.

— Тьфу! Raus e patacis, репа и картофель!

— Нет, тантадруй, не репа и картофель! — обиженно возразил дурачок.— Это будет... Нет! — Он затряс головой и опять приложил палец к губам, чтоб удержать свою тайну.— Я жупнику сперва должен рассказать!

— Тьфу! Raus e patacis, репа и картофель!

— Ты с ума сошел! — вспыхнул Лука, до сих пор лишь хмуро на него смотревший.

— Тьфу! Raus e patacis, репа и картофель!

— Тихо! — загудел Лука.— Мы с ним вдвоем идем за колокольцами, и божорно-босерна!

— Тьфу! Raus e patacis, репа и картофель! — еще презрительнее фыркнул фурланец, но тем не менее последовал за ними.

У прилавка, где Локовчен продавал коровьи колокольчики, им попался Хотейчев Матиц, по прозвищу Ровная Дубинка. Это тоже был парень хоть куда, но он больше, чем остальные, напоминал ребенка. Он ни на что не годился, и поэтому юность его была воистину печальна. Его тоже спас старый Хотеец. Однажды Матиц пришел к нему, рассеянно огляделся вокруг, потом уселся на ограде и принялся бить камнем о камень. Хотеец его пожалел. Разыскав нож и несколько обломков стекла, он вырезал метровую палку толщиной в палец, подсел к Матицу и сперва очистил ножом палку, а потом стал шлифовать ее стеклом.

— Видишь, Матиц,— ласково обратился он к несчастному,— я дам тебе нож и стекло, а ты выстругай точно такую же палку, да чтоб она была гладкая, ровная вдоль и поперек, здесь и вот здесь, и вообще всюду одинаковая.

— И вообще всюду одинаковая,— изумленно забормотал Матиц, имевший привычку повторять последние слова услышанной фразы. Не теряя времени, он принялся за работу. Так он обрел цель в жизни. С тех пор прошло уже двадцать лет, но пока ему не удалось сделать такой палки, которая на обоих концах, здесь и вот здесь, была бы одинаково ровной. Стоило ему обстрогать и отшлифовать палку на одном конце, как она становилась толще на другом, едва он выравнивал ее там, как выяснялось, что она толще в середине, а когда он справлялся с серединой, оказывалось, что она снова стала толще на нижнем конце. Так он строгал и чистил, пока не доходил до сердцевины. Палка, которая теперь скорее была прутом, переламывалась у него в руках. Но ему и горя было мало! Он бросал ее, вырезал другую, ведь дерева было сколько душе угодно, и принимался опять строгать с терпением и усердием гения, приносящего в жертву долгие годы жизни, чтобы осуществить свой великий замысел,— так что в стороны отлетали только стружки да обломки палок.

— Божорно-босерна! — загремел Лука и отдал ему честь.

— Жорнобосерна? — пробормотал Ровная Дубинка, устремив на него огромные мутные глаза.

— Тантадруй,— раздался веселый голосок,— теперь она у меня, и это будет настоящая!

— И это будет настоящая! — повторил Матиц, недоверчиво выпучил глаза, вытащил из-под мышки обструганную палку, осмотрел ее и покачал головой, дескать, нет, не настоящая, потому что не на

обоих концах, здесь и вот здесь, вдоль и поперек и вообще всюду ровная и одинаковая.

— Тантадруй, теперь я умру! — радостно сообщил дурачок.

— Теперь я умру...— удивленно повторил Ровная Дубинка.

— Тантадруй, я умру! — повысил голос дурачок.

— Я умру! — испуганно воскликнул и Ровная Дубинка.

— Тьфу! Raus e patacis, репа и картофель! — презрительно фыркнул фурланец.

— И картофель,— в испуге повторил Ровная Дубинка, поворачиваясь к нему.

— Тихо, и божорно-босерна! — загудел Лука.

— Жорнобосерна,— встрепенулся Ровная Дубинка, глядя теперь на Луку.

— Тантадруй, я жупнику расскажу! — вмешался дурачок, занятый своими мыслями.

— Я жупнику расскажу,— удивленно повторил Ровная Дубинка.

— Тантадруй, я расскажу! — рассердился дурачок.

— Я расскажу,— настаивал Ровная Дубинка.

— Тантадруй, ты не расскажешь! — сердито крикнул Тантадруй и задрожал так, что зазвенели все его колокольчики.

Парни, окружившие несчастных, засмеялись.

— Не расскажешь,— испуганно согласился Ровная Дубинка, не сводя глаз с Тантадруя.

— Расскажу, тантадруй! — закричал дурачок и посмотрел на Луку, которого считал своим покровителем.

— Ты с ума сошел! — загремел Лука на Ровную Дубинку.

— Ты с ума сошел,— послушно повторил Матиц, дрожа всем телом от громкого голоса Луки.

— Ты с ума сошел, и божорно-босерна! — яростно заревел Лука.

— Тьфу! Raus e patacis, репа и картофель! — в свою очередь фыркнул фурланец.

— И картофель! — перепуганно вторил Ровная Дубинка.

Люди кругом опять захохотали. Но не успели всласть посмеяться. Разом, будто повинуясь чьему-то приказу, они смолкли и стали расходиться, ибо словно из-под земли перед ними вырос Хотеец.

— Стыдитесь! — Глаза старика под косматыми седыми бровями сверкнули.— Оставьте несчастных в покое. Такое с каждым из нас может случиться!

— Божорно-босерна! — Лука воинским салютом и трубным кличем приветствовал Хотейца.

— Тантадруй, теперь она у меня, и эта будет настоящая! — поспешно сообщил Тантадруй.

— Ладно, ладно, ты жупнику расскажи,— старик отечески похлопал его по плечу.

— Тантадруй, мне только трех колокольцев не хватает,— похвастался дурачок.

— А теперь мы их купим! — решительно загудел Лука.

— Ладно, ладно, дети мои! — кивнул Хотеец и, повернувшись к Локовчену, торговавшему коровьими боталами, сказал, как может говорить только уверенный в себе хозяин: — Дай ему три штуки, Локовчен.

— Боже царю небесный! — заломил руки Локовчен.— Он же их еле носит!

— Он не чувствует тяжести! — серьезно возразил Хотеец.

— Вы думаете, не чувствует? — с сомнением поднял на него глаза Локовчен, словно подозревая, что у того самого не все дома.

— Думаю! — стоял на своем старик, точно это было самое простое и очевидное для всех дело на белом свете.

— Тьфу! Raus e patacis, репа и картофель! — раздался презрительный голос фурланца.

Люди опять рассмеялись. Хотеец вздрогнул, сердито посмотрел на Русепатациса, словно позабыв, что перед ним больной человек. Потом поглядел на людей, которые, стихнув, ожидали дальнейшего. Видно, он собирался ответить покрепче, но справился с собой. Снова повернувшись к несчастным, он ласково сказал:

— Не смейте бродить, когда стемнеет! Все приходите ко мне спать? Поняли?

— Поняли! Спать, и божорно-босерна! — загремел Лука, салютуя.

— Тантадруй, если она будет настоящая, я сперва умру! — упирался дурачок.

— Ладно, ладно! — уступил Хотеец.— Тогда ты позже придешь спать.

— Тьфу! Raus e patacis, репа и картофель! — фыркнул фурланец.

Хотеец невольно повернулся так резко, что Матиц Ровная Дубинка испуганно отскочил в сторону и почти в лицо ему крикнул:

— И картофель!..

И снова смеялись люди. Однако на сей раз их смех внезапно перекрыл звонкий, необыкновенно красивый голос:

— Эй, глупцы, чего вы ржете? Ведь сами вы с ума сойдете!

И прежде чем они успели оглянуться и осмотреться, всем стало ясно, что это красавец Найденыш Перегрин. Люди расступились, и он предстал пред ними во всей своей красоте. У него были черные как вороново крыло волосы, большие синие глаза, белая кожа и почти девичьи черты лица, почему он и считался образцом красоты. Если кого-нибудь находили по-настоящему красивым, говорили, что он почти так же прекрасен, как Найденыш Перегрин, а это была высокая оценка. Толковали, будто он был сыном красавца цыгана и местной красотки, которая тайком носила и родила его, а потом оставила в придорожной канаве. Окрестили его Перегрином, потому что обнаружили в день этого святого, и назвали Найденышем, что соответствовало истине. Хотеец взял его к себе, не имея своих детей, но сумел сделать из него только пастуха, потому что чем старше становился Перегрин, тем сильнее говорила в нем беспокойная кровь. В раннем детстве он много плакал, хотя для этого не было никаких особых причин, а когда превратился в парня, затаил слезы в душе, украсил лицо улыбкой и отправился странствовать по белу свету. Хотеец не мог понять этого и не мог простить. Красавцу не было равного во всей округе. Он играл на гармони, на скрипке, на кларнете, цитре и трубе, вообще владел любым инструментом, который попадал ему в руки, пел, причем так хорошо, что у женщин мурашки бежали по коже. Был он бродягой и большим шутником. Шутки его не были злыми, однако иногда они доставляли людям немало хлопот. Одной из самых излюбленных его забав был обмен. Шел он, например, в полночь по селу и из чистого озорства в первом же попавшемся доме мимоходом снимал с окна горшок с гвоздикой, уносил на другой конец села, там ставил кому-нибудь на подоконник, брал здесь, в свою очередь, горшок с геранью, уносил в третий дом, обменивал герань на иной цветок, который оказывался еще дальше. Так неслышно бродил он всю ночь и столь основательно перепутывал цветы, что потом девушки и бабы всю неделю ходили с горшками по селу, хохотали, ворчали и бранились. И все знали, что это проделки Найденыша Перегрина. Иногда по ночам он обменивал у крестьян скот, телеги, инструмент, копны сена на лугах и даже перетаскивал

снопы пшеницы и гречихи с одного козольца [1] на другой. Когда крестьяне потом попрекали его за такие забавы, он лишь посмеивался и отвечал, что ничего худого не вышло, ведь все осталось в деревне. Сердце у него было доброе. И хотя он ни у кого не тронул волоска на голове, его побаивались, опасались его быстрых глаз и острого языка; жил он точно полевой цветок или птица небесная, поэтому мог всякому сказать в глаза, что о нем думает. Говорил он так складно, словно каждого одаривал талером, предпочитая использовать рифмы, которыми сыпал как из рукава.

И вот встал он посреди обиженных людей, сдвинул с прекрасного лба на затылок зеленую шляпу, насмешливо оглядел всех, указал пальцем на четырех наших несчастных и громко сказал:

— Благо им, настолько разумным, что все для вас умное для них — безумно!

Люди молча расходились. Исчез и Хотеец, избегавший встреч со своим приемным сыном. А Тантадруй подскочил к юноше и умильно попросил:

— Тантадруй, спой, Перегрин, спой!

Перегрин положил ему на плечо руку и приветливо спросил:

— Ну, теперь у тебя настоящая?

— Настоящая, тантадруй! — радостно подтвердил дурачок.

— И ты умрешь?

— Тантадруй, умру!

— Если так, я спою! — ласково улыбнулся Перегрин. Он снял с плеча гитару, провел пальцами по струнам и запел:

На-а небе стоит солнце,
а на земле — мороз.
Собрал я колокольца,
и все они для вас.
Та-а-та-ан, та-а-та-ан,
та-а-ан-та-друй.
Ой-ю-юй, ой-ю-юй,
ой-ю-юй, ой-ю-юй...

Тантадруй сиял от счастья, да и остальным было хорошо, потому что пел он в самом деле прекрасно, даже Русепатацис растрогался и ни разу не фыркнул. Словно бы всех озарил вдруг необычный, яркий и теплый свет. Перегрин смолк, и Тантадруй попросил его спеть песню еще раз.

— Пока будет, в другой раз прибудет! — озорно улыбнулся парень и исчез в толпе.

Тантадруй кинулся следом, но тут же вернулся, так как продавец колокольчиков Локовчен принялся вовсю названивать, привлекая покупателей.

— Давай, народ, налетай! — кричал он.— А вот колокольца! Лучшие звоночки! Прекрасные голосочки!

Тантадруй приступил к делу. Возился он долго, но в тот самый миг, когда он, наконец, выбрал, Русепатацис выхватил колокольчики у него из рук, бросил в кучу к остальным и презрительно заявил, что это репа и картофель. Лука взял колокольчики, сунул их Тантадрую в руку и повелительно загремел:

— Возьмем вот эти, и божорно-босерна!

Локовчен сразу смекнул, что, чем меньше он будет вмешиваться, тем скорее освободится от нежеланных покупателей. Так и случилось. Лука привязал три колокольчика ремешками к веревке, на ко-

[1] Козолец — приспособление у словенских крестьян для сушки сена или зерна.

торой уже болталось тридцать семь штук. Увидев, что дело сделано, дурачок радостно подскочил на месте:

— Тантадруй, теперь я пошел к жупнику!

— Божорно-босерна! — отдал ему честь Лука и закричал вдогонку: — Если кверху, то не будет настоящая. Книзу, немного по земле, а потом прямо в землю. Запомни это, и божорно-босерна!

— Тьфу! — презрительно фыркнул фурланец.— Raus e patacis, репа и картофель!

— И картофель! — дружелюбно забормотал Матиц Ровная Дубинка; ему показалось, будто непременно надобно что-то сказать, и он повторил последние услышанные слова.

III

Под громкий перезвон своих колокольчиков Тантадруй пробрался сквозь ярмарочную суету и поспешил в гору к церкви. Но едва он сделал несколько шагов, как его мигом окружила плотным кольцом ватага разыгравшихся ребятишек.

— Эй, Тантадруй, ты еще не умер? — громко кричали они.

— Еще нет, тантадруй. Но теперь она здесь, и это будет настоящая! — весело отвечал он.

— Вот и не будет!

— Тантадруй, я думаю, будет! — Он таинственно усмехнулся.

— А какая она? Ты что, с колокольни спрыгнешь?

— Тантадруй, нет! — ужаснулся он.— Та была ненастоящая. Если с колокольни прыгать, то не умрешь, а убьешься! — подняв кверху палец, внушал он детям с той же строгостью, с какой ему самому говорил священник, когда он делился с ним своими намерениями.

— Тогда с моста спрыгнешь?

— Тантадруй, нет! Та тоже была ненастоящая. Если с моста прыгать, то не умрешь, а утонешь!

— Тогда в снегу заснешь?

— Тантадруй, нет! Если в снегу заснуть, то не умрешь, а замерзнешь!

— Тогда в печь к пекарю прыгнешь?

— Тантадруй, нет! Если в печь прыгать, то не умрешь, а сгоришь!

— Нет, испечешься! — ликовали ребята.

— Тантадруй, жупник сказал, что сгорю! — строго отверг он и эту догадку.

— Нет, испечешься! Разве хлеб в печи сгорает?

— Верно, тантадруй, хлеб в печи не сгорает.

— Вот видишь! Что ты теперь будешь делать?

— Тантадруй, знаю, да не скажу!

— Скажи! Скажи!

— Не могу, тантадруй! Сперва я должен жупнику рассказать,— вырывался он, бросаясь то в одну, то в другую сторону, чтоб ускользнуть от детей.

Так они добрались, наконец, до церкви, и ребятишки мгновенно юркнули внутрь, ибо начиналась торжественная месса. Тантадрую тоже хотелось войти в храм, ведь там было так красиво, но он не смел. Он встал под толстой шелковицей у церковной ограды и заглядался на трех светло-сизых голубей, прогуливавшихся неподалеку. Гудел орган, и в воздухе плыли чудесные звуки. Тантадруй внимательно слушал и сердился на воробьев, оживленно гомонивших в ветвях над его головой. Он посмотрел вверх и задрожал от злости. Коло-

кольчики зазвенели, и воробьи вспорхнули, снялись с места и три красивых голубя — они устремились прямо к солнцу, которое заливало их сверкающим серебром, и, превратившись в серебряных птиц, унеслись в небо.

Тантадруй вспомнил Тратарьеву Елчицу, которая как-то раз назвала птиц самыми счастливыми существами. Он представил себе, как было бы хорошо, если б он тоже стал птицей и в птицу обратилась бы Елчица. Тогда бы, например, сейчас они сперва взлетели на крышу дома священника, оттуда поднялись на кладбищенские кипарисы, потом — на колокольню, с колокольни — на гору и, с горы на гору, улетали бы дальше и дальше.

Ударили в колокола, и Тантадруй пришел в себя. Из церкви повалил народ и стал быстро расходиться, торопясь на ярмарку, в трактир, на обед. Появился стражмейстер Доминик Тестен, который, правда, уже выглядел менее строгим, чем прежде, однако Тантадруй на всякий случай спрятался за толстым деревом, чтоб в этом укрытии дождаться священника.

В конце концов двери сакристии распахнулись. Показались четыре священника, и несчастный лишился голоса. Они были огромные, очень круглые и, точно гуси, друг за другом легко катились к нему. Каждый из них левой рукой поднимал край сутаны, внимательно глядя перед собою, чтоб не попасть в грязь, правой рукой они придерживали крохотные черные шапочки, опасаясь, как бы ветер не сорвал их с толстых, совершенно лысых голов И так они походили друг на друга, что Тантадруй с трудом смог узнать своего священника. Они приблизились к дереву, и Тантадруй вышел навстречу. Услышав необычное позвякиванье, священники вздрогнули, разом подняли головы и удивленно воззрились на странное существо, увешанное коровьими колокольцами.

— Это тот самый Тантарадра, который хотел бы умереть,— с легкой улыбкой сообщил собратьям местный священник.

— А-а-а? — разом протянули чужие священники и точно так же разом остановились, сложив на животах руки, наклонили головы к левому плечу и стали ждать, что последует дальше.

— Ну, Тантарадра? — повернулся к нему священник-хозяин.

— Тан-та-друй! — сконфуженно улыбаясь, но очень любезно ответил дурачок, чтобы священник запомнил его имя.

— Да, да, Тантадруй,— кивнул тот.— Ну что ты на сей раз придумал?

Тантадруй улыбнулся и с необычным блеском в мутных глазах медленно и торжественно сообщил:

— Тантадруй, я поймаю гадюку, она меня укусит, и я умру!

— О-о-о! — хором протянули чужие священники и закачали головами.

Местный священник поглядел на них несколько свысока, словно испытывая гордость за своего дурачка, и, снова повернувшись к нему, сказал:

— Тантадруй, сейчас зима и нету гадюк! — Он поднял палец и строго продолжал, словно вбивая в голову слово за словом: — Но даже когда они появятся, и ты поймаешь одну из них, и она тебя укусит, ты не умрешь, а будешь отравлен!

— Отравлен, тантадруй! — простонал бедняга, и чистая, бесконечная печаль разлилась по его маленькому сморщенному личику.

— Отравлен! — хором повторили чужие священники и погрозили своими белыми пальцами.

— Отравлен! — подтвердил местный священник и опять погрозил пальцем: — Подожди, пока не пробил твой час. Все мы должны тер

петь, прежде чем лечь в могилу! — так сказал он и зашагал к своему дому.

— Все мы должны терпеть, прежде чем лечь в могилу! — сурово подтвердили чужие священники, приподняли края своих сутан, взялись за шапочки и заковыляли за хозяином.

Разом лишившись сил, прислонился Тантадруй к дереву, глядя вслед гигантским черным фигурам, которые исчезали в светлых дверях дома. Двери захлопнулись, и он вздрогнул, словно они заперли его утраченное счастье. Он стоял неподвижно, слушая, как шумит у него в голове и как бешено стучит сердце в узкой груди. И сквозь этот странный шум и стук ему показалось, будто откуда-то издалека его кто-то зовет. Он открыл глаза и удивленно огляделся. Мир вокруг был чужой, выглядел он совсем иначе, и было необыкновенно холодно.

— Тантадруй! — звали подкрадывавшиеся ребятишки и манили его.

Медленно, с мукою оторвался он от шершавого дерева и пошел обратно на площадь. Окружив его плотным кольцом, ребятишки кричали:

— Ну что, ненастоящая оказалась?

— Ненастоящая, тантадруй,— печально отвечал он.

— А какая она была-то?

— Тантадруй, я сказал, что найду гадюку, она меня укусит и я умру!

— Ха-ха-ха! — охваченные бурной радостью, дети хлопали себя по коленям.— Любому дураку известно, что тогда не умрешь, а отравишься!

— Отравишься, тантадруй? — повторял он, удивленно глядя на них — ведь они были еще детьми, но уже такими мудрыми и все отлично знали, подобно самому священнику.

— Отравишься, Тантадруй, отравишься! Это тоже ненастоящая. Придется тебе что-нибудь иное подыскать! — Взявшись за руки, они кружились вокруг него и пели:

На-а небе стоит солнце,
а на земле — мороз.
Собрал я колокольца,
и все они для вас.
Та-а-та-ан, та-а-та-ан,
та-а-ан-та-друй.
Ой-ю-юй, ой-ю-юй,
ой-ю-юй, ой-ю-юй...

IV

Долго отбивался Тантадруй от разгулявшихся ребят, затем снова погрузился в беспокойное ревущее море ярмарочной суеты. На площади было теперь не так хорошо, как прежде. Его уже ничуть не привлекали пестрые прилавки со всеми их чудесами и красотами, выложенными для насыщения голодных глаз. И как нескладно громыхала теперь музыка на карусели, как печально плакали шарманки, как жалобно пищали дудки в окоченевших детских ручонках. И какими твердыми были тела людей и какими грубыми их слова! Опустив голову, катился меж ними Тантадруй, подобно капле чистой воды, которая между корней и камней прокладывает себе дорогу к тихому колодцу.

Кое-как удалось ему пробиться сквозь массу беспокойных и нетерпеливых тел и достигнуть цели: старого трактира Подкоритара.

Здесь под высоким сводом главного входа уже сидели на разбитой скамье фурланец Русепатацис, Лука Божорно-босерна и Матиц Ровная Дубинка. Перед ними на земле стоял огромный горшок с дымящимися говяжьими костями; с их помощью они отогревали замерзшие руки и утоляли вечный голод.

— Божорно-босерна! — озорно загремел Лука, отдавая ему честь большой костью, которую он приставил к правому виску.

Тантадруй молча опустился на скамейку, сжал коленями свою палку и весь был воплощением горя. Долго сидел он так, не делая попыток принять участие в трапезе. Он ждал, что его сперва спросят, как закончилось дело у священника. Но все молчали, и ничего не дождавшись, он сам с упреком произнес:

— Тантадруй, она оказалась ненастоящая!

— Если шла кверху, значит, ненастоящая,— сказал Лука, отшвыривая обглоданную кость и нагибаясь за другой.

— Тантадруй,— дурачок повысил голос,— я сказал, что найду гадюку, она меня укусит и я умру.

Лука и Русепатацис были слишком поглощены делом, чтоб обратить внимание на его слова, а Матиц Ровная Дубинка, ощущая потребность высказаться, отнял от своих толстых губ кость и ласково повторил:

— И я умру.

— Тантадруй, теперь я не умру! — покачал головой дурачок, поворачивая к нему печальное, сморщенное личико.

— Не умру! — сокрушенно кивнул Матиц и принялся с чавканьем высасывать костный мозг.

Пышнотелая служанка Пепа, женщина уже не первой молодости, вышла из подвала с кувшином золотистого вина. Остановившись возле несчастных, она загляделась на сильное тело Матица. А тот, вынув изо рта холодную кость, которую держал обеими руками, в страхе жался к стене и, окаменев от ужаса, не сводил с нее глаз, словно зачарованный змеей.

— Эх, ты б и меня еще поглодал! — задиристо рассмеялась служанка.

— Меня поглодал! — оробело кивнул Матиц и вжался в стену, словно хотел слиться с нею. Он боялся женщин с давних дней своей юности, когда однажды парни напоили его пьяным и после этого он напал на бродяжку Катру. Жандармы застали его на месте преступления и дабы на веки вечные отучить от приставаний к женщинам, три дня продержали в темной камере, потом, как следует избив, облили ледяной водой да еще пригрозили, что на всю жизнь засадят в тюрьму, если он хоть раз тронет пальцем кого-нибудь из женщин.

— Ты меня боишься? — продолжала разбитная Пепа, протягивая полную руку, чтоб погладить его.

— Боишься! — поспешно согласился Матиц, отодвигаясь в сторону.

— Ох, да ведь я тебя боюсь, чего ж тебе бояться! — добродушно засмеялась женщина.

— Тебе бояться! — благодарно посмотрел Матиц.

Она погладила его по щеке, а он устремил на нее огромные мутные глаза, в которых плясали сейчас светлые искорки счастья.

— Эх ты, бедолага! — растроганно вздохнула женщина. Она покачала головой, вытерла руку о передник, потом повернулась к Луке и довольно добродушно, хотя и чуть свысока, спросила: — Ну, а ты как? Все еще кверху?

— Кверху? — оскорбленно загремел Лука.— Книзу! — Не выпус-

кая кости, он медленно, резким движением руки, наглядно показал куда — вниз, немного по земле, а потом прямо в землю!

— Тьфу! — презрительно фыркнул фурланец, подыскивая новую кость.— Raus e patacis, репа и картофель!

— Ну ты-то помалкивай, пока я тебе в самом деле не принесла репы с картошкой! — пригрозила Пепа.— Лука верно говорит!— пригорюнилась она.— Я вот тоже вскоре пойду книзу, немного по земле, а потом не спеша и в землю.

— Не не спеша! Прямо! — загремел Лука, костью указывая в землю.

— Ясное дело! — вздохнула Пепа, громко высморкалась в передник и вытерла слезы.— Прямо! Прямо в яму!

— Тантадруй, в яму? — почти с завистью отозвался дурачок.— Погоди, твой час пробьет. Каждый должен терпеть, прежде чем лечь в могилу!

— Ты где это слыхал? — удивилась Пепа, очевидно потрясенная его словами.

— Тантадруй, мне жупник сказал.

— Ах, жупник...

— Тантадруй, а ты уже терпела? — живо спросил дурачок.

— Терпела, да, видно, недостаточно! — слабо улыбнулась Пепа.

— Тантадруй, а я нет! — грустно вздохнул он.— А как бы мне хотелось потерпеть, чтоб я мог лечь в могилу!

— Ох ты, душа несчастная! Перестань, перестань! — воскликнула Пепа и снова взялась за передник, чтоб утереть глаза.— И чего я с дураками связалась! До слез довели! — вдруг рассердилась она, решительно засучила рукава и скрылась в широких темных воротах.

Тантадруй заглянул в трактир, где стоял гул, как в потревоженном улье, и снова заныл:

— Тантадруй, как я теперь умру?

— Возьми кость, и божорно-босерна! — неожиданно громко выкрикнул Лука, и Тантадруй, невольно вздрогнув, послушно наклонился над горшком.

Потом они сидели молча и громко высасывали кости. Покончив с ними, Лука встал и потянулся.

— Ребята, как стемнеет, все к Хотейцу спать! — повелительно произнес он.— А теперь божорно-босерна! — он отсалютовал и снова отправился на ярмарку. Русепатацис и Матиц Ровная Дубинка последовали за ним.

Тантадруй остался сидеть на скамье перед кучей обглоданных костей. Когда двери распахивались, его окатывала беспокойная буйная волна музыки и песен. Но он не двигался; в печали своей он был незыблем, как скала. Мимо него проходили хозяева и батраки, купцы и перекупщики, старые и молодые; непослушные ноги несли их за угол и снова вели обратно. Иные грубо ругали дурачка, другие бросали ласковое слово, третьи молча совали в руку мелочь, четвертые хлопали по плечу и грустно замечали:

— Хорошо тебе, тронутому!

Наконец на улицу вышел Найденыш Перегрин. Возвратившись в свою очередь из-за угла, он остановился рядом с Тантадруем и тряхнул его за плечо.

— Тантадруй, она была ненастоящая! — запричитал дурачок.— Я не умру!

— О, умрешь! Умрешь! — Перегрин встряхнул его сильнее, так что дружно зазвенели колокольца.— А теперь пошли со мной!

— Тантадруй, а ты споешь? — обрадовался несчастный.

— Ясное дело!

Перегрин привел его в трактир и усадил возле печки. Здесь было тепло и весело. Люди словно сошли с ума. Лица у всех были потные, глаза — влажные и блестящие. И они громко говорили, смеялись, наливали в стаканы золотистое вино и с полными стаканами приставали к Перегрину, упрашивая его поиграть и спеть. Но парень только улыбался своей прекрасной улыбкой и отбивался длинными руками.

— Доминик! — завопил внезапно Округличар, человек необычайной физической силы, уже крепко подвыпивший, и повернулся к стражмейстеру, который восседал за отдельным столом и, обмакивая толстый палец в винную лужу, выводил на столе узоры. Над головой Доминика висели большие стенные часы, и тяжелый их маятник проходил над самой его лысиной, сверкавшей так, словно ее специально вычистили и оттерли под праздник. Округличар заметил, что черные мысли овладели жандармом, и повторил громче: — Доминик, скажи ему, пусть сыграет!

— Именем закона, играй! — изо всей мочи гаркнул стражмейстер и ткнул пальцем в Перегрина. При этом решительном акте он задел головой маятник, и тот остановился. Быстрым движением он вырвал его, швырнул под стол и деловито сообщил: — Полицейского часа не будет!

— Ура, полицейского часа не будет! — загудели вокруг.— Играй, Перегрин!

Парень улыбался. Потом подошел к Тантадрую и попросил у него колокольчики. Дурачок, всецело доверявший Перегрину, согласился, попросив его только быть осторожнее, ведь они предназначены мученикам.

— Они и понадобятся мученикам. Малым да большим,— смеясь, ответил Перегрин. Он поставил на два стола два стула и натянул между ними веревку с колокольчиками. Потом взял в руки деревянную ложку, слегка коснулся каждого колокольчика, прислушался, отвязал один, второй, привязал в другом месте. Долго он перебирал их. Люди недоуменно следили за ним, кое-кто заранее предвкушал веселую забаву. Разместив все колокольчики по-своему, Перегрин попросил еще одну ложку и заиграл, в самом деле заиграл на колокольчиках и запел песенку Тантадруя:

На-а небе стоит солнце,
а на земле — мороз.
Собрал я колокольца,
и все они для вас.
Та-а-та-ан, та-а-та-ан,
Та-а-ан-та-друй.
Ой-ю-юй, ой-ю-юй,
ой-ю-юй, ой-ю-юй...

Песня отзвенела, люди сидели раскрыв рты, а дурачок радостно захлопал в ладоши:

— Тантадруй, так будут играть мученики!

— Так будут играть мученики! — ласково кивнул Перегрин.

— Так будут играть мученики! — растроганно и упоенно поддержал могучий Округличар, своей комплекцией вполне соответствовавший фамилии.

— Мученики? — подскочил вдруг на месте благочестивый бобыль Арнац, по кличке Преподобный Усан, которого прозвали так за то, что он низко склонялся в церкви над кропильницей и смачивал в освященной водице свои длинные, вислые усы.— Не поминайте всуе мучеников!

— Арнац! — раздался голос Перегрина.— А мы разве не мученики?

— Именем закона, все мы мученики! — авторитетно заявил стражмейстер Доминик Тестен.

— Безумцы! — верещал Преподобный Усан.

— Пошел ты к черту! — взбеленился Округличар и, вытянув тяжелую руку, опустил ее на острую головенку Арнаца, одним движением сбросив его под стол.

— К черту! — подтвердил стражмейстер. И деловито добавил: — Именем закона, все мы безумцы. Только каждый по-своему!

— Верно! — громыхал Округличар.— Все мы безумцы! И все мученики! Перегрин, играй сначала!

— Давай, Перегрин, снова,— поддержали остальные.

— Именем закона, играй еще раз! — разгневался стражмейстер, ударил кулаком по столу и кинул такой свирепый взгляд, что Перегрин улыбнулся и кивнул. Он заиграл снова, и еще раз, и опять сначала, и так пел и играл до самой ночи. А люди пили, смеялись и плакали.

Когда стемнело, в комнату вошли Лука, фурланец Русепатацис и Матиц Ровная Дубинка. Они пришли за Тантадруем, чтобы вместе отправиться на ночлег к Хотейцу. Но остались в трактире и с восхищением слушали игру Перегрина на коровьих колокольчиках. Это было так хорошо, что даже Русепатацис ни разу не фыркнул.

Однако в конце концов пришлось прощаться. Тантадруй подошел к Перегрину и попросил отдать колокольчики.

— Оставь их нам, Тантадруй! — растроганно и взволнованно просили люди.— Мы тебе другие купим! Еще лучше! Совсем новые!

— Нет, нет! — со смехом покачал головой Перегрин.— Для него только эти имеют цену. Вы поймете, ведь вы еще не совсем потеряли разум!

И в самом деле, люди поняли. А Тантадруй их тоже по-своему понял и поэтому счел нужным утешить:

— Тантадруй, я вам их еще разок дам, ведь я теперь не умру!

— Ты умрешь! Ты умрешь! — неслись со всех сторон ласковые дружеские голоса.

— Именем закона, имею честь заявить, что ты воистину умрешь! — внес свою лепту захмелевший стражмейстер Доминик Тестен, испытавший потрясение такой силы, что позволил себе выпустить крупные слезы, которые катились у него по багровым щекам.

Тантадруй благодарно смотрел на добрые лица и влажные глаза, а Перегрин тем временем повесил ему на плечи веревку с колокольчиками и перевязал его крест-накрест и вокруг пояса.

— Теперь к Хотейцу, и божорно-босерна! — повелительно громыхнул Лука, отсалютовал всем и повернулся к двери. Русепатацис, Матиц Ровная Дубинка и Тантадруй послушно следовали за ним.

В этот миг растворилась дверь, и на пороге встал Батов Янез, по кличке Янез Жачем. Это тоже был человек в своем роде лишившийся рассудка, очень серьезный и хмурый. Он не был ни злым, ни опасным, однако почти все его избегали, потому что своим вечным шепелявым «жачем?» он многим портил настроение и ставил их в смешное положение. И на сей раз с ним поздоровался только Найденыш Перегрин:

— Ну-ка входи, Янез, раз уж все в одну кучу собрались в этом огромном мире!

— Жачем огромном? — вопросил Янез Жачем.

— Затем, что человек мал! — усмехнулся Перегрин.

— Жачем человек мал?

— Затем, что ему трудно живется!

— Жачем человек живет?

— Затем, чтоб бога славить! — заверещал Преподобный Усан, выскакивая из-под стола.

— А ты пошел обратно! — загрохотал Округличар, снова опуская тяжелую руку на его острую головенку.

— Жачем обратно? — осведомился Янез.

— Затем, что он нам надоел! — отрубил Округличар.

— Жачем вам надоел?

— Хоть ты не надоедай! — в сердцах закричал Округличар и подошел к нему со стаканом вина.— На, пей! Золотое, как солнышко!

— Жачем шолнышко? — угрюмо вопросил Янез.

— Затем, что не луна! — смеялся Перегрин.

— Жачем луна?

— Затем, чтоб давать нам лунный свет!

— Кончай болтать! — срезал Перегрина Округличар.— Затем, чтоб соленая репа не заплесневела у нас в кадушках.

Все расхохотались. И тут снова выскочил Преподобный Усан и злобно проверещал:

— И пусть она у вас плесневеет!

В словах этих не содержалось ничего ужасного, потому что среди гостей было несколько мужиков, которые жили не только соленой репой. Но тем не менее людей этот выкрик так задел, что все разом смолкли, и все взгляды угрожающе обратились на Преподобного Усана. И черт его ведает, что произошло бы дальше, если б не вмешался стражмейстер,— в праведном гневе он стукнул кулаком по столу, неверной рукой указал на дверь и крикнул:

— Вон! Именем закона, вон!

— Вон! Вон! — раздался хор голосов, и Преподобного Усана вышвырнули на улицу.

— Жачем вон? — хмуро поинтересовался Янез, когда дверь закрылась.

— Будет! — не на шутку рассвирепел стражмейстер.— Именем закона, больше ни одного «жачем»!

Округличар поспешил успокоить Янеза:

— Будет, человече божий! Будет! И без того невесело! Пепа, подай еще два литра!

— Еще два литра! — подхватили со всех сторон, и бесшабашные удары обрушились на столы. И отчего бы нет? Ведь это была большая ярмарка, ярмарка нужды и желаний, ярмарка тысячи вопросов, которые остались без ответов, да если б и удалось получить ответы, по сути дела они были бы лишь новыми вопросами. И потому никому больше не нужны были эти Янезовы «жачем».

— Пей, Янез! Пей, Янез! — вопили люди, протягивая ему стаканы.

— Жачем пей? Жачем пей? — стоял на своем Янез, по-прежнему хмуро оглядывая всех.

— Зачем? — жестом отчаянной скуки Округличар воздел руки горе.— Затем, чтоб все к дьяволу покатилось!

— Жачем все к дьяволу покатилось?

И тут раздался шум и гром: стражмейстер Доминик Тестен с силой оттолкнул от себя стол, медленно поднял дородное тело и, сжав кулаки, пошел на Янеза. Но едва он успел сделать несколько шагов, как дверь распахнулась настежь и на пороге опять встал Преподобный Усан; подняв длинные руки, он вопил во все горло:

— Знамения на небе!.. Луна в крови! Война будет!..

Все окаменели.

— Тьфу! — фыркнул в полной тишине фурланец.— Raus e patacis, репа и картофель!

А Тантадруй выскочил вперед и тоскливо спросил:

— Тантадруй, а я теперь умру?

— Ты с ума сошел! — толкнул его Лука.— Луна в крови, говорят, к дождю. Пошли спать! — Он решительно шагнул к двери, еще раз отдал честь: — Божорно-босерна!

Тантадруй, Матиц Ровная Дубинка и Русепатацис послушно брели следом. И пока захмелевшие, а то и просто пьяные мужики растерянно смотрели друг на друга, убогие спокойно и разумно вышли из трактира.

V

Тантадруй остановился в воротах, вместе с ним невольно замерли и остальные. Стояла ночь, в студеном свете луны площадь казалась огромной, как пустыня. И такой же безлюдной. Нигде не было ни одной лавки, словно ветер смел их вместе с товарами и продавцами. Только на другом конце площади виднелась карусель. Но и она не выглядела больше пестрой, живой и веселой, как днем, когда на ней кружилась разгульная молодежь. Теперь она походила на огромный черный скелет, лишившийся черепа и безнадежно оцепеневший под ночным ветром.

Дул резкий, пронизывающий ветер. Он гнал пыль, мусор, клочья бумаги, плясавшие в воздухе точно огромные грязные снежинки. Собственно, все плясало. Плясали старинные кованые фонари над входом в трактир, плясали перепуганные тени, которые они отбрасывали на площадь. Плясали голые ветки старого каштана, а под ним на земле плясали черные кружева, которые эти узловатые ветки сплели своими тенями. А раз плясали ветки, то над ними плясала и луна, подвешенная к небу. Она на самом деле была в крови, и теперь не казалась круглой, и висела она низко, будто пустынную ярмарку освещал лишь один еще непогасший, но уже разбитый фонарь.

— Пошли! — решительно загремел Лука, и звуки его голоса словно вытолкнули их всех из-под свода. Вытянувшись цепочкой, как гуси, они зашагали через площадь. Впереди звенел Тантадруй, вторым шел Матиц, прижимавший под мышкой наполовину обструганную палку, третьим ковылял, размахивая длинными руками, костлявый фурланец Русепатацис; завершал процессию Лука Божорно-босерна; он ступал так твердо, что по временам под его деревянной ногой, подкованной лошадиной подковой, вспыхивала искра. Молча и сосредоточенно шли они в долгую зимнюю ночь, словно унося от растерянных людей, оставшихся позади, неведомый завет или необходимое утешение какому-то иному, новому человеку, которому где-то там в далеком утре только еще предстояло начать жизнь.

Они пересекли площадь, обошли черную карусель и стали подниматься по крутой дороге к церкви. Проходя мимо дома священника, они загляделись на освещенные окна, пылавшие таким жарким светом, будто за ними было заперто само золотое солнце.

— Тантадруй, почему она была ненастоящая! — горько вздохнул дурачок.

Никто ему не ответил. Молча вышли они в поле, где находилось все, имевшее хоть какую-нибудь ценность: нивы и покосы, кладбище с часовней и дом Хотейца.

Здесь ветер превратился в настоящий ураган. И какой же он был лютый! Он пронизывал до самых костей. Несчастные остановились возле кладбищенской часовни, чтобы, хоть прижавшись друг к другу, перевести дух в укрытии, прежде чем отправиться через открытое поле к Хотейцу.

Тантадруй не сводил глаз с кладбища, которое в этой ясной лунной ночи, несмотря на стужу, было красивым и манящим. Стройные кипарисы гнулись на ветру, словно большие свечи, а на вершинах их вместо язычков пламени горели звезды. У подножий кипарисов белела дорожка и вдоль нее лежали белые камни с позолоченными надписями.

— Тантадруй, теперь у меня есть все колокольчики! — вздохнул дурачок.

Однако ответа не было. Будто ветер унес его слова, и он сказал чуть громче:

— Тантадруй, теперь я бы мог по-настоящему умереть!

Все продолжали молчать. Потом послышался приветливый голос Матица Ровной Дубинки, печально повторившего последние слова:

— По-настоящему умереть!..

— Тьфу! — пренебрежительно фыркнул фурланец.— Raus e patacis, репа и картофель!

— Тихо! — сердито гаркнул на него Лука.— Почему бы не умереть, а? Почему бы не умереть?

Фурланец молчал, а раз он молчал, ответил Матиц:

— Почему бы не умереть?

— Почему? — еще больше рассердился Лука, у него было доброе сердце и он жалел Тантадруя.— Этот жупник дурак!

— Тантадруй, там было четыре жупника! — уточнил дурачок.

— Четыре! — удивился Лука.— Четыре жупника? Четырежды дураки!

— Тантадруй,— с обидой сообщил Тантадруй,— они сказали: погоди, пока пробьет твой час.

— Час? — подскочил Лука.— Какой час? Разве у тебя есть часы?

— Нету, тантадруй! — весело ответил дурачок.— У меня никогда не было никаких часов.

— Вот видишь! Тогда я хотел бы знать, почему он говорил о часе!

— Тантадруй, не знаю! — едва слышно произнес дурачок, словно он сам был в этом виноват.

— Надо спросить! — загудел Лука.— Завтра же ты пойдешь и спросишь!

— Пойду, тантадруй,— откликнулся дурачок.— А потом они сказали, что каждый должен терпеть, прежде чем лечь в могилу.

— Терпеть? — спросил Лука.— Разве ты еще не терпел?

— Не знаю, тантадруй.

— Гм? — почесался Лука.— Надо полагать, терпел.

— Тантадруй, надо полагать, терпел.— На душе у Тантадруя полегчало.

— Но почему нужно терпеть, если хочешь лечь в могилу? — опять взволновался Лука.— Почему нужно терпеть, если мы уже пришли!

— Тантадруй, мы уже пришли? — удивился дурачок.

— Могила вон там! — загремел Лука и победоносно показал на кладбище.

— Тантадруй, могила вон там! — радостно воскликнул дурачок.

— Могила вон там! — повторил Лука.— А если ее еще нет, мы ее выроем, и божорно-босерна!

— Тантадруй, мы ее выроем, если ее нет! — С этими словами Тантадруй вышел из укрытия.

— Ты куда? — спросил его Лука.

— Тантадруй, к могиле! — сияя от счастья, ответил Тантадруй.

— Нет! — возразил Лука.— Завтра. Сейчас мы идем к Хотейцу спать!

— Тантадруй, мы пойдем спать после, когда я умру! — умолял дурачок.

— Ну, ладно! — уступил Лука.— После пойдем спать. Ведь это быстро!

— Тьфу! — фыркнул фурланец.— Raus e patacis...

— Тихо! — оборвал его Лука.— Сейчас мы идем к священному месту!

— Священному месту! — громко повторил Матиц Ровная Дубинка, напуганный зычным голосом Луки.

Они вышли из укрытия, отворили ржавые кладбищенские ворота, заскрипевшие в своих петлях, и молча вступили на широкую аллею кипарисов, шелестевших и кланявшихся под ветром. В самом конце ее они свернули влево — и вдруг оказались перед могилой, перед свежевырытой могилой.

— Тантадруй, могила! — вне себя от счастья воскликнул дурачок и замер.

— Могила! — загремел Лука и гордо добавил: — Разве я тебе не говорил?

— Тантадруй, могила! Я лягу и умру.

— Ляжешь и умрешь, и божорно-босерна! — гремел Лука.

— Тьфу! — фыркнул фурланец.— Raus e patacis...

— Ты сошел с ума! — зашипел на него Лука.— А теперь тишина!

— Теперь тишина! — испуганно повторил Матиц Ровная Дубинка.

И была тишина. А поскольку она длилась слишком долго, Лука повернулся к Тантадрую:

— Ну, что дальше?

— Тантадруй,— вздрогнул дурачок, словно пробуждаясь от прекрасных снов,— я жупника должен спросить, настоящая ли она.

— Настоящая? — оскорбленно загремел Лука.

— Тантадруй, ведь я должен сперва рассказать жупнику! — оправдываясь, всхлипнул дурачок.

— Тьфу! — презрительно фыркнул фурланец.

— Тихо! — решительно загремел Лука.— Если надо спросить...

— Надо спросить! — быстро повторил Матиц.

— Он и спросит! — решил Лука.— Прямо сейчас идем к жупнику, и божорно-босерна!

— Тантадруй, идем! — Дурачок радостно кружился на месте, и его колокольчики звенели.

Несчастные вышли с кладбища и стали спускаться вниз. На цыпочках приближались они к дому священника, на цыпочках подошли к окну, посмотрели в щели закрытых ставен — и, затаив дыхание, остолбенели, ибо вся комната была золотая. Золотой был Христос на стене, темного золота — книжный шкаф, золотом выведены надписи на корешках книг. На столе стоял золотой шестисвечник, в нем светло-золотые толстые восковые свечи, горевшие живым золотым пламенем. Темно-золотыми были жареные гуси на продолговатом подносе с золотистой каймою, бледным золотом светился изжаренный на масле пирог, а корочка его отливала червонным золотом. Золотые цветочки красовались на бутылке и на бокалах, и золотом солнца пылало вино, сверкавшее в них. За столом сидели священники, и их полные лица испускали багряно-золотистое сияние; они упи-

рались затылками в стены и, зажмурив глаза и раскрыв рты, так что сверкали золотые зубы, громогласно выводили темно-золотыми баритонами:

— О-ооо... Оо-ооо...

— Тантадруй, они счастливы? — спросил дурачок.

— Тьфу! — Фурланец был исполнен презрения.— Raus e patacis, репа и картофель!

— Тихо! — загремел Лука.— Ты сошел с ума!

Священники мгновенно смолкли. Открыли глаза, медленно повернули головы и поглядели с таким удивлением и такой строгостью, что Тантадруй испугался. Он отскочил от окна, колокольчики зазвенели — и пустился бежать. За ним кинулись остальные. Они бежали сломя голову. И остановились только за церковной оградой. Спрятались за шелковицей и стали ждать дальнейших событий.

Тяжелые двери дома открылись, и широкая полоса золотистого света легла на землю. Потом в этой полосе возникла огромная черная тень. Качнулась из стороны в сторону, словно подметая у порога, и строго крикнула:

— Тантарадра!

Тантадруй вздрогнул и сделал движение, собираясь выйти.

— Не глупи! — удержал его Лука.

— Тантарадра! — крикнула тень громче и строже.

— Тьфу! — презрительно фыркнул Русепатацис.

— Тихо! — загремел Лука.— Жупник сейчас сердитый!

— Сейчас сердитый! — испуганно согласился Матиц и прижался к Луке.

— Тантарадра! — еще раз, судя по голосу в последний, позвала тень.— Если ты жив, отзовись и подойди сюда! Если нет, оставь нас в покое!

Тантадруй опять дернулся.

— Оставь нас в покое! — велел Лука и потянул его обратно.

Тень снова и очень сильно закачалась, потом не спеша исчезла. С нею исчез сноп золотого света, и дверь с треском захлопнулась.

Убогие громко перевели дух и некоторое время молчали. Потом раздался отчаянный плач Тантадруя:

— Тантадруй, как я теперь спрошу, настоящая ли она?

— Да настоящая же! — в сердцах загромыхал Лука.— Разве он не сказал, что нужно лечь в могилу?

— Тантадруй, верно, говорил,— с облегчением согласился дурачок.

— Тогда, значит, она настоящая,— решил Лука.— И теперь мы вернемся и тебя закопаем!..

— Тантадруй, закопайте меня, и я умру! — удовлетворенно ответил дурачок и зашагал обратно.

— Умрешь! — гордо зашумел Лука.— Умрешь, и божорно-босерна!

— Пажорносерна! — ликуя повторил Матиц Ровная Дубинка.

Они вернулись обратно и пошли к кладбищу. Ветер обжигал сильнее, и черные кипарисы склонялись почти до самой земли. А на сердце у Тантадруя было необыкновенно тепло. Ему вспомнились три светло-сизых голубя, которые утром копошились перед церковью и потом, став серебряными, взмыли в небо. Теперь тысячи и тысячи точно таких же голубей красивой дугой опускались с неба. Непрерывной серебряной лентой они пролетали низко над черными кипарисами, трепетавшими в живом дуновении их крыльев. Теплыми пушистыми тельцами они почти касались головы Тантадруя и потом снова, описывая красивую дугу, взлетали в небо. Он так отчетливо

видел их над своей головой, что смотреть вверх у него вообще не было надобности.

— Тантадруй, сколько их! — радостно воскликнул он, и зазвенели все его коровьи ботала.

— Не сходи с ума! — укорил Лука.— Ведь мы в священном месте.

Сделавшись серьезным, Тантадруй взглянул вверх. Голубей больше не было. Он подумал, что теперь они уже летят над его родным селом, и вспомнил о хромоножке Елчице.

— Тантадруй,— повернулся он к Луке,— ты скажешь Елчице, что я умер?

— Конечно, скажу, когда буду проходить мимо,— кивнул тот.— А там сейчас что-нибудь строят?

— Нет, ничего.

— Ну, когда начнут строить и я буду проходить мимо, скажу,— спокойно ответил Лука.

— Тантадруй, ты сам увидишь, как она обрадуется. Она бы тоже хотела умереть...

— Ладно! — сурово изрек Лука, уже испытывая нетерпение.— Вот могила.

— Вот она, тантадруй! — радостно кивал дурачок.— А что теперь?

— Теперь спускайся в нее! — сказал Лука.

— Тантадруй, а мы ничего не споем?

— Беднякам никогда не поют! — пренебрежительно возразил Лука.

— Не поют! — пробормотал Матиц Ровная Дубинка.

— Тантадруй, хоть немножко бы спели!

— Тьфу! — фыркнул фурланец.— Raus e patacis, репа и картофель!

— Тихо! — загремел Лука.— Можно было бы немножко попеть, но уж больно холодно!

— Тантадруй, Елчица говорит, что пенье согревает! — пытался вдохновить его дурачок.

— Елчица — девчонка! — отрезал Лука.

— Тантадруй, все говорят, она умная! — укоризненно возразил дурачок.

— Ну раз тебе так хочется, потом немного споем,— уступил Лука.

— Тантадруй, потом, когда я умру? — Радость звучала в сердце Тантадруя.

— Потом, когда ты умрешь,— подтвердил Лука.— А теперь поторапливайся. Сам видишь, поздно. Хотеец рассердится Ты только в могилу спустись!

— Тантадруй, я иду! — послушно произнес дурачок, сел на край могилы и быстро спрыгнул в нее.

Нагнувшись над ямой, Лука нетерпеливо спросил:

— Ну как? Что там?

— Тантадруй, как тепло! — полный счастья голос прозвучал из тьмы.

— Тепло? — удивился Лука.— И нет ветра?

— Тантадруй, ни малейшего.

— Погоди, я сам погляжу! — сказал Лука. Он спустился в яму, присел и удовлетворенно произнес: — И правда. Разве я не говорил,— гордо загремел он,— что надо строить книзу, чуть по земле, а потом прямо в землю!

— Прямо в землю! — восторженно вторил Матиц Ровная Дубинка.

— Тантадруй, а теперь уходи, я лягу,— нетерпеливо попросил Луку дурачок. Он опустился на колени и собрался было лечь, но не нашел, на что положить голову.

— Матиц, найди камень! — приказал Лука.— Хороший камень!

— Хороший камень! — повиновался Матиц.

Лука укрепил камень в изголовье и вылез из могилы. Подождал и спустя несколько мгновений спросил:

— Лег?

— Тантадруй, лег.

— Ну, тогда начнем! — приказал Лука, поднял горсть мерзлой земли и бросил в могилу. Русепатацис и Матиц сделали то же самое. В этот момент снизу послышался испуганный голос:

— Тантадруй, а звонить-то позабыли!

— Верно! — согласился Лука. Обернувшись к Матицу, он распорядился: — Матиц, на колокольню! Во все три, и божорно-босерна!

— Пажорносерна! — послушно кивнул Матиц Ровная Дубинка, повернулся на месте, подбежал к часовне, схватил веревки и своими могучими руками грянул во все три колокола.

VI

Посреди ночи загудели колокола. Непривычные, гулкие удары словно каменные глыбы катились сверху и падали на площадь. В трактире все смолкло, замерли руки со стаканами на полпути к губам, изумленно раскрылись глаза, в ужасе внимали уши.

— Судный день! — возопил Преподобный Усан.

— Дурак! — крикнул Округличар и, как обычно, загнал его под стол.— Пожар!

— Пожар! — авторитетно подтвердил стражмейстер Доминик Тестен, вскакивая с места, но, не удержавшись, снова сел.

— Пожар! Пожар! Пожар! — неслось со всех сторон. Люди кинулись вон из трактира и растерянно заметались по площади в поисках красного петуха. А не обнаружив его, разом бросились к приходской церкви. Впереди храбро выступал стражмейстер, поскольку охрана покоя и порядка входила в его обязанности. Этот свой долг он помнил так хорошо, что в великой спешке позабыл в трактире каску и саблю, но зато, сверкая лысиной, размахивал руками и громко кричал:

— Берегись! Именем закона, берегись!

Осветились все окна. Из домов выскакивали полураздетые люди, о чем-то спрашивали, что-то кричали. Ответа, разумеется, не было, тогда они присоединялись к вопящей толпе, катившейся к церкви. А там уже стояли священники в шляпах и длинных пелеринах, словно четыре огромных черных памятника, вокруг них в страхе вертелся пономарь и кричал:

— На кладбище звонят! На кладбище звонят!

— Судный день! Мертвые встают! — в ужасе сипел Преподобный Усан.

— Дурак! — опять загудел Округличар.— Если ты не успокоишься, я тебя стукну так, что ты и в Судный день не поднимешься!

— Именем закона, мир и тишина! — приказал стражмейстер.— Женщины назад, мужчины вперед! И марш на кладбище!

Приказ этот был столь решительным и столь мужественным, что на площади остались не только женщины, но и немало мужчин, им

подобных. А храбрецы рванулись вперед. С криком они неслись вверх и скоро оказались у часовни.

— Где горит? Что горит?

Увидев Матица, самозабвенно орудовавшего веревками, все сперва встали как вкопанные, а потом кинулись к нему:

— Матиц, где горит?

— Где горит? — испуганно переспросил Матиц Ровная Дубинка.

Хватая ртом воздух, наконец, добрался до часовни и стражмейстер, схватил Матица за плечо, рванул и грозно вопросил:

— Именем закона, где горит?

От страха Матиц выпустил веревки и показал на кладбище.

Теперь уж наступила очередь стражмейстера изумиться и онеметь. Да и все ошеломленно взирали на черные кипарисы, в которых шумел ветер. Ни малейшего огонька не было в них.

— А горит? — выдержав паузу, заинтересовался стражмейстер.

— Не видно.

— Не видно,— согласился стражмейстер и, повернувшись к Матицу, строго крикнул:

— Почему ты звонил?

— Звонил,— трясся Матиц, указывая на кладбище.

— Эй, а где другие юродивые? — осенило Округличара.— Где Лука? Где Русепатацис! И где Тантадруй?

— Тантадруй,— повторил Матиц и опять показал на кладбище.

— И что они там делают? — строго спросил стражмейстер.

— Там делают,— перепуганно повторил Матиц.

Переглянувшись, люди вновь устремили взгляды на черные грозные кипарисы, но никто не двинулся с места. И только стражмейстер, наконец, продемонстрировал, что такое долг и что такое истинное мужество. Поставив перед собой Матица, он повернул его лицом к кладбищу и крикнул:

— Именем закона, вперед!

— Закона вперед! — повторил Матиц и устремился вперед. Люди молча последовали за ним. Когда они приблизились к кипарисам, угрожающе шумевшим на ветру и склонявшимся к ним, словно души бичуемых грешников, послышался звон колокольчиков, а потом странное трио. Ангельский голосок и два баса, один — густой и гулкий, другой — надтреснутый и срывающийся, вдохновенно затянули песенку Тантадруя:

На-а небе стоит солнце,
а на земле — мороз...

Люди замерли на месте. А Матиц спокойно шагал вперед по белой песчаной аллее.

— Стой! — прохрипел стражмейстер.

Матиц остановился и повернулся.

— Именем закона, говори, почему они поют! — потребовал стражмейстер.

— Поют,— Матиц, дрожа, указывал вперед.

Стражмейстер опять захрипел, и за ним захрипела вся длинная цепочка мужчин. Потом он вытер потную плешь, выпрямился и гробовым голосом возвестил:

— Мужики, мой долг идти вперед, а вы — как знаете!

Одобрительное бормотанье было ему ответом. Стражмейстер приосанился и последовал за Матицем. Люди тихонько двинулись следом. Они шли на цыпочках, медленно и осторожно, как бы приближаясь к опасному зверю. Когда они подошли совсем близко, пес-

ня уже кончалась. И только густой бас, в упоении, видимо, позабывший, что песне конец, оглушительно гудел:

Ой-ю-юй, ой-ю-юй,
ой-ю-юй, о-ю-юй...

Матиц свернул влево и встал рядом с Лукой и Русепатацисом, которые, опустившись на колени, проворно кидали в могилу мерзлую землю.

— Божорно-босерна! — загремел Лука. отдавая всем честь.

Потрясенный стражмейстер едва смог выдавить из себя:

— Именем закона, что вы здесь делаете?

И не успели они ответить, как из земли раздался веселый голосок:

— Тантадруй, теперь я умер!

— Что? Что? — Стражмейстер пошатнулся да так неловко, что непременно упал бы в яму, если б его вовремя не подхватили крепкие руки Округличара.

— Что? Что? — неслось сзади.

— Дурачка живьем закопали!

— О, ужас! — зашелся Преподобный Усан.— Хватайте их! Держите их!

— Тихо! — загремел Лука.— Мы здесь в священном месте.

— Верно,— согласился стражмейстер, пришедший тем временем в себя.— И пусть никто не вмешивается в мои дела! Именем закона, держите их! — Он ткнул в сторону Луки, Русепатациса и Матица. Потом повернулся к могиле и приказал Гантадрую: — Именем закона, вставай!

— Тантадруй, я теперь умер! — донесся из ямы упрямый ответ.

— Именем закона, вставай! — Стражмейстер повысил голос.

— Тантадруй, я дошел до могилы и умер! — настаивал дурачок, не двигаясь с места.

Непослушание привело стражмейстера в такую ярость, что он завопил, позабыв обо всем на свете:

— Именем закона, вон из ямы!

— Кто это ревет на ниве вечного отдохновения? — раздался позади громкий голос.

Люди расступились, и четыре священника, словно четыре черных великана, прошли вперед. Стражмейстер выпрямился, насколько это было в его силах, козырнул и доложил:

— Имею честь сообщить, дураки дурака закопали!

— Но он еще жив! — быстро добавил Округличар.

— Жив,— подтвердил стражмейстер,— но из ямы вылезать не желает!

Священник подошел к могиле и строго спросил:

— Тантарадра, это что такое?

— Тантадруй, я дошел до могилы и умер! — последовал ответ.— Теперь она настоящая?

— Ооо...— хором протянули чужие священники, качая головами.

— Нет, не настоящая! — ответил местный священник.— Если ты ляжешь в могилу, то не умрешь, а будешь только засыпан землею!

— Тантадруй, только засыпан! — застонал дурачок.

— Да, засыпан! А теперь вставай!

Тантадруй зарыдал во весь голос, но тем не менее встал на ноги, и люди выволокли его из могилы.

Священник вздохнул, вытер пот со лба, потом снова завернулся в пелерину и повелительно сказал:

— Теперь вернемся к церкви!

Все пошли вниз. Священники, словно судьи, стояли плечом к плечу, и местный священник велел привести четверых блаженных.

— То, что вы сделали сегодня ночью,— строго начал он,— большой, очень большой грех!

— Это преступление, и они будут отвечать по закону! — вмешался стражмейстер.

— Тьфу! — презрительно фыркнул фурланец.— Raus e patacis, репа и картофель!

— Что? — рассвирепел стражмейстер и ринулся на него.

— Ты сошел с ума! — крикнул ему Лука.

— Доминик, не глупи! — остановил его священник.

Стражмейстер отступил, а священник, подняв руку, пригрозил:

— Чтоб вы у меня никогда больше не ходили на кладбище! Поняли?

— Поняли, и божорно-босерна! — загремел Лука.

— Пожорносерна! — испуганно повторил Матиц Ровная Дубинка.

— Вот так! — кивнул священник.— А сейчас расходитесь. Каждый в свою сторону...

— Господин жупник! — пробрался вперед Хотеец.— Оставьте их сегодня у меня, пусть обогреются и переночуют!

— Ты прав, Хотеец,— согласился священник.— Но ты поздно вмешался. Я уже сказал то, что сказал!

— Но вы можете изменить приказ!

— Я никогда не меняю решения! — строго возразил священник.— Я сказал то, что сказал. Сейчас они разойдутся, и каждый пойдет в свою сторону. Ты, Лука, вверх по Соче!

— Книзу! — решительно возразил Лука.— Книзу, и божорно-босерна!

— Ладно, книзу!— уступил священник.— Ты пойдешь кверху,— повернулся он к фурланцу.

— Тьфу! — фыркнул Русепатацис.— Raus e patacis, репа и картофель!

— Ты, Матиц, пойдешь по Баче домой!

— По Баче домой,— послушно забормотал Матиц Ровная Дубинка.

— А ты,— повернулся он к Тантадрую,— по Идрийце и домой!

— Тантадруй, домой! — со слезами сказал дурачок.

— И хорошенько запомни! — торжественно произнес священник.— Ты вообще не умрешь!

— Тантадруй, вообще не умру? — Дрожь прошла по телу дурачка, и его колокольчики зазвенели.

— Нет! — решительно повторил священник.— Если ты еще раз захочешь умереть, то не умрешь вообще!

— Тантадруй, я не захочу больше умирать,— зарыдал дурачок и, умоляюще сложив руки, бросился к нему.— Я не захочу больше умирать!

— В самом деле? — спросил священник.

— Тантадруй, не захочу, не захочу! — кивал головой дурачок и вдруг с новой надеждой в голосе спросил: — А после я умру?

— Ну, после посмотрим! — милостиво отвечал священник.— Теперь расходитесь, и мир да пребудет с вами! И вы тоже ступайте,— обратился он к своим прихожанам,— и благодарите господа, что все кончилось благополучно!

Потом он кивнул своим собратьям, и они торжественно проследовали к его дому.

Четверо несчастных направились каждый в свою сторону, женщины разошлись по домам, мужчины спустились на площадь. И опять

многолюдно стало в трактире, и опять загомонили люди, потому что неожиданное происшествие было хорошим поводом для того, чтобы новые сосуды с вином появились на столах.

Священники возвратились в комнату, полную золотого света и золотого тепла. И когда кухарка внесла сосуд с золотым искрящимся вином, пахнущим корицей и гвоздикой, они вновь улыбнулись. Наполнили стаканы, отогрели пальцы, уста и желудки. Каждый отломил по куску темно-золотого пирога и отведал бледно-золотой начинки. Потом они опять уперлись затылками в стену, закрыли глаза, раскрыли рты и запели звучными, темно-золотыми баритонами:

— Оо-ооо... Оо-ооо...

И пока священники пели в золотой комнате, а в дымных трактирах пили и веселились хозяева и батраки, купцы и ремесленники, парни и девчата, перекупщики и маклеры, молодые и старые, по пустынным долинам шли четверо. Стылая земля звенела у них под ногами, и стылая луна светила им сверху, потому что зимнее небо было ясным, а утро еще было неблизко...

Вот и конец истории о Тантадруе. Вступление, вероятно, было излишне, совершенно лишним оказался бы и эпилог. Я отлично понимаю, что сейчас вообще не нужны никакие слова, и, однако, смятенная душа не позволяет мне умолчать еще кое о чем.

Прежде всего, эта история вовсе не такая светлая, какой ее рассказывала моя мать. И виной тому, разумеется, я сам. Тогда я был ребенком и внимал этому рассказу, чтобы радоваться и не скучать, поэтому лишь изредка она отдавала полынью, теперь же, когда спустя сорок лет она ожила вновь, выяснилось, что в моей душе она наполнилась горечью.

И произошло нечто худшее. С того самого момента как я заметил, что четверо калек вышли из трактира и замерли, увидев пустынную площадь, скелет карусели и низкую окровавленную луну, которая подобно одному-единственному уже разбитому фонарю висела над опустевшей ярмаркой, меня стало преследовать более тяжкое видение. Я прогонял и отталкивал его от себя, тряс головой и зажмуривался, чтобы не стало еще горше и чтоб вообще не прекратился мой рассказ. Но когда ему наступил конец, я больше не сопротивлялся. Я уступил.

И что же я увидел?

Я увидел самого себя сидящим на вершине мира, на каменной стене возле сосновой рощи над Пираном. Не было больше ночи, но не было и дня. Лунный свет был бледен и призрачен, все в нем казалось сделанным изо льда. Дрожь охватила меня, и я замер недвижимо, ибо воистину все кругом было ледяное. Ледяными были дома, ледяным — море, ледяными — кипарисы и белые камни, ледяными были деревья, и ледяной была листва, настолько ледяной, будто она превратилась в лед тысячу с лишним лет назад. И я видел не только знакомую мне местность, я видел весь земной шар, и он целиком был оледеневшим и мертвым. Ледяными и пустынными были и те четыре долины, куда ушли когда-то четверо милых мне несчастных людей. Все было мертво. Да и ветер давно умер, вовсе умер, умер до последнего дуновения. На мертвом небе покойно лежало только одно облако, длинное и тонкое, будто свеча изо льда. И я знал, что это не облако, но последний протяжный вопль человека, превратившийся в лед. Низко под ним висела луна Она висела за острым шпилем ледяной верхушки старого собора и была разрублена на две части. Такою она светила теперь над землей, этой опустевшей ярмаркой

человечества. Я был один, но, собственно, и меня тоже больше не было. Здесь блуждал лишь мой испуганный взгляд, также оледеневший за тысячу с лишним лет до этого. И...

Довольно! Невыносимая стужа пронзила меня. Я вскочил, и, смотри-ка, в этот как раз момент небо вновь ожило и вниз покатилась звезда. Я ликовал, будто снова вернулась жизнь. Но лишь на мгновенье. Тут же мелькнула мысль, что это не просто блуждающее во вселенной небесное тело. И поскольку я еще такой младенец, что при падении звезды загадываю желание, напуганная и старомодная душа моя и сейчас громко прошептала:

— Пусть в самом деле это будет упавшей звездой!..

Медленно уходил я из сосновой рощицы, по-солдатски приветствовал старого искалеченного воина и спустился на дорогу. Оттуда я посмотрел на кладбище. Надпись над входом сверкнула серебром, словно желая ободряюще мне улыбнуться.

— Resurrecturis! — благодарно кивнул я ей головой.

— Resurrecturis! — сверкнуло серебро мне в ответ.

Я помахал рукой и повернул к дому. И вновь я был полон плодоносной грусти и обильной плодами печали. Я шагал по дороге и раскачивался из стороны в сторону, потому что был всем: сыном своей матери и одноухим горемыкой — пиратом с черной нашлепкой на одном глазу, старым орлом и осиротевшей каруселью, разрубленной надвое луной и кладбищенским кипарисом, эхом своего собственного голоса и протяжным оледеневшим стоном, звеневшим в мертвенной тишине: я был Лукою и Русепатацисом, Ровной Дубинкой и Тантадруем. Было нелегко, но я нес это бремя с неосознанной радостью, потому что был также и стаей светло-сизых голубей, которые непрерывной серебряной лентой летели через мою душу. Все шумело вокруг меня и надо мною, и я откровенно признаюсь, хотя это могло бы навредить солидной, серьезной литературе, что иногда я подпрыгивал, как Тантадруй. Да почему бы и не подпрыгнуть? Ведь и песенку его я тихонько напевал:

На-а небе стоит солнце,
а на земле — мороз.
Собрал я колокольца,
и все они для вас.
Та-а-та-ан. та-а-та-ан,
Та-а-ан-та друй.
Ой-ю-юй. ой-ю-юй,
ой-ю-юй, ой ю-юй...

■

МИГЕЛЬ ДЕЛИБЕС

Пять часов с Марио

РОМАН

Перевод с испанского ЕЛЕНЫ ЛЮБИМОВОЙ

XVI

И так, иди, ешь с весельем хлеб твой, и пей в радости сердца вино твое, когда Бог благоволит к делам твоим. Да будут во всякое время одежды твои светлы, и да не оскудевает елей на голове твоей. Наслаждайся жизнью с женою, которую любишь, во все дни суетной жизни твоей, и которую дал тебе Бог под солнцем.... А я как подумаю, то вижу, что веселым — вот именно веселым — я тебя никогда в жизни не видела, Марио, даже во время свадебного путешествия, а этим все сказано. Вален говорит, что брачная ночь — это далеко не сахар, и я, конечно, с ней соглашаюсь: не могу же я сказать ей, что ты повернулся на другой бок; а вот день, наоборот, все проводят роскошно, кроме нас с тобой... Я помню, в Мадриде: «Зайдем в кафе?» — «Как хочешь».— «Пойдем в театр?» — «Как хочешь»,— ты что же, не мог отвечать иначе, дурак ты набитый? Женщина — существо беззащитное, Марио, она нуждается в руководстве, горе ты мое, и поэтому я была бы в ужасе, если бы вышла замуж за коротышку,— ведь авторитет заключается даже в росте, так и знай, хоть это может показаться тебе глупостью. Только тебе на все было плевать: витрины ты и видеть не желал, на уличное оживление — ноль внимания, кино — и говорить нечего, бои быков тебе не нравились. Скажи честно, Марио, по-твоему, это свадебное путешествие? Мало того: вид у тебя всегда был как на похоронах, ты словно думал о чем-то другом, так же как когда ты вернулся с войны, дружок,— этого я не забуду, пока жива,— все тогда были как сумасшедшие, только ты один был точно в воду опущенный, и ведь ты был победителем, ну, а что было бы, если бы вас разбили?.. Нет на свете человека, который мог бы понять тебя, Марио, дорогой мой, только почему же это, на мою беду, люди никак не поймут, что ты — ненормальный? Я не говорю, что в жизни нет противоречий, они есть, но надо взять себя в руки; по мне, так надо пользоваться жизнью... Послушал бы ты маму, она всегда повторяла: «Детка, мы живем один раз», сказано просто, казалось бы, так, пустяк, но если вдуматься, то в этой фразе заключена глубокая философия, в ней большой смысл, Марио, больший, чем кажется,— ан нет, для тебя прежде всего недостатки. И я не хочу сказать, что в жизни не бывает

[1] Окончание. Начало в № 11.

несправедливости, испорченности и всего того, о чем ты говоришь, но ведь так было всегда,— разве нет? — всегда были бедные и богатые, Марио, таков уж закон жизни, пойми ты это. С тобой просто со смеху лопнешь, милый: «Наш долг — вскрывать недостатки». Вот так: сказал — припечатал, да только нельзя ли узнать, кто тебя на это уполномочил? Ты уполномочен преподавать, Марио,— для того ты и стал профессором, а для того, чтобы разоблачать несправедливость, существуют судьи, для того, чтобы облегчать горе,— благотворительность, а вы всё суетесь, прямо тошно смотреть— взять хоть этого чертова дона Николаса; я прямо не понимаю, как это люди могут читать «Эль коррео»,— ведь она из рук валится, дружок: там все только про бедствия, про нищету, про то, что у детей нет школ, что в тюрьмах холодно, что чернорабочие умирают с голоду, что крестьяне живут в нечеловеческих условиях,— но нельзя ли узнать, чего вы добиваетесь? Если бы вы хоть раз высказались ясно! Ведь если крестьянам дать лифт и отопление, они уже не будут крестьянами, не так ли? И мне кажется — может, я ничего в этом не понимаю,— что так же дело обстоит и с бедняками: ведь они всегда будут, такова жизнь, вот что я скажу, а если такова жизнь, то и незачем беспокоиться — вот еще выдумал! Тебя только тогда и раскусишь, когда ты выпьешь две рюмки,— ты и не представляешь, до чего мне было стыдно за тебя, когда ты бросал в фонари пробки от шампанского на вечере у Валентины! И, уверяю тебя, я это предчувствовала, клянусь!.. Как только мы вошли и я увидела Фито Солорсано и Ойарсуна, я сказала себе: «Марио либо забьется в угол, либо устроит представление». Ведь я знаю тебя, милый, недаром я прожила с тобой больше двадцати лет. И то же самое было в Мадриде с Энкарной, когда ты прошел по конкурсу,— ты, конечно, выпил, еще бы!.. И я держу пари на что хочешь, что там у вас пивом и креветками дело не ограничилось. Куда же вы отправились потом? Дорого бы я дала, чтобы узнать это, Марио, ты себе и представить не можешь... я уверена, что тогда ты смеялся больше, чем теперь, это уж точно, и больше всего меня бесит, что с посторонними ты ведешь себя совсем иначе, чем со своей женой. Скажи мне... да тут и спорить не о чем — добра тебе от дона Николаса не было, сам знаешь, одно зло, и сколько бы он там ни изворачивался, а все-таки издали видно, что́ он за птица, и на том спасибо. Он поднимает на смех все на свете, а ведь издали видно, что́ он за птица, еще бы не видно! — и уж мне-то честное слово, его шуточки ни к чему и его истории — тоже; вспомни, что он тогда вечером рассказывал про то, как его посадили во время войны. Можешь ты поверить хоть одному слову про того типа, который выстроил их и сказал капралу: «Я отвечаю за триста шестьдесят семь человек; если их окажется триста шестьдесят шесть, пойди на улицу и хватай первого попавшегося, а если их окажется триста шестьдесят восемь, возьми последнего из шеренги и расстреляй»? Басни! Конечно, последним в шеренге был он сам, а если нет — чего ж тогда и рассказывать... но можно ли поверить хоть одному его слову? В крайнем случае, тот тип сказал так, смеха ради, для забавы, чтобы время скоротать: не очень-то весело сидеть там сложа руки, взаперти с тремястами красных — ни поговорить ни с кем нельзя, ничего. Не выношу я его, можешь мне поверить, это свыше моих сил, и пусть у него хорошо подвешен язык, и пусть он замечательно пишет,— это уж как тебе будет угодно, я не спорю,— но он интриган и злой человек, он уж не знает, что и придумать, чтобы тиснуть в газету и побольше шуму наделать. Теперь я вот что скажу тебе, Марио: в жизни я так не радовалась, как в тот день, когда он заявил в «Эль коррео» о своем уходе,— это когда назначили вице-директо-

ром его брата Бенхамина, помнишь? И сказали: «Если ваш брат Николас распоясается, вы будете уволены». По-моему, это просто замечательно, да, замечательно, это законная защита, и из-за себя дон Николас, конечно, не принял бы это во внимание — он ведь достаточно богат,— ну а ради брата ему пришлось вести себя поосторожнее. А в конечном счете — много шуму из ничего, этот хитрюга по-прежнему гнет свою линию, исподтишка все делает по-старому, сперва было притаился, а потом снова-здорово, опять за свое. И уж спеси-то, спеси! А ведь папа его помнит — ты не поверишь, он совсем из простых; мать его — прачка или еще того хуже, прямо понять не могу, почему это порядочные люди так с ним считаются: ведь как бы он там ни был умен, а все же чего можно ждать от сына прачки, то есть в смысле ума, конечно... ну, можешь ты объяснить мне это, Марио? Папа всю жизнь повторял — каждый раз, как видел кого-нибудь из этих типов, что выскакивают, будто мыльные пузыри: «Человек может стать интеллигентным самое меньшее в четвертом поколении», вот как он говорил. И не спорь ты со мной, Марио: папа может тебе нравиться или не нравиться, но он не кто-нибудь, ты и сам знаешь, он сотрудничает в «АВС» испокон веку, не с сегодняшнего дня. Ты сам видел, какие великолепные «Педагогические изыскания» написал он для тебя, когда ты проходил по конкурсу, а потом ты и думать о нем забыл, и ему, бедному, это, конечно, было больно, хотя он по деликатности своей ни разу об этом не заговорил. Бедный! Ты представить себе не можешь, сколько времени он потратил на эти твои «Изыскания», дружок, он даже дважды говорил с деканом — доном Лукасом Сармиенто, когда тот был у нас; я прямо запарилась — как сейчас помню, крутилась, будто волчок,— а он все повторяет: «Вы не могли бы устроить это дело?» — представь себе, в этом же была вся наша жизнь. А ведь если разобраться, так папа вовсе не обязан был это делать,— в конце концов, ты вечно шел по ложному пути, можно подумать, что ты живешь на луне. Нет, ты только полюбуйся на себя: папа потратил столько времени, а ты пошел представляться без «Изысканий», а ведь это было необходимое условие! Это ни у кого в голове не укладывается, вот как, а ты еще твердил, что считаешь это исследовательской работой, и полгода бегал по архивам — пустая трата времени, ну скажи сам; ты просто бесподобен, дружок; это, милый мой, вроде того, как ты сказал «До свидания» тому оборванцу у аптеки Арронде,— ну уж и закатила бы я тебе оплеуху за то, что ты поставил меня в неловкое положение! А ведь бедный папа вытащил тебя из нужды, но едва все кончилось — только тебя и видели: написал ему благодарственное письмо, и дело с концом. Бедный папа! По-моему, он не спал ночей восемь, честное слово, я помню, как он говорил: «Я не историк, но попробую, попробую», он головы не поднимал, клянусь тебе, целую неделю не поднимал головы. Уж кто умеет писать — тот умеет, и ведь не я это выдумала: он проделал за тебя всю работу над книгой, Марио, и ты должен был оказать ему хотя бы минимум внимания — и не утверждай, что я не сказала тебе об этом: надо было издать его в «Каса де ла культура», и я говорю так не потому, что я — его дочь; он был бы просто счастлив, бедняжка, так и знай — ему ведь немного надо. Но чуткостью ты никогда не отличался, Марио,— это сущая правда: благодарственное письмо, и дело с концом. И я не стану говорить теперь, что папины «Изыскания» — огромная, сложная работа, это не так, я согласна, но она была великолепно написана, не спорь со мной; я, правда, ничего в этом не смыслю, но, поскольку дело касалось тебя, я прочитала этот труд трижды,— подумай только! — и я была в восторге, ты и представить себе не можешь... ведь этот ретроспек-

тивный метод или как он там называется — ну вот когда историю изучают не с начала, а с конца и пятятся назад как раки, потому что войны и тому подобные вещи происходят не просто так, а из-за чего-то, и, как говорил папа,— у него такое легкое перо!.. знаешь, у меня в комоде до сих пор лежит экземпляр! — «таким образом мы восходим от следствий к причине». Я совершенно уверена, что тебя приняли только ради папы... мы никогда ничего не знаем, но в данном конкретном случае это была удача, а то ты мог бы пойти по ложному пути: какой бы ты ни был добросовестный и все такое прочее, но такой прекрасной работы, как папина, тебе сроду не написать... папа замечательный человек, Марио, и если даже я до утра буду говорить о том, какой он хороший, я и сотой доли не скажу, и, будь уверен, он непременно приехал бы вчера, если бы не был таким стареньким,— ведь он, бедный, совсем плох, это сущая правда, Хулия говорит, что он и из дому-то не выходит, да оно и понятно: ведь в Мадриде такое движение; но телеграмму он прислал изумительную, Марио, она полна глубочайшего смысла и к тому же так прекрасно составлена, что хоть я и старалась быть мужественной, но не могла удержаться и расплакалась... подумай только, как, наверно, он был расстроен, бедняжка! Ну, а что до Константино, то по зрелом размышлении ему лучше было остаться дома — он ведь и знаком с тобой не был. Мне и без того не нравится компания, с которой связался Марио, и пускай это, по-твоему, предрассудок, но я не могу считать этого мальчика своим племянником — ничего не могу с собой поделать: мне кажется, у него на лице написано, что он рожден от греховного сожительства, так и знай. В каком виде я застала их, Марио,— посмотрел бы ты, какой срам! Это было в тот день, когда наши взяли Сантандер,— в жизни этого не забуду! Они валялись на ковре и обнимались, какой ужас! — я и вспоминать об этом не хочу. А он, бесстыжий, еще сказал: «Мы играли, bambina», наглец этакий, я прямо чуть в обморок не упала. А между прочим, я готова поклясться, что Галли нравилась я, но Хулия сама к нему лезла, ну, а он ведь не дурак, он знал, с кем что можно,— не стал же он подъезжать ко мне; меня все это ужасно злило, но я и не пикнула; мне было стыдно, понимаешь? —так что мама ни о чем не догадывалась, пока Хулия не стала полнеть, и тогда она повезла ее в Бургос, а потом — в Мадрид. Можешь себе представить, каким смертельным ударом это было для мамы, царство ей небесное,— ведь она была такая корректная, из такого хорошего общества, а про Хулию весь город болтал — ты ведь витаешь в облаках, дружок, я этого просто понять не могу,— об этом каждая собака знала: ведь как ни старайся, а таких вещей не скроешь. Бедняжка мама — что ей пришлось пережить! Да будет тебе известно, она даже в Рим писала — этим все сказано; она хотела расторгнуть первый брак Галли, понимаешь? Но у него, кажется, было двое детей, и это очень плохо; говорят, что дети в таком случае — просто беда, это очень трудно. А папа, несмотря ни на что, держал себя очень мило: «И этот тип еще заставлял меня здороваться на итальянский манер, вытянув руку!» — представь себе! При всем своем монархизме он был в бешенстве, да нет, в бешенстве — это слабо сказано: если бы он тогда поймал Галли, он бы его задушил, да оно и понятно. А я, признаюсь, хотела выйти за тебя замуж, чтобы все тебе рассказать: помнишь, когда мы были женихом и невестой, ты спрашивал меня про Хулию, а я говорила тебе, что все хорошо, что она в Мадриде в Академии художеств? А на самом деле, когда кончилась война, она жила там с ребенком и уже не вернулась, а когда мама умерла, папа переехал к ней и простил ее,— подумай только! — а ведь он не разговаривал с

ней по крайней мере лет семь. А маме, пожалуй, пришлось еще хуже — ведь она была такая лакомка, а после этого перестала есть сладкое,— ты только представь себе! — и притом навсегда, а ведь это страшная жертва. Ну, а я, перед тем как мы поженились, все думала о том, какое у тебя будет лицо, когда я расскажу тебе про это... я просто дождаться не могла этой минуты и в поезде все тебе сказала, помнишь? И ты не поверишь — как ты меня рассердил! Ты нисколько не возмутился; у тебя в жилах лимонад, а не кровь: «Господь милостив; во время войн все рушится»,— ну что общего имеют войны с целомудрием? — я готова была убить тебя, ведь если что и могло утешить меня в истории с Хулией, то есть не утешить, а... ну, словом, ты меня понимаешь,— так это рассказать тебе о ней. Я ведь думала: «Он прямо похолодеет», а тебе хоть бы что, совсем как тогда, когда я со всех ног прибежала рассказать тебе историю про Максимино Конде, чтобы ты написал роман, а ты и не посмотрел в мою сторону: «У него горя довольно», ну что это за выходки? И вот что меня возмущает, Марио: если такие вещи для тебя и не имеют значения, все равно, ты бы хоть спасибо сказал, что я не из того теста, потому что, если хочешь знать, я могла бы проделать то же самое с Эваристо, или с Пако, или с моим подопечным легионером, или с тем же Галли — стоило мне захотеть, имей это в виду,— а я вот не сделала из уважения к известным устоям, но сегодня эти устои, кажется, вызывают лишь смех, и я уж не знаю, до чего мы этак дойдем, и если найдется теперь порядочная и честная женщина, то это чистая случайность. Скажи мне вот что, Марио: захотел бы ты жениться на мне, если бы я переспала с Галли Константино? Ведь не захотел бы, правда? Тогда почему же, сумасброд ты этакий, ты так снисходителен к моей сестре? Надо быть беспристрастными, дорогой; Хулия, скажем прямо, была бесстыдница, а ты еще болтаешь что-то про войну! Ведь когда вы заведете речь о войне, вы готовы белое назвать черным, ни больше ни меньше. То, что произошло с Галли, ты оправдываешь, а сам... Ведь у нас-то все по-другому было: нас благословили, все чин чином,— только ты повернулся на другой бок и — «Спокойной ночи», а это ведь не пустяк, так ты и знай, и я не смогу забыть такое унижение, проживи я еще хоть тысячу лет, уж ты меня извини: я даже Вален не решилась рассказать, а ведь Вален я доверяю всецело.

XVII

Женщина безрассудная, шумливая, глупая и ничего не знающая садится у дверей дома своего на стуле, на возвышенных местах города, чтобы знать проходящих дорогою. . Но он повез меня не прямо в центр — я хочу еще разок поговорить об этом,— а я ему говорю: «Я в восторге от твоего автомобиля, он едет бесшумно» и все такое, а он тогда развернулся и вылетел, как ракета, на шоссе дель Пинар. Я ему говорю: «Поезжай обратно, Пако, ты что, с ума сошел? Что скажут люди?» — а он смеется и говорит, знаешь, что он сказал? Вот что: «Да пусть себе говорят что хотят», сплетни и все такое его не тревожат. Как он изменился, Марио, ты себе и представить не сможешь, сколько бы я тебе об этом ни рассказывала! Глаза у него, на мой вкус, всегда были идеальные — редкостного зеленого цвета, вроде как у кошки или как вода в бассейне, но сейчас в нем появилось что-то такое — не знаю, как это объяснить,— апломб, барственность, которых у него раньше не было: в детстве, помню, это был сущий балбес, а сейчас — вот посмотри на него — говорит медленно, с паузами, ни одного слова не спутает, а прежде — смех один.

А теперь полюбуйся-ка на него, дорогой: собственный «тибурон», загребает миллионы — он говорил мне, где он работает, да я не запомнила,— но, конечно, это связано с представительством в тех местах, где будет развиваться промышленность,— ты уж не обращай на меня внимания. А как он правит, Марио! Прямо удовольствие смотреть: ни одного лишнего движения, можно подумать, что он родился за рулем. И потом — ты не поверишь — он все время поглядывал на меня искоса, а когда мы ехали по Мерендеро, он сказал мне: «Ты все такая же, малышка», а я: «Вот глупости, ты подумай, сколько лет прошло!» — а он так мило: «Время для всех проходит по-разному», видишь, как он любезен, и это заслуживает благодарности, Марио, ведь в каком бы зрелом возрасте женщина ни была, а все-таки она не камень, а тебе будто нож острый было сказать мне комплимент. А потом он остановился и спросил меня внезапно, когда я меньше всего этого ожидала, умею ли я править,— представляешь себе? А я говорю: «Немножко, почти что и не умею», он ведь часто видел меня в очереди на автобус вместе со всеми этими людишками, вообрази себе этот ужас! Уверяю тебя, что такого стыда я за всю свою жизнь не испытывала, да только что я могла ему сказать? — чистую правду: что у нас нет автомобиля, и хотела бы я, чтобы ты посмотрел на него: «Нет? Нет? Нет?!» — так громко, да еще похлопал себя по лбу, точно не мог этому поверить, вот как; в наше время кажется просто невероятным, чтобы сеньора стояла в очереди на автобус, Марио, это изумляет всех, только тебе одному как с гуся вода. Пойми, дорогой мой: автомобиль — это предмет первой необходимости, посмотри хоть на того же дона Николаса — ведь у него «тысяча пятьсот», и если уж ты считаешься с ним в ряде вопросов, так подражай ему во всем... честное слово, меня злит, что в плохом он для тебя святой Николас, а в хорошем — нуль без палочки. В тебе сидит дух противоречия, вот что; как подумаешь — ты ни разу в жизни не доставил мне удовольствия, осел ты этакий, вспомни мое подвенечное платье. Конечно, я могла это предвидеть, но вначале я думала, что ты такой из-за истории с твоими братьями, или из-за болезни отца, или еще из-за чего-нибудь. И видит бог, я не ради франтовства хотела надеть белое платье... в конце концов, дело не в нем, но после истории с Хулией что сказали бы люди? — они ведь очень подозрительны, не спорь со мной, а ты еще спросил: «А что такое?» — по-твоему, так тебе всё прямо и скажут. Белый цвет, Марио, если ты этого не знаешь,— символ девственности, да будет тебе известно, и пока еще это так, а повести к алтарю женщину, одетую в будничное платье,— все равно что объявить на всех перекрестках: «Я женюсь второй раз» или: «Я женюсь на первой встречной», даже думать об этом противно. А самое главное, я хотела этого ради мамы, Марио, я-то ладно, в конце концов, мне от этого ни жарко, ни холодно, но после того, что произошло, маме было бы приятно, чтобы люди думали: «Это — девушка», что поделаешь, Марио,— все мы люди и во всем остаемся людьми, а чистота для женщины — это бесценное сокровище, и сколько ни хвали ее за это — все будет мало; уж нравится тебе или нет, но невеста в подвенечном наряде всегда будет примером для простонародья, потому что оно позволяет себе все больше и больше — это не я выдумала. И если бы я появилась на улице одетая по-будничному, то неизвестно, что бы обо мне подумали, да еще без всяких оснований, и это злит меня больше всего... уж не знаю, может, тебе и было что скрывать, дружок, но я, если хочешь знать, имела полное право войти в церковь с гордо поднятой головой. Говорю тебе чистую прав-

ду: на этом соборе целый божий день распространялись о противозачаточных средствах — очень мило, ничего не скажешь: ведь женщина превращается в урода, когда у нее много детей, и, по-моему, это тоже несправедливо — либо всем можно пользоваться этими средствами, либо уж никому, и кончится тем, что мы ничем не будем отличаться от этих иностранок,— расчудесное дело; так вот, лучше бы они вместо этого решили вопрос о подвенечном платье, да только радикально — так и знай,— чтобы это было для всех как мундир, а женщина, которая недостойна надеть его,— недостойна вступить в брак, пусть валяется в канаве: если она всю жизнь провела в канаве, то уж не знаю, почему это вдруг канава вызывает у нее отвращение. Немного нетерпимости — вот чего нам не хватает, именно этого, пойми: ведь в один прекрасный день мы докатимся до того, что порядочная женщина ничем не будет отличаться от падшей... послушал бы ты, что говорит Вален: сейчас в Мадриде все уличные женщины одеваются точно так же, как мы, я не преувеличиваю — скажи пожалуйста!.. На месте правительства я издала бы декрет против них, вот так, уж я тебе говорю,— я понять не могу, с какой это стати все защищают простонародье, протестантов, девиц легкого поведения, а мы, порядочные женщины, пусть подыхаем. Если бы ты сказал мне все это в свое время, дружок,— так скатертью дорога! Нет чтобы сказать это месяца за три до предложения, на всякий случай,— ты сказал это после, когда женщина уже не может пойти на попятный: «Брак — это таинство, а не праздник». Господи ты боже мой!.. Ты был спокоен, как обычно, и поставил-таки на своем; а мне бы вот хотелось, чтобы ты посмотрел на маму — бедняжка, как она рассердилась, ведь после истории с Хулией для нее это был нож острый. Да знаешь ли ты, что такое милосердие? Лучше уж не вспоминать про лекцию, которую ты прочел по этому поводу, Марио, а ты еще: «Это обычные судороги, не волнуйся, пройдет»... ну, полюбуйтесь на этого эгоиста! Циник ты, хуже циника!.. Прости меня, Марио, дорогой мой, я сама не знаю, что говорю, но я прямо с ума схожу всякий раз, как подумаю о платье, о котором так мечтала: талия чуть завышенная, фасон «принцесса» — я уверена, что это произвело бы сенсацию, так и знай, а ведь вы, мужчины, и понятия не имеете, что это значит для женщины. Но ты все равно настоял на своем, ты вовремя сказал мне об этом — когда мы уже были женихом и невестой, и скажи спасибо, что после того, как ты сделал предложение, я не могла дать тебе от ворот поворот, а то бы... В конце концов, я сама была дура: ведь вот Трансі сразу тебя раскусила, правда, она женщина не ахти каких правил, тут и сомнений быть не может, она даже позволила Эваристо рисовать ее нагишом, а ведь я говорила ей: «Ты не должна была так поступать», только ей как об стену горох, ведь потом она даже вышла за него замуж, ну и случилось то, что должно было случиться, и все тут; так вот она как только тебя увидела, так сразу и раскусила, это уж точно. И Пакито она тоже раскусила, но в другом смысле; в чем, в чем, а в мужчинах она толк знает; и вот посмотри теперь на Пако — это человек из делового мира, я не говорю про его автомобиль, но он сам, весь его облик — уж не знаю, как тебе и объяснить. Мужчинам везет, как я говорю, и если вы не хороши в двадцать лет, вам остается только подождать еще двадцать — недурно, этак и всякий мог бы. Но ты надул меня, Марио,— кто бы мог подумать? — сидел с газетой на августовском солнцепеке, как раз напротив нашего балкона — делать тебе нечего — и все смотрел, это продолжалось не день и не два, так что я подумала: «Этому мальчику я нужна; он покончит с собой, если я откажу ему», я всегда

была романтичная дура, никакой хитрости во мне не было, ты это отлично знаешь. И вот посмотри, как это пригодилось мне в жизни! И не думай, что я жалуюсь из каприза, Марио, ты сам можешь в этом убедиться: за двадцать четыре года совместной жизни — легко сказать! — мы не сумели приобрести даже какие-то несчастные приборы; каждый раз, как я приглашаю гостей, мне прямо тошно становится: холодный ужин, одни закуски,— хорошенькое дело! — всегда одно и то же, никакого разнообразия, а все, чтобы пользоваться только ножами и вилочками для десерта, и я сто раз спрашивала себя, Марио, чем я заслужила такое наказание. Если бы я родилась снова! Уверяю тебя, я бы так не влипла, а то ведь мы, дуры, точно приклеены к нашим мужьям и детям, и Вален совершенно права, когда говорит, что мы выиграли бы куда больше, если бы так сильно их не любили,— вот так-то! — а то ведь вы нас подцепите и давай погонять, требовать: подай мне то, да другое, да еще побольше... по-вашему, только в этом и заключается долг мужчины, все вы из одного теста сделаны, Марио, и надо сказать, что ты перешел все границы: с чужими шутил, был вежлив, а дома — как воды в рот набрал, а для меня это всего обиднее, так и знай. То же самое было и в Мадриде. Ты знаешь, мне страшно нравится Мадрид, Марио, я без ума от Мадрида, я просто в восторге от него, я этого и выразить не могу, так вот, я предпочитаю не ездить туда, чем жить так, как мы там жили: чем плохо проводить время там, я лучше останусь дома; на меха и всякие безделушки у тебя, видите ли, денег не было, а вот на всякую чепуху — на какое-то барахло или на то, чтобы нам сняться под руку на Гран-виа,— как стыдно было мне за тебя, дорогой! — на «Карлитос» и прочую ерунду ты мог тратить сколько угодно. «Жить всем надо!» — вот здорово! Всем надо жить кроме меня одной,— меня ты и в грош не ставишь, я, видите ли, «капризничаю» из-за «шестисотки», а тебе как с гуся вода, словно я прошу луну с неба, и я отлично знаю, Марио, что когда мы только поженились, это была роскошь, я отлично это знаю, но сегодня, повторяю, это предмет первой необходимости: ведь сегодня «шестисотка» есть даже у лифтерш — я на этом стою,— их даже называют «пупками», голубчик ты мой, потому что они есть у всех, а этим все сказано. Только ты — ни в какую, а вот этому помирающему с голоду фотографу ты: «Хорошо, согласен», и он уже вытаскивает пластинку,— это непоследовательно, ну скажи сам, как ты это назовешь? А потом только я тебя и видела, и одному богу известно, какова судьба всех этих свадебных фотографий — нас же снимали беспрерывно,— ну скажи на милость, где они гуляют? А ты все свое: «Жить всем надо», и если ты в чем и перещеголял их, перещеголял этого шарлатана с «Карлитос» — прямо кровь стынет в жилах,— то не в смысле таланта, а в том смысле, что у тебя было больше возможностей, больше всяких ребусов и желания все запутывать. Бродяги — вот кто они такие, прямо целая шайка бродяг; показывают тебе разные разности, а сами в это время могут вытащить у тебя кошелек, они это в два счета сделают, имей в виду. Пойми, что даже лучшему из них— место за решеткой, а вы еще ругаете тех, кто стоит у власти, а вот на мой взгляд, если власти чем и грешат, так это чрезмерной мягкостью, так ты и знай; и дело ведь не в деньгах, а в том, что из-за тебя мне было ужасно стыдно на Гран-виа: люди смотрели, как скачет этот тип с «Карлитос», или тот, который пускал мыльные пузыри... и мы сами были настоящая деревенщина, когда дожидались междугородного автобуса,— вот ужас-то! Но эти были еще ничего — ну, а заключенные? Дружок ты мой милый, ведь когда наступала амнистия или как там это называется, наш дом был похож на филиал тюрьмы; хотела бы я знать, кто разрешил тебе вмеши-

ваться в эти дела,— а какой от них запах! И запах — это бы еще полбеды, но ведь за помощь заключенным, к твоему сведению, могут в два счета арестовать, как соучастника — или как его там? Армандо, когда об этом заходил разговор, всякий раз крестился — и не зря. А ты говорил, что они не уголовники — хорошенькое дело! Да ведь это еще хуже, сумасброд ты этакий! В конце концов, дорогой, убивают и все такое прочее в состоянии аффекта, это вроде помрачения рассудка, вот что, а эти люди действуют хладнокровно, все обдумав и взвесив, и я не заблуждаюсь, вовсе нет, они испорченные от природы, вот и все. Только тебе как об стену горох: они, видите ли, очутились на улице — ну ясное дело, а где же им еще быть? Для них и это великое счастье, дружок,— ведь они сгнили бы в тюрьме, и если их оттуда вытащили, то из чистого милосердия, будь уверен, и из милосердия плохо понимаемого, конечно, и пусть они спасибо скажут,— ну вот эти, которых амнистировали,— что они живут в такой стране, ведь в другой стране их бы не выпустили! И вот этого-то вы и не хотите понять, склочники вы этакие: не разбираете, что — доброта, что — слабость, а ведь я из-за тебя просто извелась: каждую минуту я думала, что тебя заберут вместе с этими людишками, довольно я натерпелась тогда, когда черт дернул тебя болтать в поезде: я всю ночь не спала, глаз, как говорится, не сомкнула, а все из-за того, что ты не умеешь держать язык за зубами, из-за твоей проклятой болтовни; Антонио говорит, что человек, который просидел двадцать четыре часа в предварительном заключении, считается рецидивистом, если его заберут снова, и это сущая правда, представь себе; славное наследство оставил ты детям,— бедняжки! — каково им будет в тот день, когда они про все узнают!

XVIII

Сын человеческий! вот, Я возьму у тебя язвою утеху очей твоих; но ты не сетуй и не плачь, и слезы да не выступают у тебя. Вздыхай в безмолвии, плача по умершим не совершай; но обвязывай себя повязкою, и обувай ноги твои в обувь твою, и бороды не закрывай, и хлеба от чужих не ешь... И я не считаю себя пророком, Марио, но когда умерла твоя мать и я увидела, что тебе хоть бы что, я поняла, какая у тебя гордыня — она прямо покою тебе не дает. А эта идиотка Эстер туда же еще: «Твой муж переносит горе с большим достоинством», ничего себе взгляды на жизнь! И если бы мне предоставили выбирать между Эстер и Энкарной, я не выбрала бы ни ту, ни другую, так и знай; ведь обе они, каждая по-своему, всю жизнь только тем и занимались, что подбивали тебя на всякие дурные дела. «Переносит горе с достоинством» — как тебе это нравится? Просто ничего не поймешь. Ну, а когда ты плакал, читая газеты,— это что было такое? Тогда ты был болен — вот здорово!.. Пари держу на что хочешь, что если бы ты запел в тот день, когда умерла мать Эстер, так она и это одобрила бы — уж она нашла бы, что сказать в твое оправдание, пари держу на что хочешь. Она совсем как Луис: «Угнетенное состояние. Нервная депрессия»,— смешно слушать; когда врачи не знают, что сказать, они все сваливают на нервы: это ведь очень удобно. Это вроде того, как ты через два дня снял траур, потому что тебе было грустно смотреть на свои ноги,— ну полюбуйтесь на него! А Эстер еще толковала, что она тебя понимает, что это — глупая рутина, с которой надо покончить. Еще бы тебе не было грустно смотреть на свои ноги! Этого бы только не хватало! Ведь траур для того и существует, скандалист,— а ты что думал? Траур

существует для того, чтобы напоминать тебе, что ты должен быть грустным, что, если ты запоешь, ты должен замолчать, если начнешь аплодировать,— должен успокоиться и сдержать свой порыв; я помню, когда умерла мама, дядя Эдуардо пошел на футбольный матч и сидел там как каменный, на голы — ни малейшей реакции, так и знай, это даже привлекало внимание, но когда его спрашивали: «Что ж ты не аплодируешь, Эдуардо?» — он указывал на черный галстук, и друзья прекрасно его понимали,— а ты как думал? «Эдуардо не может аплодировать, потому что он в трауре»,— говорили они, и все с ним соглашались, вот как; для того траур и существует, сумасброд ты этакий, для этого и для того, чтобы видели окружающие, чтобы окружающие с одного взгляда могли понять, что в твоей семье произошло большое несчастье, понимаешь?.. И я теперь даже креп надену — я не хочу сказать, что это мне идет, пойми меня правильно: черное на черном производит ужасное впечатление,— но надо соблюдать приличия. Ну, для тебя, ясное дело, эти законы не существуют, и не только для тебя, но, уж конечно, и для твоего сына, этого бездельника, и теперь тебе приходится пожинать то, что ты посеял, это вполне естественно: всякому понятно, что дети подхватывают то, что слышат дома, и до чего стыдно было мне за него вчера! Но на этот счет моя совесть совершенно чиста, Марио: ведь когда умерла твоя мать,— я это помню так, будто все было сегодня,— я тебе проходу не давала, я не отставала от тебя: «Плачь, плачь, потом ведь это скажется и будет хуже, ну поплачь же», а ты — молчок, как будто это к тебе не относится, а потом так и подскочил: «По обычаю?» Мне тоже это не кажется таким уж обязательным, но я прямо остолбенела, честное слово: у меня ведь были самые лучшие намерения, клянусь тебе, и я советовала тебе поплакать по той же причине, по которой детей нельзя купать после еды, а тебе кажется, что я чудачка и странная женщина. Когда у человека умирает мать, то плакать — это вполне естественно, ты же видел меня, и это не пустые слова: меня ничто не могло утешить, господи, что за ужасное было время! А ты — ноль внимания, похлопал меня по спине, поцеловал ни с того ни сего... ты выбрал самый легкий путь, ты даже не жил со мной, а Вален вот говорит, что в несчастье — это большое утешение, а я вот ничего этого не знаю: такой наивной и несведущей женщины, как я, на всем свете не сыщешь, я и сама это понимаю, я выгляжу совсем дурочкой. У тебя прямо талант все делать не вовремя, дорогой,— теперь вот ты просишь меня раздеться, подумать надо! А мне ведь это уже не по возрасту: живот дряблый, спина жирная — горе одно! Нет уж, сеньор, не имею ни малейшего желания, и если тебе это нравилось, так надо было просить меня об этом вовремя: хоть и нехорошо так говорить, но у меня была великолепная фигура — может, грудь была чуть великовата, но я и теперь не жалуюсь, пойми меня правильно: если верить тому, что говорит Элисео Сан-Хуан, так я — прямо Венера, вот как, но я уже не в том возрасте, чтобы выставлять себя напоказ, а кроме того, у меня и настроения нет. Всему свое время, Марио; вместо того чтобы повернуться на другой бок и сказать: «Спокойной ночи»,— ты и представить себе не можешь, как унизительно это было для меня! — ты бы лучше тогда попросил меня об этом, и оба мы были бы довольны. Это вроде как с заключенными — дух противоречия в тебе сидит, дружок ты мой милый, а я так рассуждаю: если ты хочешь сделать что-то для ближнего, так ведь бедных у Каритас целая куча, а эту твою Каритас при некоторой ловкости можно и побоку — я так и делаю,— ведь как ты там ни защищай ее, но она только того и добилась, что лишила нас возможности общаться с бедняками и не дала им молиться за нас,

а раньше, я помню, когда мы с мамой ходили к ним, они молились от всей души и целовали нам руки. Хороши теперь стали эти бедняки, полюбуйся-ка на них — все перебудоражены! И знаешь, что я тебе еще скажу? Разве ты не ругался из-за полоумных, что сидят в сумасшедшем доме? Ведь ты способен на такие вещи, на какие никто в мире не способен: они, видите ли, живут в чудовищных условиях, и это позор для нашего города,— мне просто стыдно было брать в руки по воскресеньям «Эль коррео». Ну в своем ли ты уме, Марио? Наверно, я не должна тебе это говорить, но Хосечу Прадос, если хочешь знать, однажды помирал со смеху в Клубе и говорил, что ты сам хочешь туда попасть,— он хотел сказать, что у тебя не все дома, понимаешь? Хосечу только руками разводил, а вам лишь бы подпускать шпильки по любому поводу: ведь тратить бешеные деньги на новый сумасшедший дом — это идиотство, Марио, пойми ты, неужели тебе не ясно, что это — мотовство, бросание денег на ветер? По-твоему, осел ты этакий, эти несчастные понимают, новое у них здание или старое, холодно там или тепло? Ведь если они сидят в сумасшедшем доме, значит, они сумасшедшие, а раз они сумасшедшие, значит, они ничего не понимают, не соображают и не чувствуют, они думают, что один из них — Наполеон, а другой — сам господь бог, и очень счастливы, вот и все. И хотя ты с этим и не согласишься, Марио, а все-таки — чего тебе еще надо? Зачем тратить деньги на этих несчастных? Ведь они даже и спасибо тебе не скажут. Да, я знаю, что Эстер была на твоей стороне, и вся твоя компания тоже, будь она неладна: нет, видите ли, ничего благороднее, как давать тем, кто не просит,— но зачем же ухлопывать деньги на тех, у кого все есть? Ведь они же думают, Марио, что у них все есть, а это все равно как если бы они и в самом деле ни в чем не нуждались, и если ты построишь для них новые ванные, зал для игр или разведешь сад, то, поди знай, может, им будет представляться все наоборот, ведь понять их невозможно... Ты не думай, пожалуйста, что я им не сочувствую, но у меня, слава богу, голова в порядке, и я согласна с Армандо, что стремиться взять на себя всю скорбь мира — это самое обыкновенное тщеславие. Как подумаешь, дорогой, так именно тщеславие тебя и испортило, ты сам сто раз признавался в этом: ведь когда ты писал все эти штуки, или покупал «Карлитос», или позволял фотографировать нас на Гран-виа, или помогал заключенным, ты заботился не о ближнем, а о себе самом, а потом еще ты начинаешь ломать себе голову, правильно ли ты поступаешь, и по сути дела это самый настоящий эгоизм, я всегда это утверждала. Ведь если тебе так приятно угождать ближнему своему, то почему ты не угодил Солорсано, когда он хотел ввести тебя в муниципалитет? Ну почему, скажи пожалуйста? После твоей стычки с Хосечу Прадосом, дружок, после твоих взрывных статей в «Эль коррео», после того как на тебя завели дело, после предшествовавших событий с твоим отцом и братом — ну, это еще куда ни шло; я считаю, Фито Солорсано благороднее не мог поступить — он же бросал тебе веревку: «Держись, хватайся за нее, поставим крест и начнем все сначала». А если тебе этого мало, то ведь ты слышал, что говорила Валентина: «Войти в муниципалитет по культурной части — это большая честь». Но хотя это сущая правда, ты — ни в какую, осел ты этакий. «Цена молчания» — вечно одна и та же песня. И если даже поверить, что Фито Солорсано не попросил тебя сесть, в чем я сомневаюсь, или если он закурил, а тебе не предложил сигарету — так что́ за беда? Он был готов прийти к соглашению, это совершенно ясно, и я не знаю, чего ты так разозлился, когда увидел свое имя в списке, а я — я даже не осмелилась сказать тебе тогда,—

я просто мечтала об этом, уж теперь признаюсь, и притом это было так внезапно и такими громадными буквами! Господи боже мой! Ведь сам Висенте говорил, Марио: «Я в жизни не видел Марио таким сердитым, он вел себя так, словно в него вонзили пару бандерилий», и ведь дело того не стоило, только ты все свое: «Пусть сперва спросят у меня», но скажи ты мне бога ради, неужели, чтобы сделать человеку добро, надо спрашивать у него разрешения? И если бы еще от тебя что-то требовалось, ну ладно, но ведь это же так почетно: уж как ты там ни крути, а это большая честь; ну, а если бы тебе сказали об этом заранее, а? Воображаю, что бы ты наговорил,— это все твое гнусное тщеславие, и ничуть не странно, что Фито не предложил тебе сесть и не угостил сигаретой,— правильно сделал! Я еще удивляюсь, как это он не дал тебе пинка, ты это вполне заслужил, дружок, будем называть вещи своими именами. А ты еще говорил, что держал себя твердо, но вежливо,— могу себе представить! Судя по тому, в каком состоянии ты вышел из дому, я в этом сильно сомневаюсь, уж ты не сердись на меня, а кроме всего прочего, он же сказал тебе — а ведь он никому не обязан отчетом,— что если ты не знаешь, справишься ли с этим делом, так у тебя будет время узнать, когда тебя изберут, а раньше тебя избирать было не за что,— лучше обойтись с тобой просто невозможно было, так я считаю. И если ты полагаешь, что разговаривал с ним вежливо,—могу себе представить, как ты с ним разговаривал, ты ведь любишь беспроигрышные лотереи,— то я, честное слово, не знаю, что такое вежливость. А ты еще говоришь, что он даже не подал тебе руки,— ну конечно, этого только не хватало! Я бы на его месте без дальних разговоров упрятала тебя в тюрьму, так ты и знай, никто не видывал подобной непочтительности, а кроме того, в приемной ты распоясался вовсю с представителем организации и с Ойарсуном, стоило тебя послушать: твое имя, видите ли, должно быть незапятнанным, оно не для кандидата в муниципалитет, и еще бог знает какую околесицу нес,— не понимаю, как это они оба еще могли с тобой разговаривать; а хуже всего то, что ты орал, будто все это предрешено заранее; самого Ойарсуна, аптекаря Арронде и Агустина Вега избрали единогласно — тебе случайно удалось угадать,— и, откровенно говоря, больше всего меня удивляет и огорчает то, что ты не получил ни одного голоса, мне это кажется странным, так и знай: ведь сам Фильгейра, который тогда был членом муниципалитета, сказал мне накануне—так и сказал, честное слово: «Завтра я голосую за вашего мужа», уж не знаю, раздумал он потом или еще что, непонятно. Но тебе не о чем было беспокоиться, ты же ни о чем и не знал: я ведь изо всех сил старалась не проболтаться, так что у тебя и причин-то не было сердиться,— матушки мои! — целый месяц я не могла слова тебе сказать,— вот до чего дошло! — ты всегда такой: то же было из-за Энкарны. Если тебе противно смотреть, как она ест,— а ты почти с ней не разговаривал, даже внимания на нее не обращал, и меня это вовсе не удивляет, потому что твоя невестка бойка в чем угодно, но поддерживать разговор — тут она нуль без палочки,— то чего ради ты пригласил ее к нам? Пойми ты, Марио: страдать твоя невестка страдала, я ничего не говорю, но все равно, дружок, мы уже были сыты Энкарной по горло. И нельзя сказать, что Энкарна дешево нам обходится, Марио: ведь твоя невестка ест за троих и все никак не насытится, а уж как она набрасывается на фрукты — вот обжора-то, дружок, да при такой-то дороговизне! — а уж о рыбных блюдах лучше и не говорить, прямо разорение... Представь себе, хоть рыба и подешевела, но ест она слишком много, а чтобы этого не заметили, она подкладывает кости детям, а этого я не выношу, я просто выхожу из себя, даю

тебе слово. А потом у нее вообще много странностей: она запирается в ванной и там читает, потому что ей мешают — дети, видите ли, должны молчать, а ведь дети есть дети — известное дело, и если она их не любит, так скатертью дорога, никто ее не звал, как я говорю. И не то что я ревную, Марио, ты меня знаешь, и тебе отлично известно, что никогда я ревнивой не была, но хотя сейчас она угомонилась, все равно всегда неприятно жить с бабой, которая хотела увести твоего мужа, дорогой, потому что после истории с Эльвиро Энкарна бегала за тобой, и никто меня в этом не переубедит. И когда ты прошел по конкурсу, она присутствовала при голосовании — ну что она понимает в этих делах? Она любит всюду совать свой нос, а потом вы еще отправились праздновать — ты уж лучше помолчал бы об этом,— интересно знать, что вы делали ночью, и мне-то, видит бог, это безразлично, но представь себе, что будет, если узнают дети, и кроме того, ты не должен был этого делать, чтя память Эльвиро,— хорош ли он был, плох ли, но в конце концов это твой брат. Если бы у тебя была хоть капля уважения ко мне, Марио, ты никогда не привел бы в дом эту женщину — она страшная грубиянка, и я уж не знаю, из хорошей она семьи или нет, но у нее манеры, как у торговки, дружок, так и знай, это просто мужик в юбке; надо было видеть, как она таскала твоего отца на руках — туда-сюда, вот непоседа-то! А какой там стоял запах! Я ведь была уже на третьем месяце и вспоминаю это как кошмар. И пожалуйста, не думай, что Энкарна делала это из милосердия,— ну да, да, как же, из милосердия! Это чтобы ты ее видел, дружок! Чтобы покорить тебя! А еще для того, чтобы подчеркнуть, что я там не нужна. Нет, Марио, нет, если я терплю ее здесь, так из чувства долга, она мне совсем не нравится, если хочешь знать; и не говори, что она помогает на кухне,— мне это совсем не нужно, это даже хуже для меня, коротко говоря: она все переворачивает вверх дном, и потом не знаешь, где что, и к тому же у нее такая голова, что за ней все время нужен глаз да глаз: ей что соль, что петрушка — все едино, словом, без нее я управилась бы куда быстрее. Это первое, а второе: если выложить песету за песетой те деньги, которые уходят на Энкарну, то у нас завтра же была бы «шестисотка», Марио,— да что я говорю! — «тысяча пятисотка», а может, что и получше.

XIX

И, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот Его, как капли крови, падающие на землю... «Господи, я так одинок, меня как будто преследуют» — что это за навязчивая идея, а? Что это за причуды? Ну кто тебя преследовал, голубчик ты мой? Просто-напросто ты хотел придать себе весу. Да, конечно, тебя ведь хлебом не корми, а дай всех ругать и говорить, что все люди плохие и что Христос был не таким, каким мы делаем Его в своих интересах. Хорош ты гусь, дорогой мой! По-твоему, ты один только и знаешь, каким был Христос? Это дьявольская гордыня, Марио, так и знай, и плохо пришлось бы нам, если бы Христос снова пришел в мир затем, чтобы покупать «Карлитос» и бамбуковые трубочки для мыльных пузырей у всех мадридских бродяг или сниматься на Гран-виа, чтобы фотографу было на что пообедать,— хорошенькое дело! Глуп ты как пробка, Марио, если ты думаешь, что Христос, вернувшись на землю, стал бы беспокоиться о сумасшедших, о том, холодно им или тепло, когда весь свет давно знает, что они — люди конченые. Уж не думаешь ли ты, что Христос запустил бы поросенком в Эрнандо де Мигеля, или стал бы волноваться из-за того, что полицейский

огрел дубинкой какого-то хулигана, или нагрубил бы губернатору,— вспомни, как Он держал себя с Понтием Пилатом,— или стал бы спорить с Хосечу Прадосом, когда речь шла о такой чудесной вещи, как монархия,— ведь и папа говорит, что монархия в нашей стране — это единственная гарантия порядка. Ты полагаешь, что Христос писал бы такие статьи, как пишешь ты: о деревенщинах, которые только и делают, что богохульствуют, или нападал бы на инквизицию, или отказался бы от траура по усопшим? Убогое представление у тебя о господе нашем, дорогой мой! «Мы исказили Его облик, мы исказили Его облик»,— да не ты ли первый исказил его? Если хочешь знать, Марио, у Христа брат не был бы красным, а отец ростовщиком, а уж если бы они у Него такими и были, будь уверен, что Он не был бы так спокоен, но не повышал бы голоса, Он не рассуждал бы о милосердии, как рассуждаешь ты,— знал бы ты, какие иллюзии строила бедняжка Бене, ведь она по целым неделям вертелась возле меня: «Марио подходит как нельзя лучше! Только бы он не отказывался!» — я прямо была поражена, честное слово, что ты сразу дал согласие. А ведь нехорошо, Марио, так злоупотреблять доверием женщин из Роперо — какой позор!.. Ты поступил так некрасиво!.. Ведь ты же должен был говорить о милосердии, как бог велел,— у тебя была избранная аудитория, честное слово, а ты как заговорил о благотворительных базарах, так сразу и провалился,— а вот Вален говорила: «Что плохого, если мы играем в бридж в пользу бедных?» Уж конечно, ничего плохого тут нет, склочник ты этакий: ведь если, играя в бридж, ты помогаешь нуждающимся, так надо только благодарным быть. Грешить, конечно, нельзя, но что плохого в играх и благотворительных базарах? Почему их не устраивать? А потом ты так и бухнул — у меня прямо кровь застыла в жилах... «Ох, скандал, ох и скандал он сегодня закатил,— ну до чего дошел этот человек!» — говорила я себе, а ты все твердил: «Милосердие сегодня заключается в том, чтобы выполнять законные требования обездоленных, а затыкать им рот плитками шоколада или теплыми кашне — это значит лицемерить», и тут поднялся шум, а я думала: «Да его линчуют, его просто линчуют и будут правы». У тебя прямо зуб на милосердие, как я говорю, и если милосердие должно всего-навсего совершить то, чего не сделали законы, то, стало быть, люди — в том числе и я — ничего не смыслят, и в течение всей лекции я сидела как на иголках, дружок, я думала, что у меня сердце разорвется,— боже мой, какое у меня было сердцебиение!.. А когда начали топать ногами, я бы, кажется, рада была провалиться сквозь землю — даю тебе слово,— я даже не слушала тебя, а бедняжка Бене заливалась слезами, а ты размахивал руками, задыхался,— вот ужас-то! — да еще подняла шум эта Арронде — прямо во весь голос: «Какой позор! Посмотрим, что завтра скажет пресса!» И когда все стали расходиться, тебя называли красным,— дальше уж и ехать некуда! — а я молчала, как мертвая. И я уж не сказала тебе, что было на следующий день в Клубе, когда твоя «Эль коррео», будь она проклята, восхваляла тебя за мужество, за красноречие, которое, видите ли, должно быть поднято на щит в нашем веке, за то, что ты проводишь линию собора, и надо тебе сказать, они сожгли экземпляров пятнадцать этой вашей газеты, да еще кричали при этом «Долой!», хорошо, что Бене — святая женщина! — их утихомирила, а то ведь все были в ярости. Да еще на тебя напала «Эль нотисиеро» и обозвала тебя демагогом и все в таком роде, и для меня это просто был нож в сердце, Марио, клянусь тебе: ведь «Эль нотисиеро» можно доверять, это солидная католическая газета, она всегда была правого направления. А ты еще говоришь, что одинок, сумасброд ты этакий! А как же иначе? Бед-

няжка Бене еще питала иллюзии: «Марио — прелесть, кланяйся ему», это она мне все время говорила, а ты ее прямо как холодной водой облил. Потом ты и сам это понял, не отрицай, так же как и с поросенком; ведь говорить о милосердии в таком вот стиле людям, которые ничего в нем не смыслят, значит, что милосердием тут и не пахнет: сам бросаешь камни, а потом жалуешься на ушибы, как я говорю,— если ты сомневаешься, то страдаешь от сомнений, если молчишь — тебя мучает совесть, если заговоришь — опять угрызения совести,— новая проблема!.. А ты разговаривай вежливо, дружок,— вот ведь Бене вела себя совсем не так, как ты: она убеждала людей устраивать благотворительные базары и ходить на них, и, в конце концов, было бы очень мило, если бы ты продал с аукциона свой портсигар или что-нибудь в этом роде — какую-нибудь твою личную вещь. Но у кого же хватит смелости дать тебе совет, когда ты такой злой, Марио?.. Ведь я даже боялась сказать тебе, чтобы ты сменил костюм, дал его мне погладить, а потом ты еще говоришь, что чувствуешь себя одиноким,— да как же иначе, дубина ты этакая? За чем пошел, то и нашел — ну скажи сам! Я же тебя предупреждала, когда была эта история с квартирой, что никто нас и видеть спокойно не сможет: ты столько критиковал, столько критиковал — ведь можно подумать, что нам нравится копаться в грязи! То же самое было и с твоими книгами: если там не шла речь о каких-то странных вещах, чего ни один человек понять не в состоянии, так шла речь об умирающих с голоду или о всяких хамах, которые и азбуки не знают. Но если они не умеют читать, а порядочные люди о них не заботятся, то для кого ты писал, нельзя ли узнать? И не говори мне, что можно писать ни для кого, это уж нет, Марио, потому что если ты бросаешь слова на ветер, так они ничего не стоят, это сотрясение воздуха, это каракули, вот что я об этом думаю. Но ведь тебя никто не может остановить, ты упрям как осел, дорогой мой, тебе слова не скажи... надо было видеть, как я торопилась рассказать тебе историю с Максимино Конде и его падчерицей: ведь это сюжет для фильма, так и знай, весь город был взбудоражен,— и все без толку... Правда, это было немножко вольно, я признаю, что это — клубничка, но в конце романа ты заставил бы его подумать о приличиях и, таким образом, книга получилась бы даже назидательной. Так вот нет же: лучше писать о простонародье и об умирающих с голоду,— ну и подавись ими, дорогой! Только уж потом не жалуйся на одиночество: ведь на твоей стороне были только Эстер, Энкарна и эти из твоей компании, раз, два — и обчелся. А если разобраться, то и эти твои друзья тоже не все с тобой, так и знай,— послушал бы ты Мойано... ну вот этого, с бородой,— с месяц назад была эта статейка, «Искупители» или как она там называлась, всего я не поняла, но читала я очень внимательно и, по-моему, уловила смысл; но вот это уж там было написано, уверяю тебя: «Все искупители любят своих ближних: одни хотят действительно освободить их, а другие — сделать себе из них пьедестал», прямо будто бомба разорвалась, да еще в самом центре, не так ли? Ойарсун прямо рычал, а уж о Мойано и говорить нечего, дружок,— его еще в подъезде было слышно. Господи, что с ним было! А ты еще туда же: «Оставьте меня в покое. Человек не может рта раскрыть, чтобы не оскорбить кого-нибудь», суровые слова, ничего не скажешь, прямо как в книге, скандалист ты этакий. Ну посмотри ты на меня: оскорбляю я кого-нибудь? Ну скажи по совести: оскорбляю? Нет, правда ведь? А ты же знаешь, что я много разговариваю,— болтушка, ты скажешь, и если мне не с кем поговорить, так я говорю сама с собой,— можешь себе представить, как это смешно,— вот бы посмотрел на меня кто-нибудь, ну да лад-

но, наплевать. А ты вот наоборот, это всем известно: если уж откроешь рот, так только чтоб надоедать людям,— и так было вчера, и так сегодня, и так все время. Вспомни, как на тебя завели дело,— ну чем тут мог помочь Антонио? Он мог только исполнить свой долг, ни больше ни меньше, и еще скажи спасибо, что напал на такого человека, как он: ведь если тебя не выгнали на улицу, так это просто чудо, у меня до сих пор болят колени — до того усердно я молилась, они у меня даже распухли. А если приходит ученик и жалуется, конечно, Антонио пришлось сообщить об этом в Мадрид, у него не было другого выхода, а к тому же, если бы ты не распускал язык, так тебе бы ничего не сделали ни Антонио, ни Антония. А ведь Антонио ценил тебя, Марио, это мне известно, он даже пришел ко мне: «Мне так тяжело, как будто это случилось со мной, поверь, Кармен». А я ему: «Ты вовсе не обязан давать мне объяснения, Антонио, только этого еще не хватало!» — вот как, а вчера, ты сам видел, он пришел одним из первых и на сегодня отменил занятия и все такое: он прекрасно повел себя. Что посеешь, то и пожнешь, Марио: черт тебя дернул нести такое. По-твоему, христианин может говорить откровенно, в присутствии всего класса, что церковь зря не поддержала Французскую революцию? Отдаешь ли ты себе отчет в том, что ты говоришь? А эта идиотка Эстер туда же — действительно, мол, жаль! Царь небесный! В своем ли ты уме, Марио? Ведь это же кощунство! Да разве Французская революция не была делом рук этих растрепанных баб, которые отрубили голову королю, и монашкам, и всем порядочным людям, и этой самой Помпадурше или как ее там? Нет, каким надо быть циником, чтобы говорить такие вещи! Вот так принципы! Ничего-то ты не смыслишь, господи помилуй! Да разве это христианские принципы — отрубать голову порядочным людям? Вот и кончилось тем — ты сам это видишь,— что в разврате и неверии Францию никто не перещеголяет,— послушал бы ты Вален. Она была там прошлым летом, а ведь она не робкого десятка,— так вот, она вернулась оттуда просто в ужасе, так ты и знай. Ну а тебе все равно, у тебя весьма эластичная совесть, дружок, тебе на все наплевать, и в следующее воскресенье ты идешь к причастию, да так спокойно, как ни в чем не бывало, а Бене, как только увидела тебя, тут же и спросила: «Он что, исповедался?» А я: «Думаю, что да». Ну скажи сам, что я могла ей ответить? Да простит тебя бог, Марио, у тебя ведь не было дурного умысла, я этому верю, да, да, но иногда я думала, что не имеешь ты права причащаться, и целых четверть часа я не могла заснуть, даю тебе слово: я очень беспокоилась, просто ужас. А всего больнее мне думать о том, что сперва ты таким не был, это все дон Николас и его шайка, это они забили тебе голову всякой чепухой, и если смотреть со стороны — так полбеды, но если человек, который думает и делает подобные вещи,— твой муж, то это пытка, даю тебе слово; Вален вот смеется, а хотела бы я видеть ее на моем месте. Ей-то хорошо: Висенте ведь самый уравновешенный человек в мире, на других плевать он хотел — Вален мне это доказала, это видно, как в театре. Она говорила мне, то есть Вален говорила мне вот что, подумай-ка над этим: «У твоего мужа, милочка, и у всех этих людей шарики за ролики заехали. Но, сказать по правде, они меня развлекают, смешно смотреть, как они горячатся из-за того, что мир скроен не по их мерке. Они — забавные типы, но за ними нужен глаз да глаз: такие кончают самоубийством или умирают от разрыва сердца». Вот так, Марио, ты сам слышал, клянусь тебе, она словно предчувствовала это, а я, честно говоря, думала, что от разрыва сердца умирают люди из делового мира: ведь они из-за одного телефонного звонка могут заработать или потерять миллионы,

я это понимаю, но ты сроду о деньгах не беспокоился, жена у тебя — отличная хозяйка, ты ни в чем не нуждался, что бы ты там ни говорил,— какое же ты имеешь право умирать от разрыва сердца? Это сущая истина: не имеешь и не имеешь. Повторяю: мне понятно, когда это случается с деловыми людьми, но ведь ты, Марио,— дон Ничто, зачем нам обманывать друг друга? Ты умер из-за того, что полоумные живут в плохом сумасшедшем доме, или из-за того, что полицейский дал тебе оплеуху, или из-за гого, что Хосечу не подсчитал голоса, или из-за того, что Солорсано хотел сделать тебя членом муниципалитета, или потому, что у деревенских нет лифта,— это у меня в голове не укладывается, ей-богу. Ясное дело — это я была дура, тут уж никто не виноват, ведь даже твоя родная мать предупреждала меня, что ты — парень нелюдимый и все такое и что как только ты возвращался из школы, то первым делом снимал ботинки и садился к камину читать. Ну что это за жизнь для мужчины! А Энкарна еще лезет ко мне с советами — то я должна делать или другое, ей-то почем знать? Ведь если ты таким был в детстве, так уж взрослым человеком тем более: известное дело — горбатого могила исправит. «Я одинок, Кармен», ты твердил мне это целых три дня, помнишь? — вот на этом самом месте, а я как глухая, потому что если я заговорю, так хуже будет,— но только чего тебе еще было нужно? Чтобы Солорсано или Хосечу дали тебе объяснения? Мама, царство ей небесное (от нее ведь ничто не ускользало), обычно говорила: «Что посеешь, то и пожнешь», каково? На первый взгляд, это в самом деле вроде бы чепуха, но в этих словах заключен глубокий смысл, Марио,— еще бы! И мама говорила это не просто так (в смысле самопожертвования, знаешь ли, мало кто может ее превзойти): когда произошла эта история с Хулией, она дала обет не есть сладкого — а сладкое она страшно любила,— если у Хулии не родятся близнецы. Ты скажешь, это — еще одна глупость, но это вовсе не глупость, Марио, это очень даже важно: ведь мама, царство ей небесное, знала, что делает... Она сказала папе — я-то узнала об этом после,— что если у Хулии будет один ребенок, значит, она совершила ложный шаг, а если будет двойня, значит, это от сильного чувства. Пойми, ведь Хулии это было непростительно. Но вообще-то, если разобраться, то грех моей сестрицы повлек за собой и наказание, потому что бедный Константино — можешь считать его несчастным, это уж как тебе угодно — очень странный мальчик; по-моему, он йог или как его там, он спит прямо на земле и ночами бродит по всему дому — он лунатик, или сомнамбула, или как там это называется,— подумай, какой ужас! И все ради минутного удовольствия, Марио, а такое удовольствие ничего не стоит, и я, сколько ни думаю, понять этого не могу, даю тебе слово. Константино — очень странный мальчик, Марио; Хулия хотела навязать его нашему Марио на лето — я даже и не сказала тебе об этом,— а я ни в какую, ни к чему мне это, пусть выпутывается как знает: совершила грех, пусть сама и находит выход из положения. Вообще эти дети от иностранцев — ничего путного из них не выходит; Армандо говорит, что их не поймешь, и я с ним согласна: смешение это крови или что другое, не знаю, но только все они смотрят в лес.

XX

А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Также сквернословие и пустословие и смехотворство не приличны вам... Ну, а он поступал как раз наоборот и втихую делал ужасные вещи, Марио... Можешь

себе представить, однажды вечером, когда мы были дома одни, он раскрыл «Мондо» — там были рекламы бюстгальтеров — и сказал мне со свойственной ему многозначительной улыбкой: «Ну и грудь, bambina, а?» Подумай, какое безобразие! Даю тебе честное слово, стоило мне захотеть, я бы подцепила Галли проще простого... уж не знаю, по правде говоря, что привлекательного в моей груди, но Элисео Сан-Хуан, как только взглянет на меня, так просто с ума сходит, особенно если я в голубом свитере: «Как ты хороша, как ты хороша, ты день ото дня хорошеешь», прямо надоел мне, честное слово, вот если бы я дала ему повод, тогда — другое дело, а то ведь я как глухая, головы не поворачиваю, ноль внимания; матушки мои, ну что это за человек! А когда я была молодая,— да что я буду тебе рассказывать! — хоть и нехорошо мне так говорить, но я производила фурор, и однажды, когда мы с Транси поднялись на грязный чердак, где была мастерская этих стариков — да, это называется мастерская,— то эти мерзкие бесстыдники хотели рисовать нас голыми, а Эваристо говорил: «С тебя здорово было бы писать поясной портрет, детка»— и я умирала от волнения, Марио, клянусь тебе,— какой стыд! — все стены там были увешаны голыми женщинами, а Транси — хоть бы что, ты просто не поверишь: «Это световое чудо», «Здесь отлично схвачена фактура тела», и откуда только она узнала про всю эту технику? — об этом она мне так и не сказала, не решилась, понимаешь? — а уж как мы с ней доверяли друг другу! А потом Эваристо, наглец такой, положил свою волосатую ручищу мне на колено и спрашивает: «А ты что скажешь, детка?» — у меня прямо дыхание сперло, Марио, поверь мне, я даже пикнуть не могла или хоть пальцем пошевелить, ничего. А Эваристо хотел спать со мной, и если он женился на Транси, так потому, что она была уже совершеннолетняя, а про него и говорить не приходится — старый-престарый,— и у него не было другого выхода, только потому он и женился: ведь женщина за версту видит, что она нравится мужчине, и не спрашивай меня, как это у нее получается,— почем я знаю? — это интуиция, что-то вроде предчувствия. Надо было видеть Эваристо, когда он нас останавливал и всякий раз говорил: «Ну, теперь вы — настоящие невесты, а прошлым летом были совсем еще девчушки» — и при этом не спускал глаз с моей груди, нахал этакий, и уж не знаю, что у меня за грудь, Марио, но за мной будут бегать до шестидесяти лет — до чего противные эти мужчины, все они одинаковы, все на один покрой. А Галли Константино показывал на соски, эти итальянцы — сущие черти, ты и представить себе не можешь, но тут уж нашла коса на камень, а в такой ситуации мне стоило только захотеть, я всегда это говорила: ведь я нравилась Галли в сто тысяч раз больше, чем Хулия, но вы, мужчины, всегда найдете, что вам делать,— как говорила бедная мама: «На безрыбье и рак рыба»,— и если моя сестрица сама к нему лезла, так дурак бы он был, если бы отказался, на часок-то всякий горазд,— нет, какой ужас, ведь это такое унижение! И кто его знает, что было потом? Руку на отсечение я не дам: ведь Хулия семь лет жила в Мадриде одна, ребенок был совсем маленький, а свобода благоприятствует таким делам. Мне-то что, Марио, только папа и мама не разговаривали с ней, ну и я, на них глядя: «Да», «Нет», «Ладно», «Не надо»,— дальше этого дело не шло: нельзя же закрывать глаза на такие вещи. Бедная мама, какую Голгофу пришлось ей вынести! Ты знаешь, она ведь даже хотела расторгнуть первый брак Галли! Она все вверх дном перевернула — вот она какая была!.. Но, кажется, у него были дети, а это просто беда, это очень трудно. И вдруг— бац! — он как сквозь землю провалился, никто ничего о нем не знал, и до сих пор неизвестно, здесь ли его убили, или во время мировой

войны, или он жив-здоров и развлекается у себя на родине,— ведь вы, мужчины, народ ненасытный, Вален говорит, что и старость вас не берет, вот как. И что другое не скажу, но, конечно, Галли Константино был мужчина что надо, ты просто не поверишь, мы все сходили с ума по нему, и когда он возил нас с Хулией в открытом «фиате», все на нас смотрели. Что это было за время! Я чудесно провела войну, что бы вы там ни говорили,— это был сплошной праздник, дружок! Помню бомбоубежище — прямо смех один был с этой Эспе: она была из самых оголтелых красных, ты себе представить не можешь, а папа ведь такой страшный насмешник, ты же его знаешь,— он всем говорит правду в глаза: «Это ваши друзья вам кланяются, Эспе, не бойтесь», это он про бомбы, подумай только! А она, бедняжка: «Ах, не говорите, ради бога, дон Рамон, страшная вещь— война!» Я сказочно провела это время, Марио,— что я буду тебе говорить!.. В городе полно народу, страшный беспорядок, и, откровенно говоря, уж не знаю, как это я тебя не выставила тогда,— мы только-только обручились, а ты каждый раз, как приезжал с фронта — тут еще была история с твоими братьями и все такое,— просто портил всем настроение: ты был какой-то задумчивый, мучился чего-то — кто тебя разберет? Но в один прекрасный день ни с того ни с сего — бац! — этот милый Галли как сквозь землю провалился... ну, конечно, в то время такие вещи часто случались — вот, например, то же самое было с Начо Куэвасом, с братом Транси: в разгар войны его мобилизовали, а так как он был умственно отсталый — у него был раньше менингит или что-то в этом роде,— то его взяли для подсобной работы, видно, не хватало людей, уж не знаю; только родители Транси нашли под дверью записочку, где было полным-полно ошибок, и там было написано: «Меня увозют (через «ю», подумай только!) на вайну (через «а»). Мне очень страшно. До сведания (через «е»), Хуанито». Так вот, о нем до сих пор ничего не известно, а ведь они все перевернули вверх дном — эти Куэвасы изрядные ловкачи. Конечно, в таком положении лучше бы его бог прибрал, жизнь для него была только в тягость, ты и представить себе не можешь, он ни на что не был пригоден, и подумай только, что его ожидало: он стал чернорабочим, или пехотинцем, или чем-нибудь в этом роде, хуже ведь не придумаешь. Я и сказала Транси: «Лучше уж ему умереть». Ну, а она расчувствовалась, дружок, как будто я сказала что-то ужасное: «Ах нет, Менчу, душечка, брат есть брат». Транси — женщина очень ласковая и по-своему сердечная, видел бы ты, как она меня целовала!.. Для девушки это, конечно, странно, но это было от всей души, а посмотри, с кем она связалась — со стариком Эваристо: он ведь старше «ТВО»[1], она моложе его на пятнадцать лет, у него ни профессии, ни состояния, и к тому же он — отъявленный наглец, и скажу тебе правду: если я и пошла на свадьбу, так только ради Транси, чтобы ее не обидеть, а его я терпеть не могла — такой пошляк, вечно сыплет своими шуточками, ты же помнишь. Но она уперлась, что у него талант,— да уж, нечего сказать! — талант на то, чтобы влезть в самолет и удрать не то в Америку, не то в Гвинею, уж не знаю куда, и оставить ее на мели с тремя детьми,— представить себе не могу, как она с ними справляется, подумай только! Куэвасы ведь принадлежали к высшему обществу, но совсем обеднели, денег у них — хоть шаром покати. Вот на такие-то дела и был талант у Эваристо, в этом я нисколько не сомневаюсь,— на это да на то, чтобы совать свои ручищи куда не надо... Я тогда прямо похолодела: «А ты что скажешь, детка?» — если бы в тот вечер я поддержала этот раз-

[1] Юмористический детский журнал.

говор и дала ему повод, так только бы Трансн его и видела — это не пустые слова. У него всегда глаза разгорались, когда он говорил нам: «Ну теперь вы — настоящие невесты, а в прошлом году были еще совсем девчушки», но смотрел-то он при этом на мою грудь, прямо глаз с нее не спускал, и теперь я скажу тебе, Марио,— только пусть это будет между нами,— уж не знаю, что у меня за грудь, но нет такого мужчины, который бы перед ней устоял, и однажды — чтобы не ходить далеко за примером — один грубиян, который копал канаву на улице Виктории, заорал: «Красотка! Тут и сам Рикардо Самора [1] спасует!» Я, конечно, понимаю, что это — хамство, да только чего ты хочешь от этих людей? И, откровенно говоря, потому-то мне и было обидно, что ты так относился ко мне, так и знай: если бы другие не обращали на меня внимания, ну ладно,— но ведь я же очень нравлюсь мужчинам, и меня огорчает твое равнодушие, да будет тебе известно. И сейчас это еще полбеды, но когда мы были женихом и невестой, если ты брал меня за руку, это было уже много; я, конечно, не говорю, что ты должен был целовать меня, этого я не позволила бы никому на свете,— еще чего не хватало! — но чуть побольше пылкости тебе бы не помешало, горе ты мое, хотя ты и должен был сдерживаться; ведь нам, девушкам, приятно, когда вы волнуетесь: вы же не с пожарником рядом сидите. Ну, а ты — одно и то же: сто раз «жизнь моя», да сто раз «дорогая», и так вяло, как будто тебе все равно, прямо студень какой-то! И в конце концов я перестала понимать, выдержка это у тебя или равнодушие,— ты уж не спорь со мной: если мужчина никак не реагирует, когда ему рассказывают о том, что делал Эваристо своими волосатыми ручищами, то, по-моему, он просто каменный. И ведь я не прошу невозможного, пойми меня правильно,— иногда я думаю, что, может быть, я тут пристрастна, но я стараюсь быть объективной... Вот, например, Вален: Висенте — человек уравновешенный, не спорь со мной, но она без конца говорила мне, что последние месяцы, особенно перед тем, как он сделал ей предложение, они все время сидели дома, и я ей поддакивала,— не могла же я сказать ей, что ты на меня — ноль внимания, ведь это же невероятный позор. Даю тебе честное слово, Марио: всякий раз, как я видела тебя напротив дома, на самом солнцепеке, с газетой в руках — тогда ты уже начал мне нравиться и, по-моему, именно поэтому,— я думала: «Этому мальчику я нужна; должно быть, он очень страстный»... Я строила иллюзии, без всяких на то оснований, конечно,— я с этим согласна, но скажу тебе положа руку на сердце: мне приятно было бы остановить тебя, если бы ты погладил мне колено, конечно, не так, как Эваристо или Галли, тогда я не вышла бы за тебя замуж, можешь быть уверен,— но ты мог бы проявить чуть побольше чувства. Возьми, к примеру, Максимино Конде со своей падчерицей — это в его-то годы!.. А ведь он вызвал такое брожение умов, что ей — то есть Хертрудис — пришлось уехать за границу, даже не уложив вещей, да оно и понятно; ведь кроме всего прочего, Максимино был ее отчимом и должен был бы проявить известную деликатность, только ты пойми меня правильно — я вовсе его не оправдываю. Я хочу, чтобы ты понял, Марио: мужчин и женщин тянет друг к другу, и нам, честным девушкам, у которых есть устои, приятно, когда мы пользуемся успехом, только мы не переходим границ, а девицы легкого поведения ложатся в постель с первым встречным. В этом вся разница между нами, сумасброд ты этакий, но если мы видим, что вы ни на что не реагируете,— а это значит, что вы закомплексованы,— мы даже начинаем думать всякую чушь вроде

[1] Знаменитый испанский вратарь 30-х годов.

того, что мы вам не нравимся: ведь мы, женщины, очень сложные натуры, хоть вам это и невдомек. А потом, через двадцать лет, вдруг — бац! — приспичило: раздевайся... это ж надо! — седина в бороду, а бес в ребро,— нет уж, не имею ни малейшего желания, так ты и знай: теперь у меня живот в каких-то пятнах, спина жирная,— нет, сеньор, просил бы меня об этом вовремя. А падре Фандо туда же со своими глупостями: это, видите ли, была деликатность,— и слушать-то смешно. И уж не знаю, как это у тебя получается, но что бы ты ни натворил, а в защитниках у тебя недостатка не бывает,— матушки мои! — и не подступись к тебе. Ты всегда был малость ненормальный, дорогой мой, сознайся, сколько бы там ни разглагольствовала Эстер, что у интеллигентов такое же тело и желания, как и у любого другого человека, он должен получить удовлетворение — и баста, а я, дескать, не должна огорчать тебя,— да это просто смешно: в тот год, когда мы ездили на море, ты все глаза проглядел на женщин, дружок,— хорошенькое лето ты мне устроил, не хотела бы я снова туда поехать, да, да, ты меня туда и на аркане больше не затащишь: нынче везде страшная распущенность. И огорчишься ты или нет, но я скажу тебе, что у тебя прямо талант все делать не вовремя, Марио, уж ты теперь не спорь со мной,— в хорошие дни ты и не смотрел на меня, а в дурные — известное дело, пристаешь: «Не надо идти против воли божьей», «Не будем вмешивать в это арифметику», ведь говорить-то легко, и что пусть у нас родится сын — хорошенькое дело!.. Представь себе, если каждый мужчина с каждой женщиной каждую минуту будут производить на свет детей,— подумай, сколько их будет рождаться в мире каждую секунду — миллионы миллионов!.. Это же варварство, прямо с ума можно сойти, чушь какая-то. Дух противоречия — вот ты кто; с тех пор, как я тебя знаю, ты только и делал, что ждал, когда я скажу «белое», чтобы ты мог сказать «черное», и ужасно радовался — это уж точно.

XXI

Ты будешь есть от трудов рук твоих; блажен ты и благо тебе! Жена твоя, как плодовитая лоза, в доме твоем; сыновья твои, как масличные ветви, вокруг трапезы твоей. И все же я иногда веду себя безрассудно, Марио, просто ужас: например, вдруг, поздно вечером выйду из дому и бегу на исповедь — вот какие вещи со мной случаются; если бы мама видела, что я целый божий день стираю белье, что у меня одна прислуга на пятерых детей, она бы так рассердилась, что я иногда даже думаю: хорошо, что она умерла, представляешь себе?.. Ведь мама, царство ей небесное,— и это для тебя не новость — была для меня больше чем матерью, ты сам знаешь, она была моей советчицей, моим доверенным лицом, моей подругой и всем на свете. С прислугой теперь стало очень трудно, Марио, а вот вам, мужчинам, так удобно закрыть на это глаза, да еще вы будоражите бедняжек, как будто это вас не касается,— дураки вы, хуже дураков, набитые вы дураки: только и знаете, что разглагольствовать об их жалованье, о том, что они уезжают в Германию, и, по-моему, все это плохо кончится... Я уж не говорю, что прислуга нынче обходится в тысячу песет да еще питание — это бы полбеды; хуже всего то, что и на таких условиях найти прислугу невозможно,— ведь не родить же ее, Марио, заруби ты это себе на носу; меня смех разбирает, когда вдруг на тебя находит: «Давайте все мы засучим рукава», речь идет вовсе не об этом; в доме надо постоянно поддерживать чистоту, а это нешуточное дело, дорогой,— если разобраться, так этому конца-

краю нет, и можешь ты объяснить мне, что я выигрываю, когда дети на каникулах сами стелят постели, а ты хватаешь щетку и подметаешь комнату? Да разве для меня это решение проблемы, скажи на милость? Уж не думаешь ли ты, что это мужское дело? Дом есть дом, Марио, и мне приходится ходить за вами, поправлять покрывала и убирать после тебя в углах — вместо того, чтобы облегчить мне работу, вы только прибавляете хлопот. А ты еще как заведешь, что, мол, нет большего удовлетворения, чем обслуживать себя самому,— меня просто смех разбирает от вашей помощи и от вашего удовлетворения, ты у нас прямо не от мира сего. Вот, например, Менчу у тебя должна мыть посуду; скажи, пожалуйста, почему это девушка из порядочной семьи должна превратиться в судомойку? То, что это делаю я, конечно, плохо, но, в конце концов, я — мать, и раз уж я не сумела выбрать себе мужа получше, то, по справедливости, грех влечет за собой наказание. Но можешь ты объяснить мне, чем виновата девочка? Нет, нет, Марио, надо терпеть сколько можно, терпеть до конца — вспомни маму: раз мы должны умереть, надо умереть достойно; и если бы ты знал, как было мне стыдно в тот день, когда Вален наткнулась на тебя: ты шел с сеткой за покупками — да я готова была провалиться сквозь землю, так и знай. То, что ты приводишь в изумление моих подруг, это бы еще ладно, но будь уверен, что Висенте — а он такой, каким и должен быть мужчина,— ничем подобным не занимается, ему это и в голову не придет, вот так-то, держу пари на что хочешь. С тобой вот что происходит, Марио, ты меня не проведешь: в глубине души ты чувствуешь угрызения совести, ведь твой элементарный долг — зарабатывать деньги, ты обязан это делать. И ты не сегодня стал таким, дорогой,— всегда у тебя свербило в заднице, как говорит Доро, ты не знаешь покоя, и я помню, на пляже ты вытаскивал какие-то бумажки и читал под тентом, а не то так мастерил детям лодочку,— словом, делал все что угодно, вместо того чтобы валяться на солнышке и загорать,— ты был такой белый, да еще закрывался до колен, да еще очки надевал... прямо тошно было смотреть на тебя, Марио, и, сказать по правде, я иногда делала вид, что ты не имеешь ко мне отношения, что я тебя и не знаю,— не должна бы я говорить тебе это, но мне просто стыдно было за тебя. Кроме того, Вален более чем права, когда говорит, что интеллигентов нельзя пускать на пляж: они такие тощие, недоделанные, они просто антиэстетичны, а это еще безнравственней, чем бикини, которые ничего не прикрывают. Но, признаться, больше всего меня возмущает то, что на пляже ты не смотрел на девушек — изображал из себя сверхинтеллигента, а потом дома хватался за щетку и давай подметать; только ведь одно из двух: либо ты интеллигентный человек, либо нет, но уж если ты — интеллигент, то принимай на себя и все последствия, дружок, а такое двуличие меня возмущает. Да ведь я знаю, что никакой ты не интеллигентный, я знаю это слишком хорошо, отлично знаю, можешь быть уверен: ведь интеллигенты сами думают и другим думать помогают, ну а если ты не умеешь думать, потому что у тебя в голове ералаш, то уж никак ты не заставишь думать других. Отговорки это, пустые слова, как я говорю, потому что если ты не интеллигент, то зачем ты целый божий день сидишь над книгами и бумагами? По какому это закону ты был на пляже такой белый — даже солнце тебя не брало? А потом, для пущего срама, ты занялся спортом — это ведь тоже анекдот: ты и ботинки-то носить не умеешь, а туда же — ездил на велосипеде по пятьдесят километров, и этак каждое воскресенье, а все для того, чтобы моложе выглядеть,— ты уж не спорь со мной, я просто понять не могу, зачем это тебе, вот если бы ты был женщиной... Всякий бы

на моем месте встревожился, Марио, так ты и знай, и я постоянно думаю, что пролетарские вкусы — это у тебя от того, что ты вырос в такой скудости, и когда мы стали женихом и невестой и ты сказал мне, что нам придется жить на один дуро в неделю, я прямо похолодела, даю тебе слово. Ну, можешь ты мне объяснить, что мы сделаем вдвоем на один дуро,— а ведь жизнь вздорожала в двадцать раз, я сама это знаю. Я же говорю тебе, что у меня до сих пор болят пятки — столько я топала по улицам... Я не преувеличиваю,— а холод-то какой, господи! — домой придешь закоченевшая, закутаешься с головой в плед с кушетки, чтобы отойти, а мама говорит: «Нельзя ли узнать, где это ты бродила?» А что я могла ей ответить? У нее, бедняжки, и без того горя было довольно. А иной раз тебе случалось «расщедриться» — в кафе ты вел себя как деревенщина, а официант — ну тот, белобрысый (ты уж лучше помолчи!), всякий раз, как ты заказывал стакан вина, спрашивал, да так ехидно: «Один стакан на двоих?» — ведь это же чудовищно, я прошла через муки ада. Какой ужас, дорогой мой! Я и думать об этом не хочу — не выдержу, а поделать с собой ничего не могу, это выше моих сил, ведь я понимаю, как мало я всегда для тебя значила,— если у тебя всего один дуро, то зачем компрометировать девушку? Какое ты имел на это право? Влюбленный в таком случае крадет, убивает — все что угодно, Марио,— но только не ставит порядочную девушку в дурацкое положение, и даже сейчас это меня злит, так и знай,— какая же я была идиотка! — у меня прямо слезы льются, как подумаю о таком унижении, а ведь у меня было время понять, на какую ногу ты хромаешь, только я на это — ноль внимания. Ну, как тебе это нравится? «Один стакан на двоих?» Ведь этот белобрысый тип говорил так в насмешку, Марио, не спорь, он издевался надо мной: ведь я была так хорошо одета, в такой нарядной шляпке, такая элегантная — дальше ехать некуда, вот как. Это-то меня и бесит, и уж не знаю, чем ты меня так прельстил, что я не послала тебя ко всем чертям. Настоящий мужчина крадет или убивает, вместо того чтобы целых три года так поступать с женщиной, а ты еще разводил церемонии: «Это для сеньориты, я ничего не хочу», уж конечно, хотел, как не хотеть — по-твоему, он круглый дурак и ничего не понимал! К тому же чего ради пускаться в объяснения с официантом, с каким-то ничтожеством? И на мой взгляд, самое отвратительное в тебе то, что тебе ничего не стоит унизиться до разговоров с простонародьем, когда надо всего-навсего прикрикнуть, а с порядочными людьми — наоборот... Даже с властями ты распускаешь язык и несешь околесицу. Ну чего ждать от такого человека, можешь ты мне сказать? И это еще не все: у тебя не было гроша за душой, а ты рассказывал сказки, что хорошо устроен, что у тебя кусок хлеба и крыша над головой,— было что послушать! — да тебе негде было голову приклонить, но это бы еще куда ни шло, только теперь скажи сам: если бы не папа, Марио, то одному богу известно, чего бы мне стоило соблюдать аппарансы... Вы вот хвастаетесь, что знаете все на свете, а сами, как дураки, верите этим историям о том, что больше половины человечества голодает,— подумать только! — ведь если в наше время человек голодает, то потому, что так ему заблагорассудилось, Марио, да будет тебе известно. А я вот говорю: если они голодают, так почему они не работают? Почему девушки не идут в прислуги, как бог велел, скажи на милость, ну почему? Да потому, что они до мозга костей испорчены, Марио, все они хотят быть барышнями, и если какая-нибудь не курит, так красит ногти или носит брюки, а этого не должно быть: ведь они разрушают семейную жизнь — уж я тебе говорю; а я помню, у нас дома были две прислуги и гувернантка на такую маленькую

семью,— зарабатывали они, правда, маловато, я не отрицаю, но зачем же им больше? Служанки тогда были как члены семьи... Папа прекрасно разбирался в этих делах: «Хулия, будет с тебя, оставь немного, пусть и на кухне поедят». Все тогда были заодно, времени хватало на все, каждый жил соответственно своему положению в обществе, и все были довольны, не то что сейчас, когда всякий лезет в генералы,— я, дружок мой, никогда еще не видела ни такой наглости, ни такой спешки. Так нет же, вам еще надо исправлять какие-то ошибки (прямо несчастье, Марио, вы точно саранча, вот кто вы такие): это несправедливо, это все надо переделать, взять у богачей и отдать беднякам,— известное дело: вы ради красного словца не пожалеете родного отца, а все этот проклятый дон Николас — я столько из-за него натерпелась, что мне за это простятся все грехи, так ты и знай; а ведь я помню, что раньше читать «Эль коррео» было одно удовольствие,— это когда там был редактор, которого прислали из Мадрида, он был вполне лояльный, и это не только мое мнение, так все говорят, а как он ушел, так и начались всякие безобразия. И вот что я скажу тебе, Марио: если бы тебе была от этого хоть какая-то польза, я бы промолчала, но факт тот, что ничего хорошего из этого не выходит, и я понять не могу, для чего ты столько работаешь,— ты уж лучше не говори мне, что при нынешней дороговизне двадцать дуро — тоже деньги; это же анекдот, это просто наказание какое-то, вот что это такое; чем работать за такую плату, лучше уж работать даром. А когда тебе предложили сотрудничать в Мадриде, так тебя оттуда скорехонько выставили, а все по глупости: тебе, видите ли, вместо «гражданской войны» поставили «Крестовый поход» — словом, чушь какая-то, и надо было слышать, как ты орал по телефону,— интересно знать, что подумал несчастный Хосе-Мария Рекондо,— хорошо ты отблагодарил его! — и все из-за одного-единственного слова, вечно вы заводитесь из-за этих слов, господи помилуй!.. Ну скажи пожалуйста, не все ли равно, то слово или это, «Крестовый поход» или «гражданская война»,— я этого просто понять не могу, сущая правда, и я не строю из себя дурочку, клянусь тебе,— ведь если ты скажешь: «Крестовый поход», все мы поймем, что речь идет о гражданской войне, а если ты скажешь: «Гражданская война», так мы голову дадим на отсечение, что ты хочешь сказать: «Крестовый поход», ну разве не так? — какой же смысл заводиться? Ну, а теперь скажи мне, дубина,— ведь надо быть набитым дураком, чтобы поднять такой шум,— чего ради ты устроил эту склоку и выбросил на помойку шестьсот песет, а дважды в месяц — это тысяча двести, а если разобраться, так ведь и тысячи двухсот песет маловато для семьи. Так вот нет же, сеньор, к черту, пусть с меня хоть рубашку снимут, как говорит Вален,— она смеется, ну а мне вовсе не смешно, клянусь: тебе легче расстаться с карьерой, чем с каким-то словом, это уж точно, Марио, и будь они прокляты, эти слова. А знаешь ли ты, что это такое? Это комплексы, да будет тебе известно, у всех у вас полно комплексов, дорогой, а мне вот нравятся обыкновенные, нормальные люди — уж не знаю, как и объяснить,— словом, люди, которые не придают значения всяким пустякам; посмотри на Пако; он в детстве о словах не заботился, ему было все едино — что одно слово, что другое, он говорил «эскалатор» вместо «экскаватор», все путал, прямо смех один, а теперь вот полюбуйся на него: ему и горя мало, разъезжает туда-сюда на своем «тибуроне» и загребает миллионы. И для этого не надо учиться, вовсе не надо — это была моя ошибка,— достаточно иметь связи и положить кое-кому на лапу. Послушай Менчу: «Нам ученые парни даром не нужны; скука с ними смертная», новые поколения поумнели, Марио, так ты и знай, эти

девочки не такие индюшки, как мы, они смотрят на жизнь с практической точки зрения, без глупостей, и знают, что с каким-нибудь лиценциатом будут не только голодать, но еще и помирать с тоски. Представь себе, как я жила бы с Пако, чтобы далеко за примером не ходить. Жизнь будто в кино, вот как: поездки в Мадрид, за границу, конечно — лучшие отели... А в тот день он говорил мне, что хотя у «тибурона» огромная скорость, иногда и этого мало, и через два раза на третий он летит самолетом в Париж, в Лондон или в Барселону — оно и понятно, такие уж у него всюду дела. А потом он остановился на шоссе и обнял меня за плечи — с наилучшими намерениями, разумеется, ни о чем таком он и не думал, я голову дала бы на отсечение,— и все время смотрел на меня. «Ты,— говорит,— все такая же». А я: «Вот глупости! Ты подумай, сколько лет прошло!» А он: «Время для всех проходит по-разному, малышка». Ты скажешь, что это — банальность, но это же приятно. У меня голова пошла кругом, клянусь тебе, и когда он сдавил мне плечи, сердце:«тук-тук-тук», как сумасшедшее, и я совершенно уверена, что он загипнотизировал меня, Марио, даю тебе слово: я ни пошевелиться не могла, ничего, только звук его слов становился все ближе и ближе, я даже не слышала шума сосен — подумай только, там ведь растут сосны! — а когда он меня поцеловал, то у меня так все и поплыло перед глазами, я была как без сознания, клянусь тебе, я даже звука поцелуя не слышала, только чувствовала его запах, а пахнет от него как от настоящего мужчины, смесью светлого табака и мужского одеколона, и от этого запаха прямо голова кружится — спроси хоть у Вален,— и я этого не хотела, могу тебе поклясться, я тут ни сном, ни духом, я была как загипнотизированная, честное слово.

XXII

Скажи мудрости: «Ты сестра моя!» и разум назови родным твоим, чтобы они охраняли тебя от жены другого, от чужой, которая умягчает слова свои. Да не уклоняется сердце твое на пути ее, не блуждай по стезям ее... Ну уж как бы там ни было, а зная мужчин так, как знаю их я, я совершенно уверена, что ты обманывал меня, Марио, и притом не раз и не два,— бьюсь об заклад. Достаточно было посмотреть, как вчера появилась Энкарна,— славная была сценка! — я просто не знала, куда деваться, а Вален сказала: «Можно подумать, милочка, что это она — вдова», и это верно, дружок, она поставила меня в глупое положение, а уж как она вопила! Это было как в Мадриде: вечно она лезет куда ее не просят, как я говорю,— ну можешь ты объяснить мне, что́ она смыслит в голосовании? А потом, когда вы праздновали,— то-то веселье было! — и ты еще будешь уверять меня, что вы всего-навсего заказали в Фуйма пива и креветок!.. Не на дуру напал. С течением лет, Марио,— имей это в виду — я все больше убеждаюсь в том, что мужчина — не моногамное животное, да, моногамия-то уже для вас устарела. Мы, по-вашему, полные идиотки, дуры доверчивые,— благословение в церкви получено, верность гарантирована, и можно спать спокойно; только вас это ни от чего не удерживает — это закон для нас, а не для вас,— и когда на вас находит, вы пускаетесь во все тяжкие, как ни в чем не бывало. И я не хочу сказать, что ты был Дон Жуаном, дорогой, вовсе нет, но, откровенно говоря, руку на отсечение я бы не дала, и сколько бы ты ни твердил, что вступил в брак таким же девственным, как и я, я на эту удочку не клюну, так и знай,— дура я, что ли? — мне поневоле приходится быть себе на уме, вот как. «Не благодари меня за это — это прежде всего от застенчивости»... Меня прямо смех разби-

рает: какая там, к черту, застенчивость! Все вы, мужчины, хороши: при первом же удобном случае — бац! — и только вас и видели, а жена и дети — это для вас нуль без палочки. А впрочем, вам и случая искать не приходится,— хорош этот Мадрид, дружок! — стыд и срам: после восьми вечера там по улицам ходит куда больше девиц легкого поведения, чем порядочных женщин, и, по-моему, у нас напрасно закрыли дома терпимости — я бы нарочно раскрасила их самыми яркими красками, чтобы никто не мог ошибиться, а проституток заперла бы там — нет, замуровала бы, вот как,— пусть они и солнечного света не видят, ничего другого они не заслуживают, а ты еще разглагольствуешь, что ни одна из них не занимается этим ради собственного удовольствия,— когда вы, мужчины, начинаете это оправдывать, вас тошно слушать. А вот я, например, не могла поступить с тобой благороднее: «Расскажи мне о твоих похождениях, когда ты был холостым; я прощаю тебя заранее», да, да, даю тебе слово, Марио, я приготовилась испить эту чашу до дна, клянусь тебе, и, как только ты бы кончил, я бы тебя поцеловала — как бы в знак отпущения грехов, понимаешь? — и сказала бы: «Что прошло, то прошло». Только тебе — хоть трава не расти, и всегда ты был таким, ты упрям, как ламанчский осел, дружок, и — большими буквами, прямо как в твоих книгах,— вы вот хвастаетесь, что все знаете, а на самом деле большие буквы там были совсем ни к чему, раз это не имена собственные, и не слово после точки, и ничего такого,— это ведь всякий дурак знает: «Я БЫЛ ТАКИМ ЖЕ ДЕВСТВЕННЫМ, КАК ТЫ, НО НЕ БЛАГОДАРИ МЕНЯ ЗА ЭТО — ЭТО ПРЕЖДЕ ВСЕГО ОТ ЗАСТЕНЧИВОСТИ». Ну, как тебе это нравится? Меня бесит, Марио, ужасно бесит, что ты был таким недоверчивым,— если бы ты сказал мне правду, я все равно простила бы тебя, клянусь, это так же точно, как то, что меня зовут Кармен, хотя бы ради этого мне пришлось взойти на Голгофу, так и знай. А уж когда ты женился, еще хуже стало: ты изменял мне мысленно, а это такое же прелюбодеяние, вот как... Вспомни это чудное лето, что мы провели на море,— подумать только, что мне там пришлось пережить! — больше ты меня туда и на аркане не затащишь. Не думай, что я злюсь из-за себя, дубина,— ведь ты меня знаешь, у меня есть всякие недостатки, но я не ревнива,— но дети! — подумай о детях, какое оскорбление ты им нанес!.. Ведь Марио и даже Менчу уже умеют целоваться, мой милый, время идет, они взрослые люди, Марио, хотя ты со своим велосипедом и всякими прочими глупостями отчаянно цепляешься за молодость. Таков закон жизни, дорогой мой, и бороться с ним никому не под силу; бедная мама, царство ей небесное, говорила: «На свете от всего есть лекарство, только не от смерти»... Ты вдумайся только: вроде бы банальность, а на самом деле в этой фразе заключен глубокий смысл. Я часто думаю, Марио — это, конечно, довольно глупо с моей стороны,— что если бы ты был сыном не твоей матери, у которой было очень много недостатков, а моей, ты был бы совсем другим человеком. Тогда все было бы гораздо лучше, я в этом совершенно уверена, и я не жалуюсь, пойми меня правильно, я знаю, что глупо думать о подобных вещах — ведь если бы ты был сыном моей мамы, мы были бы в лучшем случае сводными братом и сестрой — вот как! — и не могли бы пожениться,— все эти штуки с кровосмесительством и резус-фактором меня всегда в ужас приводили, имей в виду — это у меня началось не сегодня... и ты представить себе не можешь, что я пережила из-за Альваро,— теперь-то я могу тебе сказать: когда у меня шла кровь, мне казалось, что, возможно, что-то не так, что у нас не совпадают группы крови или что-нибудь в этом роде, и я прямо с ума сходила, дала обет целый месяц не есть

мороженого,— подумай только! — ведь я же страшно люблю мороженое. Ну, а ты, ясное дело, ничего и не знал, а потом принялся бить во все колокола из-за того же Альваро: он, видите ли, странный мальчик, он один ходит в поле разжигать костер и называет солдат валетами и надо показать его врачу,— сплошная чушь, дети все такие, Марио! — дело в том, что у Альваро — призвание бойскаута или как там это называется, и, если разобраться, он по-настоящему ничем не болел, кроме кори, только и всего, да еще в легкой форме, так что, если помнишь, мы даже сомневались, корь ли это. Меня больше беспокоят другие вещи, Марио, серьезные проблемы, а не вся эта чушь... Полюбуйся вот на Борху — ведь он сказал это вчера не так просто, у него это вырвалось из глубины души: «Я хочу, чтобы папа умирал каждый день, тогда не надо будет ходить в школу», ну как тебе это нравится? Я избила его до полусмерти, ты отлично это видел, и пусть ему только шесть лет, я это прекрасно знаю, но я в свои шесть лет — я помню все так, будто это происходит сегодня,— просто обожала папу, по-настоящему обожала... Стоило кому-нибудь сказать, что с ним что-то случилось, как я прямо умирала, так и знай. Это вроде как то, что выкинул наш бездельник с трауром... ни в какую — это, видите ли, глупые условности,— «условности»! — уж не мог подобрать более непонятного слова; этот парень будет таким же путаником, как ты, Марио, он же весь в тебя, и это серьезно меня беспокоит, он даже не просит у меня карманных денег по воскресеньям, а в его возрасте это очень странно: нравится ему, нет ли, а ему пора начать встречаться с девушками и немного поостыть к книгам — уж свихнут они ему мозги!.. Я просто понять не могу, зачем вам такая уйма книг — от них одна грязь, как я говорю. И уж, конечно, на книги у тебя всегда хватало денег, не то что на «шестисотку» — это, видите ли, совсем ни к чему, это роскошь; тебе-то было вполне достаточно твоей кафедры, бумаг и друзей-приятелей, ну а на других тебе было наплевать. Ты бы лучше посмотрел на Аран — ведь я столько времени прожила с тобой, целую жизнь, а ты все твердишь, что она еще вырастет, что ей только три года,— я и без тебя знаю, что ей три года, но ведь и в три года бывают девочки высокие и маленькие, а Аран очень маленькая, и если бы в нашей семье не было подобных случаев, тогда — другое дело, но ты полюбуйся на свою сестру, Марио,— уж не будем говорить о том, что она — полнейшее ничтожество, но и физически Чаро ломаного гроша не стоит, прямо бочонок какой-то, уж не спорь со мной; интересно знать, в кого она такая; сам знаешь: она ведь родилась раньше, чем Эсклава,— родилась восьми месяцев, а теперь сам видишь: все ей не по вкусу, и не случайно вы — брат и сестра, дорогой мой, у обоих у вас свербит в заднице, какие-то вы неприспособленные — это теперь очень модно. Но предупреждаю тебя заранее: не желаю я, чтобы у меня была такая дочь, и хочешь плачь, хочешь смейся, но я покажу ее Луису: пусть он хорошенько ее осмотрит и пропишет какую-нибудь витаминную блокаду, чтобы она росла,— уж он сообразит, как тут быть. Я сделаю все, что в моих силах, не проморгаю, дорогой мой, и не говори мне, что я гублю ее личность: перед твоими глазами печальный пример — парень целый день болтает с лифтером, вот тебе и личность! И если проявление личности заключается в отрицании траура по отцу, так лучше бы этой личности не было вовсе. В конце концов, я ведь тоже что-нибудь да смыслю, и либо я ничего не стою, либо мои дети будут мыслить, как я, милый, а если Марио хочет думать по-своему — ну что ж, на здоровье, только пусть идет думать по-своему туда, где я не хозяйка, а пока что он живет под моей крышей, и те, кто зависит от меня, должны думать так, как я

приказываю. Что хорошо, то хорошо, и либо то, либо другое, как сказала бы бедная мама; ну, скажи на милость, какую пользу может извлечь мой сын из болтовни с сеньором Абундио, да еще, для пущего срама, в его каморке? Узнаю в нем тебя, Марио,— он весь в тебя, дружок. Вспомни этого старого дурака Бертрана: принесет тебе жалованье, а ты ну болтать с ним, спрашиваешь, много ли он зарабатывает или мало,— это с каким-то педелем, подумать надо!.. Потом вы переходили на другие темы — я ведь все слышала, не думай, я тебе это прямо говорю: он, видите ли, еще мужчина в соку, да к тому же взял себе новую бабу — ты только посмотри на эту мумию, он же вдобавок глухой,— только ведь вы болтаете все, что в голову взбредет, лишь бы похвастаться тем, что вы — мужчины. Мне уже надоело говорить тебе, Марио: слишком ты был запанибрата с этими людьми, и они доходили черт знает до чего,— ведь их посади за стол, так они и ноги на стол, и если тебе это не нравилось, то так тебе и надо — раз ты так плохо себя поставил и обращался с ним как равный с равным, он имел полное право сказать тебе: «Я забыл мелочь дома». Я, конечно, смеялась про себя, но думала: «Так ему, дураку, и надо, так ему и надо. Это ему будет наука», а ты не знал, где у тебя запачкано, а он: «Повыше, пониже, вот здесь», а ты ему: «Спасибо, Бертран», да так добродушно! Ну так вот, скажу тебе прямо: вчера он появился здесь чуть не самый первый, притворщик этакий, и — прямиком в столовую, и что ты думаешь? — я немного подождала, а потом сказала: «Бертран, пройдите на кухню, будьте добры, а то здесь повернуться негде», его еще тут не хватало! — ну с каких это пор педель будет толкаться среди профессоров? Я не говорю о погребении — это уж так должно быть,— но в дом ему лезть нечего, да еще эта его глухота... Бедный Антонио в конце концов прямо завопил, а он: «Я не слышу, что он говорит»,— комедия! Уж ты мне поверь — даже дон Николас рассмеялся, подумай только! — не нашел более подходящего времени, и если я не спустила его с лестницы, так это просто чудо... Пусть он умный, я не отрицаю, но нельзя сказать, чтобы у него был талант все делать кстати... Вспомни хоть историю с наградой — ну какая муха его укусила? «Не делайте этого, я ведь знаю Марио — он способен бросить ее в пруд»,— ему-то какое дело? А ты туда же: «Из меня хотят сделать могилу, увенчанную Большим крестом». На тебя ни кнут, ни пряник не действуют, дружок,— что за характер! Факт тот, что если тебе не сказать: «Хватит», то еще неизвестно, что будет; ты закусишь удила, наговоришь грубостей в пылу раздражения и уж сам не знаешь, что говоришь и куда идешь,— ну и статейки у тебя были!.. вот так же ты себя вел, когда их запретили по телефону,— а как, по-твоему, тебе должны были об этом сказать? — так ведь, конечно, быстрее, а ты: «В письменной форме, в письменной форме», да неужели нельзя обратиться к тебе без китайских церемоний? На тебя никогда нельзя было положиться, милый, ты точно маленький... Вспомни, что было в поезде; да с этим Мойано так и должно было случиться, уж лучше бы он сбрил себе бороду,— на кого только он был похож? — а ты еще говорил, что «строгий режим» — это он про желудок,— да, да, как же, меня не проведешь! — вы могли здорово влипнуть, это ведь был влиятельный тип, большая шишка в политике... Хотела бы я иметь такого мужа, Марио, он прекрасно сделал, что позвал полицию,— никогда ведь ничего не знаешь,— а все из-за болтовни, и я всю ночь глаз не смыкала, особенно после того, что сказал Антонио,— я ведь, представь себе, обзвонила всех на свете,— но он стоял на своем: «Точно не знаю, но, по-моему, если человек, пробывший двадцать четыре часа в предварительном заключении, еще что-нибудь выкинет, он

будет считаться рецидивистом», ничего себе, как будто все это шуточки, пустяки!.. Бедные мои дети, тебе бы только болтать, когда не надо, а потом, на праздниках, если ты не выпьешь двух рюмок,— так прямо как в трауре! Матушки мои, ну и физиономия! Ну почему ты молчал, скажи на милость? Да потому, что у тебя не было другого выхода — ясное дело: ведь если хорошенько разобраться, то петь ты не умеешь, рассказывать пикантные анекдоты не умеешь, играть на гитаре и танцевать современные танцы — тоже, мешаешь всем, и только. А ведь я же предупреждала тебя, Марио, предупреждала, как только мы поженились, не отрицай,— я даже признаю, что становилась назойливой: «Научись ты себя вести. А иначе пропадешь»... Только тебе, как всегда, в одно ухо входит, в другое выходит; даю тебе слово, я не знаю женщины, которая пользовалась бы меньшим влиянием на своего мужа, чем я, так ты и знай, а это недостаток любви, милый ты мой, как ты там ни крути. Ты ведь считал меня злыдней, а? Сидишь в углу, скучный, скручиваешь эти вонючие сигары,— ты меня измучил, клянусь тебе, и я уж не знаю, что лучше, но у тебя всегда крайности: то молчишь как мертвый, то орешь как полоумный,— помнишь тот вечер у Вален, а? — я ведь предчувствовала это, честное слово, предчувствовала, как только мы вошли и я увидела Солорсано и Ихинио, а ты давай швырять пробки из-под шампанского в фонари, и если Вален это нравилось, если это ее развлекало, так оттого, что она очень открытый человек, прямо прелесть эта Вален, но что до меня, то был момент, когда я просто не знала, куда деваться, клянусь тебе, и если я скажу, что чуть с ума не сошла, это будет еще слабо сказано.

XXIII

Блажен человек, который снискал мудрость... Потому что приобретение ее лучше приобретения серебра, и прибыли от нее больше, нежели от золота. Но признайся, Марио, если бы ты, вместо того чтобы тратить столько времени на эти идиотские книжонки, занялся каким-нибудь действительно полезным трудом — ну, например, работал бы в банке или еще где-нибудь,— мы зажили бы совсем по-другому. Ведь это легко сказать, дружок: целые дни ты проводил в этом самом кабинете и все за своими делами, в уборную сходить — и то тебе было некогда, ну, а для чего все это? Да очень просто: для того, чтобы заставить нас вникнуть в то, что деревенские живут без лифта, что для полоумных надо выстроить новый сумасшедший дом, что все должны начинать с малого,— только ты один и знаешь, что ты хотел этим сказать,— и что надо отобрать добро у богатых и отдать бедным. Очень хорошо, прекрасно,— и на это ты убил столько времени, как я говорю? Круглым надо быть дураком после этого, дружок мой милый, уж не спорь со мной, это на меня очень плохо действует, и потому-то я и выхожу из себя,— я целый день работаю не покладая рук, а ты сидишь себе в своем кабинете и либо куришь, либо болтаешь с друзьями — стоило посмотреть,— ведь у вас там дым столбом стоял... Господи помилуй, после вас приходилось два часа проветривать комнату. И я тебе говорю, что, когда ты заболел — нервы или что там еще,— я просто отдохнула: слава богу, ты сидел дома, и все было спокойно, и я была прямо счастлива! И так же ты вел себя за обедом, дорогой: слова «спасибо» от тебя не дождешься, тебе все равно, что ни подай,— только, скажи на милость, зачем мне было нужно ради такого мужа целое утро торчать на кухне? Ты глотал все, как индюк, даже не глядя, что ты ешь, горе ты мое,— я уж и не знаю, обжорство это или еще что, но незаметно было, чтобы еда

шла тебе впрок, честное слово! Я помню, когда мы жили на море, ты все глаза проглядел на женщин, дружок, а сам такой белый, да еще очки нацепил,— смотреть на тебя противно было, ты кого угодно мог в краску вогнать, так что я, кроме шуток, запретила бы интеллигентам близко подходить к морю — зрелище, прямо скажем, тошнотворное! Ведь если бы ты хоть раз сказал мне: «Как вкусно!» — мне и этого было бы довольно, я уже была бы счастлива, так вот нет же! Но если тебе попадался волос или муха,— скажите пожалуйста, какой ужас! — ты сейчас же отодвигал тарелку, и конец, даже не притронешься к пище, просто целая драма! Дура я была, что столько возилась, и даже Энкарна, которая питает к тебе слабость, говорила — ты сам слышал: «Для Марио что картошка, что утка с яблоками — все едино», и это сущая правда, ты ведь хоть кого выведешь из себя, кошмар какой-то, дружок! Эти распроклятые книжки высосали у тебя все мозги, ни о чем другом ты и не думал — матушки мои, ну прямо одержимый! За обедом ли, в гостях ли — мысли у тебя гуляли невесть где, на улице ты даже не здоровался, все тебя считают человеком несимпатичным, никто тебя и видеть-то не хочет, это не моя фантазия. А как ты называл свои книги! Иисусе, Мария, что за безвкусица! Просто чушь какая-то: «Замок на песке» или еще какая-то ерунда в том же духе,— я уж и не знаю, красиво это или нет, но это — пришей кобыле хвост, дорогой: ведь как подумаешь, в этой книге про замки-то ни слова нет, а всякому дураку ясно, что заглавие должно соответствовать содержанию,— прямо анекдот! — так ведь любой может дать книге первое попавшееся название. И потом еще — большими буквами: «В ДВАДЦАТОМ ВЕКЕ ВСЕ-ТАКИ МОЖНО ЛЮБИТЬ, ХОТЯ ЭТО И ТРУДНО», уж кому-кому бы это говорить, только не тебе! Советы давать — это ты горазд, а сам, после того что мы с тобой целых три года ждали: «Спокойной ночи, до завтра», а падре Фандо еще толкует о деликатности! — да это просто смешно! — ты же меня обидел, ужасно обидел, вот что. Я — женщина и хорошо знаю, что говорю: для женщины в тысячу раз приятнее грубость, чем подобное унижение,— это последнее дело, Марио. Я действительно побаивалась, я не отрицаю,— зачем я буду говорить неправду? — я знала, что надо пережить что-то неприятное, и Транси, и все говорили мне об этом, но я ждала чего угодно, только не этого. Деликатность! Слушать смешно — ты жуткий эгоист, вот ты кто, а сам еще вечно распространяешься о том, что люди не способны любить, так как машины иссушили их сердца,— вспомнил бы лучше о своем велосипеде, склочник ты этакий! Полюбуйтесь на этих типов — на острове или где-то там еще, понять невозможно, где они живут,— и это бы еще полбеды, но похоже, что ни о чем другом они и говорить не могут, и уж веселья от них не жди — до того они скучные; мы с Вален помирали со смеху: «Все, абсолютно все персонажи Марио — это какие-то зануды». А Эстер — что я буду тебе рассказывать! — витала в облаках, а на нас налетела как фурия: «Это — символы!..» Ну почем она знает, что такое символы, скажите пожалуйста! А уж какой у нее апломб, дружок,— и слышать ничего не хочет! Любить в двадцатом веке, кто бы другой говорил — ладно, но уж только не человек, который в брачную ночь поворачивается на другой бок и — «Спокойной ночи». Да ты должен был бы со стыда сгореть, вот что — так некрасиво поступить со мной!.. А потом еще толковал, что тебя тошнит от разврата и злобы, которые заполонили весь мир, ну, про тебя-то этого не скажешь,— ох уж эти твои проклятые нервы! — вам, мужчинам, так хочется придать себе весу, что вы просто не знаете, что и придумать. Ну-ка спроси у Галли Константино, знал ли он, что такое любить в двадцатом веке! Он на-

чал этим заниматься даже раньше положенного времени — вас, мужчин, ведь никто не разберет: одни — больше, другие — меньше; и почем знать, чем там занимается Хулия в Мадриде, это одному богу известно, она семь лет жила там одна, да еще в доме были американские студенты,— ну, конечно, не воздухом же ей питаться, но, откровенно говоря, это все-таки опасно; Вален говорит, что стоит только однажды войти во вкус... Оно и понятно: ведь у мужчины и женщины есть такой инстинкт, надо только не отдаваться на волю случая. Ну, а ты все свое: люди не любят друг друга, мы утратили способность любить, засело это у тебя в голове, как я говорю, а потом еще чище — эта статейка «Отсутствие чувств в современной литературе» в американском журнале,— ведь это сто долларов, Марио, легко сказать! Это шесть тысяч песет, не каждый день бывает такая удача — прямо золотые прииски,— да только кому же это под силу переварить такую тягомотину? А кроме того, должна тебе сказать, что если в современной литературе чувств нет, ну и пусть, оставь ее в покое: ведь вы же сами творите современную литературу, и это в твоих руках, подпусти туда чувства — вот и весь разговор, просто слушать смешно! А если, как ты говоришь, роман должен отражать жизнь, так вот тебе Максимино Конде: уж такое сильное чувство к падчерице! Ну скажи сам: это ведь и есть жизнь, только ты — ноль внимания, ты меня даже не слушал, вот как, а я-то к тебе бежала! Вы жалуетесь от нечего делать, Марио, признайся, и если ты считаешь, что очень много чувства в истории с полицейскими и с заключенными, или когда ты покупаешь «Карлитос» у всех мадридских бродяг, или сочувствуешь сумасшедшим — ну, тогда я молчу, но это называется говорить не по существу. «Любовь, любовь» — как ты там ни крути, а любовью называется то, что происходит между мужчиной и женщиной, дубина, и так повелось от сотворения мира. А дело в том, лентяй ты этакий, что твое самолюбие было задето,— ты ведь у нас злопамятный, ты из тех, кто затаивает обиду, и ты до сих пор не забыл историю с полицейским — вот где собака-то зарыта, но хоть бы ты поклялся мне на кресте, я все равно не поверю, что он тебя ударил, так ты и знай, да и не я одна: ты же слышал, что тебе сказал Рамон Фильгейра, а кроме того, вполне понятно, что в таком месте и в такое время никто с тобой нежничать не будет,— плохо было бы дело, если бы в полицейском участке и в комиссариате стали разводить церемонии с каждым мошенником, который туда попадет. Ну, а ты: «Пока я молчу, а придет время — заговорю». Ты так считал, да только ни в полицейском участке, ни в предварительном заключении тебе этого, ясное дело, не позволили, они — представители закона, а ты — нуль; в тот момент, нравится тебе это или не нравится, ты был обыкновенным преступником, и я помню, что я еще в детстве не выносила, когда в парке катались на велосипедах,— это ведь не назло тебе выдумали. Ты взбесился оттого, что упал с велосипеда, вот оно что! На месте комиссара я поступила бы точно так же: «Мы не примем протеста, пока не получим медицинского свидетельства». Всякий другой на этом бы и успокоился, а ты — ни в какую, ты ведь упрям, как пень: побежал в «Скорую помощь», поднял всех на ноги в четыре часа ночи — нашел время! — и сказал, что столкнулся с каким-то типом, и этот врачишка вбил тебе в голову, что «гематома произошла от удара рукой»,— чушь какая! Ведь Фильгейра ясно сказал: «Это от удара педалью», ну поди разберись! До истины тут не докопаешься, ну, а ты полез с протестом: это, видите ли, злоупотребление властью — прямо мания какая-то! «Вот медицинское свидетельство»... А вот если бы ты пошел к Фильгейре и сказал ему прямо: «Вы правы, Фильгейра, затмение на меня нашло», все у нас было бы куда

лучше и ни Хосечу Прадос, ни Ойарсун не отказали бы нам в квартире, но уж таким тебя бог создал; а вот если бы ты собрал все необходимые бумаги и прочее, вопрос был бы решен. А кроме того, Фильгейра говорил совершенно справедливо: «Я должен доверять моим полицейским. Полицейский в это время — все равно что министр внутренних дел». Дорогой ты мой Марио, в такой ситуации полицейский — это высшая власть, и скажи, пожалуйста, что у нас творилось бы без них? — сплошной хаос. Но даже если принять на веру, что тебя ударили и что все эти россказни о пистолете — сущая правда, все равно ты должен был молчать, Марио, потому что если даже полицейский вспылил и дал тебе по морде, то не думай, что он поступил так для собственного удовольствия, вовсе нет, это для твоего же блага: ведь точно так же мы поступаем с детьми. Это же совершенно очевидно, Марио: нравится нам или нет, но мы должны с этим согласиться: страна — все равно что семья, это одно и то же, нет власти, и — бац! — катастрофа. Я вечно буду благодарить бога за то, что этому твоему родственнику Луисито Боладо пришла в голову мысль, чтобы ты забрал свое заявление, и надо было видеть, как он вел себя при этом — дело ведь вполне могло обернуться против тебя,— это была бесценная услуга с его стороны, а ты вместо благодарности понес свое: это, видите ли, тайный сговор — лучшего выражения ты не нашел! — и все против тебя, старая песня, ты всюду видишь только врагов, безумие это, дружок; кто боится, боится не зря, как говорила бедная мама. Что за упрямство! Ты как маленький ребенок, Марио, вот кто ты, в сущности: ведь, кроме врача, все согласны были молчать, но сколько ни пытались тебя убедить, все без толку: раз уж ты что-то вбил себе в голову и закусил удила, так никто тебя не остановит, осел ты этакий, а там — будь что будет. А кроме всего прочего, такие вещи случаются с тобой оттого, что ты — неряха, а вот если бы ты был одет как полагается, если бы ты был в отглаженных брюках и в вычищенных ботинках, а велосипед оставил бы дома, где ему и положено стоять,— так, по-твоему, полицейский поднял бы на тебя руку? Нет, Марио, это не мои причуды, каждый должен одеваться соответственно своему положению в обществе: сеньор — всегда сеньор, ему особый почет и с ним другое обращение, уж как ты там ни крути, не говоря уже о том, что это вполне естественно. Ну, а если ты идешь по улице неряха неряхой, подняв воротник, в берете, то, скажи на милость, чем ты отличаешься от чернорабочего, да еще если дело происходит ночью? И я не хочу сказать: так тебе и надо, вовсе нет, ты так же точно мог упасть и в хорошем костюме, но если полицейский видит, что ты в шляпе, что ты прилично одет, что ты выглядишь как следует, то будь спокоен: ему и в голову не придет задержать тебя, я совершенно в этом уверена — ведь за версту видно было бы, что ты — влиятельное лицо и порядочный человек. Но если ты идешь в таком виде — а ведь хуже трудно выглядеть,— так что же удивительного, что тебя принимают за ничтожество и даже дают тебе в зубы? Нет, Марио, этого я тебе не смогу простить, проживи я хоть тысячу лет,— ты ведь еще бравируешь своей неряшливостью, да к тому же куришь табак, которого сроду никто и не видывал, дружок, такой он вонючий; а вот, предположим, тебя задерживают, и от тебя пахнет светлым табаком— тебе, конечно, покажется это глупостью,— но, по-твоему, полицейский не извинится перед тобой? «Простите, я принял вас не за того»,— я в этом уверена, тут и спорить нечего, людей встречают по одежке, это уж точно, я вдоволь насмотрелась на это, и даже в хорошем обществе это так; дурак ты набитый... Если ты приходишь в платье от Кутули, значит, ты что-то собой представляешь, и лучшие

люди спрашивают: «Кто это?» — вот как, тобой начинают интересоваться: «Эта дама не здешняя». А если ты выходишь из «мерседеса», так производишь еще большее впечатление; и пусть все мы из одного теста сделаны, я не спорю, но в конце-то концов — все мы люди.

XXIV

Они, увидев Его, идущего по морю, подумали, что это призрак, и вскричали, ибо все видели Его и испугались... Но я никогда не устану повторять тебе, Марио, что голько дураки боятся сами не знают чего, да еще трусливые дураки, дружок ты мой милый, можешь мне поверить, а ты все свое: это, видите ли, вроде того, как в детстве, когда ты шел на экзамены и у тебя сосало под ложечкой... да пойми, ведь ты уже давным-давно сдал все экзамены, дурак ты набитый! Так вот нет же, заладил одно и то же: «Это нервы, я не могу...» И я не понимаю, зачем это Луису, который знает тебя, и твою мнительность, и все прочее, понадобилось пускаться с тобой в объяснения: ведь с тех пор, как ты узнал про нервы, так же как и про системы, дружок — точь-в-точь так же,— это не сходило у тебя с языка, матушки мои, ну что за человек! А тут еще в один прекрасный день этот Мойанито — я ведь отлично все слышала, я только делала вид, что ничего не знаю,— давай толковать об обостренной чувствительности, о каких-то высоких материях: ведь вы, вместо того чтобы говорить так, чтоб людям понятно было, говорите какими-то загадками, дружок, ни дать ни взять — сотрудники контрразведки. Вот и Армандо сказал: «Я не понимаю, о чем они столько времени раздумывают. Столько раздумывают, как будто им надо что-то исправить, да вот только не могу понять, что именно испортилось», и он совершенно прав. А ведь он еще не видел тебя ночью, Марио,— тут-то спектакль и начинался. «Идут?» — сидишь на постели, прямой как палка и прислушиваешься. Я так и подскочила, даю тебе слово: «А кто должен прийти?» А ты говоришь: «Не знаю, кто-то поднимается по лестнице», так что я пальцем пошевельнуть не смела, сердце: тук-тук-тук, клянусь тебе. «Я ничего не слышу, Марио». А ты: «Не сейчас, это было раньше»,— ну видели вы что-нибудь подобное? — и ты не поверишь, но после этого я больше четверти часа не могла заснуть, ведь так просто жить невозможно, кошмар какой-то. Это вроде того, как ты молол всякую чушь: мол, ты боишься, что покончишь с собой... Ну, где это видано — бояться самого себя? — да ничего такого с тобой не случится, полоумный ты этакий, ведь это же в твоей власти, и надо прямо до ручки дойти, чтобы бояться таких вещей. А потом земля уходила у тебя из-под ног и у тебя начинались головокружения при одной мысли, что ты находишься на шаре, который висит в бесконечном пространстве, и я рассказала об этом Вален: «Что только он городит, Вален! Его запереть впору», и ты из-за этого слег в постель,— хорошенькую жизнь ты себе устроил из-за своих нервов, дружок, и Антонио говорил, что он бы все сделал для тебя с превеликим удовольствием, но он, дескать, последняя спица в колеснице, он подотчетен министерству и единственно, что он может для тебя сделать,— это дать тебе отпуск по болезни с половинным окладом,— только этого нам не хватало! — я думаю, ты бы не умер, если бы проводил два часа в институте и говорил там то же самое, что и всегда. Так вот нет же: «Я не выдержу», «Это свыше моих сил», по-твоему, это хорошо? Ведь если у тебя там сталкивались мысли, то представь себе, каково было мне с моими мигренями,— это что-то ужасное, дорогой, это как будто тебя бьют молотком

по голове, но это, конечно, не имело значения: «Прими две таблетки и завтра будешь здоровешенька», приятно послушать, ничего не скажешь. И Луис тут не виноват, он ведь предупреждал тебя: «Самое лучшее средство — немного напрячь волю», ну, а ведь у тебя ее сроду не было, ясное дело, ты не имел ни малейшего понятия о том, что такое воля, лучше валяться в постели и отдыхать от безделья, как я говорю. И если бы еще постель сблизила нас с тобой — ну ладно, но у меня не было и этого утешения, ты как будто лежал с карабинером, и это для меня тяжелее всего, так и знай... И я горюю не о себе: тебе отлично известно, что мне от этого свинства ни жарко, ни холодно,— а о том, что за этим кроется... Я тебе сто раз повторяла, Марио: то, что было у нас в Мадриде, не всякая бы стерпела, не думай; такое пренебрежение! Я даже Вален не рассказала, как я была огорчена, а ведь ты же знаешь, что Вален для меня все равно что сестра родная. Ну, а за слезами у тебя дело не станет, и я до сегодняшнего дня так и не поняла, отчего ты плакал, ты залил мне слезами всю ночную рубашку, и мне пришлось ее менять, а потом ты завел свое: пусть бы лучше тебе отрезали руки и ноги, зато обрубок, который бы от тебя остался, жил бы в свое удовольствие, только бы не жить так, как ты живешь,— ну что это за белиберда такая? Ну кто же это может жить в свое удовольствие без рук и без ног? Кому такое может прийти в голову? И в первые ночи я думала: «Да уж не пьян ли он?» — да нет, какое там, ты и капли в рот не брал. Но для тебя ведь ни хороших, ни дурных дней не существовало; стоило посмотреть на тебя в ту ночь, когда я начала щекотать тебя ногой, помнишь? Это был намек, вот что, а как ты брыкался, дружок ты мой милый! А потом ни с того ни с сего давай визжать, да так, будто тебя режут: «Оставь меня в покое!» — ну и ну! — я прямо похолодела: ведь в конце концов я это делала для твоего же удовольствия, мне-то что... И должна тебе сказать, что на меня обращали внимание, еще бы. Уж не знаю, что со мной творилось в эти месяцы, но Элисео Сан-Хуан прямо с ума сходил: «Как ты хороша, как ты хороша, ты день ото дня все хорошеешь», он был просто вне себя, еще больше, чем прежде, так что сперва я было даже испугалась, даю тебе слово, он просто преследовал меня, но Вален сказала: «Он же всего лишь ухаживает за тобой, милочка». А что ты устраивал у несчастной Вален? Ты уж лучше помолчи, Марио! Дважды она подавала на стол обед,— дважды, Марио, ведь это легко сказать! — а остатки выбрасывала, мы же знаем, что это такое. А ты кричал, что тебя тошнит и все прочее, хорошо еще, что Вален — свой человек, да и Висенте все понимает, тебя впору было убить, ведь в конце концов она это делала, чтобы развлечь тебя, только ведь с тобой каши не сваришь. «Для чего? Для чего? Для чего?» — сплошные «для чего», дубина ты этакая! Да для того, чтобы убить время, болван, вот для чего, для того, чтобы оно прошло незаметно,— вот о чем идет речь, я думаю, так-то. Ты становился невыносим, Марио, ты вел себя как капризный ребенок: «Еще одного такого дня я не выдержу: это то же, что и вчера. Господи, просвети меня», вы только послушайте, о чем он просил бога, а ведь нам столько недоставало, дурак ты набитый! Нервы!.. Хорошенькое оправдание! Когда врачи не знают, что придумать, они все на нервы сваливают, а я вот говорю, Марио: если у тебя ничего не болит, если у тебя нет температуры,— так на что тебе жаловаться? Конечно, если разобраться, так это наша вина, это мы во всем виноваты, потому что целый божий день прикованы к вам, дуры мы этакие, а вот если бы вы боялись, что мы наставим вам рога, так вы тотчас же позабыли бы про нервы. Это да еще работа — вот лекарство от нервов, и никто меня в этом не переубедит, нервы — это бо-

лезнь бездельников, а вот если бы ты ходил на службу или работал в банке, где надо отсиживать восемь часов подряд, как положено, вся жизнь сложилась бы у нас иначе во всех отношениях, так и знай. Это вроде как со сном, сумасброд ты этакий: ведь ты, как говорится, круглые сутки валялся в постели. А если бы ты хоть немного двигался, то сам бы увидел, как это полезно: не нагуляешь аппетита — не пообедаешь, как сказала бы бедная мама. Вы, мужчины, просто смешите меня, Марио: вы заболеваете, когда вам хочется, и выздоравливаете, когда вам заблагорассудится, ты уж не спорь со мной... а если ты так боишься головокружений, то подумай, что должна была делать я, если я и на стул не могла влезть? И то же самое было в автобусе, так ты и знай,— не рассказывай ты мне сказок,— и хотела бы я посмотреть на тебя в «тибуроне» Пако, Марио, вот что,— только одну минуточку, не больше, из чистой прихоти,— чтобы ты понял, что значит головокружение... Господи боже, как будто летишь. По правде говоря, я этого не хотела, могу тебе поклясться — не почему-либо, а потому, что люди всегда думают о других плохо, да еще Кресенте все время следил за нами со своего мотокара, но Пако открыл дверцу, и у меня не хватило мужества отказаться. И по чистой случайности через несколько дней произошло то же самое — резко затормозил, как в кино: «Ты в центр?» — на той же самой автобусной остановке; и скажу тебе откровенно: когда потом я призналась ему, что не умею править, что у нас нет автомобиля, ты и представить себе не можешь, как он хлопал себя по лбу, да так сильно — вот ведь какое дело: «Нет? Нет? Нет?» — понимаешь, он не мог этому поверить, он думал, что я шучу, а я не знала, куда мне деваться, Марио, в жизни я не испытывала такого унижения. При таком таланте, как у Пако, ты мог бы не бояться рутины, Марио,— это уж я тебе точно говорю, а то, видите ли, каждый день одно и то же: работать, завтракать, обедать, ужинать, любить, спать — «как мулы на водокачке»,— ну о чем только ты думаешь? Чего тебе еще надо, идиот? Ведь всюду происходит то же самое, посмотри хоть на Пако, так вот нет же: мы — самые обыкновенные животные... Америку открыл! Что страшного, если мы каждый день делаем одно и то же? Не сердись, Марио, но, по-моему, ты просто боялся работы, и не толкуй ты мне теперь, что писать — значит работать, гнусная ты мумия!.. Чтобы настоять на своем, ты готов твердить, что днем — темно, а ведь что писать, что играть на скрипке — все едино. А кроме того, если уж так тебе было страшно, не писал бы: ты же знаешь, что, на мой взгляд, есть занятия получше — представительство, коммерция, строительство, а теперь вот даже появились места, где будет развиваться промышленность,— ну что-нибудь в этом роде; ведь ты же сам говорил, что тебе противно читать газеты,— да и кому не противно? В вашей проклятой «Эль коррео» вы только и писали что про несчастья — было что почитать! — и вечно одна и та же песня о разврате и злобе,— трусишка ты, просто-напросто трусишка,— и если люди ничего там не понимают, так тебе до этого дела нет; дураки бы мы были, если бы теряли аппетит всякий раз, как передерутся негры там или китайцы. Пусть каждый выпутывается из беды как знает, дорогой мой! В конце концов, никто не виноват, что они не такие, как мы. Ведь пишешь-то ты одно, а на самом деле происходит совсем другое, и меня просто тошнит от вашей «Эль коррео», только я не думаю, что нервы у тебя расшалились из-за этого, упрямая голова: я убеждена, что ты прекрасно себя чувствовал, когда говорил, что тебе плохо, и тебе было плохо, когда ты говорил, что прекрасно себя чувствуешь,— пусть ты и скажешь, что это чушь. Нервы, нервы... Нервы начинают шалить, когда человеку слишком хорошо, вот

что, когда ему думать не о чем: живи в свое удовольствие. Вот тогда-то и появляются нервы и все такое прочее, и я понять не могу, что это за фокусы: «Идут?» — у меня сердце так и сжалось, дружок, а ты еще будил меня без всяких церемоний, и уж не знаю, кого ты там ждал, но только этого у тебя и дубиной из головы нельзя было выбить, и не то чтобы мне нравилось, когда люди колобродят, вовсе нет — пойми меня правильно,— но все соседи имеют полное право ложиться, когда им вздумается, это вроде того, как когда ты плакал: на первых порах у меня прямо сердце разрывалось, вот как, господи, ну и рыдал же ты! А я: «Почему ты плачешь, милый?» А ты: «Сам не знаю — плачу обо всем и ни о чем», по-твоему, можно так себя вести? А Луис туда же, еще тебе потворствовал, он во всем тебе потакал: «Угнетенное состояние. Нервная депрессия», ну насчет первого-то я спорить не буду, а вот насчет другого я ему высказала все, что я думаю, и не раскаиваюсь в этом, Марио. Ты бы слышал, как я сказала: «Не могу я согласиться с тем, что его угнетают», ну кто тебя угнетал, скажи на милость? — обед вовремя, всегда свежие рубашки, жена от тебя ни на шаг — ну чего тебе еще не хватало? Вот если бы он тогда сказал, что у тебя выливались слезы, которые в свое время не вылились, это была бы другая песня, только пусть говорит толком, без обиняков: да — так да, а нет — так нет, а то ведь врачи говорят, как и пишут, ты уж не спорь со мной, их только одни фармацевты и могут понять, да и то не все, некоторые просто делают вид, что понимают, чтобы придать себе весу. И вот что я еще скажу: у кого больше, у кого меньше, но у каждого в запасе целое море слез, чтобы пролить их в течение жизни — настоящая фабрика,— и если ты не выплачешься вовремя, так выплачешься не вовремя — ничего не поделаешь. И уж не говори, что я не предупреждала тебя об этом, дорогой... Вспомни, когда умерла твоя мать, я прямо по пятам за тобой ходила: «Плачь, Марио, плачь, потом это скажется и будет хуже», я ходила за тобой как тень, а ты вдруг: «По обычаю?» — так что я прямо похолодела, даю тебе слово... Нехорошо это, Марио, ведь я советовала для твоего же блага, у меня были самые лучшие намерения, клянусь тебе! И то же самое было, когда происходили эти истории с Эльвиро и Хосе-Мария: каменное лицо и ни слезинки, уж не знаю, может, из-за всего этого у тебя и образовался комплекс — скорее всего, так оно и есть,— но, во всяком случае, ты — рот на замок и ни звука, а я ведь все время была рядом, чтобы все могло вылиться на меня, чего другого — не скажу, а чуткости у меня хватает, и ты должен был поговорить со мной: я ведь всегда уважала Эльвиро, и Хосе-Мария, несмотря на эти его идеи, был мне очень симпатичен, честное слово, он мне нравился, так ты и знай, и после того как он спросил меня, не я ли та девушка, за которой ты ухаживаешь, я стала от него бегать — вот как,— я пряталась от него в подъездах, а Транси: «Ты что, с ума сошла? Съест он тебя, что ли?» — а я ничего не могла с собой поделать, а он точно догадывался, о чем я думаю, и я заливалась краской — девушка есть девушка,— но я даже поболтать с ним не сумела. Если хорошенько разобраться, так у тебя был комплекс, а вовсе не нервы, чудовищный комплекс, я в этом уверена, а все из-за того, что у тебя слезы не вылились вовремя; ведь когда ты мне рассказывал о своих братьях, я была в восторге, представь себе, мне это страшно нравилось, только вот не могла я согласиться — пойми ты это,— когда ты рассказывал мне сказки, будто твои братья мыслили одинаково, ишь что выдумал, да это просто смешно: ведь Хосе-Мария ни в какие ворота не лезет, а Эльвиро лезет — Эльвиро был чудеснейший человек, а вот за Хосе-Мария, как ты там ни крути, нужен был глаз да глаз. Это вроде того,

как он сказал, когда его вели на расстрел, что, мол, не впервые честный человек погибает за других,— басни!.. Он, наверно, умирал от страха и молился богу, и это вполне естественно, и осуждать за это нельзя, пойми меня правильно, по-моему, так и должно быть, а вот вы ради красного словца способны даже осквернить память умерших.

XXV

Я укреплю тебя и помогу тебе... Да уж, дождешься от тебя помощи, кому это знать, как не мне? Только если девочке это не по душе, то не мне ее упрекать, потому что надо уважать личность, Марио, каждый человек имеет право на свое мнение, и если разобраться, то в наше время четвертый курс — это куда важнее, чем прежде был бакалавр, и так во всем, например, в деньгах: одна прежняя песета — это все равно что пять нынешних; может, я и преуменьшаю, но похоже, что нет: нынче жизнь вздорожала в двадцать раз. Нынче требования большие, Марио, так ты и знай, теперь ценится только огромное богатство; возьми хотя бы семью Гарсии Касеро — ведь они же низкого происхождения, но все порядочные люди поступают, как они: фермы содержат, задают балы, да еще самого лучшего тона, уж не спорь со мной; и вот послушай: даже девочки — и те туда же, взять хоть компанию Менчу: «Ученые парни нам даром не нужны; с ними скучища смертная». И им не откажешь в здравом смысле, дорогой, ну скажи сам: какую радость, какое удовольствие может доставить им студент? Абсолютно ничего он не может, это уж точно: ни черта они не умеют, не умеют даже рюмку в руке держать — ну, ясное дело: либо то, либо другое, и брось ты толковать о благородном труде, упрямец,— ведь ты же страшный упрямец,— пусть сама девочка — а у нее, слава богу, будет большой выбор — выбирает себе подходящего жениха; достаточно горя хлебнула ее мать. Посмотри на Хулию: у нее было благородное занятие — музыка, и уж как она в этом преуспела! — сам знаешь: у нее не дом, а постоялый двор, и можешь говорить мне об американцах все что угодно, да, это — студенты и прочее тому подобное, они приличные на вид, я согласна, все это так, но всему же есть границы: полюбуйся на негров! Я уж и не знаю, с чего это ты так обозлился на папу,— ты был совершенно не прав, Марио: ведь в телевизионной анкете папа совершенно ясно ответил на этот вопрос, ты сам слышал, он просто замечательно все сказал, так и знай, и даже вице-министр торговли поздравил его: «Все мы созданы богом, и расовая проблема — это проблема духовная, а не физическая», пойми ты это... По-моему, нельзя выразить больше в столь немногих словах,— Вален была прямо в восторге, и я, конечно, тоже, но это еще вовсе не значит, что надо селить негров у себя дома... Тебе не на что было так сердиться, Марио, решительно не на что, имей в виду — уж не будем говорить о вполне естественном отвращении, но надо ведь подумать и о том, сколько, должно быть, с негром хлопот,— ты только представь себе: чего стоит одна стирка белья, и, скажу тебе правду, я прекрасно понимаю папу: «Триста долларов прибавки, или я отказываюсь», так, конечно, сказал бы всякий, но это не меняет папиных чувств, Марио, ведь он совершенно ясно сказал по телевизору: «Все мы созданы богом», яснее некуда, дружок ты мой милый, и даже на улице все говорили, что это было блестящее выступление, вот как, и если бы эти иностранки мыслили так же по-христиански, как папа, то в мире не было бы расовых проблем или как там это называется. И я совершенно согласна с папой, Марио: все мы равны перед богом, он не

делает различия между черными и белыми, он беспристрастно судит и тех, и других; ну так вот: черные пусть живут с черными, а белые — с белыми, каждый у себя, и все в порядке. И если этот университет или как его там — никак не запомню название — захочет поместить у меня негра, так пусть он платит мне двойную цену, вот так-то: ведь собаки — тоже божьи твари, а уж разве что черт дернет кого-то завести собаку. Надо быть рассудительным, милый, и смотреть на вещи более объективно,— ведь папа сказал совершенно ясно: «Все мы созданы богом», но это же про душу, тут речь идет о вечном спасении, понимаешь? И нет такого божеского закона, по которому ты был бы обязан взять к себе цветного постояльца,— этого еще не хватало! И брось ты свои намеки насчет того, что ото рта до ложки длинная дорожка,— все-то ты путаешь — тебе бы только всюду свой нос совать, а я вот что тебе скажу: если в Мадриде нет негров, так и не надо, ведь если разобраться, никто их туда и не звал, пусть себе учатся в своих деревушках, и уж не вздумай теперь сказать мне, что в Америке нет университетов; университеты там замечательные: ты ведь слышал, что говорил Висенте. Ты не сердись, Марио, но, по-моему, дону Николасу негры посылают кокосовые орехи или что-нибудь еще, а иначе мне непонятно, чего ради он так их защищает; а может, у него дед был негр или еще похуже, но что там ни говори, а все же негры, если призадуматься, сделаны из другого теста и для другой работы предназначены — ну, например, для работы на плантациях сахарного тростника или чего-то в этом роде; в лучшем случае они могут быть боксерами — ну, словом, могут делать самую черную работу, и притом все до единого, уж не спорь со мной. Потому-то ты и возмутил меня, Марио,— зачем скрывать? — когда написал папе, что, мол, у него слово расходится с делом и что ото рта до ложки длинная дорожка,— он этого не заслужил, ты просто неблагодарный, и я знаю, что с тех пор прошло двадцать четыре года, но ведь это бедный папа написал тебе такие замечательные «Изыскания», а иначе ты не прошел бы по конкурсу, да только для тебя все это ничего не значит, тебе все надо подавать на блюде, а вот неграм, видите ли, повышают плату за постой,— вот ужас-то! — ну что значат для этих людей лишних триста долларов? И хотела бы я знать, кто дал тебе право вмешиваться? А суть-то в том, что ты не можешь простить папе, что ему не нравились твои книги, он был с тобой откровенен, а ты обиделся, когда он сказал, что социальные темы и все прочее существуют для тех, кто не умеет писать, а ведь— будем откровенны! — это святая истина. Я только однажды видела тебя таким — это было, когда Рекондо заменил тебе гражданскую войну Крестовым походом, а ведь это что в лоб, что по лбу, как я говорю, а еще когда вышла история с полицейским и с квартирой,— интересно знать, что было у тебя в голове, ведь такого наивного человека, как ты, поискать надо! И ты еще пустился тогда толковать о том, что если квартиры предназначены для служащих, то в первую очередь их надо давать женатым и многосемейным и что только так и будет по закону,— да это просто смешно! Вы чтите закон, только когда он вам подходит... Но в конце-то концов, если у Канидо нет детей — какие дети могут быть у шестидесятилетнего вдовца! — и если Агустин Вега холостяк и у других тоже нет семьи, так, по крайней мере, это люди, верные режиму,— ты не можешь этого отрицать... А вот чего нельзя делать, склочник ты этакий,— заруби это себе на носу,— нельзя, будь ты какой угодно служащий и какая бы ни была у тебя многочисленная семья, требовать чего-то в грубой форме — да, я на том стою; для этих дел существует совет или как там он называется, тому он даст, тому не даст, и выбор он произво-

дит, учитывая главным образом прошлое, вот как... Хотя в законе об этом и не сказано, а все равно никуда не денешься, это подразумевается, а все эти ходатайства — сплошная чушь. Ну скажите пожалуйста — ввязываться в тяжбу с властями! Вот ты и остался без квартиры, да еще пришлось продать все до последней рубашки. Глупости все это, Марио, ты ведь у нас до того наивен, тебе бы только болтать, лишь бы сказать что-то... «Это дело правосудия, и я исправлю его ошибки»,— да мне просто страшно с тобой, так и знай, я тебя боюсь больше, чем молнии небесной... Орешь во весь голос: «Это дело правосудия», да на всех перекрестках! Хорошо еще, что тебя отговорил Луисито Боладо, а то ведь после истории с полицейским я при виде его всякий раз думала: «Уж пошлет он его к черту, дорогого моего Марио», честное слово, я до сих пор не могу понять, как это он осмелился, я просто была в ужасе, а в конце концов он только и сказал, что тебе предоставили трехкомнатную лачугу и закона не нарушили: ты ведь сам отказался. Только скажи на милость, как мы будем жить в трех комнатах, ну растолкуй мне это! Перед заседанием совета, когда перекрыли трубы, чтобы не протекала вода, я могла кое-что сделать, Марио, ну а ты уперся,— этакое упрямство! — ведь родители Хосечу общались с моими всю жизнь, и я могла бы добиться того, чтобы это дело с протоколом уладили, и так же точно я могла бы поговорить с Ойарсуном и Солорсано, в рекомендациях у нас недостатка не было бы, и я не могу понять, почему ты так уперся. «Если ты сделаешь хоть шаг, я заберу прошение»,— я готова была убить тебя, я плакала целый месяц, у меня даже эти дела прекратились, клянусь тебе... Ведь когда выступил представитель, стоило Хосечу, Ойарсуну, Солорсано или самому Фильгейре поддержать его, и квартира была бы за нами, будь уверен; ты только представь себе: шесть комнат, отопление, горячая вода — как бы это изменило мою жизнь! Ну да так тебе и надо, Марио, в конце концов ты пожал то, что посеял, ни больше ни меньше,— ведь если бы ты не осточертел всем с подсчетом голосов, не спорил бы с Солорсано, который всего-навсего ответил тебе тем же, если бы ты не устроил скандала с полицейским, а вместо этого, как обычно делается, пришел бы к Фильгейре и сказал: «Вы правы, Фильгейра, затмение на меня нашло», так в целом мире не нашлось бы такой силы, которая могла бы отнять у нас квартиру, можешь мне поверить. И даже при всем при том, Марио,— зачем обманывать друг друга? — если бы ты развязал мне руки! Ведь у женщины, знаешь ли, в запасе много средств, дружок, ей не надо унижаться, ей стоит только вызвать сочувствие, а попытка не пытка, и я уж не знаю, что это у вас за титул «университетский»,— скажите на милость! «Университетский» у вас просто с языка не сходит, а в конечном счете что собой представляет этот «университетский»? — помирает себе с голоду, вот и все. А ты посмотри на Пако — ему не нужны были титулы, чтобы стать важной персоной; вы ведь думаете, что добьетесь чего-нибудь этой своей писаниной, а книги только затем и нужны, чтобы морочить вам головы, и я уж не знаю, сколько таких людей отказалось от бога,— вот хоть бы ты, чтобы за примером далеко не ходить: беда, видите ли, в том, что Французская революция не получила поддержки церкви,— этакое кощунство! — и когда на другой день я увидела, что ты идешь к причастию, меня просто мороз подрал по коже, клянусь тебе, и, да будет тебе известно, сама Бене спросила: «Он что же, исповедался?» — а я: «Думаю, что да, дорогая», а что, интересно, я могла ей ответить? — ты компрометируешь меня на каждом шагу... Вот взять хотя бы твою лекцию: ну что плохого в благотворительных базарах? Ведь сколько они собирают денег! — и с самыми лучшими целями. И если ты смешишь меня, Марио,— вот именно смешишь — так это потому,

что порой я смеюсь, чтобы не заплакать,— ты меня понимаешь? Ты ведь только и умеешь, что скандалить,— вспомни хоть тот случай с поросенком: ты же сам не знаешь, хорошо ты поступил или плохо, а потом на тебя находят сомнения, еще бы! — ты шагу не сделаешь без того, чтобы кого-то не оскорбить, не наделать глупостей. А ты вот бери пример с меня: оскорбляю я кого-нибудь? — нет ведь, правда? — конечно, нет, а ведь я очень много разговариваю, прямо остановиться не могу,— болтушка, ты скажешь, и часто я разговариваю сама с собой, если мне не с кем поговорить,— вот смех-то, подумай только! Вот бы увидел меня кто-нибудь! Ну, да мне плевать, меня сплетни не волнуют, потому что совесть у меня чиста. Комплексы — вот что у вас такое, у вас полно комплексов, Марио, это вроде как с салфетками, право, делать нам больше нечего, тебе бы учить детей многому другому, так нет же, а ведь ни у кого из нас заразных болезней, слава богу, нет. А ты твердишь: каждому ребенку нужна отдельная салфетка, и всегда все должно быть по-твоему — что это за причуды такие!.. И если бы еще у нас была маленькая семья и была бы такая прислуга, как бог велел,— ну ладно, но при нашем положении... чего мы этим достигнем, позволь тебя спросить? Только посеем недоверие, ни больше ни меньше,— ведь даже Доро, которая тебя прямо-таки боготворит, и то удивлялась: «И что это придумал наш господин? Вот кабы у кого была чахотка, так дело другое». И я говорю то же самое: слава богу, все мы здоровы, так кому нужен этот этикет? Ты ни черта не делаешь, и больше всего меня злит, что вдруг на тебя находит: «Надо хорошенько поработать», только сперва надо хорошенько все обдумать, дурак! Что невозможно, то невозможно; когда так много детей, такая куча дел, так дом сам собой не устроится, и если бы ты еще видел, что я сижу сложа руки, это был бы другой разговор, но скажи сам: я не знаю покоя ни днем, ни ночью, у меня минутки свободной нет,— головой надо думать, Марио,— и уж такая теснота, что даже негде платье держать,— сам видишь, каково нам живется, посмотрел бы ты, что было вчера: повернуться было негде, а ты еще: «Если ты сделаешь хоть один шаг, я заберу прошение», ну до чего же здорово! — ведь все было в наших руках, такая чудесная квартира, у меня бы вся жизнь изменилась, так ты и знай, и, кроме всего прочего, ничего не случилось бы, если бы я напомнила Хосечу, что его родители постоянно бывали у нас в доме, это куда важнее, чем то, что ты служащий и многосемейный,— это, конечно, там требуется, это известно, Марио, это повелось не с сегодняшнего дня, но, когда нужно, любые требования можно обойти, и я помню, как говорила бедная мама, царство ей небесное: «Не поплачешь — молока не пососешь», пойми ты это, и, по правде говоря, меня злит, Марио, то, что послушать тебя — так мир перевернулся бы, если бы мы попросили рекомендацию, а в жизни на рекомендациях все и держится, сегодня — ты, завтра — тебе, и так было всегда, на том стоим, и я без конца слышала от мамы: «Крещен тот, у кого есть крестные», только ведь для тебя никаких правил не существует — одни требования, известное дело: «Я служащий и многосемейный; не имеют права мне отказать», на тебя можно положиться, дружок, что и говорить... Ведь вы цепляетесь за законы, когда они вам подходят, а того не хотите взять в толк, что законы применяются людьми,— сам-то закон ведь неодушевленный предмет, а вот этих людей надо ублажать и плясать под их дудку, это ведь никого не порочит, дубина ты этакая, а ты жизнь прожил, критикуя все на свете, и думаешь, что если закон говорит то-то и то-то, так все должны стать на колени, а если тебе отказывают в квартире, ты затеваешь тяжбу, подаешь прошение — вот это здорово! Ведь ты же

идешь против властей! — только этого нам не хватало, и я уж не знаю, на каком ты свете живешь, дружок ты мой милый,— можно подумать, что ты с луны свалился.

XXVI

И всякое пророчество для вас то же, что слова в запечатанной книге, которую подают умеющему читать книгу и говорят: «прочитай ее»; и тот отвечает: «не могу, потому что она запечатана»... Это прямо о тебе, Марио, честное слово, я так смеялась над тобой, над тем, как серьезно ты говорил тогда на вечере, что в Испании теперь не читают: по-твоему, если не читают тебя, то, стало быть, не читают и всех остальных, и я уже устала повторять, что писать-то ты умеешь, пишешь ты бойко и все такое, но зато, дружок мой, пишешь о таких скучных вещах и про таких зануд, что книги твои просто из рук валятся, ты уж мне поверь. И это не только мое мнение — вспомни папу, а ведь папа, по-моему, в этом разбирается. Ты же слышал, что он говорил: «Если он пишет это для собственного удовольствия — на здоровье, но если он ищет славы или денег, надо идти другим путем», яснее не скажешь, ведь папа в этих делах — авторитет, сам знаешь, как носятся с ним в «АВС». А какие великолепные «Изыскания» он для тебя написал! Это надо было издать — папа это вполне заслужил, он знает, где собака зарыта, дружок... Что до меня, то я в жизни не видывала ничего подобного, я просто проглотила их, я их три раза читала — ты не поверишь,— и, помню, просто пришла в восторг от того, что там говорилось про ретроспективный метод — ну вот когда он пишет, что историю надо изучать не с начала, а с конца, пятиться, как раки, назад, потому что все на свете имеет свои причины и, как говорится, происходит не случайно. Уж не говоря о том, что это — мой отец, вы должны были издать «Изыскания» в «Каса де ла культура»,— я голову даю на отсечение, что они имели бы грандиозный успех, так и знай, хоть они и короткие и все такое, но это восполняется более жирным шрифтом; зато в них заключен глубокий смысл, и можешь быть уверен, сейчас людям нужны либо книги о любви, либо книги содержательные — одно из двух, но уж ни один человек не купит книгу, чтобы скучать над ней или чтобы терять время, будь спокоен. И хотела бы я добиться от тебя ответа: можешь ли ты сказать мне, осел, кто будет читать твои произведения, если, прости за откровенность, твои герои либо бедняки, либо дураки? Возьмем хоть «Замок на песке», чтобы не ходить далеко за примером,— я говорю об этой книге то же, что могла бы сказать и о другой: у какого-то деревенщины постепенно отобрали всю его землю, так что он остался в одной рубашке, да еще у этого грязного скота, в довершение всего, какая-то гнусная баба, которая только и делает, что его шпыняет. А это — как его? — твое «Наследство» — так еще хуже, дружок: ну подумай сам, кого в наше время может заинтересовать история какого-то солдата, который идет воевать в несуществующую страну и не хочет ни убивать, ни сам быть убитым, да к тому же у него еще и ноги болят? Говорю тебе, Марио, дорогой мой, что такого нарочно не придумаешь, днем с огнем не сыщешь таких странных героев, а уж особенно теперь, когда эта солдатня — просто-напросто деревенщина: ты же знаешь, что даже парни среднего сословия проходят военное дело и получают офицерский чин; и должна тебе признаться, что когда ты начал «Правую руку», в тот день, когда ты сказал мне, что главный герой там — не бедняк, я очень обрадовалась, клянусь тебе, и на минуту я даже подумала, дура этакая, что ты будешь писать о Максимино Конде, чтобы сде-

лать мне сюрприз,— что ни говори, а это сюжет для фильма,— ну да как же!.. Этот твой Сиро Перес — опять-таки ты не мог выбрать более вульгарного имени, дружок,— это какой-то умственно отсталый тип, и даже те немногие мысли, которые приходят ему в голову,— сплошная нелепица, он сам не знает ни чего ему надо, ни куда он идет, и до того все это запутано, дорогой, что я ни бельмеса там не поняла, но у меня хватило силы воли запомнить наизусть целые куски, притом большие,— что ты на это скажешь? — и заучивала я их механически, как попугай, чтобы потом обсудить с моими подругами. Ведь этот тип похож на того крестьянина из Вильяломы, который написал письмо Вален,— ну, тот самый человек, с которым она познакомилась на охоте, когда была уже замужем и все такое,— уморительное письмо, мы все запомнили его наизусть, и начиналось оно так: «Если Вы считаете, что интересоваться Вами нехорошо, то Вы не захотите мне ответить, потому что я Вами интересуюсь, но я умоляю Вас, Валентина, выслушать меня хотя бы из милости», ты помнишь? — прелесть, а? Ну так вот, я сделала точно так же: затвердила наизусть этот абзац. Там говорилось... говорилось... Вот слушай: «Делая добро, Сиро получал удовольствие, он несказанно радовался и совершенно не думал о своих заслугах, а потому становился все лучше и лучше. Тут-то и начинались его мучения...» — ну как тебе это нравится? Тебе это не напоминает ужасных писем того типа из Вильяломы? Ну скажи сам, Марио, что это за разговорчики такие? Ведь таких нарочно не придумаешь, Вален прямо помирала со смеху, а Эстер, дружок, ни с того ни с сего разъярилась,— ну к чему эти выходки? Ей-то какое дело? И давай нам объяснять — да в каком еще резком тоне, скажите пожалуйста! — да еще обзывала нас повсякому,— что хотел сказать Сиро Перес, а я как услышу это имя, так готова лопнуть со смеху, а о Вален так и говорить нечего, а Эстер расходилась все больше и больше, говорила, что мы — безграмотные, вот оно как! Ну так вот, если послушать Эстер, то Сиро Перес хотел сказать, что всякий раз, как он уступает дорогу или место в автобусе,— и, между нами говоря, надо тебе сказать, что это просто несносно,— он чувствует удовлетворение и не без некоторого тщеславия думает: «Я хороший»,— ты понимаешь, что хотела сказать Эстер? — но дело в том, что с той минуты, как он начинает собой гордиться, уступая дорогу,— это уже не заслуга с его стороны, а может быть, даже и грех,— видишь, какая путаница! — тебе такое и в голову бы не пришло, наверняка бы не пришло!.. И тут Вален крикнула: «Милочка, да он просто дурак!» А на меня смех напал, я прямо умирала со смеху, Марио, можешь мне поверить, а Эстер — что тут долго рассказывать? — распалялась все больше и больше, а потом вдруг вся покраснела и стала орать на меня: «Не смейся, Кармен, не смейся, может, этот человек — твой муж!» — ну что это за идиотство? — это она меня уколоть хотела, вот что, ну, а я: «Давай, давай, душечка, сделай одолжение». Я чуть не лопнула со смеху, я не могла удержаться, Марио, это было свыше моих сил—прямо анекдот какой-то!.. А она сказала, что бесполезно и пытаться объяснить нам эти коллизии,— кажется, она сказала «коллизии», она вечно толкует о том, что уже сто раз говорено, и никому не под силу это слушать,— и что этот тип мог не уступать места, зато мог покупать в Мадриде «Карлитос» или отказаться подписать протокол,— это я рассказывала, что ты так делал,— и тут Вален прямо подскочила: «Марио может так поступать, но при этом он хоть не ставит идиотских проблем». А Эстер сказала, что никто из нас не знает о тех конфликтах, какие происходят в душах других людей,— хорошенькие конфликты, нечего сказать!.. Ну тут я ей и говорю: «Эстер, душечка, не дури, я знаю

моего мужа лучше, чем ты». А Вален все хохотала, и тогда Эстер как завопит, что у нас нет ни капли чувства, да как хлопнет дверью,— подумай только, как она меня уязвила, матушки мои! Ну что она в этом понимает? Что-что, а чувствительность — это одна из лучших моих черт, клянусь богом! Ты же знаешь, дорогой, что если я не в настроении, то я и майонеза не могу приготовить, все у меня из рук валится,— не жизнь у меня, а мука! И пусть Эстер моя добрая подруга и все что хочешь, но из-за того, что она училась, она усвоила манеры, которые ни один человек не выдержит, и у меня в голове не укладывается, как они могут жить с Армандо,— более противоположных натур не найти: он такой жизнелюб, только о еде и думает, но факт, что по ней он с ума сходит, его женушку и тронуть не смей, и надо было видеть, какой скандал закатил он тогда в «Эль атрио» — и все из-за пустяка, из-за того, что кто-то там на нее посмотрел или не посмотрел. Не знаю, не знаю, иногда мне кажется, что вы с Эстер были бы хорошей парой, а иногда — нет: по-моему, когда люди слишком похожи друг на друга, у них тоже ничего не выходит. Я не умею это объяснить, но факт тот, Марио,— не будем обманывать друг друга,— что ты не из тех мужчин, которые нравятся женщинам, физически ты ломаного гроша не стоил, будем откровенны, но, должно быть, что-то такое в тебе было — какое-то изящество, что ли, уж тех, кому ты нравился, ты просто с ума сводил, так ведь? — будем называть вещи своими именами,— взять хоть Эстер и твою невестку Энкарну, согласись, я не ревнива, а не то... Хотела бы я, чтобы ты послушал Эстер за чаем по четвергам: твои книги, видите ли, широко обсуждаются, Евангелие, символы, диссертация — все что угодно, она отличный адвокат, дружок, ни дать ни взять — проповедник, и уж не знаю, как это ты не оглох,— ведь каждый четверг она заводила свою песню — все уши прожужжит. Она вмешивалась и в то, что ее совсем не касалось, господи боже ты мой! Ну скажи, пожалуйста... Например, она говорила, чтобы я не заставляла тебя работать по совместительству,— это, видите ли, мешает тебе заниматься своим делом, можешь себе представить? И, по правде говоря, уж не знаю, где это она откопала у тебя столько талантов, я это ей однажды и сказала, а она пришла в ярость. Но ведь у Армандо-то фабрика, и, стало быть, у нее денег куры не клюют,— так я ей и сказала: «Если талант не помогает человеку заработать денег, так это уже не талант, дорогуша», и это сущая правда, Марио, не спорь со мной, а уж она так тебе кадила, уж так кадила, что просто сил нет. Эта идиотка Эстер полагает, что знает тебя, как никто другой, да только ни черта она не знает,— хотела бы я видеть ее на моем месте, да она и двух недель бы не выдержала, уверяю тебя... Книги— это одно дело, а человек — совсем другое: ведь в упрямстве тебя никто не перещеголяет, и это не только мое мнение, то же самое совершенно ясно сказала Гардения,— помнишь ее? — графолог, она работала в «Эль коррео» перед тем, как туда пришел дон Николас. Так вот, я послала ей написанную тобой страничку так, чтобы ты не знал, и она уж описала тебя, дружок! Я в жизни ничего подобного не видывала. И я подумала: «Ну, эта-то его знает, сразу видно». Всего несколько слов, а как много сказано! И сама Вален — вот послушай: «Милочка, как она его описывает!» — она прямо помирала со смеху и принялась читать: «...упорство, идеализм и непрактичность; питает несбыточные иллюзии» — ну как тебе это нравится? — поставь «упрямство» вместо «упорство», «фантазер» вместо «идеалист» и «бездельник» вместо «непрактичный» — и ты получишь полную характеристику, и кто бы мог сказать, дорогой, что по почерку можно узнать столько всего? А эта идиотка Эстер еще толкует, что у меня

не хватает чувства, чтобы оценить тебя,— придумала бы что-нибудь другое... Я помню, мама, царство ей небесное, говорила: «Доченька, ты прямо барометр», наперед можно было сказать, что в плохом состоянии я и майонеза приготовить не сумею, и уж лучше не спорь, Марио,— ты ведь был со мной, когда у меня зуб выпал прямо в бассейн,— я дрожала и все такое, верно ведь? — ты сам видел, я дрожала как зимой, верно ведь? И потом я целую неделю лежала в постели, меня рвало, я страшно волновалась — ведь это ужасно неприятно, а этого проклятого Чучо Прадо я готова была убить: «Твои зубы выпадут раньше, чем тот, который я тебе вставил», верь ему больше! И если уж это не чувствительность, так пусть Эстер скажет, что такое чувствительность; ведь эта дуреха думает, что чувствительность в том, чтобы книги читать, прямо глотать их, и чем они толще, тем лучше, и я не хочу сказать, что я такая уж образованная, Марио,— у меня на это и времени нет, сам знаешь, но я же не безграмотная, Марио... Сам посуди: я эти «Изыскания» — ну вот те, что папа написал,— прочитала три раза, а это ведь не развлекательное чтение, и книги Канидо тоже... Что бы вы там ни говорили, а я от них в восторге, да и твои тоже, Марио, не отрицай, все прочитала, одну за другой, и заучивала их от корки до корки, а перед тем как выйти замуж, я прочитала «Пимпинелу Эскарлату» и раз десять по крайней мере «Приедет морем» и была в восторге — никогда еще книга не доставляла мне такого наслаждения, честное слово, в ней было какое-то особое очарование... а эта идиотка Эстер так задирает нос, как будто она только одна и читает. А еще я помню, Марио, что от доски до доски прочитала книгу стихов этого твоего друга... Барсéса или Борнéса — помнишь? — ну, того самого, которого мы встретили в Мадриде во время свадебного путешествия,— о Гранаде, кажется,— ведь он все время говорил о Гарсии Лорке... Он был такой рыжеватый, а она — полненькая, очень смуглая, ты ведь ее знал, я думаю, со времен войны,— ты уж не обращай на меня внимания,— на вид он был очень застенчивый,— ну да ладно, неважно,— так вот, я прочитала его книгу залпом, это были очень странные стихи: одни — короткие-короткие, а другие — длинные-длинные, их и клеем не склеишь — все шиворот-навыворот, и, когда я кончила, у меня началась страшная мигрень — помнишь? — и не такая, как обычно, а вроде в середине головы. Как его звали, этого твоего друга, голубчик? Фамилия его вертится у меня на кончике языка... Он говорил очень тихо, точно на исповеди, и с небольшим акцентом, и по вечерам вы гуляли, читали стихи друг другу, да-да, голубчик, и мы еще зашли в кафе на Гран-виа, вот что на углу,— а там так голова кружится! — там полным-полно зеркал, входишь и оказываешься как в лабиринте. Какой был вечерок, господи боже, прямо на диво! Я-то надеялась, что ты прочитаешь стихи о моих глазах... Помню, каждый раз, как ты начинал читать стихотворение, я думала: «Сейчас он прочитает о моих глазах», ну да, как же! — иллюзии! А уж я и не знаю, что бы я дала за это! Если бы Эльвиро не сказал, я ничего бы и не знала, подумай только! «Марио читает тебе свои стихи?» А я в полном изумлении: «Марио пишет стихи? В первый раз слышу». А он: «С малых лет». Потом он сказал, что одно стихотворение ты посвятил моим глазам, и я умирала от любопытства — ты только подумай: ведь каждая женщина мечтает об этом... Но когда я попросила тебя прочесть, ты сказал: «Они слабые, вялые, сентиментальные»,— и тебя с места было не сдвинуть. А я от этого просто заболеваю, Марио, потому что писать стихи ни для кого — это бессмыслица, это то же самое, что выйти на улицу и орать на всех перекрестках,— так только одни сумасшедшие делают. Боррес!.. Нет, нет, не Боррес, но что-то

в этом роде: я твердо помню, что его фамилия начиналась на «Б»,— ты ведь знаешь, кого я имею в виду, Марио? Он был такой неряшливый, совсем простецкий с виду,— ну, одного с тобой поля ягода... А она андалуска, смуглая, волосы у нее были подобраны, и нас она все время называла на «вы»: «Вы говорите...», «Раз вы это говорите...», и она еще так интересно рассказывала про ярмарку в Севилье, про лошадок и все такое прочее... Я видела, что ты смеялся от души,— ты не помнишь? Ну, голубчик, какая досада! Мы сидели у входа, там, с правой стороны, на красном диване, за занавесками, вы с ним сидели друг против друга, и он все время подтягивал брюки, а потом, когда мы вышли, мы говорили, что он волосатый и без изюминки... Барнес! Вот-вот, Барнес, Хоакин Барнес,— по-моему, его звали Хоакин, Марио, да, да, это точно,— ах, ну слава богу, прямо гора с плеч свалилась!

XXVII

...Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека... Да уж, что называется, он стал другим человеком, и я была бы счастлива, если бы ты видел его, Марио,— просто ради удовольствия,— он так выглядит, что ты себе этого и представить не можешь: в английской спортивной куртке, локоть на окошечке, такой загорелый, а потом эти глаза!.. прямо мечта! Как будто это и не он... Вам, мужчинам, везет, как я говорю: если вы не хороши в двадцать лет, вам остается только подождать еще двадцать — уж не знаю, в чем тут дело. И я тут же его узнала, ты не поверишь: красный «тибурон», сам понимаешь, такой автомобиль с другим не спутаешь... И хотя я пыталась притвориться, что не вижу его, он — раз! — затормозил, прямо как в кино, и автомобиль, весь дрожа, с минуту постоял, а Пако заулыбался: «Ты в центр?» А я была совсем закомплексована: ведь Кресенте все время следил за нами со своего мотокара. «Да».— «Ну влезай». И дверца уже открыта, и что я могла сделать? — влезла, и там было гораздо уютнее, чем на диване для гостей, Марио, даю тебе слово, и я ему сказала: «Я в восторге от твоего автомобиля», и это сущая правда: ведь кажется, что он не касается земли, как по воздуху летит. И тогда он развернулся и вылетел, как ракета, на шоссе Эль Пинар, а я ему говорила: «Вернись, ты что, с ума сошел, что скажут люди?» А он — ноль внимания, все увеличивал и увеличивал скорость, и что он говорил!.. Он говорил: «Пусть болтают, что хотят», и мы оба засмеялись,— прямо безумие, подумай только! — сидим в «тибуроне», рука к руке, скорость — сто десять, так что у меня даже голова закружилась, клянусь тебе, ведь есть вещи, которых не объяснишь... Ты только представь себе: этот балбес даже слова путал, а теперь его и не узнать: апломб, спокойствие, говорит вполголоса, не кричит и говорит все правильно, как светский человек,— не увидишь — не поверишь, а посмотреть есть на что: столько всего повидал этот человек — он ведь непоседа,— боже мой! Этот-то шалопай! И в самом деле, Транси говорила мне об этом в тот вечер, когда я встретила ее,— подумай только! — еще и месяца не прошло, как Эваристо бросил ее, а ей хоть бы что, эту женщину горе не убьет, ну, впрочем, она всегда была немного... Не знаю, как тебе объяснить... Она никогда ничего не принимала слишком всерьез, представь себе, этакая пустышка! И это с тремя-то детьми! Так вот, она тоже: «Ты видела Пако? Милочка, он невероятно красив». И это правда, Марио, он совершенно изменился, и сколько бы я тебе о нем ни рассказывала, ты

не сможешь себе этого представить — такие манеры, такая деликатность!.. Как говорится, другой человек, вот что, а я помню в те времена он говорил «поза» вместо «доза» и все в таком роде, прямо беда!.. И я не знаю его родителей, но отец у него был в лучшем случае подрядчик — из ремесленников, конечно, люди так себе, но, честно говоря, Пако всегда был умницей, и во время войны он проявил себя великолепно: тело у него как решето, все в осколках, ты и представить себе не можешь. Ну так вот, смотришь сейчас, как он правит, и диву даешься — какая легкость! — ни одного лишнего движения, он как будто родился за рулем. И потом этот резкий запах — смесь светлого табака и мужского одеколона... И за версту видно, что он занимается спортом — теннисом и все такое, а когда он курит, то не выпускает сигарету изо рта,— вот как! — и это на скорости сто десять — прямо с ума сойти! — а глазами моргает, как в кино. И я ему говорила, клянусь тебе: «Вернись, Пако, у меня куча дел». А он давай хохотать,— и все зубы у него целы, просто на зависть, ты подумай только! — «Не будем терять время — жизнь коротка», и понесся как сумасшедший — скорость сто двадцать, и тут мы встретили «дос кабальос» Ихинио Ойарсуна,— интересно, откуда это он ехал по шоссе в такую пору,— и я было хотела съежиться, но я почти уверена, что он меня видел,— представляешь, какой ужас? А Пако: «Что с тобой, малышка?» А потом: «Ты все такая же». А я: «Вот глупости! Подумай, сколько лет прошло!» А он — так деликатно: «Время для всех проходит по-разному». Ты скажешь, что это — любезность, но это заслуживает благодарности, тут и спорить не о чем. А когда он остановился, он с меня глаз не спускал и вдруг спросил меня,— какой срам! — умею ли я править, а я сказала, что чуть-чуть, почти не умею,— а он ведь постоянно, каждый день видел меня в очереди на автобус среди этих людишек, и я просто не знала, куда деваться,— в жизни мне не было так стыдно, даю тебе слово,— да только что я могла ему ответить? — правду, Марио: кто говорит правду, тот не лжет и не грешит,— что у нас автомобиля нет,— тебе ведь плевать было на требования современности... И ты не можешь себе представить, что с ним было! Хотела бы я, чтобы ты его видел: «Нет? Нет? Нет?» — как сумасшедший, честное слово, и еще похлопал себя по лбу, оно и понятно, я же говорю тебе, дорогой, что в те времена — это еще туда-сюда, но сегодня автомобиль — не роскошь, а рабочий инструмент. А Пако давай курить сигареты одну за другой — выкурил никак не меньше двадцати штук и говорит: «Ну, как там Транси?» А я ему рассказала, что ей не повезло и что если он помнит этих «стариков», так вот Эваристо — тот, высокий,— женился на ней уже пожилым человеком, а через пять лет бросил ее с тремя детьми и удрал в Америку, кажется, в Гвинею. И тут Пако: «Все мы ошибаемся, не так-то просто сделать удачный выбор». И я прямо оцепенела от изумления: у него от слез блестели глаза, Марио, могу тебе поклясться, и мне стало его жалко — такой отличный мужчина!.. И я не удержалась и спросила его: «Ты несчастлив?» А он: «Оставим это. Я живу, а это уже немало». А сам — все ближе, ближе ко мне, а я, знаешь ли, прямо остолбенела, я хотела как-то помочь ему — я ведь ничего дурного не думала,— и тут я возьми да и вспомни, как мы гуляли по Асера, вспомнила о тех временах, Марио, когда этот варвар Армандо делал рога и мычал,— помнишь? — это перед тем, как мы стали женихом и невестой,— словом, все это. А он: «Хорошее было время!» — как это обычно говорят, и вдруг: «Может, я тогда упустил случай. А потом, знаешь, война», вроде с грустью, а я ему говорю: «Да ведь ты изумительно вел себя во время войны, Пако, не спорь». А он ни с того ни с сего расстегнул рубашку — он не носит

ни свитера, ничего, это среди зимы-то! — и показал мне рубцы на груди, в волосах,— такой ужас! — ты и представить себе не можешь, да и кто мог бы подумать? Он стал очень мужественным, а в детстве напоминал младенца Иисуса,— и я прямо похолодела, даю тебе слово: я ведь этого совсем не ожидала и говорю ему: «Бедненький!» Только это и сказала, больше ничего, клянусь тебе, а он обнял меня за плечи, и я подумала, что это он без всякой задней мысли, клянусь тебе, но когда я попыталась понять, что происходит, он уже целовал меня — ты и не поверишь,— и, уж конечно, очень крепко, так что я и не соображала, что делаю,— я была как на карусели,— да-да, крепко-крепко, и очень долго, это правда, но я-то ведь ничего не делала, это я тебе точно говорю: я была как загипнотизирована, клянусь тебе, и смотрела я на него не отрываясь, уж не знаю, сколько времени, а потом еще этот запах — что-то вроде смеси мужского одеколона и светлого табака, так что женщину это может с ума свести,— спроси хоть у Вален, она мне это тысячу раз объясняла... Но ведь люблю я только тебя, мне незачем тебе это говорить, но я словно одурела, и, кажется, он не убавил скорости, а я с непривычки — как бы это сказать? — стала ну вот как вещь, как мешок, точь-в-точь, я и деревьев не видела,— подумай только! — а их ведь там много, я слышала лишь звук его голоса, близко-близко; конечно, по-настоящему он шел сверху — это ведь было точно на облаках, полная дезориентация, что ли... А он открыл мне дверцу и говорит — да так нежно: «Выходи», и я вылезла, точно во сне — ведь я же говорю тебе, что у меня не было ни воли, ничего, на меня будто какая-то слабость напала, это было именно так, я подчинялась ему, не отдавая себе отчета, и мы сели за кустом, на солнце, а куст был высокий-высокий, да, очень высокий, и он, конечно, закрыл нас, и представь себе: в эти часы, в рабочий день — никого, ни души, как говорится; и если бы я была в нормальном состоянии, то ничего такого не случилось бы, а Пако все говорил: «Посмотришь на меня и подумаешь, что у меня есть все на свете, а ведь я одинок, Менчу». А я опять: «Бедненький!» Но я была искренне взволнована, Марио, и это очень интересно — точно у меня не было других слов,— ну конечно, это была не я, совсем не я, я была загипнотизирована или что другое, я совершенно в этом уверена, ты подумай только,— хороша же я была! А он — как спятил: стал обнимать меня и прижимать к земле и говорил, говорил — знаешь, что он мне говорил?.. Впрочем, ничего тут такого нет, Марио: в конце концов, другие думают то же самое, только не говорят, а он говорил мне,— ты вот посмотрел бы на Элисео Сан-Хуана — он всегда так, да и тот же Эваристо,— уж не знаю, что у меня за грудь, что же я могу тут поделать? — а Пако все больше и больше возбуждался и говорил,— знаешь, что он мне говорил? — он говорил: «Двадцать пять лет я мечтал об этой груди, малышка», подумай только! А я как дура: «Бедненький!» — это тебе все объяснит. А он был словно вне себя, он даже порвал на мне платье и все прочее, Марио, но ведь это была не я, мне незачем говорить тебе это, прости меня, но я совсем не виновата — ведь я же оттолкнула его, клянусь тебе,— я напомнила ему о наших детях,— уж не знаю, откуда у меня силы взялись,— я совершенно лишилась воли, я была загипнотизирована, честное слово, но я отшила его, так что он остался несолоно хлебавши, даю тебе слово, умереть мне на этом самом месте,— поди знай, что ты делал в Мадриде с Энкарной,— прости меня, Марио, прости меня, я не хотела этого говорить, но ведь ровно ничего не случилось, можешь быть спокоен, клянусь, я напомнила ему о наших детях,— или, кажется, это он напомнил,— кто знает? — я все забыла, но ведь это же неважно, Марио,— у меня язык прилип к гортани, я слова

не могла вымолвить, я была совсем расстроена, дорогой,— ты должен это понять, я хочу только, чтобы ты меня понял, слышишь? — ведь хотя я и поступила плохо, но это была не я, можешь мне поверить,— та женщина не имела со мной ничего общего,— этого еще не хватало! — но ведь ничего же не произошло, совсем ничего, абсолютно ничего, клянусь тебе всем, чем хочешь, Марио, поверь мне, и если бы Пако не спохватился, спохватилась бы я — ты же меня знаешь,— хотя бы я совсем превратилась в тряпку, но виноват, в конце концов, был он, это было видно, потому что когда он оторвался от меня, у него были такие глаза, что страшно было смотреть,— глаза у него метали искры, Марио, он был как сумасшедший, но он сказал: «Мы оба сошли с ума, малышка, прости меня, я не хочу сделать тебя несчастной» — и поднялся, и мне стало стыдно,— ну да, это было так; если разобраться, это он опомнился, но ведь кто из нас опомнился — это же неважно, дорогой, самое главное — ничего не произошло, даю тебе слово,— этого бы еще не хватало! — ведь я обязана уважать тебя и помнить о наших детях,— но только, пожалуйста, не молчи — неужели ты мне не веришь? — я рассказала тебе все, Марио, дорогой, с начала до конца, так, как оно было, клянусь, я ничего не утаила, я рассказала все, как на исповеди, честное слово,— Пако обнимал меня и целовал — это я признаю, но дальше у нас не пошло,— хорошенькое было бы дело! — клянусь тебе, ты должен мне поверить,— ведь это последняя возможность открыться тебе, Марио, неужели ты не понимаешь? Если ты не поверишь мне, я сойду с ума, честное слово, а раз ты молчишь, значит, ты мне не веришь,— разве ты не слышишь меня? — ты подумай: я никогда не была так откровенна ни с кем, так и знай, я могла бы поклясться тебе, я честно с тобой говорю, послушай; простишь ты меня или нет? А то я умру, понимаешь? Это не каприз, Марио, посмотри на меня хоть одну секундочку, пожалуйста! Не сравнивай меня с моей сестрой — нет, даже подумать страшно!.. Хулия ведь непорядочная женщина, не спорь со мной, ей нельзя простить, она спуталась с итальянцем, ну, посуди сам, в разгар войны, да еще без любви, ведь Галли, в конце концов, неизвестно кто, это совсем не то, что Пако,— пусть он потерял голову и все такое прочее, но в конечном итоге он оказался рыцарем, Марио: «Мы сошли с ума, малышка, прости меня», это такая чуткость, что я и слова не могла вымолвить, клянусь тебе, Марио, клянусь тебе всем, чем только хочешь,— я уже готова была сказать ему но ведь я как одурела, я была прямо под гипнозом, у меня не было ни воли, ничего — мешок какой-то, но я сказала бы ему, честное слово, а он опередил меня,— ведь неважно, кто из нас опомнился первым, самое главное — ничего не произошло, это сущая правда, Марио, но ты хоть взгляни на меня, скажи что-нибудь, не молчи, пожалуйста, мне кажется, ты мне не веришь, ты думаешь, я тебя обманываю и все такое, но это не так, Марио, дорогой мой, я в жизни никогда не была так откровенна, я сказала тебе всю правду, всю-всю, только правду, клянусь тебе — больше ничего не было, ну посмотри на меня, скажи что-нибудь, ну пожалуйста,— вот ты какой... я валяюсь у тебя в ногах, больше я ничего не могу сделать, Марио, дорогой,— ведь в конце концов, если бы ты в свое время купил мне «шестисотку», мне не нужны были бы никакие «тибуроны», это совершенно точно,— вот эти-то ваши запретные плоды и доводят нас до крайностей — это сущая правда, это тебе всякий скажет, но только прости меня, Марио, я на коленях прошу тебя,— ничего больше не было, даю тебе честное слово: я была только твоей, клянусь тебе, клянусь тебе, клянусь тебе всем самым для меня святым, Марио, ну чем только ты захочешь,— клянусь тебе мамой,— ты подумай, я

так ее любила; посмотри на меня хоть секунду, ну сделай мне такую милость, посмотри на меня! — разве ты меня не слышишь? — ну что мне сказать тебе? — Марио, пусть я умру, если это неправда! — ничего не было,— ведь Пако, в конце концов,— рыцарь,— конечно, и то сказать, он не на такую напал, но если бы у меня была «шестисотка», мне не понадобились бы никакие Пако, клянусь тебе, Марио; клянусь тебе Эльвиро и Хосе-Мария — чего ты еще хочешь? — ничем больше я не могу поклясться, Марио,— в том, что я могу ни перед кем не опускать глаз, так ты и знай, но ты только послушай меня,— ведь я же говорю с тобой! — не притворяйся, что не слышишь, Марио! — ну пожалуйста, посмотри на меня одну секунду, хотя бы полсекунды, умоляю — посмотри на меня! — я ничего плохого не сделала, честное слово, клянусь богом,— посмотри на меня одну секундочку, только одну секундочку, ну доставь мне эту радость, что тебе стоит? — я буду на коленях тебя просить, если хочешь,— мне нечего стыдиться, клянусь тебе, Марио, клянусь тебе! клянусь тебе!! Посмотри на меня!! — пусть я умру, если это неправда!! — не пожимай плечами, пожалуйста, посмотри на меня, на коленях прошу, я не могу больше, Марио, не могу, клянусь,— посмотри на меня, а то я сойду с ума! Ну, пожалуйста!..

Услышав стук в дверь, Кармен вздрагивает. Она поворачивает голову, садится на пятки и делает вид, что ищет что-то на полу. Ее глаза и руки выражают предел нервного напряжения. Хотя свет наступившего дня уже проникает в окно, лампа по-прежнему горит, вычерчивая слабый световой круг на ящике для обуви и на ногах покойника.

— Ты что, мама? Вставай! Что ты тут делаешь на коленях?

Кармен встает и бессмысленно улыбается. Она чувствует себя беззащитной, слабой и вялой. Ее красные веки стали почти фиолетовыми; смотрит она искоса, словно с перепугу.

— Я молилась,— шепчет она неуверенно — так, чтобы ей не поверили.— Я молилась, больше ничего,— прибавляет она.

Юноша подходит к ней, обнимает ее за плечи молодой рукой и чувствует, что она дрожит.

— Как ты себя чувствуешь? — спрашивает он.

— Хорошо, сынок, а что?

За одну ночь щеки у нее сморщились, по углам подбородка и под ним пролегли дряблые складки, похожие на гнойные раны. Под глазами тоже гнойный рубец и воспаленные синеватые морщины. Марио продолжает допытываться:

— Тебе холодно? Мне показалось, что ты говорила сама с собой.

Он осторожно подталкивает ее к дверям, но Кармен не хочется уходить из комнаты. Она упирается молча, бессознательно, упорно, и Марио уже не так крепко обнимает ее. Кармен смотрит по сторонам, как будто впервые видит кабинет, вернее — склеп, в котором она провела всю ночь. В окно уже ясно виден стоящий напротив дом, его глиняные зеленые балконы и задернутые белые шторы на окнах. Одна штора внезапно отдергивается с сухим треском, похожим на стук столкнувшихся биллиардных шаров, и кажется, что дом зевнул и проснулся. Прежде чем штору отдернули, внизу, на узкой улице, взорвался первый мотокар. А когда грохот смолк, послышались отголоски разговоров и шаги вставших на рассвете и идущих на работу людей. На оконном выступе подпрыгивает, суетится и весело, как весной, чирикает воробей. Может быть, его вводит в за-

блуждение клочок неба, который как занавес нависает над мастерской Асиско дель Пераля,— неба, которое в несколько минут почти без перехода превращается из черного в светлое, из светлого — в голубое. Кармен замечает креп, перевернутые книги, картинки с контурами велосипедов — окружности, треугольники, пунктирные линии,— голубой глобус на столе, лампу, кресло Марио с потрескавшейся по краям сиденья кожей и медленно, точно уяснив себе, наконец, что произошло, переводит глаза на тело и на лицо покойного. Она вздрагивает, смотрит на сына, машинально сжимает дрожащими пальцами ворот его рубашки и говорит глухо, с улыбкой, незаметно для себя преисполняясь гордостью:

— Ты обратил внимание, что он не изменился? Даже не побледнел.

Марио пожимает плечами.

— Оставь это,— говорит он и вырывается, но Кармен словно прибили к полу.

— Без очков он не похож на себя,— добавляет она.— В молодости он не носил очков и все время смотрел на меня в кино, понимаешь? Это было много-много лет назад,— не помню, сколько! — ты, кажется, еще и не родился, ужасно давно... Он был, по правде говоря, красивый, только вот я не знаю, почему в жизни все в конце концов меняется к худшему.

Кармен набирает силы, как самолет, поднимающийся в воздух, и когда Марио говорит: «Тебе не надо было оставаться одной. Ты разволновалась. Ты поспала хоть немножко?» — она, все так же не двигаясь, разражается рыданиями, а затем, спрятав лицо на груди сына, в его голубом свитере, долго и бессвязно шепчет, и из этого шепота Марио с трудом улавливает отдельные фразы или обрывки фраз («...ни к чему...», «...если бы я раньше...», «...хоть бы один взгляд...»), но в конце концов подъем сменяется упадком, и Кармен позволяет отвести себя на кухню, садится на белую табуретку и следит за тем, как Марио наливает воду в итальянский кофейник, как он насыпает кофе в фильтр и ставит на цифру «3» скорую горелку. Когда горелка нагревается, влажный низ кофейника начинает шипеть. В кухне полумрак; Марио садится на другую табуретку, рядом с матерью. На освещенном дворе слышится первый шум, звучат первые утренние голоса.

Кармен сгибается в поясе, как будто ее чем-то нагрузили, точно ее грудь, которая по-прежнему натягивает черную шерсть, теперь слишком тяжела для нее. Кармен незаметно одергивает свитер под мышками и говорит:

— Знаешь, мне не верится, что для всех сегодня день как день. Я не могу, я просто не могу привыкнуть к этой мысли, Марио.

Марио медлит с ответом. Он боится снова нарушить ее душевное равновесие.

— Все через это проходят,— наконец говорит он.— Все раз в жизни проходят через это состояние, мама... Не знаю, как тебе объяснить.

В окно проникает скупой свет. Кармен — в тени. Когда она говорит, почти посередине ее лица зияет дыра, еще более темная, чем все лицо.

— Теперь все не так, как раньше.

Марио впивается в колени своими загорелыми, сильными, молодыми руками:

— Мир меняется, мама, это естественно.

— Он меняется к худшему, сынок, всегда к худшему.

— Почему к худшему? Просто мы поняли: не все, о чем думали

много веков назад, ну, не все унаследованные нами идеи — самые лучшие. Более того — некоторые из них совсем не так уж хороши, мама.

Кармен смотрит на него и хмурится:

— Я тебя не понимаю.

Они говорят вполголоса. Марио явно хочет, чтобы она поняла его:

— Надо прислушиваться к другим, мама,— вот что я хочу сказать. Ты никогда не обращала внимания, например, что наше понятие о справедливости всегда почему-то совпадает с нашими интересами?

Взгляд Кармен временами становится сосредоточенным и тревожным. А взгляд Марио — все простодушней и все бодрее.

— Попробуем просто-напросто открыть окно. В нашей несчастной стране окна еще никогда не открывались, ты пойми!

Марио порозовел. Он немного смущен. Чтобы скрыть это, он встает и подходит к кофейнику. Он поворачивает кран и выключает горелку, и на несколько секунд она становится пепельной. Он берет с посудной полки две чашки и сахарницу. Протягивает кофе матери — та сидит неподвижно, прищурившись, как будто рассматривает что-то издалека.

— Не понимаю я вас,— шепчет она наконец.— Все вы говорите загадками, вам словно хочется свести меня с ума. Вы слишком много читаете.

Марио подвигает к ней чашку.

Кармен медленно размешивает сахар ложечкой и пьет. Сперва пьет неохотно, сжимая губы, как бы боясь обжечься, но, убедившись, что кофе не горячий, пьет уже спокойно. Потом опять смотрит на сына, пытаясь понять его уже не разумом, а просто как биологическое явление, как продолжение самой себя.

— Этого не может быть,— наконец произносит она.— Не может быть, чтобы ты остался таким же мальчишкой, как тогда, когда стал ходить в школу и я говорила: «Он у меня ученый», а ты говорил: «Я не ученый, мама,— я философ».

Желая скрыть смущение, Марио пьет кофе, но слишком сильно наклоняет чашку, и кофе течет по углам его рта. Он отставляет чашку на белый мрамор стола и поспешно вытирает рот тыльной стороной руки.

— Не надо! — шепчет он.— Можно подумать, что тебе доставляет удовольствие стыдить нас нашими вундеркиндскими выходками.

Кармен широко открывает глаза; она искренне удивлена.

— Честное слово, я тебя не понимаю,— говорит она.— Вы отрекаетесь от тех лет, когда вы были лучше, чем теперь. Твой родной отец...

Марио хватается за голову.

— Господи! — говорит он.— Лучше, чем теперь! Бога ради, мама! Прошло время, когда мы исповедовали это чудовищное манихейство [1]: это — хорошо, а это — плохо.— Аромат кофе и внимание слушательницы переносят Марио в бар Флоро, за столиками которого его однокурсники ежедневно беседуют и редактируют бюллетень «Агора». Марио вдохновляется, закуривает сигарету.— Хорошие — направо, плохие — налево. Вас обучали этому, правда? И вы предпочли

[1] Манихейство — религиозно-философское учение, названное по имени его основоположника, персидского ересиарха Мани (III в.). В основе этого учения лежит дуалистическое мировоззрение, разделяющее бытие на два начала — добра и зла, находящихся в постоянной борьбе.

усвоить только это и не потрудились заглянуть глубже. Все мы — одновременно и хорошие и плохие, мама. И то и другое. А изгнать надо лицемерие, понимаешь? Лучше понять и признать это, чем всю жизнь спорить. В нашей стране со времен коммунерос [1] мы только и делаем, что затыкаем себе уши. А того, кто кричит слишком громко, кто может перебороть нашу глухоту и разбудить нас, мы изгоняем — и все в порядке! «Это голос зла»,— говорим мы себе в утешение. И вполне довольны.

Кармен смотрит на него с испугом. Глаза ее становятся плоскими. Все лицо ее теперь стало плоским. Марио понимает, что все это бесполезно, все это равносильно надежде на то, что стенка всосет в себя мяч или мяч приклеится к ее гладкой поверхности. Лицо у Кармен плоское, как стенка. И, как стенка, она отбрасывает от себя мяч, с каждым разом все сильней и сильней. Пауза. И все-таки Кармен не сердится. Она настроена благодушно. В соседней комнате зашевелилась Доро. Освещенный двор полнится шумом: лениво переговариваются люди, скрежещут мусорные урны, которые кто-то волочит по камням, звенит посуда. Упрямо покачав головой, как бы желая отогнать какую-то мысль, Кармен спрашивает:

— А ты, сынок, спал?

Марио выливает свой кофе. Он затягивается сигаретой всякий раз с такой жадностью, как будто решил проглотить ее.

— Нет,— отвечает он.— Я не мог. Это было очень странно. Каждый раз, как я пробовал заснуть, мне казалось, что я тону в матраце, понимаешь? Голова кружилась. А вот здесь,— он указывает правой рукой на живот,— вот здесь такое ощущение, как будто ты идешь на экзамен и тебя сейчас вызовут.

Взгляд Кармен становится напряженным. Темные обвисшие мешки у нее под глазами внезапно исчезают.

— Нет! — кричит она.

Но в эту минуту из спальни выходит Доро. «Доброе утро»,— говорит она глухо. В глубине коридора хлопает дверь. Потом еще раз. Тут же раздается звонок. Это Валентина. Вялые черты ее лица и нахальный белобрысый завиток раздражают Кармен. Валентина подходит к ней, и обе женщины прижимаются друг к другу щеками — сперва левой, потом правой — и для видимости целуют воздух, пустоту, так что обе слышат приглушенные звуки поцелуев, но не чувствуют их тепла.

— Ты еле жива, Менчу, правда? Теперь ты это почувствовала. И ты совсем-совсем не спала?

Кармен не отвечает. Валентина торопит ее. Сейчас без четверти восемь. Пока все улаживается, появляются Бене и Эстер. Это напоминает чай по четвергам. Женщины тащат ее на панихиду. Когда они возвращаются, в доме столпотворение. В сознании Кармен возникает все, что было раньше, но только теперь это кажется ей очень далеким. «Ты не представляешь себе, какое впечатление это на меня произвело».— «Милая! Такой молодой!» — «Я узнал об этом из газет — чисто случайно». Правая рука ее снова ощущает пожатия. Она наклоняется сперва влево, потом вправо. Ощущает точно спящие губы, которым лень целоваться. И все же они целуются и целуются без передышки. Эстер читает ей некролог в «Эль коррео»: «Покойся в мире, добрый человек! Ты предпочел...» — «Добрый — для кого?» — «В такую материалистическую эпоху, как наша, Марио Диес Кольядо в своих работах и своим личным примером...» «Хорошо написано,

[1] Речь идет о «восстании коммунерос» (то есть городов-коммун), вызванном недовольством внутренней политикой короля Карла I (1520 г.).

а?» — «Я глубоко тронута».— «Вот какие дела. Я жду внизу».— «Царство ему небесное».— «Ты ни в чем не виновата, Кармен. Я пришел ради тебя».— «Спасибо, Хосечу, не могу выразить, как я тебе благодарна». У призраков глаза матовые, запавшие, точно ввинченные, призраки движимы — движимы одними и теми же побуждениями, и то болтливы, то немногословны. «Можно я посмотрю на него?» — «Потом тебе надо будет лечь, Менчу. Здоровьем не шутят».— «Конечно!» — «Он совсем не изменился, даже не побледнел».— «Я жду внизу». Тишина. Марио в голубом свитере, Менчу и Альваро бродят среди призраков, как неприкаянные. Ходят взад и вперед, не находя себе места. «Да, сердце — коварная штука». Вздохи. «А Чаро ты не жди. Она осталась с Энкарной».— «Ты ведь не поедешь на кладбище, правда? Не советую, душечка, послушайся ты меня...» — «Ты не знаешь, дети хорошо спали?» Призраки все прибывают и прибывают — кажется, что засорился водосток. «Бертран! Может, вы подождете на улице? А то здесь повернуться негде».— «Как легли, так тут же и заснули, милая,— счастливые!» — «Доро! Скажите, пожалуйста, лифтерше и всем этим людям, чтобы они прошли на кухню». Кармен наклоняется влево, потом вправо и целует воздух, ничто, может быть, чью-нибудь выбившуюся прядь. «Воображаю, каково тебе, бедняжка! Я до сих пор не могу поверить».— «Царство ему небесное».— «Да ведь и я тоже... Вечером... позавчера вечером он поужинал как ни в чем не бывало и еще почитал. Да мне это и в голову не могло прийти!» Призраки, даже стеснившись, уже не помещаются в кабинете и в столовой. Сгрудившись, они направляются в маленькую прихожую. «Все мы — тлен».— «Меня скоропостижная смерть приводит в ужас».— «Хотите немного подышать воздухом?»

Когда пришли парни от Карона, волнение усилилось. Кармен, Марио, Валентина и Эстер ходят взад и вперед, открывают и закрывают двери, но один из отставших призраков не вовремя задерживает Кармен: «Я узнал об этом из газет чисто случайно».— «Спасибо, Ихинио. Не могу выразить, как я тебе благодарна». Ихинио Ойарсун остается в прихожей вместе с аптекарем Арронде. Он без пальто, хотя сейчас еще рано и свежо. Дверь в кабинет открыта, и оттуда доносятся вздохи и рыдания. «Добрее его на всем свете не было!» — «Это верно».— «Все мы — тлен». Ихинио Ойарсун пронзает взглядом Мойано сквозь его бороду — бороду раввина. Арронде тоже смотрит на него искоса, а затем наклоняется к Ойарсуну и тихо говорит: «Это революционер».— «Ха!» — Ойарсун смеется или делает вид, что смеется. Потом шепчет: «Знаю я эти революции. Прогонят меня, чтобы поставить его. Для кого-то одного революции выгодны, но их общая польза весьма невелика. Все мы — бессовестные».— «Сердце — такая коварная штука!» — «Он даже не успел исповедаться».— «Бедняжка!» Мойано слегка наклоняет голову. У него влажные глаза, его кадык над черным свитером, под которым нет рубашки, судорожно поднимается и опускается. «Умер честный человек»,— говорит он Аростеги, но едва он успел это сказать, как коротышка Ойарсун, хотя это сказано не ему, резко отвечает ему, поднявшись на цыпочки над плечом Арронде: «Честный? Ха! Он был честным не ради честности, просто ему это нравилось. Хотел показать, что мы — нечестные. Тартюф!» Мойано выходит из себя. «Гнусный нации»,— говорит он. Ойарсун отходит от Арронде, тот пытается удержать его, но Ойарсун кричит, уже не стесняясь: «Пусти! Я этому типу морду разобью! Я этому типу...»

В дверях кабинета появляется голова Висенте.

— Тшш! — шепчет он.— Пожалуйста, тише — сейчас вынос.

Воцаряется тишина. Парни от Карона, окруженные толпой, выносят гроб на улицу, а сзади в раме двери на мгновение появляется Кармен. Она не плачет. Она оттягивает свитер под мышками и не сопротивляется, когда Валентина берет ее за плечи и привлекает к себе.

Послесловие

Мигель Делибес родился в Вальядолиде (Испания) в 1920 году — читаем мы в испанской Литературной энциклопедии. Получил ученую степень доктора права, стал в своем родном городе преподавателем Коммерческого училища и директором газеты «Эль норте де Кастилья». В 1948 году ему была присуждена премия имени Надаля за роман «Тень кипариса длинна». За этим романом последовали новые романы и новые премии. Действительный член Испанской Лингвистической академии с 1973 года, Мигель Делибес является одним из наиболее уважаемых писателей в современной Испании.

Роман «Пять часов с Марио» (Барселона, 1966), перевод которого мы предлагаем сейчас нашим читателям, наглядно показывает, насколько заслуженно это уважение. Делибес достигает совершенства в своей манере, которую можно было бы назвать «сложной простотой», хотя на первый взгляд его письмо не кажется таким уж сложным. Однако перевести «Пять часов с Марио» весьма трудно. Бойкий разговорный язык, множество идиоматических выражений, богатство оттенков и даже «неправильности» речи являются экзаменом для самого опытного переводчика.

Утром Марио находят в постели мертвым: сердечный приступ застал его во сне. Его вдова вызывает врача, которому остается только констатировать факт смерти. Появляются дети супругов. Появляются друзья покойного. К полуночи посетители расходятся. Вдова остается у смертного одра наедине с усопшим и с Библией, которая при жизни была его настольной книгой. Так начинается бдение около покойного, так начинаются **пять часов с Марио.**

Другими словами, начинается длинный, контрапунктический монолог. Кармен-Сотильо, типичная кастильянка, представительница некоего не менее типичного испанского среднего класса, читает и рассуждает. Она воскрешает в памяти и подводит дуалистический итог жизни, прожитой бок о бок с Марио. Кармен была верна своим принципам — и она оказалась хорошей. Марио же оказался плох, так как был верен своим.

Да, в глазах «безутешной вдовы» Марио — плохой человек, хотя он был католиком и во время войны сражался на стороне тех, кто защищал «добрые» устои, религию, родину, социальную иерархию, собственность, мораль, порядок. Брат Марио, Эльвиро, погиб, сражаясь в тех же рядах, но третий брат — Хосе-Мария — был расстрелян как красный; правда, и Эльвиро, и Марио, и их отец, в сущности, разделяли образ мыслей Хосе-Мария. Марио, преподаватель и писатель, был другом «каких-то людишек, от которых воняет», он как с равными обращался с бедняками, «которые и к обедне-то не ходят», он печатал антиконформистские книги и статьи об Испании Франко. Марио, сторонник свободного диалога, защищал заключенных, защищал «безвинные жертвы», о которых он то и дело говорил. Марио заботили судьба детей, лишенных школ, холод в тюрьмах, нищета батраков. Марио ненавидел капитализм, ненавидел косность и лицемерие, терпеть не мог тех, кто профанирует милосердие. Марио с возмущением отказался от должности члена муниципалитета, заявив, что его нельзя купить. В институте, где он преподавал, на него завели дело, так как он внушал своим ученикам, что церковь совершила ошибку, не оказав в свое время поддержки Французской революции.

За все это упрекает Марио благочестивая Кармен. Время от времени она прерывает свой монолог и предоставляет слово Библии. Она мечтает об инквизиции и ненавидит социальную справедливость. Она — сторонница казарменной дисциплины: «Должен быть кто-то, кто скажет: «Это можно, а это нельзя»,— и всем надо молчать и повиноваться». Это расистка и шовинистка, прикрывающаяся Евангелием. Невежество Кармен беспредельно.

В сбивчивом, изобилующем повторениями монологе Кармен нагромождает подробности и воссоздает свой портрет, портрет своего мужа и картину современного общества. Подробность за подробностью, одна фотопластинка за другой — и в представлении читателя, как в фотолаборатории, проявляются негативы этих портретов: белое становится густо-черным и наоборот. Резкий диссонанс или яркий контраст между цитатами из Евангелия и словами этой «христианки» исполнен горького юмора, который особенно ярко проявляется в печальной, пародийной исповеди.

Кармен закончила ночное бдение около покойника. Но последнее слово произносит Марио. Именно Марио, живой Марио, в котором живет Марио мертвый. Ма-

рио-сын, студент, своими словами подводит итог книге: «Мир меняется, мама... Мы поняли, что не все унаследованные нами идеи — самые лучшие. Надо прислушиваться к другим... Попробуем просто-напросто открыть окно... Все мы — одновременно и хорошие и плохие, мама. И то, и другое. А изгнать надо лицемерие...»

Длинный монолог, воссоздаваемый Делибесом,— это обвинительный акт против женщины, которая сама же его и произносит. Этот обвинительный акт значителен и серьезен, и касается он отнюдь не только вдовы Марио. Кармен — персонаж характерный. Таких Кармен все еще великое множество в испанском среднем классе, который поклоняется только одному богу — Деньгам.

Благодаря словам Марио-сына, позитивное начало в характеристиках его родителей сдвигается. «Ты никогда не обращала внимания,— спрашивает сын Кармен и Марио,— что наше понятие о справедливости всегда почему-то совпадает с нашими интересами?» И покойного Марио мы теперь видим как бы сквозь серую дымку. Можно сказать, что в невежестве Кармен повинны не только ее родители, но и — главным образом — ее муж. Ее монолог позволяет сделать вывод, что преподаватель Марио никогда не пытался образовать свою подругу жизни. Остается предположить, что у Марио, интеллигентного человека, который способен был проводить целые часы в спорах с друзьями, для жены была лишь традиционная фраза испанца: «А ты помолчи, это не бабьего ума дело».

Марио, честный, но пассивный интеллигент, не позаботился и о том, чтобы сделать своего сына человеком, способным пойти дальше абстрактных разглагольствований. Марио-отец страдал от нервной депрессии и «от страха, что собьется с пути истинного», и все предвещает ту же участь Марио-сыну: он будет изнывать в тоске, ибо ему надо выбрать свою дорогу, и будет терзаться на перекрестке этих дорог, подобно тому, как страдал от голода буриданов осел, хоть находился между двумя стогами сена. Он сын своего отца, так же как сын своей матери его младший братишка, которому уже сейчас нравится «ходить в поле и зажигать там костры»...

Итак, Мигель Делибес написал незаурядный роман о современном испанском обществе. Можно ли назвать его пессимистом? Ведь автор описывает не все общество, а только один его слой, слой, который ему близко знаком. В условиях жизни в Испании это уже немало для писателя. Мы сказали бы, что это даже много. Требовать от автора, чтобы он указывал пути или решения? Принимая во внимание роль цензуры в стране, где он живет, это, пожалуй, требовать от него невозможного.

СЕЛЬСО АМЬЕВА

■

Литературные иллюстрации

РИЧАРД БАХ

Чайка по имени Джонатан Ливингстон

ПОВЕСТЬ-ПРИТЧА

■

Перевод с английского Ю. РОДМАН

Невыдуманному Джонатану-Чайке,
который живет в каждом из нас.

Часть первая

Настало утро, и золотые блики молодого солнца заплясали на едва заметных волнах спокойного моря.

В миле от берега с рыболовного судна забросили сети с приманкой, весть об этом мгновенно донеслась до Стаи, ожидавшей

завтрака, и вот уже тысяча чаек слетелась к судну, чтобы хитростью или силой добыть крохи пищи. Еще один хлопотливый день вступил в свои права.

Но вдали от всех, вдали от рыболовного судна и от берега в полном одиночестве совершала свои тренировочные полеты чайка по имени Джонатан Ливингстон. Взлетев на сто футов в небо, Джонатан опустил перепончатые лапы, приподнял клюв, вытянул вперед изогнутые дугой крылья и, превозмогая боль, старался удержать их в этом положении. Вытянутые вперед крылья снижали скорость, и он летел так медленно, что ветер едва шептал у него над ухом, а океан под ним казался недвижимым. Он прищурил глаза и весь обратился в одно-единственное желание: вот он задержал дыхание и чуть... чуть-чуть... на один дюйм... увеличил изгиб крыльев. Перья взъерошились, он совсем потерял скорость и упал.

Чайки, как вы знаете, не раздумывают во время полета и никогда не останавливаются. Остановиться в воздухе — для чайки бесчестье, для чайки это — позор.

Но Джонатан Ливингстон, который, не стыдясь, вновь выгибал и напрягал дрожащие крылья — все медленнее, медленнее и опять неудача,— был не какой-нибудь заурядной птицей.

Большинство чаек не стремится узнать о полете ничего кроме самого необходимого: как долететь от берега до пищи и вернуться назад. Для большинства чаек главное — еда, а не полет. Для этой же чайки главное было не в еде, а в полете. Больше всего на свете Джонатан Ливингстон любил летать.

Но подобное пристрастие, как он понял, не внушает уважения птицам. Даже его родители были встревожены тем, что Джонатан целые дни проводит в одиночестве и, занимаясь своими опытами, снова и снова планирует над самой водой.

Он, например, не понимал, почему, летая на высоте меньшей полуразмаха своих крыльев, он может держаться в воздухе дольше и почти без усилий. Его планирующий спуск заканчивался не обычным всплеском при погружении лап в воду, а появлением длинной вспененной струи, которая рождалась, как только тело Джонатана с плотно прижатыми лапами касалось поверхности моря. Когда он начал, поджимая лапы, планировать на берег, а потом измерять шагами след, оставляемый на песке, его родители, естественно, встревожились не на шутку.

— Почему, Джон, *почему?* — спрашивала мать.— Почему ты не можешь вести себя, как все мы? Почему ты не предоставишь полеты над водой пеликанам и альбатросам? Почему ты ничего не ешь? Сын, от тебя остались перья да кости.

— Ну и пусть, мама, от меня остались перья да кости. Я хочу знать, что я могу делать в воздухе, а чего не могу. Я просто хочу знать.

— Послушай-ка, Джонатан,— говорил ему отец без тени недоброжелательности.— Зима не за горами. Рыболовные суда будут появляться все реже, а рыба, которая теперь плавает на поверхности, уйдет в глубину. Если тебе непременно хочется учиться, изучай пищу, учись ее добывать. Полеты — это, конечно, очень хорошо, но одними полетами сыт не будешь. Не забывай, что ты летаешь ради того, чтобы есть.

Джонатан покорно кивнул. Несколько дней он старался делать то же, что все остальные, старался изо всех сил: пронзительно кричал и дрался с сородичами у пирсов и рыболовных судов, нырял за кусочками рыбы и хлеба. Но у него ничего не получалось.

«Какая бессмыслица,— подумал он и решительно швырнул с трудом добытого анчоуса голодной старой чайке, которая гналась за ним.— Я мог бы потратить все это время на то, чтобы учиться летать. Мне нужно узнать еще так много!»

И вот уже Джонатан снова один далеко в море — голодный, радостный, пытливый.

Он изучал скорость полета и за неделю тренировок узнал о скорости больше, чем самая быстролетная чайка на этом свете.

Поднявшись на тысячу футов над морем, он бросился в крутое пике, изо всех сил махая крыльями, и понял, почему чайки пикируют, сложив крылья. Всего через шесть секунд он уже летел со скоростью семьдесят миль в час, со скоростью, при которой крыло в момент взмаха теряет устойчивость.

Раз за разом одно и то же. Как он ни старался, как ни напрягал силы, достигнув высокой скорости, он терял управление.

Подъем на тысячу футов. Мощный рывок вперед, переход в пике, напряженные взмахи крыльев и отвесное падение вниз. А потом каждый раз его левое крыло вдруг замирало при взмахе вверх, он резко кренился влево, переставал махать правым крылом, чтобы восстановить равновесие, и, будто пожираемый пламенем, кувырком через правое крыло входил в штопор.

Несмотря на все старания, взмах вверх не удавался. Он сделал десять попыток, и десять раз, как только скорость превышала семьдесят миль в час, он обращался в неуправляемый комок взъерошенных перьев и камнем летел в воду.

Все дело в том, понял наконец Джонатан, когда промок до последнего перышка,— все дело в том, что при больших скоростях нужно удержать раскрытые крылья в одном положении — махать, пока скорость не достигнет пятидесяти миль в час, а потом держать в одном положении.

Он поднялся на две тысячи футов и попытался еще раз: входя в пике, он вытянул клюв вниз и раскинул крылья, а когда достиг скорости пятьдесят миль в час, перестал шевелить ими. Это потребовало неимоверного напряжения, но он добился своего. Десять секунд он мчался неуловимой тенью со скоростью девяносто миль в час. Джонатан установил мировой рекорд скоростного полета для чаек!

Но он недолго упивался победой. Как только он попытался выйти из пике, как только он слегка изменил положение крыльев, его подхватил тот же безжалостный неодолимый вихрь, он мчал его со скоростью девяносто миль в час и разрывал на куски, как заряд динамита. Невысоко над морем Джонатан-Чайка не выдержал и рухнул на твердую, как камень, воду.

Когда он пришел в себя, была уже ночь, он плыл в лунном свете по глади океана. Изодранные крылья были налиты свинцом, но бремя неудачи легло на его спину еще более тяжким грузом. У него появилось смутное желание, чтобы этот груз незаметно увлек его на дно, и тогда, наконец, все будет кончено.

Он начал погружаться в воду и вдруг услышал незнакомый глухой голос где-то в себе самом: «У меня нет выхода. Я чайка. Я могу только то, что могу. Родись я, чтобы узнать так много о полетах, у меня была бы не голова, а вычислительная машина. Родись я для скоростных полетов, у меня были бы короткие крылья, как у сокола, и я питался бы мышами, а не рыбой. Мой отец прав. Я должен забыть об этом безумии. Я должен вернуться домой, к своей Стае, и довольствоваться тем, что я такой, какой есть,— жалкая, слабая чайка».

Голос умолк, и Джонатан смирился. «Ночью — место чайки на берегу, и отныне,— решил он,— я не буду ничем отличаться от других. Так будет лучше для нас всех».

Он устало оттолкнулся от темной воды и полетел к берегу, радуясь, что успел научиться летать на небольшой высоте с минимальной затратой сил.

«Но нет,— подумал он.— Я отказался от жизни, я отказался от всего, чему научился. Я такая же чайка, как все остальные, и я буду летать так, как летают чайки». С мучительным трудом он поднялся на сто футов и энергичнее замахал крыльями, торопясь домой.

Он почувствовал облегчение оттого, что принял решение жить, как живет Стая. Распались цепи, которыми он приковал себя к колеснице познания: не будет борьбы, не будет и поражений. Как приятно перестать думать и лететь в темноте к береговым огням.

— *Темнота!* — раздался вдруг тревожный глухой голос.— *Чайки никогда не летают в темноте!*

Но Джонатану не хотелось слушать. «Как приятно,— думал он.— Луна и отблески света, которые играют на воде и прокладывают в ночи дорожки сигнальных огней, и кругом все так мирно и спокойно...»

— Спустись! Чайки никогда не летают в темноте. Родись ты, чтобы летать в темноте, у тебя были бы глаза совы! У тебя была бы не голова, а вычислительная машина! У тебя были бы короткие крылья сокола!

Там, в ночи, на высоте ста футов, Джонатан Ливингстон прищурил глаза. Его боль, его решение — от них не осталось и следа.

Короткие крылья. *Короткие крылья сокола!*

Вот в чем разгадка! «Какой же я дурак! Все, что мне нужно,— это крошечное, совсем маленькое крыло; все, что мне нужно,— это почти полностью сложить крылья и во время полета двигать одними только кончиками. *Короткие крылья!*»

Он поднялся на две тысячи футов над черной массой воды и, не задумываясь ни на мгновенье о неудаче, о смерти, плотно прижал к телу широкие части крыльев, подставил ветру только узкие, как кинжалы, концы — перо к перу — и вошел в отвесное пике.

Ветер оглушительно ревел у него над головой. Семьдесят миль в час, девяносто, сто двадцать, еще быстрее! Сейчас, при скорости сто сорок миль в час, он не чувствовал такого напряжения, как раньше при семидесяти; едва заметного движения концами крыльев оказалось достаточно, чтобы выйти из пике, и он пронесся над волнами как пушечное ядро, серое при свете луны.

Он сощурился, чтобы защитить глаза от ветра, и его охватила радость. «Сто сорок миль в час! Не теряя управления! Если я начну пикировать с пяти тысяч футов, а не с двух, интересно, с какой скоростью...»

Благие намерения позабыты, унесены стремительным, ураганным ветром. Но он не чувствовал угрызений совести, нарушив обещание, которое только что дал самому себе. Такие обещания связывают чаек, удел которых — заурядность. Для того, кто стремится к знанию и однажды достиг совершенства, они не имеют значения.

На рассвете Джонатан возобновил тренировку. С высоты пяти тысяч футов рыболовные суда казались щепочками на голубой поверхности моря, а Стая за завтраком — легким облаком пляшущих пылинок.

Он был полон сил и лишь слегка дрожал от радости, он был горд, что сумел побороть страх. Не раздумывая, он прижал к телу переднюю часть крыльев, подставил кончики крыльев — маленькие уголки! — ветру и бросился в море. Пролетев четыре тысячи футов, Джонатан достиг предельной скорости, ветер превратился в плотную вибрирующую стену звуков, которая не позволяла ему двигаться быстрее. Он летел отвесно вниз со скоростью двести четырнадцать миль в час. Он прекрасно понимал, что если его крылья раскроются на такой скорости, то он, чайка, будет разорван на миллион клочков... Но скорость — это мощь, скорость — это радость, скорость — это незамутненная красота.

На высоте тысячи футов он начал выходить из пике. Концы его крыльев были смяты и изуродованы ревущим ветром, судно и стая чаек накренились и с фантастической быстротой вырастали в размерах, преграждая ему путь.

Он не умел останавливаться, он даже не знал, как повернуть на такой скорости.

Столкновение — мгновенная смерть.

Он закрыл глаза.

Так случилось в то утро, что на восходе солнца Джонатан Ливингстон, закрыв глаза, достиг скорости двести четырнадцать миль в час и под оглушительный свист ветра и перьев врезался в самую гущу Стаи за завтраком. Но Чайка удачи на этот раз улыбнулась ему — никто не погиб.

В ту минуту, когда Джонатан поднял клюв в небо, он все еще мчался со скоростью сто шестьдесят миль в час. Когда ему удалось снизить скорость до двадцати миль и он смог, наконец, расправить крылья, судно находилось на расстоянии четырех тысяч футов позади него и казалось точкой на поверхности моря.

Он понимал, что это триумф! Предельная скорость! *Двести четырнадцать миль в час* для чайки! Это был прорыв, незабываемый, неповторимый миг в истории Стаи и начало новой эры в жизни Джонатана. Он продолжал свои одинокие тренировки, он складывал крылья и пикировал с высоты восемь тысяч футов и скоро научился делать повороты.

Он понял, что на огромной скорости достаточно на долю дюйма изменить положение хотя бы одного пера на концах крыльев, и уже получается широкий плавный разворот. Но задолго до этого он понял, что, если на такой скорости изменить положение хотя бы двух перьев, тело начнет вращаться, как ружейная пуля, и... Джонатан был первой чайкой на земле, которая научилась выполнять фигуры высшего пилотажа.

В тот день он не стал тратить время на болтовню с другими чайками; солнце давно село, а он все летал и летал. Ему удалось сделать мертвую петлю, замедленную бочку, многовитковую бочку, перевернутый штопор, обратный иммельман, вираж.

Была уже глухая ночь, когда Джонатан подлетел к Стае на берегу. У него кружилась голова, он смертельно устал. Но, снижаясь, он с радостью сделал мертвую петлю, а перед тем, как приземлиться, еще и быструю бочку. «Когда они услышат об этом,— он думал о Прорыве,— они обезумеют от радости. Насколько полнее станет теперь жизнь! Вместо того чтобы уныло сновать между берегом

и рыболовными судами — знать, зачем живешь! Мы покончим с невежеством, мы станем существами, которым доступно совершенство и мастерство. Мы станем свободными! *Мы научимся летать!»*

Будущее было заполнено до предела, оно сулило столько заманчивого!

Когда он приземлился, все чайки были в сборе, потому что начинался Совет; видимо, они собрались уже довольно давно. На самом деле они ждали.

— Джонатан Ливингстон! Выйди на середину!

Слова Старейшего звучали торжественно. Приглашение выйти на середину означало или величайший позор, или величайшую честь. Круг Чести — это дань признательности, которую чайки платили своим великим вождям. «Ну конечно,— подумал он,— утро, Стая за завтраком, они видели Прорыв! Но мне не нужны почести. Я не хочу быть вождем. Я хочу только поделиться тем, что я узнал, показать им, какие дали открываются перед нами». Он сделал шаг вперед.

— Джонатан Ливингстон,— сказал Старейший,— выйди на середину, ты покрыл себя Позором перед лицом твоих соплеменников.

Его будто ударили доской! Колени ослабели, перья обвисли, в ушах зашумело. Круг Позора? Не может быть! Прорыв! Они не поняли! Они ошиблись, они ошиблись!

— ...своим легкомыслием и безответственностью,— текла торжественная речь,— тем, что попрал достоинство и обычаи Семьи Чаек...

Круг Позора означает изгнание из Стаи, его приговорят жить в одиночестве на Дальних Скалах.

— ...настанет день, Джонатан Ливингстон, когда ты поймешь, что безответственность не может тебя прокормить. Нам не дано постигнуть смысл жизни, ибо он непостижим, нам известно только одно: мы брошены в этот мир, чтобы есть и оставаться в живых до тех пор, пока у нас хватает сил.

Чайки никогда не возражают Совету Стаи, но голос Джонатана нарушил тишину.

— Безответственность? Собратья! — воскликнул он.— Кто более ответствен, чем чайка, которая открывает, в чем значение, в чем высший смысл жизни, и никогда не забывает об этом? Тысячу лет мы рыщем в поисках рыбьих голов, но сейчас понятно, наконец, зачем мы живем: чтобы познавать, открывать новое, быть свободными! Дайте мне возможность, позвольте мне показать вам, чему я научился..

Стая будто окаменела.

— Ты нам больше не Брат,— хором нараспев проговорили чайки, величественно все разом закрыли уши и повернулись к нему спинами.

Джонатан провел остаток своих дней один, но он улетал на много миль от Дальних Скал. И не одиночество его мучало, а то, что чайки не захотели поверить в радость полета, не захотели открыть глаза и увидеть!

Каждый день он узнавал что-то новое. Он узнал, что, придав телу обтекаемую форму, он может перейти в скоростное пикирование и добыть редкую вкусную рыбу из той, что плавает в океане на глубине десяти футов; он больше не нуждался в рыболовных судах и в черством хлебе. Он научился спать в воздухе, научился не сбиваться с курса ночью, когда ветер дует с берега, и мог пролететь сотни миль от заката до восхода солнца. С таким же самообладанием он

летал в плотном морском тумане и прорывался сквозь него к чистому, ослепительно сияющему небу... в то самое время, когда другие чайки жались к земле, не подозревая, что на свете существует что-то, кроме тумана и дождя. Он научился залетать вместе с сильным ветром далеко в глубь материка и ловить на обед аппетитных насекомых.

Он радовался один тем радостям, которыми надеялся когда-то поделиться со Стаей, он научился летать и не жалел о цене, которую за это заплатил. Джонатан понял, почему так коротка жизнь чаек: ее съедают скука, страх и злоба, но он забыл о скуке, страхе и злобе и прожил долгую счастливую жизнь.

А потом однажды вечером, когда Джонатан спокойно и одиноко парил в небе, которое он так любил, прилетели они. Две белые чайки, которые появились около его крыльев, сияли как звезды и освещали ночной мрак мягким ласкающим светом. Но еще удивительнее было их мастерство: они летели, неизменно сохраняя расстояние точно в один дюйм между своими и его крыльями.

Не проронив ни слова, Джонатан подверг их испытанию, которого ни разу не выдержала ни одна чайка. Он изменил положение крыльев так, что скорость полета резко замедлилась: еще на милю в час меньше — и падение неизбежно. Две сияющие птицы, не нарушая дистанции, плавно снизили скорость одновременно с ним. Они умели летать медленно!

Он сложил крылья, качнулся из стороны в сторону и бросился в пике со скоростью сто девяносто миль в час. Они понеслись вместе с ним безупречно сохраняя строй.

Наконец, он на той же скорости перешел в длинную вертикальную замедленную бочку. Они улыбнулись и сделали бочку одновременно с ним.

Он перешел в горизонтальный полет, некоторое время летел молча, а потом сказал:

— Прекрасно.— И спросил: — Кто вы?

— Мы из твоей Стаи, Джонатан, мы твои братья.— Они говорили спокойно и уверенно.— Мы прилетели, чтобы позвать тебя выше, чтобы позвать тебя домой.

— Дома у меня нет. Стаи у меня нет. Я Изгнанник. Мы летим сейчас на вершину Великой Горы Ветров. Я могу поднять свое дряхлое тело еще на несколько сот футов, но не выше.

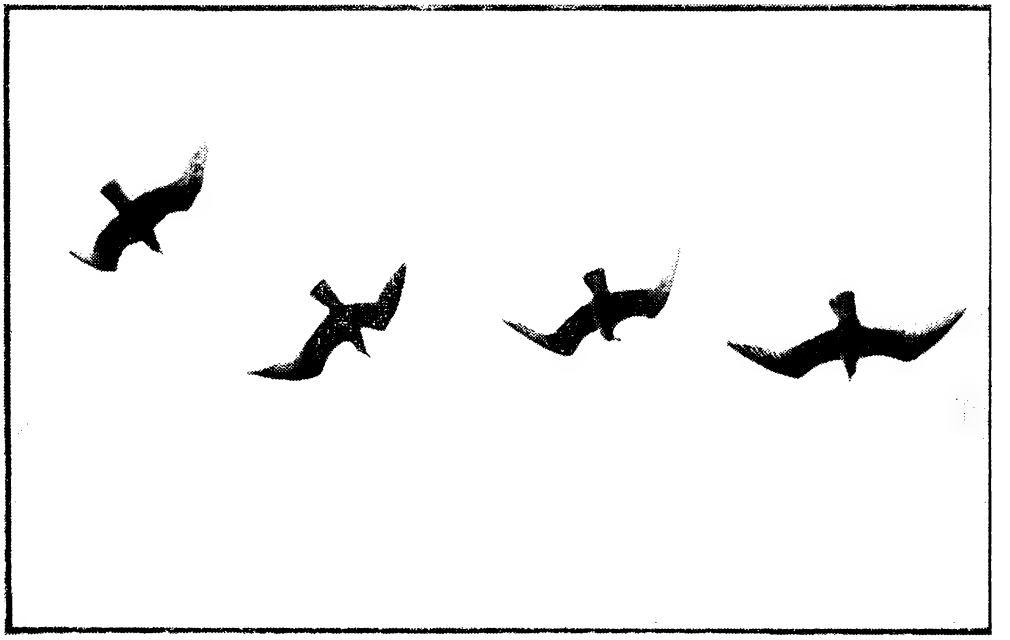
— Ты можешь подняться выше, Джонатан, потому что ты учился. Ты окончил одну школу, теперь настало время начать другую.

Эти слова сверкали перед ним всю его жизнь, поэтому Джонатан понял, понял мгновенно. Они правы. Он *может* летать выше, и ему *пора* возвращаться домой.

Он бросил последний долгий взгляд на небо, на эту великолепную серебряную страну, где он так много узнал.

— Я готов,— сказал он наконец.

И Джонатан Ливингстон поднялся ввысь вместе с двумя чайками, яркими, как звезды, и исчез в непроницаемой темноте неба.



Часть вторая

«Так это и есть небеса»,— подумал он и не мог не улыбнуться про себя. Наверное, это не очень почтительно — размышлять, что такое небеса, едва ты там появился.

Теперь, когда он расстался с Землей и поднялся над облаками крыло к крылу с двумя лучезарными чайками, он заметил, что его тело постепенно становится таким же лучистым. Конечно, оно принадлежало все тому же молодому Джонатану, который всегда жил за зрачками его золотистых глаз, но внешне оно переменилось.

Оно осталось телом чайки, и все-таки никогда прежде Джонатану не леталось так хорошо. «Как странно,— думал он,— я трачу вдвое меньше усилий, а лечу вдвое быстрее, я в силах сделать вдвое больше, чем в мои лучшие дни на Земле!»

Его белые перья сверкали и искрились, а крылья стали безукоризненно гладкими, как отполированные серебряные пластинки. Он с восторгом начал изучать их и прилагать силу своих мускулов к этим новым крыльям.

Достигнув скорости двести пятьдесят миль в час, он почувствовал, что приближается к максимальной скорости горизонтального полета. Достигнув двухсот семидесяти трех миль, он понял, что быстрее лететь не в силах, и испытал некоторое разочарование. Возможности его нового тела тоже были ограниченны, правда, ему удалось значительно превысить свой прежний рекорд, но предел все-таки существовал, и чтобы его превзойти, нужны были огромные усилия. «На небесах,— думал он,— не должно быть никаких пределов».

Облака расступились, его провожатые прокричали:

— Счастливой посадки, Джонатан! — и исчезли в прозрачном воздухе.

Он летел над морем к изрезанному гористому берегу. Пять-шесть чаек отрабатывали взлеты на скалах. Далеко на севере, у самого горизонта летало еще несколько чаек. Новые дали, новые мысли,

новые вопросы. «Почему так мало чаек? На небесах должны быть стаи и стаи чаек. И почему я вдруг так устал? На небесах чайки как будто никогда не устают и никогда не спят».

Где он об этом слышал? События его земной жизни отодвигались все дальше и дальше. Он многому научился на Земле, это верно, но подробности припоминались с трудом: кажется, чайки дрались из-за пищи и он был Изгнанником.

Когда он приблизился к берегу, дюжина чаек взлетела ему навстречу, но ни одна из них не проронила ни слова. Он только чувствовал, что они рады ему и что здесь он дома. Этот день был очень длинным, таким длинным, что он успел забыть, когда взошло солнце.

Он развернулся, чтобы приземлиться, взмахнул крыльями, застыл в воздухе на высоте одного дюйма и мягко опустился на песок. Другие чайки тоже приземлились, но им для этого достаточно было лишь слегка шевельнуть перьями. Они раскрыли свои белоснежные крылья, покачались на ветру и, меняя положение перьев, остановились в то самое мгновение, когда их лапы коснулись земли. Это был прекрасный маневр, но Джонатан слишком устал, чтобы попробовать его повторить. Он все еще не произнес ни слова и заснул, стоя на берегу.

В первые же дни Джонатан понял, что здесь ему предстоит узнать о полете не меньше нового, чем он узнал в своей прежней жизни. Но разница все-таки была. Здесь жили чайки-единомышленники. Каждая из них считала делом своей жизни постигать тайны полета, стремиться к совершенству полета, потому что полет — это то, что они любили больше всего на свете. Это были удивительные птицы, все без исключения, и каждый день они час за часом отрабатывали технику движений в воздухе и испытывали новые приемы пилотирования.

Джонатан, казалось, забыл о том мире, откуда он прилетел, и о том месте, где жила Стая, которая не знала радостей полета и пользовалась крыльями только для добывания пищи и для борьбы за пищу. Но иногда он вдруг вспоминал.

Он вспомнил о родных местах однажды утром, когда остался вдвоем со своим наставником и отдыхал на берегу после нескольких быстрых бочек, которые он делал со сложенными крыльями.

— Салливан, а где все остальные? — спросил он беззвучно, потому что вполне освоился с несложными приемами телепатии здешних чаек, которые никогда не кричали и не бранились.— Почему нас здесь так мало? Знаешь, там, откуда я прилетел, жили...

— ...тысячи тысяч чаек. Я знаю.— Салливан кивнул.— Мне, Джонатан, приходит в голову только один ответ. Такие птицы, как ты,— редчайшее исключение. Большинство из нас движется вперед так медленно. Мы переходим из одного мира в другой, почти такой же, и тут же забываем, откуда мы пришли; нам все равно, куда нас ведут, нам важно только то, что происходит сию минуту. Ты представляешь, сколько жизней мы должны прожить, прежде чем у нас появится первая смутная догадка, что жизнь не исчерпывается едой, борьбой и властью в Стае. Тысячи жизней, Джон, десять тысяч! А потом еще сто жизней, прежде чем мы начинаем понимать, что существует нечто, называемое совершенством, и еще сто, пока мы убеждаемся: смысл жизни в том, чтобы достигнуть совершенства и рассказать об этом другим. Тот же закон, разумеется, действует и здесь: мы выбираем следующий мир в согласии с тем, чему мы научились в этом. Если мы не научились ничему, следующий мир окажется таким же, как этот, и нам придется снова преодолевать те же преграды с теми же свинцовыми гирями на лапах.

Он расправил крылья и повернулся лицом к ветру.

— Но ты, Джон, сумел узнать так много и с такой быстротой,— продолжал он,— что тебе не пришлось прожить тысячу жизней, чтобы оказаться здесь.

И вот они уже снова поднялись в воздух, тренировка возобновилась. Сделать бочку вдвоем трудно, потому что в перевернутом положении Джонатану приходилось, летя вверх лапами, соображать, как выгнуть крылья, чтобы выполнить оставшуюся часть оборота, сохраняя безупречную согласованность движений со своим учителем.

— Попробуем еще раз,— снова повторял Салливан.— Попробуем еще раз.— И наконец:— Хорошо!

Тогда они начали отрабатывать внешнюю петлю.

Однажды вечером чайки, которые не улетели в ночной полет, стояли все вместе на песке, они думали. Джонатан собрался с духом и подошел к Старейшему — чайке, которая, как говорили, собиралась вскоре расстаться с этим миром.

— Чианг...— начал он, немного волнуясь.

Старая чайка ласково взглянула на него:

— Что, сын мой?

С годами Старейший не только не ослабел, а, наоборот, стал еще сильнее, он летал быстрее всех чаек в Стае и владел в совершенстве такими приемами, которые остальные еще только осваивали.

— Чианг, этот мир... это вовсе не небеса?

При свете луны было видно, что Старейший улыбнулся.

— Джонатан, ты снова учишься,— сказал он.

— Да. А что ждет нас впереди? Куда мы идем? Разве нет такого места — небеса?

— Нет, Джонатан, такого места нет. Небеса — это не место и не время. Небеса — это достижение совершенства.— Он помолчал.— Ты, кажется, летаешь очень быстро?

— Я... я очень люблю скорость,— сказал Джонатан. Он был поражен — и горд! — тем, что Старейший заметил его.

— Ты приблизишься к небесам, Джонатан, когда приблизишься к совершенной скорости. Это не значит, что ты должен пролететь тысячу миль в час, или миллион, или научиться летать со скоростью света. Потому что любая цифра — это предел, а совершенство не знает предела. Достигнуть совершенной скорости, сын мой,— это значит оказаться там.

Не прибавив ни слова, Чианг исчез и тут же появился у кромки воды, в пятидесяти футах от прежнего места. Потом он снова исчез и через тысячную долю секунды уже стоял рядом с Джонатаном.

— Это просто шутка,— сказал он.

Джонатан не мог прийти в себя от изумления. Он забыл, что хотел расспросить Чианга про небеса.

— Как это тебе удается? Что ты чувствуешь, когда так летишь? Какое расстояние ты можешь пролететь?

— Пролететь можно любое расстояние в любое время, стоит только захотеть,— сказал Старейший.— Я побывал всюду и везде, куда проникала моя мысль.— Он смотрел на морскую гладь.— Странно: чайки, которые отвергают совершенство во имя путешествий, не улетают никуда; где им, копушам! А те, кто отказывается от путешествий во имя совершенства, летают по всей вселенной, как метеоры. Запомни, Джонатан, небеса—это не какое-то определенное место или время, потому что ни место, ни время не имеют значения. Небеса—это...

— Ты можешь научить меня так летать?

Джонатан дрожал, предвкушая радость еще одной победы над неведомым.

— Конечно, если ты хочешь научиться.

— Хочу. Когда мы начнем?

— Можно начать сейчас, если ты не возражаешь.

— Я хочу научиться летать, как ты,— проговорил Джонатан, и в его глазах появился странный огонек.— Скажи, что я должен делать.

Чианг говорил медленно, зорко вглядываясь в своего молодого друга.

— Чтобы летать с быстротой мысли или, говоря иначе, летать куда хочешь,— начал он,— нужно прежде всего понять, что ты уже прилетел...

Суть дела, по словам Чианга, заключалась в том, что Джонатан должен отказаться от представления, будто он узник своего тела с размахом крыльев в сорок два дюйма и ограниченным набором заранее запрограммированных возможностей. Суть в том, чтобы понять: его истинное «я», совершенное, как ненаписанное число, живет одновременно в любой точке пространства в любой момент времени.

Джонатан тренировался упорно, ожесточенно, день за днем, с восхода солнца до полуночи. И несмотря на все усилия, ни на перышко не сдвинулся с места.

— Забудь о вере! — твердил Чианг.— Разве тебе нужна была вера, чтобы научиться летать? Тебе нужно было понять, что такое полет. Сейчас ты должен сделать то же самое. Попробуй еще раз...

А потом однажды, когда Джонатан стоял на берегу с закрытыми глазами и старался сосредоточиться, он вдруг понял, о чем говорил Чианг. «Конечно, Чианг прав! Я сотворен совершенным, мои возможности безграничны, я — Чайка!» Он почувствовал могучий прилив радости.

— Хорошо! — сказал Чианг, и в его голосе прозвучало торжество.

Джонатан открыл глаза. Они были одни — он и Старейший на совершенно незнакомом морском берегу: деревья подступали к самой воде, над головой висели два желтых близнеца — два солнца.

— Наконец-то ты понял,— сказал Чианг,— но тебе нужно еще поработать над управлением...

Джонатан не мог прийти в себя от изумления:

— Где мы?

Необычный пейзаж не произвел на Старейшего никакого впечатления, как и вопрос Джонатана.

— Очевидно, на какой-то планете с зеленым небом и двойной звездой вместо солнца.

Джонатан испустил радостный клич — первый звук с тех пор, как он покинул Землю.

— ПОЛУЧАЕТСЯ!

— Разумеется, Джон, разумеется, получается,— сказал Чианг.— Когда знаешь, что делаешь, всегда получается. А теперь об управлении...

Они вернулись уже в темноте. Чайки не могли отвести взгляда от Джонатана, в их золотистых глазах застыл ужас: они видели, как его вдруг не стало на том месте, где он провел столько времени в полной неподвижности.

Но Джонатан недолго принимал их поздравления.

— Я здесь новичок! Я только начинаю! Это мне надо учиться у вас!

— Как странно, Джон,— сказал Салливан, стоявший рядом с ним.— За десять тысяч лет я не встретил ни одной чайки, которая училась с таким же бесстрашием, как ты.

Стая молчала. Джонатан в смущении переступал с лапы на лапу.

— Если хочешь, мы можем начать работать над временем,— заговорил Чианг,— и ты научишься летать в прошлое и будущее. Тогда ты будешь подготовлен к тому, чтобы приступить к самому трудному, самому дерзновенному, самому интересному. Ты будешь подготовлен к тому, чтобы летать ввысь, и поймешь, что такое доброта и любовь.

Прошел месяц или около месяца, Джонатан делал невероятные успехи. Он всегда быстро продвигался вперед даже с помощью обычных тренировок, но сейчас, под руководством самого Старейшего, он воспринимал новое, как обтекаемая, покрытая перьями вычислительная машина.

А потом настал день, когда Чианг исчез. Он спокойно беседовал с чайками и убеждал их постоянно учиться, и тренироваться, и стремиться как можно глубже понять всеобъемлющую невидимую основу вечной жизни. Он говорил, а его перья становились все ярче и ярче и, наконец, засияли так ослепительно, что ни одна чайка не могла смотреть на него.

— Джонатан,— сказал он, и это были его последние слова,— постарайся постигнуть, что такое любовь.

Когда к чайкам вернулось зрение, Чианга с ними уже не было.

Дни шли за днями, и Джонатан заметил, что он все чаще думает о Земле, которую покинул. Знай он там одну десятую, одну сотую того, что узнал здесь, насколько полнее была бы его жизнь! Он стоял на песке и думал: что если там, на Земле, есть чайка, которая пытается вырваться из оков своего естества, пытается понять, что могут дать крылья, кроме возможности долететь до рыболовного судна и схватить корку хлеба. Быть может, она даже решилась сказать об этом во всеуслышание, и Стая приговорила ее к Изгнанию. И чем больше Джонатан упражнялся в проявлении доброты, чем больше он трудился над познанием природы любви, тем сильнее ему хотелось вернуться на Землю. Потому что, несмотря на свое одинокое прошлое, Джонатан был прирожденным наставником, и его любовь проявлялась прежде всего в стремлении поделиться добытой им правдой с каждой чайкой, которая ждала только благоприятного случая, чтобы тоже ринуться на поиски правды.

Салливан, который за это время вполне овладел полетами со скоростью мысли и уже помогал другим, не одобрял замыслов Джонатана.

— Джон, тебя некогда приговорили к Изгнанию. Почему ты думаешь, что те же чайки захотят слушать тебя сейчас? Ты знаешь поговорку и знаешь, что она справедлива: *чем выше летает чайка, тем дальше она видит*. Чайки, от которых ты улетел, стоят на земле, они кричат и дерутся друг с другом. Они живут за тысячу миль от небес, а ты говоришь, что хочешь показать им небеса — оттуда, с земли! Да ведь они, Джон, не могут разглядеть концов своих собственных крыльев. Оставайся здесь. Помогай здесь новым чайкам, помогай тем, кто взлетел достаточно высоко, чтобы увидеть то, о чем ты хочешь им рассказать.— Он немного помолчал и добавил: — Что, если бы Чианг вернулся в *свой* старый мир? Где бы ты сам находился сегодня?

Последний довод был самым убедительным: конечно, Салливан прав. *Чем выше летает чайка, тем дальше она видит.*

Джонатан остался и занимался с новыми птицами, которые при-

летали на небеса; они все были очень способными и быстро усваивали то, что им объясняли. Но к нему вернулось прежнее беспокойство, он не мог избавиться от мысли, что на Земле, наверное, живут одна-две чайки, которые тоже могли бы учиться. Насколько больше знал бы он сейчас, появись Чианг рядом с ним в те дни, когда он был Изгнанником!

— Салли, я должен вернуться,— сказал он в конце концов.— У тебя прекрасные ученики. Они помогут тебе справиться с новичками.

Салливан вздохнул, но не стал возражать.

— Боюсь, Джонатан, что я буду скучать по тебе.— Вот и все, что он сказал.

— Салли, как тебе не стыдно! — с упреком воскликнул Джонатан.— Разве можно говорить такие глупости! Чем мы с тобой занимаемся изо дня в день? Если наша дружба зависит от таких условностей, как пространство и время, значит, мы сами разрушим наше братство в тот миг, когда сумеем преодолеть пространство и время! Но, преодолевая пространство, единственное, что мы покидаем,— это Здесь. А преодолевая время, мы покидаем только Сейчас. Неужели ты думаешь, что мы не сможем повидаться один-два раза где-нибудь в промежутке между тем что называется Здесь и Сейчас?

Салливан невольно рассмеялся.

— Ты совсем помешался,— сказал он ласково.— Если кто-нибудь в силах показать хоть одной живой душе на земле, как охватить глазом тысячу миль, это наверняка Джонатан Ливингстон.— Он смотрел на песок.— До свидания, Джон, до свидания, друг.

— До свидания, Салли. Мы еще встретимся.

Произнеся эти слова, Джонатан тут же увидел внутренним взором огромные стаи чаек на берегах другого времени и с привычной легкостью ощутил: нет, он не перья да кости, он — совершенное воплощение идеи свободы и полета, его возможности безграничны.

Флетчер Линд был еще очень молодой чайкой, но он уже знал, что не было на свете птицы, которой пришлось бы терпеть такое жестокое обращение Стаи и столько несправедливостей!

«Мне все равно, что они говорят,— думал он, направляясь к Дальним Скалам; он кипел от негодования, его взгляд помутился.— Летать — это вовсе не значит махать крыльями, чтобы перемещаться с места на место. Это умеет даже... даже *комар*. Какая-то одна бочка вокруг Старейшей Чайки, просто так, в шутку, и я — Изгнанник! Что́ они, слепы? Неужели они не видят? Неужели они не понимают, как мы прославимся, если в самом деле научимся летать?

Мне все равно, что они обо мне думают. Я покажу им, что значит летать. Пусть я буду одиноким Изгнанником, если им так хочется. Но они пожалеют об этом, еще как пожалеют...»

Голос проник в его голову, и хотя это был очень тихий голос, Флетчер так испугался, что вздрогнул и застыл в воздухе:

— Не сердись на них, Флетчер! Изгнав тебя, они причинили вред только самим себе, и когда-нибудь они это узнают, когда-нибудь они увидят то, что видишь ты. Прости их и помоги им понять.

На расстоянии дюйма от конца его правого крыла летела ослепительно белая, самая белая чайка на свете, она скользила рядом с Флетчером без малейших усилий, не шевеля ни перышком, хотя Флетчер летел почти на предельной скорости.

На мгновенье у молодого Флетчера все смешалось в голове.

«Что со мной происходит? Я сошел с ума? Я умер? Что это значит?»

Негромкий спокойный голос вторгался в его мысли и требовал ответа.

— Чайка Флетчер Линд, ты хочешь летать?

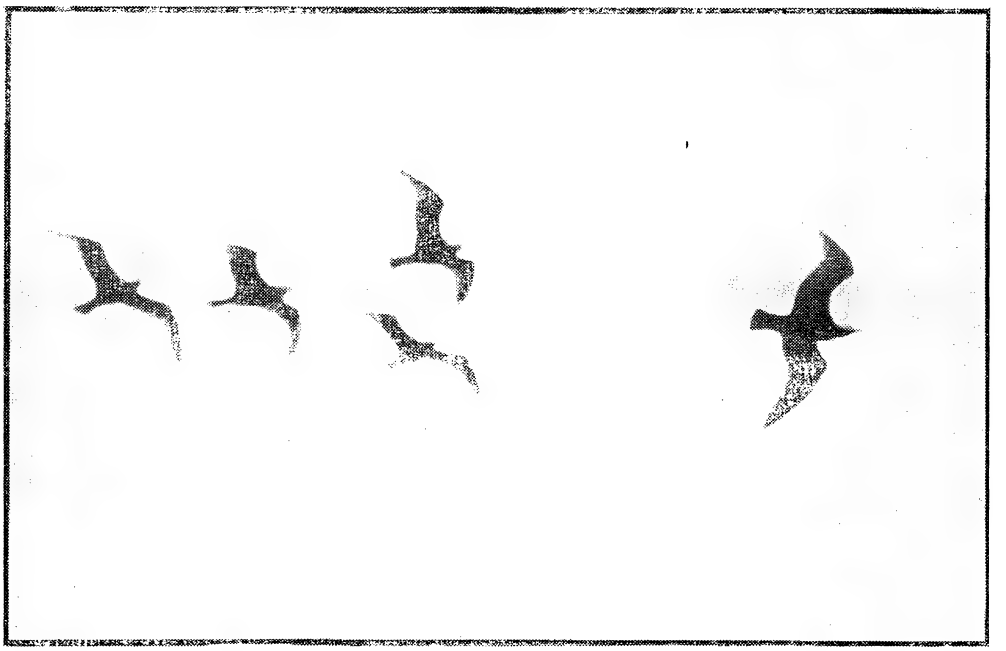
— ДА, Я ХОЧУ ЛЕТАТЬ!

— Чайка Флетчер Линд, так ли сильно ты хочешь летать, что готов простить Стаю и учиться и однажды вернуться к ним и постараться помочь им узнать то, что знаешь сам?

Такому искусному, такому ослепительному существу нельзя было солгать, какой бы гордой птицей ни был Флетчер, как бы сильно его ни оскорбили.

— Да,—сказал он едва слышно.

— Тогда, Флетч,— обратилось к нему сияющее создание с ласковым голосом,— давай начнем с Горизонтального Полета...



Часть третья

Джонатан медленно кружил над Дальними Скалами; он наблюдал. Этот неотесанный молодой Флетчер оказался почти идеальным учеником. В воздухе он был сильным, ловким и подвижным, но главное — он горел желанием научиться летать.

Только что он мелькнул рядом — с оглушительным шумом взъерошенный серый комок вынырнул из пике и пронесся мимо учителя со скоростью сто пятьдесят миль в час. Внезапный рывок, и вот он уже выполняет другое упражнение — шестнадцативитковую вертикальную замедленную бочку — и считает витки вслух:

— ...восемь... девять... десять... ой, Джонатан, я выхожу за пределы скорости... одиннадцать... я хочу останавливаться так же красиво и точно, как ты... двенадцать... черт побери, я никак не могу сделать... тринадцать... эти последние три витка... без... четырн... а-а-а-а!

Очередная неудача — Флетчер «сел на хвост» — вызвала особенно бурный взрыв гнева и ярости. Флетчер опрокинулся на спину, и его безжалостно закрутило и завертело в обратном штопоре, а когда он,

наконец, выровнялся, жадно хватая ртом воздух, оказалось, что он летит на сто футов ниже своего наставника.

— Джонатан, ты попусту тратишь время! Я тупица! Я болван! Я зря стараюсь, у меня все равно ничего не получится!

Джонатан взглянул вниз и кивнул.

— Конечно, не получится, пока ты будешь останавливаться так резко. В самом начале ты потерял сорок миль в час! Нужно делать то же самое, только плавно! Уверенно, но плавно, понимаешь, Флетчер?

Джонатан снизился и подлетел к молодой чайке.

— Попробуем еще раз вместе, крыло к крылу. Обрати внимание на остановку. Останавливайся плавно, начинай фигуру без рывков.

К концу третьего месяца у Джонатана появилось еще шесть учеников — все шестеро Изгнанники, увлеченные новой странной идеей: летать ради радостей полета.

Но даже им легче было выполнить самую сложную фигуру, чем понять, в чем заключается сокровенный смысл их упражнений.

— На самом деле каждый из нас воплощает собой идею Великой Чайки, всеобъемлющую идею свободы,— говорил Джонатан по вечерам, стоя на берегу,— и безошибочность полета — это еще один шаг, приближающий нас к выражению нашей подлинной сущности. Для нас не должно существовать никаких преград. Вот почему мы стремимся овладеть высокими скоростями, и малыми скоростями, и фигурами высшего пилотажа...

...А его ученики, измученные дневными полетами, засыпали. Им нравились практические занятия, потому что скорость пьянила и потому что тренировки помогали утолять жажду знания, которая становилась все сильнее после каждого занятия. Но ни один из них — даже Флетчер Линд — не мог себе представить, что полет идей — такая же реальность, как ветер, как полет птицы.

— Все ваше тело от кончика одного крыла до кончика другого,— снова и снова повторял Джонатан,— это не что иное, как ваша мысль, выраженная в форме, доступной вашему зрению. Разбейте цепи, сковывающие вашу мысль, и вы разобьете цепи, сковывающие ваше тело...

Но какие бы примеры он ни приводил, ученики воспринимали его слова как занятную выдумку, а им больше всего хотелось спать.

Хотя прошел всего только месяц, Джонатан сказал, что им пора вернуться в Стаю.

— Мы еще не готовы! — воскликнул Генри Кэлвин.— Они не желают нас видеть! Мы Изгнанники! Разве можно навязывать свое присутствие тем, кто не желает тебя видеть?

— Мы вправе лететь, куда хотим, и быть такими, какими мы созданы,— ответил ему Джонатан; он поднялся в воздух и повернул на восток, к родным берегам, где жила Стая.

Несколько минут ученики в растерянности не знали, что делать, потому что Закон Стаи гласил: «Изгнанники никогда не возвращаются», и за десять тысяч лет этот Закон ни разу не был нарушен. Закон говорил: оставайтесь; Джонатан говорил: полетим; и он уже летел над морем в миле от них. Если они задержатся еще немного, он встретится с враждебной Стаей один на один.

— Почему мы должны подчиняться закону, если нас все равно изгнали из Стаи? — растерянно спросил Флетчер.— А если завяжется бой, от нас будет гораздо больше пользы там, чем здесь.

Так они прилетели в то утро с запада — восемь чаек в строю

двойным ромбом, почти касаясь крыльями друг друга. Они пересекли Берег Совета Стаи со скоростью сто тридцать пять миль в час: Джонатан впереди, Флетчер плавно скользил у его правого крыла, а Генри Кэлвин отважно боролся с ветром у левого. Потом, сохраняя строй, они все вместе медленно накренились вправо... выровнялись... перевернулись вверх лапами... выровнялись, а ветер безжалостно хлестал всех восьмерых.

Обыденные громкие ссоры и споры на берегу внезапно стихли, восемь тысяч глаз уставились, не мигая, на отряд Джонатана, как будто чайки увидели гигантский нож, занесенный над их головами. Восемь птиц одна за другой взмыли вверх, сделали мертвую петлю и, сбавив скорость до предела, не качнувшись, опустились на песок. Затем Джонатан как ни в чем не бывало приступил к разбору ошибок.

— Начнем с того, — сказал он с усмешкой, — что вы все заняли свое место в строю с некоторым опозданием...

Одна и та же мысль молнией облетела Стаю. Все эти птицы — Изгнанники! И они — вернулись! Но это... этого не может быть! Флетчер напрасно опасался драки: Стая оцепенела.

— Подумаешь, Изгнанники, конечно, Изгнанники, ну и пусть Изгнанники! — сказал кто-то из молодых. — Интересно, где это они научились так летать?

Прошел почти час, прежде чем все члены Стаи узнали о Приказе Старейшего: *Не обращать на них внимания* Чайка, которая заговорит с Изгнанником, сама станет Изгнанником. Чайка, которая посмотрит на Изгнанника, нарушит Закон Стаи.

С этой минуты Джонатан видел только серые спины чаек, но он, казалось, не обращал внимания на то, что происходит. Он проводил занятия над Берегом Совета и впервые старался выжать из своих учеников все, на что они были способны.

— Мартин! — разносился по небу его голос. — Ты говоришь, что умеешь летать на малой скорости. Говорить мало, это надо еще доказать. ЛЕТИ!

Незаметный маленький Мартин Уильям так боялся вызвать гнев своего наставника, что, к собственному изумлению, научился делать чудеса на малой скорости.

Он располагал перья таким образом, что при малейшем ветерке поднимался до облаков и опускался на землю без единого взмаха крыльев.

А Чарльз-Роланд поднялся на Великую Гору Ветров на высоту двадцать четыре тысячи футов и спустился, посиневший от холодного разреженного воздуха, удивленный, счастливый и полный решимости завтра же подняться еще выше.

Флетчер, который больше всех увлекался фигурами высшего пилотажа, одолел шестнадцативитковую вертикальную замедленную бочку, а на следующий день превзошел самого себя: сделал тройной переворот через крыло, и ослепительные солнечные зайчики разбежались по всему берегу, откуда за ним украдкой наблюдала не одна пара глаз.

Джонатан ни на минуту не разлучался со своими учениками, каждому из них он успевал что-то показать, подсказать, каждого — подстегнуть и направить. Он летал вместе с ними ночью, и при облачном небе, и в бурю — летал из любви к полетам, а чайки на берегу тоскливо жались друг к другу.

Когда тренировки кончались, ученики отдыхали на песке, и со временем они научились слушать Джонатана более внимательно. Он был одержим какими-то безумными идеями, которых они не понимали, но некоторые его мысли были им вполне доступны.

Ночами позади кружка учеников постепенно начал образовываться еще один круг: в темноте любопытные чайки долгими часами слушали Джонатана, и, так как ни одна из них не хотела видеть своих соседей и не хотела, чтобы соседи видели ее, перед восходом солнца все они исчезали.

Прошел месяц после Возвращения, прежде чем первая Чайка из Стаи переступила черту и сказала, что хочет научиться летать. Это был Терренс Лоуэлл, который тут же стал проклятой птицей, заклейменным Изгнанником... и восьмым учеником Джонатана.

На следующую ночь от Стаи отделился Кэрк Мейнард; он проковылял по песку, волоча левое крыло, и рухнул к ногам Джонатана.

— Помоги мне, — проговорил он едва слышно, будто собирался вот-вот расстаться с жизнью.— Я хочу летать больше всего на свете...

— Что ж, не будем терять время,— сказал Джонатан,— поднимайся вместе со мной в воздух — и начнем.

— Ты не понимаешь. Крыло. Я не могу шевельнуть крылом.

— Мейнард, ты свободен, ты вправе жить здесь и сейчас так, как тебе велит твое «я», твое истинное «я», и ничто не может тебе помешать. Это Закон Великой Чайки, это — Закон.

— Ты говоришь, что я могу летать?

— Я говорю, что ты свободен.

Так же легко и просто, как это было сказано, Кэрк Мейнард расправил крылья — без малейших усилий! — и поднялся в темное ночное небо. Стая проснулась, услышав его голос; с высоты пяти тысяч футов он прокричал во всю силу своих легких:

— *Я могу летать! Слушайте!* Я МОГУ ЛЕТАТЬ!

На восходе солнца почти тысяча чаек толпилась вокруг учеников Джонатана и с любопытством смотрела на Мейнарда. Им было безразлично, видят их или нет, они слушали и старались понять, что говорит Джонатан.

Он говорил об очень простых вещах: о том, что чайка имеет право летать, что она свободна по самой своей природе и ничто не должно стеснять ее свободу — никакие обычаи, предрассудки и запреты.

— Даже если это Закон Стаи? — раздался голос из толпы чаек.

— Существует только один истинный закон — тот, который помогает стать свободным, — сказал Джонатан. — Другого нет.

— Разве мы можем научиться летать, как ты? — донесся до Джонатана другой голос.— Ты особенный, ты талантливый, ты необыкновенный, ты не похож на других.

— Посмотрите на Флетчера! На Лоуэлла! На Чарльза-Роланда! На Джади Ли! Они тоже особенные, тоже талантливые и необыкновенные? Не больше, чем ты, и не больше, чем я. Единственное их отличие, одно-единственное отличие состоит в том, что они начали понимать, кто они, и начали вести себя, как подобает чайкам.

Его ученики, за исключением Флетчера, беспокойно задвигались. Они не были уверены, что дело обстоит именно таким образом.

Толпа росла с каждым днем, чайки прилетали, чтобы расспросить, высказать восхищение, поиздеваться.

— В Стае говорят, что ты Сын Великой Чайки,— сказал Флетчер однажды утром, разговаривая с Джонатаном после Тренировочных Полетов на Высоких Скоростях, — а если нет, значит, ты опередил свое время на тысячу лет.

Джонатан вздохнул. «Цена непонимания,— подумал он.— Тебя называют дьяволом или богом».

— Как ты думаешь, Флетч? Опередили мы свое время?

Долгая пауза.

— По-моему, такие полеты были возможны всегда, просто кто-нибудь должен был об этом догадаться и попробовать научиться так летать, а время здесь ни при чем. Может быть, мы опередили моду. Опередили привычные представления о полете чаек.

— Это уже кое-что, — сказал Джонатан, перевернулся через крыло и некоторое время скользил по воздуху вверх лапами — Это все-таки лучше, чем опередить время.

Несчастье случилось ровно через неделю. Флетчер показывал приемы скоростного полета группе новичков. Он уже выходил из пике, пролетев сверху вниз семь тысяч футов — длинная серая змейка мелькнула на высоте нескольких дюймов над берегом,— когда на его пути оказался птенец, который совершал первый полет и призывал свою маму. У Флетчера Линда была лишь десятая доля секунды, чтоб попытаться избежать столкновения, он резко отклонился влево и на скорости более двухсот миль в час врезался в гранитную скалу.

Ему показалось, что скала — это огромная кованая дверь в другой мир. Удушающий страх, удар и мрак, а потом Флетчер поплыл по какому-то странному, странному небу, забывая, вспоминая и опять забывая; ему было страшно, и грустно, и тоскливо, отчаянно тоскливо.

Голос донесся до него, как в первый раз, когда он встретил Джонатана Ливингстона.

— Дело в том, Флетчер, что мы пытаемся раздвигать границы наших возможностей постепенно, терпеливо. Мы еще не подошли к полетам сквозь скалы, по программе нам предстоит заняться этим немного позже.

— Джонатан!

— Которого называют также Сыном Великой Чайки,— сухо отозвался его наставник.

— Что ты здесь делаешь? Скала! Неужели я не... разве я не... умер?

— Ох, Флетч, перестань! Подумай сам. Если ты со мной разговариваешь, очевидно, ты не умер, так или нет? У тебя просто резко изменился уровень сознания, только и всего. Теперь выбирай. Ты можешь остаться здесь и учиться на этом уровне, который, кстати, не намного выше того, на котором ты находился прежде, а можешь вернуться и продолжать работать со Стаей. Старейшины надеялись, что случится какое-нибудь несчастье, но они не ожидали, что оно произойдет так своевременно.

— Конечно, я хочу вернуться в Стаю. Я ведь только начал заниматься с новой группой!

— Прекрасно, Флетчер. Ты помнишь, мы говорили, что тело — это не что иное, как мысль?

Флетчер покачал головой, расправил крылья и открыл глаза: он лежал у подножья скалы, а вокруг толпилась Стая. Когда чайки увидели, что он пошевелился, со всех сторон послышались злые пронзительные крики:

— Он жив! Он умер и снова *жив!*

— Прикоснулся крылом! Оживил! Сын Великой Чайки!

— Нет! Говорит, что не сын! Это дьявол! ДЬЯВОЛ! Явился, чтобы погубить Стаю!

Четыре тысячи чаек, перепуганные невиданным зрелищем, кричали: ДЬЯВОЛ! — и этот вопль захлестнул стаю, как бешеный ветер

во время шторма. С горящими глазами, с плотно сжатыми клювами, одержимые жаждой крови, чайки подступали все ближе и ближе.

— Флетчер, не лучше ли нам расстаться с ними? — спросил Джонатан?

— Пожалуй, я не возражаю...

В то же мгновенье они сказались в полумиле от скалы, и разящие клювы обезумевших птиц вонзились в пустоту.

— Почему труднее всего на свете заставить птицу поверить в то, что она свободна,— недоумевал Джонатан, — ведь каждая птица может убедиться в этом сама, если только захочет чуть-чуть потренироваться. Почему это так трудно?

Флетчер все еще мигал, он никак не мог освоиться с переменой обстановки.

— Что ты сделал? Как мы здесь очутились?

— Ты сказал, что хочешь избавиться от обезумевших птиц, верно?

— Да! Но как ты...

— Как все остальное, Флетчер. Тренировка.

К утру Стая забыла о своем безумии, но Флетчер не забыл:

— Джонатан, помнишь, как-то давным-давно ты говорил, что любви к Стае должно хватить на то, чтобы вернуться к своим сородичам и помочь им учиться?

— Конечно.

— Я не понимаю, как ты можешь любить обезумевшую стаю птиц, которая только что пыталась убить тебя.

— Ох, Флетч! Ты не должен любить обезумевшую стаю птиц! Ты вовсе не должен воздавать любовью за ненависть и злобу. Ты должен тренироваться и видеть истинно добрую чайку в каждой из этих птиц и помочь им увидеть ту же чайку в них самих. Вот что я называю любовью. Интересно, когда ты, наконец, это поймешь?

Я, кстати, вспомнил сейчас об одной вспыльчивой молодой птице по имени Флетчер Линд. Не так давно, когда этого самого Флетчера приговорили к Изгнанию, он был готов биться насмерть со всей Стаей и создал на Дальних Скалах настоящий ад для своего личного пользования. Тот же Флетчер создает сейчас свои небеса и ведет туда всю Стаю.

Флетчер обернулся к Джонатану, и в его глазах промелькнул страх.

— *Я* веду? Что означают эти слова: я веду? Здесь ты наставник. Ты не можешь нас покинуть!

— Не могу? А ты не думаешь, что существуют другие стаи и другие Флетчеры, которые, может быть, нуждаются в наставнике даже больше, чем ты, потому что ты уже находишься на пути к свету?

— *Я?* Джон, ведь я обыкновенная чайка, а ты...

— ...единственный Сын Великой Чайки, да? — Джонатан вздохнул и посмотрел на море.— Я тебе больше не нужен. Продолжай поиски самого себя — вот что тебе нужно, старайся каждый день хоть на шаг приблизиться к подлинному всемогущему Флетчеру. Он — твой наставник. Тебе нужно научиться понимать его и делать, что он тебе велит.

Мгновенье спустя тело Джонатана дрогнуло и начало таять в воздухе, его перья засияли каким-то неверным светом.

— Не позволяй им болтать про меня всякий вздор, не позволяй им делать из меня бога, хорошо, Флетч? Я — чайка. Я люблю летать, может быть...

— *ДЖОНАТАН!*

— Бедняга Флетч! Не верь глазам своим! Они видят только преграды. Смотреть — значит понимать, осознай то, что уже знаешь, и ты научишься летать.

Сияние померкло, Джонатан растворился в просторах неба.

Прошло немного времени, Флетчер заставил себя подняться в воздух и предстал перед группой совсем зеленых новичков, которые с нетерпением ждали первого урока.

— Прежде всего, — медленно проговорил он,— вы должны понять, что чайка — это воплощение идеи безграничной свободы, воплощение образа Великой Чайки, и все ваше тело, от кончика одного крыла до кончика другого — это не что иное, как ваша мысль.

Молодые чайки насмешливо поглядывали на него. «Ну, ну, приятель,— думали они,— вряд ли это объяснение поможет нам сделать мертвую петлю».

Флетчер вздохнул.

— Хм. Да... так вот, — сказал он и окинул их критическим взглядом.— Давайте начнем с Горизонтального Полета.

Произнеся эти слова, Флетчер вдруг действительно понял, что в Джонатане было столько же необыкновенного, сколько в нем самом.

«Предела нет, Джонатан? — подумал он. — Ну что же, тогда недалек час, когда я вынырну из поднебесья на *твоем* берегу и покажу тебе кое-какие новые приемы полета!»

И хотя Флетчер старался смотреть на своих учеников с подобающей суровостью, он вдруг увидел их всех такими, какими они были на самом деле, увидел на мгновенье, но в это мгновенье они не только понравились ему — он полюбил их всех. «Предела нет, Джонатан?» — подумал он с улыбкой. И ринулся в погоню за знаниями.

Три жизни «Чайки по имени Джонатан Ливингстон»

Sua fata habent libelli[1]

В недавнем (1973 года) весьма авангардистском фильме американца Ральфа Бакши «В час пик» («Heavy Traffic»), собравшем букет цитат из самых модных боевиков, среди пародий и реминисценций из «Бонни и Клайда», «Крестного отца», «Иисуса Христа-Суперзвезды», бардов «Роллинг Стоунз» и прочих знаменитостей мелькнул летящий силуэт чайки на фоне солнечного диска.

Значит, владеет еще умами чайка по имени Джонатан Ливингстон, значит, не забыта еще, значит, продолжает свой странный полет...

Легенда о Джонатане-Чайке, «который живет в каждом из нас», окружена легендами же. Уже не раз — почтительно, бесстрастно или глумливо — пересказана на страницах периодических изданий история о том, как молодой человек романтического склада — потомок Иоганна Себастьяна Баха, летчик, одержимый своей профессией, но не слишком преуспевший в карьере, автор романов, не имевших успеха, и статей в специальных журналах — этакий американский вариант Сент-Экзюпери,— как он, прогуливаясь однажды по туманному берегу канала Белмонт Шор в штате Калифорния, услышал Голос, который произнес загадочные слова: «Чайка Джонатан Ливингстон». Повинуясь Голосу, он сел за письменный стол и запечатлел видение, которое прошло перед его мысленным взором наподобие кинофильма.

Но история удивительной чайки оборвалась так же внезапно, как и началась. Сколько ни старался Бах досочинить ее своими силами, ничего не получалось, пока лет восемь спустя в один прекрасный день ему таким же образом не привиделось продолжение.

Впоследствии на многочисленные письма и вопросы читателей и почитателей,

[1] У книг своя судьба (*лат.*).

доискивавшихся метафизического смысла «Джонатана», Ричард Бах всегда отвечал, что в отличие от романов, им самим сочиненных и созданных, ничего к написанному о чайке Джонатане прибавить он не может. Он выполнял в этом случае роль не столько автора, сколько медиума, и идея «Чайки» ему не принадлежит.

Такова вкратце легендарная, мистическая часть биографии «Джонатана», в которой проще всего усмотреть рекламный трюк, хотя «рыцари бедные» встречаются же порой на свете, а на Голоса, как известно, ссылалась еще Жанна д'Арк...

Впрочем, вторая — земная, реальная — жизнь «Чайки» не менее удивительна.

Не очень рассчитывая, по-видимому, на «бестселлерность» своего детища, Бах первоначально предложил рукопись в специальный журнал «Флайнг», который ее отклонил, а потом в «Прайвет пайлот», который ее принял и опубликовал. Впоследствии «Джонатан» был даже перепечатан в заграничных журналах в Австралии, в Бельгии, кажется, даже во Франции, но замечен не был. Автор пытался издать его отдельной книжкой — хотя бы для детей,— но ничего не выходило. Пока однажды...

На этот раз роль провидения приняла на себя заведующая одним из отделов издательства «Макмиллан». Она искала что-нибудь интересное на популярную тему полетов и увидела в «Джонатане» нечто большее, нежели просто сказочку для детей.

Издательство приняло рукопись. Решено было снабдить ее иллюстрациями, и Ричард Бах нашел в полном смысле соавтора в лице своего знакомого фотографа-анималиста Рассела Мансона. История чайки Джонатан Ливингстон была издана в окружении замечательных по красоте фотографий, следующих за всеми перипетиями фантастического сюжета...

Так кончилось прозябание Ричарда Баха и началась третья и, может быть, самая необычайная жизнь «Чайки по имени Джонатан Ливингстон» — суперзвезды и мессии.

Нет ничего труднее и неблагодарнее, нежели пытаться предсказать успех книги или фильма, и ничего проще, как объяснить его задним числом. И, однако ж, я чувствую себя в некотором недоумении перед воистину феноменальным триумфом «Чайки по имени Джонатан Ливингстон» Ричарда Баха, появившейся отдельным изданием на исходе 1970 года. Многие читатели этой истории, даже будучи предупреждены заранее о коммерческом буме, последовавшем за выходом «Чайки» в свет, останутся, вероятно, в том же недоумении. Некоторые воспримут ее просто как мистификацию в духе «королевского жирафа» Гекльберри Финна, когда уже обманутые и «вовлеченные» склонны скорее вовлечь остальных, нежели самим остаться в дураках. Самое дотошное исследование «Джонатана» — суперобложки, полиграфии, текста,— как феномена «массовой культуры» с помощью самых эффективных структурных методов, в лучшем случае говорит о том, почему его читают, но ничего не говорит о том, почему его х о т я т читать.

Между тем зигзаги удачи довольно причудливы: так, церковные власти в Штатах, например, остались недовольны притчей, усмотрев в ней «грех гордыни».

Так или иначе, но жанр «Чайки» не традиционен для американской литературы, и — при всей тривиальности авторских приемов — не тривиален для литературы массовой.

Притча, философская сказка, вернее всего, поэма в прозе обращена автором к тем, как писали прежде, «немногим избранным», кто готов предпочесть ежедневной драке за рыбьи головы бескорыстное совершенство полета.

Таких оказалось много, очень много, наконец, великое множество. Увы, я не могу уже с должной мерой убежденности перевоплотиться — труд, обязательный для всякого литератора (в том числе критика),— в того молодого потребителя духовных благ, который создал авторитет «Чайке Джонатану». И не хочу, подобрав quantum satis [1] подходящих к случаю цитат, пройти с читателем по кратчайшей прямой от информации к выводам. Такие понятия, как «молодежное движение», «хиппи», очень многое могут объяснить в феномене «Джонатана» — многое, но не все.

Я думаю, вещь эта, столь не похожая, казалось бы, на то, что обычно вызывает интерес широкой публики, соприкасается тем не менее с самыми разными явлениями, по разным поводам попадающими в фокус общественного внимания. Поэтому, заранее извинившись перед любителями информации и поклонниками эрудиции за отсутствие звонких цитат, я рискую предложить вниманию читателя всего лишь гипотезу, основанную на наблюдениях самого общего свойства, притом наблюдениях издалека.

Можно очертить несколько сфер, по касательной к которым успех этой вещи, столь не похожей на обычную популярную литературу, станет понятнее.

Первую из этих сфер, как ни странно это может показаться, я обозначила бы термином «истории о животных».

Ныне, с возникновением понятия «экология», человек, выделившийся из природы

[1] Нужное количество (*лат.*).

и еще так недавно исходивший из концепции коренной и немедленной ее переделки, попытался вновь ощутить себя ее частью и приобщиться ее тайн. В этом пункте, как нигде, наука сомкнулась с беллетристикой, и описание поведения животных — этология — почти без перевода со специального языка на популярный стало всеми излюбленным чтением. Романтизация единоборства с природой — еще недавняя, еще вчерашняя — сменилась пафосом единения с ней. На смену охотничьим подвигам явились подвиги естествоиспытателей, занимающихся спасением редких видов животных; взамен ружья появилось фоторужье, и ныне ни один из массовых иллюстрированных журналов не обходится без фоторассказов о представителях фауны разнообразных уголков земли. Я не говорю уже о прекрасных и читаемых наравне с художественной литературой книгах Даррела, Джой Адамсон, Гржимека и прочих.

Все это, разумеется, имеет мало общего с Джонатаном, осваивающим технику высшего пилотажа и достигающим бессмертия. Но когда этология, бионика, психология животных становятся в порядок дня, то кажется естественным, что следом за научными изысканиями Джона Лилли возникает фантастический роман Лео Сцилларда «Голос дельфинов», что авторы «Хроники Хеллстрёма» — научно-популярной ленты о жизни насекомых — не довольствуются простой демонстрацией удивительных натурных съемок, но стремятся придать своему фильму черты своеобразной и зловещей «антиутопии», противопоставив неразумию человеческой цивилизации суперрациональную «цивилизацию» муравьев и пчел.

Философская сказка Баха целиком уходит в извечную область аллегорий. Но едва ли случайно, что издательство и автор отказались от первоначальных рисованных иллюстраций к «Чайке» и признали их слишком «литературными». Едва ли случайно, что для иллюстрации притчи они обратились к «документальному» жанру — фотографии. Подлинность земли, моря и неба, полета чаек не только не пришла в противоречие с притчей, но даже придала истории необыкновенной чайки некую иллюзорную достоверность — сродни Голосу, который будто бы поведал ее Ричарду Баху,— ту странную двойственность впечатления, на границе невозможного и возможного, которая до «психологии животных» едва ли могла бы и существовать.

Надо сказать, что отношения притчи о Джонатане с привычным современному человеку документализмом этим не исчерпываются и иллюзорная достоверность возникает не только от сопряжения легендарной структуры сюжета с реальной фактурой фотографии. Подобием документальности аранжирована сама история.

Тренировки Джонатана, подробное и квалифицированное описание техники полета и фигур высшего пилотажа сродни репортажности «нового журнализма». И если притча проходит по касательной к области «психологии животных», то уж тем более соприкасается она с обширной областью, хорошо знакомой Баху, по имени которой назывался журнал, куда первоначально предназначил он свой труд («Флайнг» — «Полет»).

Едва ли надо напоминать читателю о том пути, который на нашей памяти проделала авиация — от преодоления звукового барьера до выхода в космос,— чтобы объяснить завораживающий и полемический смысл вечного вопроса «зачем?» и бескорыстного стремления к совершенству.

Но книжка издательства «Макмиллан» в голубой глянцевой обложке, где столько же строчек набора, сколько облаков, света, тумана, полета чаек (все это воспроизводится в полном объеме в любом дешевом, карманном издании) заставляет вспомнить совсем другое современное, популярное, модное имя — имя уже достаточно известного нашему читателю «пророка телевизионной эры» Маршалла Маклюэна. Конечно, полиграфическая техника сегодня не располагает возможностью передать еще и ветер, крики чаек, дерущихся за рыбьи головы, свист крыльев и тишину неба, куда возносится Джонатан,— как-никак, книга есть книга, а не экран телевизора и «Джонатан» относится, по Маклюэну, к дотелевизионной «гутенберговой галактике»; но насколько возможно было сделать в границах современной полиграфической техники книжку, обращенную не только к разуму читателя, но и ко всей совокупности чувств человека эры телевидения, настолько издательство «Макмиллан» постаралось это сделать. Вот почему о ней естественно писать в телевизионной терминологии: «Джонатаном» не увлекаются, в него «вовлекаются» (involve).

Но как бы ни казались соблазнительны и пояснительны экскурсы в сопредельные «Джонатану» области возможных читательских интересов и притяжений, все же в поисках секрета его успеха пора вернуться к нему самому.

Проще и естественнее всего объяснить успех «Джонатана» «минус-факторами», как сказали бы сторонники структурного метода. В самом деле, на фоне нарастающего насилия, узаконенной порнографии и грубого потребительского материализма, ставших modus vivendi [1] современной массовой культуры, бескорыстное и отшельническое стремление странной чайки по имени Джонатан Ливингстон к совершенству становится чем-то вроде исповедания веры.

[1] Образом жизни *(лат.)*.

Очевидна евангельская структура сюжета: изгнанничество и избранничество, смерть и воскресение, проповедь, чудеса, апостолы.

Так же очевидна сознательная модификация его, «остранение» путем перенесения в иную и уже аллегорическую действительность.

То и другое — следование евангельским мотивам и видоизменение их — обнаруживают общность одинокой по жанру и материалу «Чайки» с гораздо более широким кругом явлений на всех уровнях западной культуры, получивших название неоромантической волны.

«Минус-факторы» если и не прямо вызвали ее к жизни, то принесли ей коммерческий успех и всеобщее внимание — от романов и кинофильмов до бытовой моды «из бабушкиного сундука»: старомодное стало не только модно, но и модерно.

Впрочем, особенность неоромантической волны, очевидная всякому наблюдателю, это, с одной стороны, совершенная определенность и непреложность самого ее существования, с другой — совершенная неопределенность, несхожесть и неравнозначность составляющих ее явлений и величин.

Потому в этой неоромантической, сентиментальной волне, которая вновь открыла приправленное ностальгией и подправленное иронией обаяние в развенчанных было добрых чувствах и простых истинах, «Джонатан» может существовать, оставаясь ни на что не похожим, сам по себе. Разумеется, за лоскутной пестротой этих поисков потерянного рая просматриваются социальные процессы, в том числе кризис официальной церкви, которая для многих перестает быть носителем и символом даже собственных христианских идеалов. Отпадение западной молодежи от всех официальных церквей — католической, протестантской, методистской — давно стало статистическим фактом. Но парадокс в том, что кризис христианской церкви совпал с усилением духовной жажды и в этой связи с модернизацией некоторых христианских идеалов в молодежных движениях. И «шестикрылый серафим» — как многое в неоромантической волне — явился в перелицованном, стилизованном платье.

Парадокс в том, что возврат к евангельским заповедям произошел не в лоне церкви, а на улице и в театре, в маскарадных терминах массовой культуры, в формах поп-арта.

«Иисус Христос-Суперзвезда» воплотил эту странную ситуацию веселого возврата молодежи вспять — к христианской легенде в карнавальной форме массового зрелища. На фоне и под сенью «Иисуса-Суперзвезды» повальная эпидемия «Джонатана» перестает быть капризом фортуны или дурацким «королевским жирафом» Гекльберри Финна и становится продолжением того же процесса адаптации традиционных общечеловеческих ценностей в обновленных иронией формах.

В неоромантической волне на всех ее уровнях очевиден и необратим горчащий привкус непреодоленных разочарований и, следовательно, иронии. Она не знает других путей вперед, как только путь назад. Ее возврат к морали ненастойчив и лишен пафоса, поэтому она предпочитает общедоступный сентиментализм жестокому реализму. Даже проповеднический жанр «Джонатана» не избавляет его от необходимости в защитной иронии. Повторение известных евангельских ситуаций не кажется невыносимой банальностью лишь благодаря пародии и самопародии.

Очертания традиционного евангельского мифа подновлены и подправлены в истории необыкновенной чайки также за счет идей буддизма, и дзэн-буддизма в особенности. Но ведь прививка Востока к Западу, некоторых существенных положений буддизма к стволу христианской культуры — тоже одна из заметных особенностей восстания молодежи против прагматизма «общества потребления». И одинокая чайка, стремящаяся трудным путем бескорыстного совершенствования к преодолению времени, пространства и смерти, на поверку оказывается не одинока.

Удивительная история притчи о чайке по имени Джонатан Ливингстон обнаруживает, таким образом, некоторые общие черты с той неоромантической волной, которая из отдельных и очень разновеликих брызг и всплесков никак не может слиться в девятый вал, потому что идеализм ее изначально подорван, омрачен уроками истории и окружающей действительности. Он представляет собой нечто вроде иллюзии, сознающей свою иллюзорность.

Именно оттого, что притче Ричарда Баха суждено было взлететь на гребень, за которым, однако, не просматривается сама масса волны, приобщение «Джонатана» к рангу бестселлеров может показаться случайным и самодовлеющим феноменом.

Я думаю, пройдет время, и «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» займет место среди книг для юношества, как до него не раз случалось со многими бестселлерами, начиная от бессмертного «Робинзона Крузо». И тогда — кто знает — быть может, начнется ее четвертая жизнь. А пока жанр притчи оказался, по-видимому, удобной формулой, емко вобравшей некоторые существенные настроения и искания западной молодежи и разочарование ее в буржуазном порядке вещей.

М. ТУРОВСКАЯ

■

Критика

ПАНТЕЛЕЙ ЗАРЕВ

ДРАМАТУРГИЯ ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ И СОВРЕМЕННАЯ

Георгий Джагаров — драматург с очень сложным внутренним духовным настроем. Для него характерны сокровенные порывы, свойственные поэтам. Его увлекают большие резервы театрального воплощения, возможность проявить напряженность своих чувств и мыслей в драматургических образах. И его пьесы представляют собой сложный сплав, единство двух начал, где субъективно лирическое прорывается сквозь сценическую монолитность образов. Это единство как бы дорисовывает, дополняет образы, делает их эстетически весомыми. Драматург умеет развернуть действие, выстроить его с помощью контрапункта, драматических столкновений. А присущая ему склонность к лиричности делает образ многограннее. Обе эти тенденции не мешают одна другой, не тормозят друг друга, а гармонически уравновешиваются в драме.

И еще одну особенность хочется отметить в таланте этого оригинального и весьма современного драматурга — масштабность мышления. Из обычных, повседневных сторон действительности он извлекает значительные обобщения, выводит проблемы, характерные для данного времени. Арсенал его мысли богат и разнообразен. Здесь есть крепкий идейно-эстетический стержень: гуманные цели нашего времени, обусловленные общественными и политическими обстоятельствами. Джагаров постоянно спорит с тем, что не соответствует его идеалу. Как драматург и как поэт, он уверенно противопоставляет передовое и консервативное, высокое и низкое, талант и посредственность. Из этого напряженного столкновения противоположностей вырастают его драматические сюжеты. Так возникла пьеса «Прокурор». Так родилась и новая его пьеса, «Эта маленькая земля» [1]. Почти десять лет отделяют первую пьесу от второй. И все же сразу становится ясно, что, хотя Джагарова сейчас волнуют другие идеи и другие впечатления, писатель, как и прежде, восстает против враждебных человеку условий, видя его величие в том, что он противостоит им.

Джагаров ввел в пьесу новые характеры, новый человеческий материал, он по-новому осмысливает теперь и проблемы счастья, правды. «Прокурор» — плод одного исторического времени. «Эта маленькая земля» — другого. Но вопрос о зависимости человека от условий существования и о его борьбе с ними возникает вновь, полемичность в драме сохраняется.

Автор снова смело вступает в спор с некоторыми явлениями современности; это мыслитель-мечтатель, который силой своего ума, своего чувства, своего драматургического видения хочет помочь людям найти верные ориентиры в насущных вопросах нашего времени. Монологи его героев и теперь расцвечены радугой лиричности, а их вдохновенные реплики полны гуманистического пафоса. Нравственная идея писателя осталась прежней, она по-своему сурова, возвышенна, полна поэтического пафоса. Он достигает драматического напряжения, сталкивая эту возвышенную духовность с посредственностью, ставя перед ней барьер бюрократизма, карьеризма, бездушия. И тогда гармоничность движения нарушается, прогресс заторможен.

Если в «Прокуроре» попытка исторически осмыслить современность выражалась преимущественно в общественно-политическом сюжете, то в новой пьесе автора волнуют новые, животрепещущие социальные и моральные проблемы. Возмущение загрязнением природы в подтексте звучит как гнев, вызванный покушением на права человека, на свободу, на моральные ценности. Свобода и мятежность духа, рожденные строительством социализма, пробуждающие в человеке неизмеримые силы и

[1] Пьесу Г. Джагарова «Эта маленькая земля» редакция предполагает опубликовать в одном из ближайших номеров.

высокое достоинство, порой ущемлены бюрократической ограниченностью, технократизмом.

Профессор Радев и его сотрудники борются за сохранение природы, за спасение богатства земли. Те, кто формально поддерживает его идеи,— из бюрократических соображений или в силу приспособленчества — в действительности делают противоположное. Ученый проходит через все психологические состояния, вызванные этим общественным двуличием. Его то поднимают, то опускают по административной лестнице. Его побуждают отказаться от своих принципов, уступить тем, кто ведет грязную и нечестную игру. Но этот скромный ученый — не карьерист, он вылеплен из настоящего материала; он несет в себе нечто истинно болгарское, напоминающее борцов нашего национального возрождения — не случайно он поет песни Христо Ботева. Радев сохраняет свою человеческую сущность и выступает в защиту того, что дорого его народу. В результате он временно оказывается не у дел, тогда как технократы и помогающие им бюрократы развивают кипучую деятельность.

На этом поле брани вспыхивает серьезный нравственный и философский конфликт между передовым и талантливым, с одной стороны, и консервативным — с другой. Драма разыгрывается между полюсами страдания и подвига. Положение, в которое попал ученый, придает конфликту трагедийный пафос. Именно в этом — одна из характерных особенностей таланта Джагарова. Автор видит в подвиге трагизм, а не только торжественные, чисто внешние проявления героического. Он раскрывает философскую и эмоциональную силу противоречия, чтобы таким образом придать своему произведению цельность. Он стремится к драматическому напряжению, в котором отразилось бы и временное, преходящее, и общечеловеческое, а это придает известную монументальность и образам, и ситуациям.

В этой пьесе довольно много автобиографических моментов. Зрителю приходится подчас перешагивать через частное, личное, чтобы воспринять конфликт во всем его идейно-эмоциональном напряжении. От этого, откровенно говоря, она отчасти теряет свою внутреннюю жизненность и логическую завершенность.

Герои «Прокурора» имели свои исторические координаты. В пьесе «Эта маленькая земля» образы, созданные Джагаровым, также имеют свои исторические характеристики: люди нашей современности, ученые, рабочие, руководители важных ведомств — все они двигают время вперед своими большими делами, участвуя в преобразовании страны. И в характерах этих людей отражается наше время — как в образах профессора Димова и профессора Радева, Драгиева и Лазарова, так и в образах остальных героев.

У Георгия Джагарова очень острое чувство «осязания», необходимое в драматическом произведении. Это чувство проявляется и в построении мизансцен, и в оформлении пьесы. Герои драмы действуют в определенной среде в рамках напряженного конфликта. Тончайшие нотки самоиронии у Радева, юмор Балчева и Божиловой, живая непосредственность других персонажей усиливают впечатление осязаемой конкретности происходящего. Джагаров — мастер диалога, и диалог у него не только раскрывает содержание, он превращается в поединок, где скрещиваются шпаги, выявляются особенности характера, проверяется его эмоциональная и интеллектуальная сила. Реплики, даже самые обыденные, всегда имеют нравственный подтекст, они взволнованны, внутренне напряженны.

Джагаров вскрывает внутреннюю суть конфликта с помощью богатого арсенала средств выражения — лирических, драматических, эпических. Если Радев, подобно деятелям национального возрождения, ратует за патриотизм, за подлинную честность, то Драгиев во всем противостоит ему. Но противопоставление это не прямолинейно, оно философски осмыслено и тонко, ненавязчиво подано.

«Д р а г и е в. Каждый высокий пост требует каких-то компромиссов и уступок, товарищ Славов.

С л а в о в. Но Радев на это не пойдет.

Д р а г и е в. Радев такой же человек, как все».

Философия Драгиева — это компромисс, при любых обстоятельствах она предполагает приспособленчество, капитуляцию перед мнением более сильных и безразличие к тому, что из этого выйдет. Драгиев безответственно относится и к человеку. Он может нанести другому нравственный урон, может из эгоистических соображений перешагнуть через него. Драгиев — сильная и активная натура, он готов нарушить моральные нормы, совершить ради своих целей любой безнравственный поступок. Конфликт между Драгиевым и Радевым очень глубок — это конфликт исторический. Это два противоположных душевных склада, две противоположные морали — антитеза, созданная временем.

Мы снова оказываемся на поле обусловленной исторически идейной борьбы, которая знакома нам по пьесе «Прокурор». Благородная сторона временно терпит поражение, ее шпага сломана. Так было с прокурором. Так происходит сейчас с профессором Радевым. Однако это поражение раскрывается и как подвиг. Оно выводит побежденного вперед как победителя, разоблачающего философию личной корысти и приспособленчества, сопровождаемого полным равнодушием к интересам народа. В основе конфликта между Радевым и Драгиевым лежит позиция самого Джагарова, борьба драматурга со злом.

Некоторые сцены в пьесе «Эта маленькая земля» вызывают легкую досаду, особенно в ее первой редакции, в спектакле Пловдивского театра (затянутые сцены с рыбаками, слишком продолжительные пирушки и т. п.). На сцене Народного театра основная ее идея нашла более четкое воплощение. Радев хорошо понимает: завод

строится, но река отравлена, кислорода в воздухе стало меньше, растения задыхаются... И это лишь начало. Радев чувствует ледяное дыхание смерти, а Драгиев фальшиво возвеличивает «благоразумие» «Благоразумие» с оглядкой на мнение начальства, удобное для личного продвижения.

Масштабность мышления Георгия Джагарова проявляется как раз в этом раскрытии важной для всего человечества проблемы спасения природы, гибнущей из-за неблагоразумия людей. Эта идея не только актуальна, она глубоко гуманистична. Здесь драматизм наличествует не только во временном, но и в непреходящем общечеловеческом смысле. Обдумывая характеры своих героев, Джагаров хорошо выявил сущность Радева: его непримиримость, его мятежную независимость, его внутреннюю свободу, его патриотизм и коммунистическую цельность. Все эти черты Радева определены его борьбой против трагической перспективы уничтожения природы, жизни. В высоком накале идейного содержания пьесы заложены гуманность нашего времени и новый тип конфликтности, характерной для нашей эпохи. Сквозь идейные и сюжетные переплетения проступает лирическое «я» драматурга, его убеждение в том, что торжество драгиевых и лазаровых, даже временное, унижает человека

Столкновение нравственных тезисов, философских воззрений, характеров закономерно рождает и особую форму драмы. Ее действие строится на глубоком конфликте морально-политического плана и полностью раскрывается через борьбу, подчиняющую себе все происходящее на сцене. Напряжение в драме возрастает, происходит поляризация одних персонажей, единение других, примирение, и в итоге носитель главной идеи вновь находит самого себя. Сама форма пьесы, с ее драматическими столкновениями и романтическими взлетами, раскрывает перед нами сложный духовный мир Радева, помогает почувствовать его отчаяние, трагическое падение, желание покончить с собой. В репликах и монологах, действиях и противодействиях раскрывается цельность его личности, патриотическое, ботевское начало в ней, душевная широта, искренность и непосредственность этого человека.

Радев подобен язычнику, наделенному прометеевой силой, это монолитная, цельная натура; Драгиев же ускользает от нас, он разъединен, несмотря на свою однозначность, раздвоен и расчетверен, так как может быть и тем, и другим, и третьим, и четвертым, смотря по тому, что помогает ему удержаться на высоком посту.

Оригинальны, глубоко прочувствованны образы профессора Димова и Лазарова. Профессор Димов — беспартийный старый труженик науки, учитель Радева, который невольно наносит ему самый тяжелый удар, считая, что Радев изменил себе, вере в свою правоту. И Радеву приходится бороться не только с Драгиевым и Лазаровым, но и с Димовым, то есть как бы с собственной совестью. Причины этого трагического конфликта он не выясняет до конца, готовый с прометеевым величием пойти даже на самоуничтожение. Таково бремя долга, от которого он не в состоянии уклониться.

Не могу не упомянуть и о женских образах, которые являются открытием автора. Различные по судьбам и характерам, они несут в себе поэзию мятежности, бунта, возможного и в нашем социалистическом обществе, когда дело касается справедливости, защиты человечности, интересов народа. В этих образах, как и в образах главных героев, сильна специфически национальная струя; это современный, но и какими-то гранями исконно болгарский духовный склад. Автор рассматривает проблему общечеловеческую, но характеры он выводит на сцену болгарские.

Георгий Джагаров использует все возможности диалога. В репликах развивается широкий поток чувств: от шутливой насмешки до иронии, от состояния умиротворенности до эмоционального взрыва. Это обогащает драму. Порой, к сожалению, сложная и напряженная речь сменяется несколько облегченной словесной игрой, идущей от распространенного анекдота. Но в целом речь драматурга даже в отдельных репликах построена на драматических диссонансах. Она сложно организована внутренне: то вещественно-точная, «прозаичная», непосредственно-обличительная, то поэтичная, торжественная — в зависимости от конкретного состояния человека. Монологи Радева и Димова в последнем акте глубоко лиричны, они обладают той задушевной приподнятостью, с какой нередко говорят о детях, символе жизни.

«Сейчас мы перешагнем порог и войдем к Человеку, которому исполнился год. Мы еще не знаем, какой он, какие страсти вложила в него природа — великие или ничтожные, какие способности — малые или большие... Он задует эту свечку, и первый год его жизни сольется с вечностью». (Димов)

«Хоть я и отец ему, но с трепетом перешагну этот порог. Что возьмет от меня этот человек? И что из взятого сможет он как знамя понести в будущее? Из многих качеств, которыми он должен обладать, одно из самых важных — уметь самостоятельно мыслить. Он должен иметь собственное мнение и отстаивать его до конца. Если убежден, что это — на благо людям, что тем он служит миру и счастью нашей страны, народа и всей земли. Да, да, всей земли!» (Радев)

В словах этих, озаренных высокими чувствами и волнением, отражена романтическая настроенность автора. В языке героев ощущается, что они стремятся к чему-то большому, величественному. Поэтическая приподнятость служит реальному объяснению мира, и это отнюдь не сотворение мифа, так как приподнятость эта

очень близка жизни, жизнь бьет из нее ключом. Улавливая в происходящих столкновениях мимолетное, но существенное, Джагаров развенчивает пустопорожний романтизм, раскрывает резервы критического мышления. Хочется отметить многогранность драматурга, в результате которой пьеса романтична и в то же время реалистична. Драматург приблизился к действительности не только с помощью пафоса, мечты, песни, сказки, но и суровой, неумолимой повседневности.

И в наши дни не устарела мысль Паскаля о том, что изобретения людей, умножаясь, движут мир вперед, но и лукавство мира не стоит на месте, и оно тоже развивается и изменяется, приобретая новые формы. Оно может оказаться даже более коварным, чем в прошлом.

Пьеса Джагарова с ее сатирической и одновременно романтической общественной настроенностью требует для точного отражения внутреннего состояния человека и взволнованного монолога, и эпиграммной лаконичности реплик. Гуманизм нашей современной литературы включает в себя критическое, сатирическое начало, и драматургическое исследование, которое осуществляет автор,— это единство магических мгновений поэзии, остроумной изобретательности прозы, непосредственности жизни.

Пьеса Георгия Джагарова поднимает живые и актуальные проблемы, так что перед нами встает вопрос о генеалогии, об изучении корней болгарской драмы, посвященной современности. Мы немало говорим о необходимости сюжетной и идейно-эмоциональной связи литературы с действительностью. О том, что в литературу должны войти явления сегодняшней жизни, образы сегодняшних людей и, наконец, в ней должна раскрыться современная позиция художника. Но это — общие положения, и они не могут подсказать нам конкретно-исторических, эстетических закономерностей современного творчества.

Такие произведения, как «Эта маленькая земля», как «Золотое обеспечение» Драгомира Асенова, вводят в злободневные и социально-исторические проблемы времени, раскрывая черты новой морали, нового образа мыслей, новых духовных конфликтов. Так художественные произведения помогают литературной критике выйти из замкнутой системы своих представлений, увидеть накопленный опыт, осознать намечающиеся тенденции. Понятие «генеалогия современной драмы» связано не только с идейной направленностью, с существом конфликтов, с бытующей психологией. Оно предполагает также изучение жанров, композиции, языка. Не следует забывать о том, что драма, посвященная современности, включающая в себя критические и сатирические элементы, смешанные с лирическими и романтическими мотивами, психологически обогащается. Идеализация героических и патриотических мотивов, достигнутая благодаря внутреннему психологическому ритму, музыкальному оформлению, песне, и одновременно заземленная критичность и жизненность конфликтов придают пьесе особую ценность. Романтический пафос пьесы, ее трагизм, перерастающий в критическое наступление, разнообразят возможности воспитания наших чувств.

Герои, а их устами и автор, не просто говорят на своем обычном языке с примесью профессионального жаргона. Их язык раскрывает игру воображения, местами он полон намеков, насыщен высоким интеллектуальным содержанием. Мы чувствуем, как ход развития нашего общества, его конфликты реально обогащают наше мышление, делают нас мудрее. Это можно наблюдать на опыте болгарской современной драмы. Социалистический строй создает невиданную до сих пор духовную атмосферу: это атмосфера созидания, поисков, борьбы за новое, прогрессивное, благодаря этому драма наполняется идейной и эмоциональной энергией. И заметьте, энергия эта действует разрушительно по отношению к прошлому и созидательно — по отношению к настоящему, когда с позиций коммунистической идейности автор выявляет все, что уже мешает развитию. В этой энергии слиты воедино критика и сатира, проникновенный лиризм и романтический пафос. Вот в чем сложность изменившихся отношений, сложность, которую нам еще только предстоит осветить во всей ее полноте и многообразии.

Народный театр имени Ивана Вазова благодаря режиссеру Энчо Халачеву вплотную приблизился к замыслу автора, освободил произведение от некоторых повествовательных элементов, от внешней «живописности», раскрыл его внутреннюю логику. Вот в чем видит индивидуальность автора режиссер, вот что определило характер постановки: «Что меня привлекает в этом авторе? У него все крупно. Слова. Мысли. Проблемы. Слово уплотнено, сгущено, объемно и вместе с тем вычерчено одним штрихом. Мысли выписаны, как фрески. Они гневны, вулканичны и непрерывно развиваются во времени. Проблемы остры, неожиданны, они как бы непрестанно клокочут вокруг нас».

Такая характеристика требует соответствующего режиссерского решения. И решение это найдено. Со сцены веет подлинной жизнью. Вы чувствуете, что насилие рождает протест. Что и в нашем обществе возможен бунт во имя высокой цели, против унижения человеческого достоинства. Актеры мыслят современно, их игра интеллектуальна, оформление предельно упрощено.

Итак, познакомившись с пьесой, мы встаем перед проблемой развития драмы и тех требований, которые она диктует современному театру. Театр всегда вмешивался в бури и треволнения нашей жизни, вмешивается и сейчас. Особенно когда у него есть хорошие пьесы и хорошие исполнители. «Эта маленькая земля» — также вмешательство в жизнь, утверждение нашей морали, воспитание наших чувств.

Перевод с болгарского С. ПАРХОМОВСКОЙ

М. ХАРИТОНОВ

«ПРИВЫЧНЫЕ СВЯТЫНИ ПОКИДАЯ...»

О творчестве Германа Гессе

1

«Взрыв» читательского интереса к творчеству Германа Гессе (1877—1962), наблюдающийся последние годы во многих странах мира, некоторым показался неожиданным. Исследователи, правда, напоминали, что этот писатель в свое время отнюдь не был обойден вниманием. Высоко оценивал творчество Гессе его близкий друг Томас Манн; он вызывал интерес у таких разных людей, как Альфред Дёблин и Бертольт Брехт, Вальтер Беньямин и Курт Тухольский, Зигмунд Фрейд и Карл Густав Юнг. Его книги «Петер Каменцинд» (1904), «Демиан» (1919), «Степной волк» (1927) были событиями для своего времени. В 1946 году за роман «Игра в бисер» живший в Швейцарии писатель был удостоен Нобелевской премии; в его родном городе Кальве после войны эта книга продавалась за 25 фунтов муки — поистине приравнивалась к хлебу насущному.

Однако подлинно массовой аудитория Гессе никогда не была и ограничивалась преимущественно немецкоязычными странами; еще при жизни писателя все более распространялся взгляд на него как на явление прошлого. Табличка с просьбой не беспокоить посещениями, висевшая на воротах его дома в Монтаньоле, казалось, отгораживала Гессе от треволнений современного мира. Новая молодежь не знала его. Проведенный в 1962 году западногерманской газетой «Ди вельт» опрос: «Принадлежит ли Гессе современной немецкой литературе?» — дал журналистам основание заявить: «Молодые западногерманские писатели мыслят новую литературную действительность без Гессе».

Кто предполагал, что всего через десять лет Гессе окажется одним из самых популярных европейских писателей — причем сначала не в странах немецкого языка, а в США (что немало удивило бы самого Гессе, считавшего, что именно в этой стране меньше всего способны его понять). За шесть лет его книги разошлись здесь в 6 миллионах экземпляров; в Японии за три года — в 4 миллионах; они были переведены на 35 языков, а повесть «Сиддхартха» особо — на 12 индийских диалектов. Волна увлечения Гессе дошла и до ФРГ; издательство «Зуркамп» за один 1971 год продает 300 тысяч томов его произведений. Творчество писателя стало предметом оживленных дискуссий; с каждым годом растет число посвященных ему работ.

Причины подобного интереса сложны и неоднозначны: индийские читатели, естественно, видят в «Сиддхартхе» нечто иное, нежели американские. Можно, однако, заметить, что самую массовую аудиторию Гессе составляет сейчас молодежь, и исследователи прямо связывают увлечение писателем с волной молодежного движения, переживавшего на Западе в последние годы столь бурный подъем. Американский журнал «Джейл ревью» не случайно называет Гессе «одним из вероучителей» современной западной молодежи. Молодежь обратилась к Гессе в пору драматической переоценки ценностей буржуазного мира; она обнаружила в его книгах немало родственного своим нынешним сомнениям и поискам. «Писатель, считавшийся далеким от совре-

менных проблем,— констатирует западногерманский журнал «Цайт-магазин»,— вдруг оказался злободневным политическим мыслителем». Иначе говоря, проблемы, наиболее существенные для его творчества, приобрели в наши дни новую актуальность. «Антибуржуазная и антицивилизаторская направленность таких книг, как «Демиан»,— подтверждает швейцарский еженедельник «Вельтвохе»,— находится в позитивной родственной связи со злобой сегодняшнего дня». Газета «Франкфуртер альгемайне» видит в творчестве Гессе бунт «против ложных, пустых авторитетов», против буржуазной системы ценностей. «Молодежью Америки,— замечает газета,— Гессе был «открыт» в ту пору, когда США переживали крупнейший кризис в своей истории. Это не новость: интерес к Гессе всегда достигал кульминации в кризисные времена... когда люди искали потерянные ориентиры».

Не обошлось и без парадоксов. Воспитанный в духе пиетистской строгости, чрезвычайно сдержанный в быту и дисциплинированный в труде, Гессе неожиданно оказывается даже в числе «святых» хиппи. Западногерманские кинодокументалисты попытались выяснить причины этого явления в серии киноинтервью. Один из опрошенных хиппи ответил афоризмом Гессе: «Люби жизнь, живи любовью». Другие нашли в его книгах проповедь ухода от буржуазности в природу, в мир непосредственных чувств, в экстатические и мистические состояния. Он даже стал своего рода «нобелевским алиби» для проповедников так называемой «психеделической революции» — попросту говоря, наркомании; небезызвестный «пророк ЛСД» Тимоти Лири советовал своим адептам перед каждым наркотическим сеансом читать «Степного волка», с его эффектными главами о «магическом театре», который возникает перед глазами одурманенного опиумом героя.

Это, конечно, крайности; но и в них находит свое причудливое, подчас карикатурное отражение действительная проблематика творчества Гессе: антибуржуазность, антитехницизм, антимилитаризм, протест против обезличивающего, оболванивающего воспитания, противопоставление ценностям потребительского общества ценностей индивидуальных, духовных. Вся жизнь и деятельность Гессе была едва ли не прежде всего поиском наиболее достойной позиции представителя духовной культуры в мире, «который признает и боготворит только материальный успех или спортивные достижения», в мире извращенном и чуждом.

2

Даже читатель, знакомый с творчеством Гессе лишь по считанным русским переводам (кроме ранней повести «Под колесами» (1906) и итогового романа «Игра в бисер» (1943) можно назвать изданный еще до революции роман «Петер Каменцинд» (1904) и «Сиддхартху» (1922), вышедшую в 1924 году под заглавием «Тропа мудрости»), узнает эти обозначенные пунктиром проблемы. Сквозные для всего его творчества, они разрабатывались и исследовались писателем в разных аспектах и вариантах. Уже в литературном дебюте Гессе — сборниках стихов «Романтические песни» (1899) и прозы «Час после полуночи» (1899) возникает традиционное противопоставление мира возвышенной духовности миру отвратительной обыденности, от которой художник бежит на суверенный «остров красоты», созданный его воображением,— первый, романтически наивный срез темы. В «Петере Каменцинде» герой, также художник, «одинокий король в им же самим созданном царстве грез», уходит от общества, от городской цивилизации в родную деревушку Нимикон, к природе, к простым людям.

Мотив бегства возникает и в повести «Под колесами» — одном из наиболее автобиографических произведений Гессе. В умном, ранимом, чувствительном юноше Гансе Гибенрате, которого пытается обтесать на свой лад монастырская школа («сковать и искоренить сырые силы и страсти природы, привив взамен тихие, соразмерные, признанные государством»,— ее цель), мы без труда узнаем самого писателя. Сын небогатого швабского проповедника, Гессе был тоже отдан «на казенный кошт» в Маульброннскую семинарию. Только в отличие от Гибенрата, сломленного действительностью и покончившего с собой, будущий писатель бежал из Маульбронна, чтобы после поисков и сомнений найти свое место в жизни,— бежал, как другой герой той же повести, бунтарь Гейльнер — тоже alter ego автора. Эта двойственность поиска и идеала, «расщепленность» литературного автопортрета — характерная и важная черта творчества Гессе. Почти в каждом его произведении рядом с героем выступает его двойник — отчасти антагонист, отчасти иная ипостась того же типа. Таковы Синклер и Демиан в романе «Демиан», Сиддхартха и Говинда в «Сиддхартхе», аскет Нарцисс и скульптор Гольдмунд в романе «Нарцисс и Гольдмунд» (1930), наконец, Иозеф Кнехт и Плинио Дезиньори в «Игре в бисер». «Ах, две души живут в моей груди!» — не без самоиронии цитирует Гёте герой романа «Степной волк» Гарри Галлер и тут же вносит поправку: пожалуй, не две, а больше.

Гессе ищет истину вместе с каждым из своих героев, и первый шаг на пути этих поисков — отталкивание от общепринятых (то есть для самого писателя — в какую бы эпоху он ни переносил действие — прежде всего буржуазных) ценностей, уход, бегство от мира, чуждого подлинной человечности. «Я ненавижу, презираю, проклинаю это довольство, это здоровье, этот уют, этот холеный бюргерский оптимизм!» — восклицает Гарри Галлер; он задыхается в мире, где «жирно процветает посредственность», где земля «разрушена и высосана акционерными обществами», а «так называемая культура» способна лишь вызвать рвоту. Он испытывает иногда «бешеное желание» хоть как-то нарушить «эту бесцветную, плоскую нормированную, стерилизованную жизнь»

«разрушить магазин, или церковь, или себя самого»[1].

Правда, это «неприятие буржуазности» непоследовательно и противоречиво. Как-то на улице у таинственного торговца Гарри Галлер покупает брошюру, озаглавленную «Трактат о степном волке», и неожиданно находит в нем горькие истины о себе самом и о себе подобных. «Степной волк,— пишет проницательный неизвестный автор,— считает себя стоящим вне буржуазного мира, поскольку он не имеет семьи и лишен социального тщеславия... Однако живет он в некоторых отношениях вполне по-бюргерски: у него есть деньги в банке... он не заботится об одежде, но одевается прилично и неброско, стремится жить в мире с полицией и налоговым управлением». Даже его экстравагантность по природе своей буржуазна; он никогда не прорывался «в те области жизни, где нет буржуазности». «Буржуазность» в трактате понимается вообще как «поиск середины между крайностями и противоречиями человеческих устремлений»[2].

Пристыженный «Трактатом», Гарри Галлер вновь бежит на улицы большого города, в мир подозрительных, злачных мест и «небуржуазных» женщин. Эти женщины, Гермина и Мария, вместе с саксофонистом Пабло берут «степного волка» под свою опеку, приобщают его к жизни, свободной от сковывающих условностей.

Пабло знает простой путь, позволяющий человеку отрешиться «от своей так называемой личности», от всего внешнего, наносного, неподлинного. Путь этот не требует многолетних усилий, упражнений, медитации, аскетизма, в которых когда-то пытался усовершенствоваться брахманский сын Сиддхартха, ставший отшельником-саманой. Впрочем, и он, разочаровавшись в надежде найти таким образом истину, иронически напоминает своему другу Говинде об иной возможности: «Это бегство от «я», краткий побег от мучений бытия, возможность ненадолго заглушить боль, отрешиться от бессмысленности жизни... все это доступно любому погонщику волов, когда он на постоялом дворе напьется рисового вина или перебродившего кокосового молока». В конечном счете важно не средство, а цель, и наркотики позволяют достичь ее наиболее эффективно. Именно с их помощью Пабло вводит Гарри Галлера в удивительный «магический театр» («вход только для сумасшедших»). Здесь он может удовлетворить не только свои высшие потребности, беседуя с «бессмертными», но и дать выход подспудной ненависти к бесчеловечному миру, расстреливая автомобили.

Фантастическая война между людьми и машинами, которая разыгрывается в «магическом театре»,— один из важных эпизодов книги. Гарри воспринимает как начало справедливой революции призыв «убивать богачей, которые с помощью машин выжимают соки из других людей, убивать их вместе с их огромными, кашляющими, рычащими, чертовски гудящими автомобилями; сжигать фабрики, чтобы хоть немного очистить, наконец, небо, освободить обесчещенную землю, чтоб из цементного мира, обращенного в пыль, опять могло возникнуть что-то, похожее на леса, луга, поля, ручьи и болота». Призывы противной стороны в защиту «порядка, труда, собственности, культуры, права» его не трогают; с каким-то разрушительным сладострастием он одну за другой расстреливает проезжающие мимо автомашины.

Однако в машинах сидят не абстрактные богачи, а в основном простые пассажиры, женщины, дети. От множества кровавых сцен Галлеру становится не по себе; эпизод обрывается, не получив разрешения.

Это был пункт, на котором спотыкался и сам Гессе. Расплывчатая для него идея революционного преобразования мира оказывалась пугающе связанной с необходимостью насилия и жертв. «Я часто даю молодым читать левореволюционную литературу,— признавался он в одном из позднейших писем,— но когда ее начинают обсуждать, посылая обычные безответственные проклятия в адрес бюргеров, государства и фашизма (которым я, конечно, желаю провалиться ко всем чертям), я вспоминаю о вопросе совести: надо быть готовым убивать, и убивать не только тех, кого знаешь и ненавидишь как преступников, но убивать вслепую, стрелять в массы. Я к этому не готов... я предпочел бы, если надо, быть убитым, но не убивать, однако даже собственному сыну я не стал бы советовать, как ответить на этот вопрос совести».

Трудно сказать, кого понимал Гессе под «левыми революционерами»; фраза насчет «стрельбы в массы» вызывает скорее представление о знаменитом «сюрреалистическом акте», сформулированном Андре Бретоном, которого так охотно цитировали вдохновители недавних «бунтарских» движений: «идти на улицу с револьвером в руках и бесцельно, пока можно, стрелять в

---

[1] Критики не случайно отмечали сходство между высказываниями Гарри Галлера и позицией некоторых «левых» западных интеллигентов конца 60-х — начала 70-х годов. «Он, говоря социологически, остается оппозиционным неприкаянным левым, не связанным с пролетариатом», — пишет, например, исследовательница из ГДР Айке Миддель, указывая на злободневное звучание некоторых мест книги и, в частности, на близкие мотивы в творчестве Мартина Вальзера (кстати сказать, удостоенного в свое время премии имени Гессе). (Aike Middel. Hermann Hesse. Leipzig, 1972, s. 187.)

[2] Такое понимание близко к толкованию Т. Манном бюргерства как «срединной сферы». Срединная же позиция вообще означала для Т. Манна позицию ироническую, и здесь Гессе также перекликается с ним. «Жить в мире, как будто это не мир, уважать закон и все же стоять над ним, владеть, как будто и не владея, отказываться как будто и не отказываясь, — все это... позволяет осуществить только юмор», — пишет Гессе в «Степном волке». Отметим также близость гессевского «поиска середины» буддистскому представлению о «срединном пути»; это, как мы увидим далее, не случайно для писателя.

М ХАРИТОНОВ

«ПРИВЫЧНЫЕ СВЯТЫНИ ПОКИДАЯ »

толпу». Анархический бунт ради разрушения, лишенный позитивных целей и нравственного обоснования, мелкобуржуазный антитехницизм, высвобождение инстинктов, которое на глазах у Гессе становилось орудием в руках фашистских демагогов,— все это не могло устроить Гессе, как и иллюзорный выход, даруемый наркотиками. «Возможно, напившись, можно приглушить боль,— говорил один из его героев еще в «Сиддхартхе»,— найти ненадолго убежище и отдых, но затем человек возвращается из своего бреда, видит, что ничего в мире не изменилось и что он не стал мудрее».

Путь Галлера был в действительности неприемлем для писателя, но он исследовал его как возможность, как злободневный искус, и достойна уважения проницательность, с какой Гессе предвосхитил реальные приметы некоторых позднейших идейных завихрений.

3

Отрицание как единственная позиция вообще не могло удовлетворить ищущего художника. Отталкивание, уход, побег — начальный шаг; но в каком направлении двигаться? Если не видишь возможности изменить мир или безоговорочно отрешиться от него, нельзя ли попытаться жить в этом мире, считаясь с его угрожающей реальностью, но не теряя в то же время себя, не поступаясь своими ценностями?

Задолго до «Степного волка» Гессе начинает исследовать и этот путь — непростой, доступный лишь немногим избранным, отмеченным «каиновой печатью» неординарности, «высокого духовного поиска». Так говорит своему школьному товарищу Синклеру свободный и одинокий Макс Демиан в романе «Демиан». «Идти путем, который ведет к тебе самому», утверждаться в себе и в своих ценностях, какая бы судьба тебя ни ожидала,— вот, по его убеждению, достойнейшая цель. Тот, кто это постиг, может чувствовать себя «одиноким среди холодного мирового пространства... Ему не нужно быть ни революционером, ни образцом, ни мучеником».

В этом индивидуализме, в этом гордом «приятии судьбы» есть что-то от ницшеанского сверхчеловека, и Демиан действительно называет Ницше среди своих учителей. Его абстрактные рассуждения таят возможность опасных толкований; но в конкретной его деятельности нет ничего бесчеловечного. Он, в сущности, стремится к добру и несет другим добро. Избранникам с «каиновой печатью» этот мир кажется «странным, сумасшедшим и опасным»; но на свой лад они служат ему. «Мы вовсе не были изолированы от мира, мы часто жили в нем мыслями и разговорами, только на другом поле; от большинства людей нас отделяли не границы, а иное видение. Нашей задачей было представлять в этом мире остров, может быть, пример, во всяком случае, возвещение иной возможности жить». Кроме Синклера, Демиана и его матери к этому кругу незримо принадлежали многие ищущие, близкие и далекие; среди них были и приверженцы Толстого, и адепты индийских школ — люди самого разного толка.

Так начинает складываться у Гессе представление о сфере «духовной элиты» — немногочисленной, пока еще распыленной группы людей, живущих в этом мире и в то же время обособленных, не приемлющих его ценностей, культивирующих свои, возвышенные. Эта тема находит своеобразное развитие в повести «Поломничество в страну Востока» (1932). «Паломники» — члены абстрактного тайного союза единомышленников, среди которых мы встретим и литературных героев, и Дон Кихота, и Генриха фон Офтердингена, и писателей Брентано и Гофмана, и современника Гессе художника Пауля Клее. и персонажей из предыдущих произведений самого писателя — Сиддхартху, Гольдмунда. Объединяет их возвышенность поиска, стремление к добру, к красоте, к подлинной духовности.

Действительность, окружавшая героев Гессе, как и самого автора, мало благоприятствовала такой деятельности. События первой мировой войны вырывают из дружеского круга Синклера и Демиана, бросают в страшную мясорубку; последняя их встреча происходит в военном госпитале. «Паломничество в страну Востока» писалось в пору, когда готовился прийти к власти Гитлер. Но чем явственнее становилась опасность фашизма и новой войны, чем больше обострялась тревога за судьбы человечества и его культуры, тем прельстительнее становилась мечта о сообществе интеллектуалов, которые сохранили бы верность духу и смогли «в целости и сохранности пронести через это лихолетье зерно доброй традиции, дисциплины, методики, интеллектуальной честности».

А мы, мудрецы и поэты,
Хранители тайны и веры,
Унесем зажженные светы
В катакомбы, в пустыни, в пещеры,—

писал некогда В. Брюсов. Эта идея, к которой особенно восприимчивы во времена трагических потрясений, стала исходной для итогового романа Гессе «Игра в бисер».

«Многие духи окружали меня, когда я работал над этой книгой,— писал он в одном из писем,— в сущности, все духи, воспитавшие меня».

Первые наметки романа были сделаны еще в 1931 году, закончил его писатель в 1943-м. События не располагали к оптимизму, и Гессе перенес в неопределенный XXIII век свою благословенную страну Касталию, обитатели которой, объединенные в некий интеллектуально-духовный Орден, получили, наконец, возможность мирно культивировать и передавать от поколения к поколению возвышенные эзотерические ценности. Им уже нет надобности таиться в пустынях и пещерах; после бесчинств и искажений «фельетонистической» эпохи, когда «сколько будет дважды два решал не факультет, а господин генерал», после долгих разрушительных войн и упадка культуры общество потянулось, наконец, к истинной мере вещей, к «такой азбуке и такой

таблице умножения, которые не продиктованы интересами властей и не подвержены ежеминутным изменениям». Все еще не разделавшись со своими обыденными проблемами, не накормив досыта своих граждан, оно осознало насущную ценность духовной деятельности, результаты которой не всегда и не тотчас видимы простым глазом и к которой губительно подходить с одной лишь грубой прагматической меркой. Здесь касталийцам позволили углубиться в самые отвлеченные, самые парадоксальные интеллектуальные занятия — вплоть до таинственной Игры в бисер, которую повествователь неопределенно описывает как игру «со всеми смыслами и ценностями нашей культуры». В конечном счете, и это идет на пользу обществу. «Теперь уже все знают, во всяком случае догадываются: если мысль утратила свою чистоту и остроту, если духу не воздается должное, то вскоре и автомобиль не тронется с места, и корабль собьется с курса, лишатся своего авторитета как счетная линейка инженера, так и банки или биржи, наступит хаос. Однако прошло немало времени, прежде чем пробило себе дорогу убеждение в необходимости и для внешней стороны цивилизации, для техники промышленности, торговли единой основы в виде интеллектуальной нравственности и честности».

Техника, как видим, безусловно отнесена здесь к «внешней» стороне цивилизации. Касталийцы, правда, в числе прочих наук интересуются и физикой, и химией, и астрономией— упомянуты даже их «отлично оборудованные лаборатории»; но все это вызывает скорей представление о занятиях средневековых алхимиков и мудрецов, сопоставляющих магический смысл химических формул и планетарных чисел, чем о подобающем веку научно-исследовательском институте. Вся область инженерно-технического знания, неотделимая от индустрии и потребностей экономики, по природе чужда этому аристократическому миру, настороженно и ревниво оберегающему свою отгороженность от мира внешнего.

Писателю всегда был явно по сердцу этот «нетехнологический» вариант жизнеустройства. Мир увиден в романе глазами касталийца. Любовно, в подробностях описан благородный несуетный быт Ордена, возвышенные интересы его обитателей. Нужны ли для счастья этим людям, непритязательным в еде и одежде, промышленность и торговля, гонка производства и потребления, погоня за наживой? «Будь весь мир элитарной школой,— мечтает герой романа Иозеф Кнехт,— будь Орден сообществом всех людей на земле... какой светлой, цветущей и блаженно невинной была бы жизнь!»

Утопия, что и говорить; но как и во всякой философской утопии, обращенной к современникам, в ней можно выявить элементы программы, положительной или отрицательной. Мысль Гессе обнаруживает точки соприкосновения с поисками тех, кто в наше время задумывается над издержками так называемой «технологической» цивилизации, перспективы которой представляются им безрадостными. На Западе известны разнообразные движения, которые пытаются на практике осуществить уход от «ценностей» этой цивилизации, вырваться из иррациональной сферы «массовой культуры» и «потребительского общества». Конечно, эта практика (при всем увлечении тех же «хиппи» или новейших «буддистов» древними философскими учениями и даже идеями самого Гессе) несопоставима с практикой касталийцев. Но позволим себе на время отвлечься от конкретных проявлений идеи и от конкретного романа, вглядимся в идею, как таковую.

Едва ли не в первую очередь возникает здесь мысль о великих восточных цивилизациях. Внук миссионера, служившего в Индии, Гессе с детства чувствовал себя приобщенным к культурам Востока. Религиозно-философские учения Индии и Китая оказали на него не меньшее влияние, чем христианство и книги европейских философов. Он отдал дань любви и уважения Востоку во многих своих работах и признался однажды, что завидует «этим бедным и угнетенным народам», их «самозабвенному чувству принадлежности к некоему идеальному сообществу, их способности черпать силы из неиссякаемого магического источника». «Паломникам в страну Востока» посвящена «Игра в бисер».

Но Восток, куда совершали паломничество герои Гессе, не был реальным географическим понятием; путешествующие туда отказывались от всех «банальных современных средств, от железных дорог, пароходов, телеграфа, автомобиля, самолета и так далее», они пытались совершить идеальный прорыв в сферу «магического и героического», в абстрактный мир высокой духовности, человечности и красоты.

Творческой манере Гессе вообще присуща, как правило, некая абстрактная условность изображения; его ландшафты и портреты было бы затруднительно воспроизвести художнику, его героев не видишь перед собой во плоти и крови. Они как бы возникают, сгущаются из тончайшего переплетения идей. Именно идею прежде всего развивает, разрабатывает автор, как разрабатывают музыкальную тему. Проза Гессе чрезвычайно родственна музыке. Зато в способности придать самой отвлеченной идее зримые очертания писатель не имеет себе, пожалуй, равных; достаточно вспомнить подробное, детальное описание Игры в бисер, да и самой Касталии. «Пусть люди легкодумные полагают, будто несуществующее в некотором роде легче и безответственней облечь в слова, нежели существующее»,— иронически замечал он в эпиграфе к роману. Идея обладала для него самостоятельной жизнью, и он стремился исследовать ее всесторонне и честно.

А честный подход приводил к противоречивым выводам. Противоречивым было, в частности, и отношение Гессе к Востоку,

потому что сам писатель в отличие от своих героев совершил поездку в реальную Индию на вполне современном пароходе и увидел там не только прекрасные храмы и погруженных в медитацию мудрецов, но и толпы ужасающе нищих, голодных людей, которых эти мудрецы оставляли наедине с их голодом и страданиями. Не приходили ли ему тогда на ум слова вроде сказанных однажды Чеховым по поводу толстовства — о том, что в электричестве и паре больше любви к человечеству, чем в вегетарианстве и непротивлении злу?..

На идею требовалось взглянуть не только «изнутри» Касталии, но и «извне», с точки зрения не попавших в «элиту» людей. «При всем содеянном ею зле,— писал Станислав Лем,— именно наука вызволила значительную часть человечества из голодного существования... тогда как фундаментом всех религиозных доктрин азиатского образца является именно равнодушие — столь же возвышенное, сколь катастрофическое по своим последствиям,— равнодушие к массовым проблемам, к проблемам непрерывно растущего человеческого коллектива... Убеждение этих мыслителей, будто отдельным людям достаточно жить, следуя прекраснейшим этическим нормам, которые вытекают из самой гармонической религии, и тогда автоматически возникнет идеальная гармония в масштабе всего общества — это убеждение столь же ложно, сколь и соблазнительно... Таким путем могут «спастись» лишь одиночки, и те, кто ищет умиротворения, несомненно могут найти его в буддийских монастырях (тому есть примеры), но ведь это же типичный уход от действительности, бегство от нее, если не сказать — интеллектуальное дезертирство» [1].

Вернемся к Касталии. По ходу чтения «Игры в бисер» мы чувствуем, как автор одну за другой вносит поправки в столь дорогую ему идею элитарного Ордена служителей духа. Вокруг мирной Швейцарии, где он в уединении писал свою книгу, события развивались с каждым годом все более трагически. Позволительно ли было оставаться безучастным созерцателем происходящего? Ведь и роман свой Гессе мыслил как отповедь фашизму, как попытку восславить духовность «в чумном, отравленном мире». Интересен один из набросков концовки «Игры в бисер», сделанный еще в 1931 году. Пришедший к власти фюрер требует от Иозефа Кнехта поставить свои способности на службу новому режиму. Кнехт отказывается. Перед уходом с поста Магистра Игры он устраивает последнюю большую Игру в бисер, идея которой — борьба духа с властью. Дух выходит из этой борьбы победителем, Касталия помогает уничтожить диктатуру. Реальный ход событий показал несбыточность такого облегченного варианта. Действительность оказывалась сложнее и страшнее; перед ее лицом идея элитарного Ордена, отгороженного от мирских забот, все больше обнаруживала какое-то самодовольство, высокомерие, какую-то эгоистичность. Она, как это ни парадоксально, оказывалась далековатой от подлинных высот духа, ибо слишком мало в ней было тепла, жизни и любви к людям.

«Разве это не искусственный, стерилизованный и по-школьному ограниченный мир, половинчатый и призрачный, в котором вы здесь трусливо прозябаете, мир без пороков и страстей, без голода, без соков и соли?..— с горечью говорит Кнехту его друг и постоянный оппонент Плинио Дезиньори, вестник другого, страдающего мира.— Малодушные, благополучные, не знающие ни забот о куске хлеба, ни слишком обременительных обязанностей, вы ведете паразитическое существование и от скуки забавляетесь своими учеными изысканиями... занимаетесь музыкой и Игрой, а в это время там, в мирской грязи, несчастные, затравленные люди живут настоящей жизнью и делают настоящее дело».

Как часто у Гессе, этот двойник и оппонент — второе «я» самого героя, голос его совести и в то же время голос совести самого автора. Именно эта совестливость, столь обострившаяся в литературе нового времени перед лицом неслыханных бедствий и осознанной несправедливости, не позволяла писателю «плыть сквозь жизнь, подобно облаку», как мечтал некогда его Каменцинд, «между временем и вечностью», безучастно взирая на мир и людей; она делала невозможной чисто эстетическую позицию.

«Уже много лет как я отказался от эстетического тщеславия,— говорил Гессе в одном из писем,— и пишу не произведения, но исповедь — так тонущий или отравленный уже не заботится о прическе или о модуляциях голоса — он кричит».

«Я никогда не жил в Касталии»,— признавался Гессе в другом письме. Он уводит оттуда и своего любимого героя Кнехта — уводит в мир, к людям.

Этот путь типичен вообще для героев Гессе. В конце концов и незрелый еще Каменцинд уходит не в пустыню и не в келью, а к землякам-крестьянам. Жизнь вовлекает в свой круговорот Синклера и Демиана. Изведавший бесстрастие аскета и мирскую суету, Сиддхартха находит высшую мудрость в представлении о едином, неразделимом, всеобъемлющем потоке жизни. «Все голоса, все цели, все страсти, все страдания, все наслаждения, все злое и доброе — все это вместе и был мир». Он понял, что ему был «нужен и грех, и наслаждение, и стремление к добру, и тщеславие, и позорнейшее отчаяние, чтобы научиться преодолевать себя, чтобы научиться любить мир, не сравнивая его с каким-то идеальным, придуманным им миром, с выдуманным им совершенством,— но любить его таким, как он есть, и принадлежать ему».

Будущее героев Гессе чаще всего остается неясным, открытым. «Я не могу назвать себя знающим. Я был ищущим и остался им»,— как бы говорит он вместе со своим Синклером. И искренность этого неустанного поиска больше всего привлекала читателей.

«Ренессанс» Гессе вызвал к жизни мно-

[1] С. Лем. Сумма технологии. М., 1968, стр. 167—169.

жество новых публикаций; в частности, увидела свет его неизвестная раньше переписка. И яснее, чем когда-либо прежде, выявилось, что писатель, стяжавший себе славу углубленного во вневременные проблемы «затворника», весьма интенсивно осмысливал современность, откликался на ее животрепещущие вопросы. Это относится не только к его энергичной антишовинистической и антивоенной деятельности периода первой мировой войны. «Демиан», «Степной волк», «Игра в бисер» вызывали целые потоки писем к автору, и в дневниках, в письмах Гессе нередки сетования на то, что он то и дело невольно оказывался в сомнительной для себя и нелегкой роли исповедника запутавшейся, ищущей молодежи. Мы уже видели: он сам далеко не всегда знал, что ей ответить и какой путь указать. Но он как мог отвечал на письма, он выступал в текущей прессе с небольшими статьями и рецензиями, которые тоже сейчас впервые собраны и рисуют перед нами облик Гессе, во многом отличный от устоявшегося.

Западногерманский критик Зигфрид Унзельд в недавней статье обратил внимание на характерную тему поздней переписки писателя. «Гессе рекомендовал своим читателям изучать, как и он сам, «основы социализма»... в капиталистическом строе он видел врага». Правда, социализм оставался для него не столько реальным фактором современной ему эпохи, сколько абстрактной идеей. «На насущные жизненные вопросы, он (Гессе.— **М. Х.**) не находил лучшего ответа, чем обращение к древней мудрости»,— замечает З. Унзельд [1].

«Первой и самой животрепещущей для меня проблемой,— писал Гессе в одном из писем,— всегда было не государство, общество или церковь, а отдельный человек, личность, единичный, не нормированный индивид».

Сознавая известную слабость своей позиции, Гессе, однако, с полным основанием мог писать о себе: «В ходе... моего развития я никогда не уклонялся от проблем времени и никогда не жил, как думают мои политические критики, в башне из слоновой кости».

Он нес свою службу людям, напоминая им в мрачные времена о гуманистических ценностях, предупреждая против опасностей и ложных соблазнов, он честно нащупывал возможность достойной позиции и достойного пути в окружавшем его мире. Как написал об этом в своем стихотворении его Иозеф Кнехт:

И снова жизнь душе повелевает
Себя перебороть, переродиться,
Для неизвестного еще служенья
Привычные святыни покидая...
Не может кончиться работа жизни...
Так в путь — и все отдай за обновленье.

(Перевод С. Аверинцева)

---

[1] Siegfried Unseld. Er spricht die Sprache der Jugend. Die Wirkung Hermann Hesses heute. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 3.8.1974.

Заметки на полях

ЛИЧНОСТЬ ПОД ПРЕССОМ «ГЕОПОЛИТИКИ»

Вышедшая в 1974 году в Соединенных Штатах книга прогрессивных американских ученых Этель Тобах, Джона Джианутсоса, Говарда Гопофа и Чарльза Гросса «Четыре всадника: расизм, сексизм, милитаризм и социал-дарвинизм» явилась непосредственным откликом на состоявшуюся два года назад общенациональную конференцию, которая была посвящена рассмотрению круга вопросов, объединяемых обычно на Западе понятием «геополитика». Этим термином охватываются, помимо мальтузианства, стародавний расизм, возрожденный социал-дарвинизм и новейшее манипулирование общественным сознанием с помощью как электронной техники, так и наркотиков, включая наркотики духовные, типа культа эротомании. Именно перечисленные реакционные теории (уже осуществляющиеся в ряде случаев на практике) авторы книги и сравнивают метафорически с четырьмя всадниками Апокалипсиса, которые сулят человечеству всевозможные беды и гибель.

Как пишут авторы в предисловии к книге, на проведенной конференции некоторые ученые

> «убеждали нас, что единственный способ сохранить господство над («неполноценными» — **А. К.**) расами — это широкое использование наркотиков. Нам говорили, что единственный путь для установления контроля над врожденными наклонностями человека к насилию и агрессии — это нейрохирургические вмешательства. Нас заверяли, что экономическое благосостояние нашей страны находится под угрозой из-за необходимости поддерживать существование огромных масс людей, чья генетическая неполноценность не дает им возможности адаптироваться в развитом технологическом обществе... Нам внушали, что для создания процветающего государства следует установить систему контроля над поведением личности и ввести психологические тренировки с тем, чтобы нежизненные концепции свободы и достоинства были заменены новыми концепциями, гарантирующими выживание существующей культуры».

Одна группа ученых, с которой вступают в полемику авторы книги, отождествляет организацию нервной деятельности человеческого и животного организмов и предлагает установить контроль над поведением людей с помощью электрофизиологических манипуляций с функциями нервной системы, как это уже делалось в опытах над животными.

Другая группа видит единственную возможность борьбы с «врожденным злом, свойственным человеку», при помощи биохимических средств (в виде наркотиков) или искусственного воздействия на гены.

Третья группа усматривает решающий фактор любой модификации человеческого поведения исключительно в наследственных особенностях и на этом основании отрицает право и свободу отдельной личности самостоятельно принимать какие-либо решения.

В целом, по мнению авторов книги, возникает ситуация, которую нельзя назвать иначе, как катастрофической.

> «Сегодня развитие многих отраслей биологии и психологии вызывает такую же реакцию, какую у луддитов вызывали технические достижения своего времени

и какую вызывает сейчас угроза применения ядерного оружия или загрязнение окружающей среды. Только вместо машин и атомной энергии, которые воздействуют на нас, наш мир и наше отношение к нему, теперь речь идет о еще более угрожающих способах изменения наших собственных тел: манипуляциях с генами, хирургических вмешательствах в мозг, контроле над поведением с помощью психологических приемов, об искусственном отборе, обрекающем на постепенное исчезновение целые группы населения».

В разделе, носящем красноречивое название «Социал-дарвинизм снова на коне», подвергаются резкой критике все виды концепций активного вмешательства в процессы естественного отбора с целью «улучшения человеческих видов». «Старый» социал-дарвинизм Герберта Спенсера, механически переносивший законы биологического развития животного мира на человеческое общество, активно возрождается в наши дни сторонниками технократических идей — защитниками капиталистического строя и его общественных институтов. Он провозглашает бессмысленность классовой борьбы в «индустриальную эру», мотивируя это необратимостью «все и вся нивелирующих» эволюционных изменений и характером самой человеческой природы, которая полностью определена наследственностью и внешней средой и которой свойственны конкуренция, зависимость от расовых признаков, даже климатических условий существования и т. д. Как пишет автор этого раздела книги Этель Тобах, современные приверженцы социал-дарвинистских теорий считают, что

«эволюционные процессы разделяют население земного шара на разновидности не только как биологических особей, но и по всем общественным и культурным навыкам, правилам, институтам»

В числе ведущих современных теоретиков социал-дарвинизма Этель Тобах упоминает имя Берхаза Скиннера. Действительно, именно этот американский психолог еще в 1948 году положил начало модернизированному варианту социал-дарвинизма своей книгой «Уолден-два», опорочившей известное произведение «Уолден, или Жизнь в лесу» писателя-утописта XIX века Генри Торо. Опорочившей, ибо социальному эксперименту Генри Торо, искавшему выход из ада капиталистической действительности, Скиннер противопоставил эксперимент над животными, преследовавший разработку «технологии человеческого поведения», которое должно определяться не свободным выбором индивида, а всецело его условными рефлексами. Извращая учение Павлова, а также результаты исследований основоположника бихевиоризма Уотсона, физиолога Халла об условных рефлексах и о непосредственной зависимости «ответной реакции» от «стимула», Скиннер рассматривал воздействие убеждений и чувств только в качестве «промежуточного состояния духа», а основой «оперативной обусловленности» человеческого поведения считал обычный условный рефлекс. В социальном плане его рассуждения завершались выводом, что наилучший метод борьбы со всякими конфликтами и «беспорядками» — это лишение человека возможности действовать, руководствуясь рассудком, подчинение его поведения рефлекторным инстинктам.

Следует заметить, что уже в момент своего появления книга Скиннера определенными своими сторонами — прежде всего в сфере культурной жизни — перекрещивалась с модной тогда философией (и практикой, естественно) прагматизма, в частности «инструментализма» Джона Дьюи.

В конструируемой прагматизмом картине человеческого поведения — практического, мыслительного, эмоционального — доминируют стихийность, бессознательность, утилитаризм. Ситуативный характер мышления и господство фантазии образуют тот мыслительный материал, из которого фактически построена прагматистская «теория опыта», широко используемая в различных видах современного западного искусства. Перенос акцента на форму, а не на цель и причины процесса познания призван отвлечь человеческую мысль от проникновения в сущность вещей, от самостоятельной интерпретации. Ее стремились направить на средства, на механизм деятельности, на умение пользоваться теми «инструментами», которые дает современная наука.

Эффективность «инструментов» определялась Дьюи степенью их способности создать у потребителей искусства желаемое и проецируемое на них психологическое состояние. Так в самой методике исследования эстетического (и любого другого ценностного) опыта содержится внутренняя связь откровенного интуитивизма с «технологической», «манипуляторской» идеологией, которая главенствует в нынешней духовной жизни буржуазного общества. Система действий индивида, будь то логического, морального или эстетического характера, которая разработана Джоном Дьюи, построена на двух основаниях: биологических импульсах (читай: условных рефлексах) и «интегрированном» опыте сознания, достигающего самоудовлетворения благодаря получаемым иллюзиям. Приведение этого индивида в «гармонически радостное» или любое иное запрограммированное помимо его воли состояние представляет собой конечную цель работы всей многосложной машины манипуляции личностью с помощью, например, рекламы, буржуазно-массового искусства, пропаганды. Не раскрывая закономерностей социальной и психологической жизни, придавая теоретические формы буржуаз-

ному «счастливому» обыденному сознанию, прагматизм предстал в качестве оборотной стороны и одновременно дополнения философии «чистой науки».

Прагматистская эстетика нигде, пожалуй, не получила в дальнейшем столь полного практического воплощения, как в рекламно-пропагандистских, коммерческих аспектах поп-арта. Даже на Западе никто не оспаривает мнения, что художники поп-арта просто повторяют образы, созданные рекламой с целью продажи товаров и «повседневных» услуг. Уже здесь проявляется одно из самых важных противоречий поп-арта. Эстетическая ценность большинства работ такого коммерческого искусства не высока. Они создаются ради немедленного воздействия, ради того, чтобы направить внимание не на искусство, как таковое, а на товары или сервис, предлагаемые потребителю. И хотя они получили равные права с подлинным искусством, выставляются в музеях и вывешиваются в гостиных, от этого их рекламно-утилитарная сущность не изменилась.

Своеобразное воплощение — в самой что ни на есть нигилистически-циничной форме — обрела за последние годы философия прагматизма в идеях «психотехники» и «моделирования» социального поведения человека. Так, вскоре после знаменитых волнений в Детройте в 1967 году в «Джорнэл оф америкэн медикэл ассошиэйшн» была опубликована статья (в виде письма в редакцию) нейрохирургов Уильяма Суита и Вернона Марка и психиатра Френка Эрвина, в которой говорилось, что хотя причины городских беспорядков «хорошо известны» и что «неотложные нужды» бедняков не следует умалять, тем не менее надо уделять главное внимание выявлению

> «менее осознаваемой роли других возможных факторов, включая дисфункцию мозга у тех мятежников, которые занимались поджогами, снайперской стрельбой и нападениями».

Несколько позже, в 1970 году, Вернон Марк и Френк Эрвин выпустили книгу «Насилие и мозг», где всячески обеляли методы разрушения мозговых тканей у определенных лиц как самые «эффективные и разумные»(!) способы их воспитания, не задумываясь над преступностью подобного «моделирования» поведения с научной и общественно-этической точки зрения.

Вскоре после этого главный теоретик антикоммунизма Бжезинский в работе «Америка в технотронный век» заверял своих читателей, что проводимые американскими учеными исследования позволят к концу столетия установить полный «биохимический контроль над умственной деятельностью человека» и даже искусственно изменять его организм. Профессор Лондонского университета Ганс Айзенк, профессор Стэнфордского университета (США) Уильям Шекли и ряд других ученых, со своей стороны, доказывали на все лады в своих многочисленных трудах, что расовая и генетическая наследственность является не менее важным фактором в формировании человеческого разума, чем окружающая среда, и тем самым оправдывали различные проявления дискриминации. А тот же Берхаз Скиннер опубликовал совсем недавно новую книгу «По ту сторону свободы и достоинства», где уже без обиняков призывал распрощаться с «устаревшими мифами» о свободе и достоинстве личности, ибо таковой, оказывается, вообще не существует, а есть лишь некий «биологический организм», с которым следует обращаться как с любым подопытным животным. Если же, угрожает Скиннер, американская цивилизация

> «и впредь будет считать своей высшей ценностью свободу и достоинство, а не собственное выживание (подчеркнуто мной.— А. К.), то может статься, что основной вклад в будущее внесет какая-либо иная цивилизация».

Яснее не скажешь! Вот только отнюдь не все американские ученые согласны со Скиннером относительно трактовки свободы и достоинства как «высших целей» современной американской культуры. Автор вышедшей в 1973 году книги «Манипуляторы ума» профессор Герберт Шиллер убежден, в частности, в иллюзорности мифической «личной свободы и индивидуального выбора» человека, зажатого в тиски «геополитического» контроля.

> «Прибегая к мифам,— пишет Шиллер,— которые объясняют, оправдывают, а подчас и идеализируют господствующие условия бытия, манипуляторы заручаются общественной поддержкой социального порядка, не отвечающего в конечном итоге реальным интересам большинства населения».

Массовая культурная коммуникация тоже служит, по мнению Шиллера, целям манипулирования общественным сознанием и стремится превратить человека в пассивное существо, поскольку пассивность обеспечивает сохранение статус-кво и

> «разрушает способность к социальным действиям, которые могли бы изменить условия, стоящие сейчас на пути реализации человеческих возможностей».

Вместе с тем нельзя не согласиться с убеждением автора, что было бы преждевременно полагать, будто манипуляторам удается добиться массового подчинения в об-

щественной и культурной сфере: повседневная социальная и политическая жизнь капиталистического мира с его забастовочным движением, расовыми и студенческими волнениями свидетельствует об обратном.

Однако не следует забывать, что идеи часто питают жизненную практику, и «геополитика» ныне отнюдь не носит столь мифологически-образный характер, как библейские провозвестники Апокалипсиса. Достаточно сказать, что глава чилийской хунты генерал Пиночет живо интересуется «геополитикой» и даже написал несколько книг в этой области. Спиро Агню, еще в бытность свою на посту вице-президента США, не раз выступал с заявлениями, оправдывающими разработку специальной программы государственной репрессивной политики с целью «изолировать и сбросить со счетов» инакомыслящих людей. Некоторые официальные инстанции Америки тоже восторженно приветствуют психотерапию и психохирургию. В Соединенных Штатах уже нашли широкое применение, преимущественно в школах, психохимические средства для контроля над поведением в виде различных транквилизаторов и стимуляторов. По признанию одного американского врача, число «гиперактивных» детей, к которым ежедневно применяются фармакологические средства «торможения», превышает 250 тысяч. Директор тюрем штата Калифорния Прокупье тоже проявил инициативу и предложил нейрохирургическое «лечение» арестованных с прямым вторжением в мозг. В выпущенной в 1973 году книге «Общественное мнение: макро- и микроанализ» профессора Кентского университета Джеймса Беста содержатся рецепты новых и более изощренных способов манипулирования общественным сознанием. Так «психотехника» реально грозит превратиться в политическое оружие властей предержащих в современном буржуазном обществе.

> «Контроль над поведением,— пишет прогрессивный американский ученый Перри Лондон в своей книге, которая так и озаглавлена,— есть способ заставить человека танцевать под твою дудку»

или, иначе говоря, превратить его в подобие управляемого робота. Собственно, именно этими опасениями питаются чуть ли не все пессимистические воззрения таких видных западных социологов, как Рисмен, Шелски, Фромм, Миллс, Дарендорф и многие другие. «Личность, ориентируемая со стороны», отождествляется ими часто с понятием «массового человека», то есть человека, лишенного собственных критериев мышления и поведения, получающего «из чужих рук» готовые мысли, оценки, эмоции и приспособившегося к требованиям и идеям, которые ему внушают массовые средства коммуникации. Западногерманский ученый Ж. Фридман проводит такую аналогию:

> «Собаки Павлова, которых он обессмертил своими знаменитыми опытами, по сигналу выделяли слюну, ели, лаяли, возбуждались и успокаивались. Современный человек по отношению к рекламе и пропаганде, к сожалению, часто является именно такой собакой».

Согласиться со столь гипертрофированным выражением действительно существующего кризиса личности в позднебуржуазном обществе, равно как и с утверждением Фромма о «смерти личности» в качестве самой характерной особенности нашего века, значит не диалектически подходить к социально-психологическим процессам, которые происходят в капиталистических странах, односторонне и фатально воспринимать их негативные стороны и игнорировать противоборствующие тенденции. На истоки подобных настроений в какой-то мере указал американский философ Рейнгольд Нибур в следующих словах:

> «Современный ум, запутанный и измученный катаклическими явлениями в нынешней истории, встречает разложение своей цивилизации со смешанным чувством страха и надежды, веры и отчаяния. Культура наших дней есть порождение современной цивилизации, продукт ее особых и специфических условий, а поэтому не удивительно, что минареты духа падают, когда начинают гибнуть материальные устои цивилизации».

А. КУКАРКИН

ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОГО ДИАЛОГА

Предпосылкой диалога, который уже на протяжении ряда лет ведется между представителями центристской и левокатолической мысли, с одной стороны, и марксистами — с другой, явился кризис социальной доктрины и социальной практики католицизма, принявший особо острые формы к концу 50-х—началу 60-х годов. Это было признано самими католическими идеологами в ходе дискуссий на II Ватиканском соборе. Их наиболее радикальные участники обвиняли собственную церковь во «вред-

ном бездействии» и «злых деяниях». При этом среди печальных последствий такого рода позиции наиболее часто упоминалась «дехристианизация» рабочего класса.

И действительно, откровенно консервативная позиция, которую занимала в прошлом (и частично занимает ныне) верхушка католической иерархии, привела к тому, что даже в традиционно католических странах все увеличивающаяся часть рабочих стала отворачиваться от церкви. Паллиативные попытки усилить «миссионерскую» деятельность, направленную именно на эту социальную группу, не дали заметных результатов.

Одновременно под влиянием процессов, происходивших в общественном сознании,— и прежде всего повсеместного возрастания интереса к социализму, как его теории, так и реальной практики,— в рамках католического мировоззрения усилилось изначально заложенное противоречие между общественными идеалами, ведущими свое происхождение со времен раннего христианства, и последующими идейными наслоениями тысячелетнего существования церкви в качестве составной части механизма управления эксплуататорским классовым обществом. Вызванное этим расщепление католической социальной доктрины привело не только к откровенному размежеванию между консервативными, умеренными и левыми католиками, но и к укреплению прогрессивных, а в ряде случаев и социалистических элементов в идеологии левых католиков.

Более того, появились и получили распространение такие интерпретации социальной доктрины католицизма, которые открыли возможность вовлечения левых католических кругов в борьбу за социализм.

Для примера можно сослаться на левокатолическую интерпретацию христианского гуманизма такими виднейшими католическими теоретиками, как Эмманюэль Мунье, Пьер Тейяр де Шарден, Жак Лакруа и др. Политический аспект этой интерпретации сводится к тому, что, только поддерживая требования рабочих и одобряя общественную структуру социализма, христианство имеет шансы сохранить свои позиции в качестве устойчивого мировоззрения. Задача, по их мнению, состоит в том, чтобы придать экономическим и политическим требованиям рабочих «христианскую» мотивировку и, соответственно, заменить активный политический антикоммунизм «христианизацией» коммунизма.

В практической области интерес, проявляемый ныне католическими кругами — в том числе и на самом высоком уровне — к социальным проблемам общества, порожденным его развитием во второй половине XX в., находит двоякое выражение. С одной стороны, активизировались попытки найти католическую «альтернативу» научному социализму в различных вариантах «христианского социализма». Обычно это сводится к одному из вариантов социал-реформизма, либо традиционного, либо «неокапиталистического» типа. С другой стороны, наметилось смещение соревнования с марксизмом из преимущественно политической в мировоззренческую сферу путем модификации католической доктрины в результате включения в нее философско-мировоззренческих концепций, содержащих некоторые прогрессивные общественные идеи, а также новые толкования христианской «философии человека» и этики.

Естественно, что коммунистические партии, представляющие собой ведущую силу общественных преобразований, осуществляя стратегию антимонополистического фронта, не могли пройти мимо подобных сдвигов. Они приветствовали отход части католических идеологов от крайнего антикоммунизма и проявили готовность к сопоставлению и взаимному уяснению точек зрения, чтобы обеспечить возможность совместных действий по общественно важным социальным, политическим и морально-этическим вопросам.

При этом, однако, не упускается из вида вторая сторона проблемы. Диалог и даже сотрудничество с той частью католического движения, которая отошла от традиционного консерватизма и антикоммунизма, не означает исчезновения существенных различий в подходе к общественным проблемам и особенно в общих мировоззренческих вопросах. Более того, поскольку основной задачей обновленной, в том числе левокатолической, социальной и общественной доктрины является упрочение и распространение христианской системы догматов, диалог объективно представляет собой форму идеологической борьбы, в ходе которой решается вопрос, какое мировоззрение одержит верх в умах миллионов людей. Такой позиции придерживаются не только марксисты, но и большинство представителей католического направления, принимающих участие в дискуссиях и практическом сотрудничестве. Иными словами, для обеих сторон речь идет не о мирном сосуществовании в области идеологии, а об идеологической конфронтации в новых социальных и политических условиях.

Именно в этом контексте и следует рассматривать дискуссию «Нравственность на переломе» между членом ЦК ФКП Люсьеном Сэвом и теологом Клодом Жефрэ, которую в несколько сокращенном виде мы предлагаем читателю журнала. Материал дискуссии, проведенной в рамках «недели марксистской мысли» во Франции, дает представление об оценке духовной ситуации представителями левого течения католической общественной мысли и в то же время вооружает читателя убедительными аргументами для опровержения несостоятельных, слабых и просто неправильных аспектов этой оценки. В устах теолога Жефрэ особенно убедительно звучат выводы, свиде-

тельствующие о глубоком кризисе, как экономическом и социальном, так и духовно-нравственном, охватившем различные социальные группы капиталистического общества.

А. ГАЛКИН

Люсьен Сэв

Общественная система переживает сейчас свою историческую агонию. Особенно поразителен моральный аспект ее разложения. Даже если наши выводы по этому поводу различны, мы оба, я полагаю, ощущаем этот нравственный кризис.

Клод Жефрэ

Конечно, ощущаем.

Сразу же с марксистской точки зрения — а я во многом разделяю этот подход — становится очевидным, что нравственный кризис есть не что иное, как отражение кризиса в обществе. По существу, это общество дошло до точки, где завершается то, что еще может быть обществом, основанным только на законе прибыли и на идеологии экономического роста.

Но нельзя останавливаться только на социально-экономической стороне дела. Мы должны думать и о тех исторических и культурных факторах, которые действуют независимо от исторического феномена — кризиса капитализма. В равной степени мы должны поставить перед собой вопрос о смысле этого выражения — «кризис капитализма». Ибо в некоторых отношениях капитализм отлично себя чувствует...

Люсьен Сэв

Действительно, знать, какова природа этого кризиса,— важная задача. Он не проявляется в форме какой-то мгновенной и разрушительной конвульсии. Перед нами — нечто более фундаментальное, имеющее множество противоречивых сторон, иные из которых не обязательно производят впечатление агонии. Но в глубине социальной действительности живет многообразное противоречие между накоплением богатств и присвоением этих богатств в виде прибыли, то есть в конечном итоге в виде, который не позволяет этим богатствам вернуться к людям и превращает производство в бессмысленную цель в себе.

Клод Жефрэ

Я думаю, что одной из главных причин нравственного кризиса является расхождение (в особенности для большой части молодежи) между определенными ценностями, происходящими из религиозного, культурного и педагогического наследства, и тем, во что фактически превратился сегодняшний человек не только в нашем западном обществе, но вообще во всем мире.

Некоторые причины кризиса морали — в первую очередь причины структурные, они связаны с несправедливостью капиталистического строя. Но сразу же добавлю, что этот кризис выражает возникшую у современного человека неспособность найти смысл жизни.

Когда-то смысл жизни имел религиозный и политический характер как разновидность квазирелигиозной веры при той или иной идеологии. В настоящее время у значительной части молодежи возник своего рода нигилизм, который привел к тому, что, каковы бы ни были структурные сдвиги в обществе — изменяются ли производственные отношения, устанавливаются ли более справедливые общественные отношения,— остаются те же важнейшие вопросы: что есть человеческое существование? Куда мы идем? В чем смысл истории? В чем смысл мироздания?

Люсьен Сэв

Я не считаю, что нравственный кризис имеет глобальный характер. Я далек от того, чтобы не учитывать тех моральных проблем, которые возникают в социалистических странах, потому что там несомненно есть моральные проблемы, особенно у молодежи. Но не думаю, что в этом случае речь идет о нравственном кризисе.

Например, тогда как в Соединенных Штатах зачастую говорят, что человек стоит столько-то долларов, в Советском Союзе никому не придет в голову, что человек стоит столько-то рублей. Социализм исключает самую мысль о том, что человека можно измерить на золото. А вот в капиталистическом мире это совершенно естественно: и не в том ли причина, что капиталистические отношения как раз основываются на оценке рабочей силы как предмета купли-продажи. В социалистических странах нет такого низведения человека до уровня вещи и человеческих отношений до уровня денежных.

Кроме того, я хотел бы подчеркнуть тот факт, что господствующая (буржуазная.— Р е д.) идеология имеет тенденцию к изображению кризиса морали как упадочничества; она не видит в этом кризисе зарождения чего-то нового и, с моей точки зрения, высшего.

Я прочел, например, парламентские дебаты по вопросу об абортах. Определенное число депутатов большинства — это поразительно — представляют себе кризис морали в виде Судного дня. Они думают, что нравственный кризис — это когда нет больше юности, нет больше семьи, нет больше уважения...

Они не хотят — или не могут — понять, что этот кризис имеет скорее позитивный аспект... Так, например, все поступки молодежи в лицеях воспринимаются, при ограниченном взгляде на вещи, как поведение плохо воспитанных детей, которые больше ничего не уважают. Но очень часто эти поступки указывают на истинную причину — объективно деградировавшую систему образования, систему, почти неспособную к живой передаче интеллектуальных и моральных ценностей, систему, лишенную демократизма и не позволяющую научиться демократии. Ее реакция — это показатель глубокой жизнеспособности ее морали.

Добавлю, что я совершенно согласен с вами, когда вы говорите, что нельзя анализировать кризис только в терминах экономики. Хотя экономика — это не только вещи, это и люди. Но я полностью согласен с вами, когда вы говорите, что у кризиса есть идеологические и культурные аспекты. Но только эти-то аспекты теснейшим образом связаны с экономикой. Это не два совершенно различных плана, хотя культурный аспект и имеет свою специфику.

Клод Жефрэ

Конечно, есть бунт против ценностей во имя высшей нравственной истины, и тут я согласен с вашей оптимистичной оценкой. Но есть еще ступень, где все дозволено,— а она, я бы сказал, связана с нашей современностью и выходит за пределы западного, или капиталистического, общества: для человека — для молодежи в особенности — это борьба за свое сознание, многие ценности которого (их практически нельзя было заменить) в наше время совершенно вымещены прогрессом науки — особенно гуманитарных дисциплин.

Например, изучение бессознательного у человека показывает, что понятие виновности имеет тенденцию к сдвигу — по сравнению с тем, какой она признана в традиционных системах морали.

Таким образом, я буду различать кризис общественной морали, связанный со структурными изменениями, и более общий нравственный кризис: такие проблемы, как голод или атомный конфликт, делают совершенно относительной область частной морали, морали индивидуальной.

Я хотел бы немного охладить ваш оптимизм. Вы лучше чувствуете позитивную сторону кризиса, потому что молодежь восстает против лицемерного общества во имя нравственного императива. Верно. Но я поражен также и разоруженностью большой части молодежи, разоруженностью моральной, религиозной и политической. Если взглянуть глубже, окажется, что многие молодые умело вознаграждены капиталистическим обществом и больше не ставят перед собой вопросов ни о смысле своего существования, ни об обществе, в котором они живут.

Таким образом, я различаю, если угодно, безответственные пререкания, сметающие все моральные табу, и мятеж, имеющий нравственную сторону.

Люсьен Сэв

Думаю, что переосмысление чувства ответственности связано с важными историческими процессами. С одной стороны, растущее число людей — это особенно ощутимо среди молодежи — отказываются признавать свою ответственность за все, что традиционно приписывалось личности и что социально детерминировано, как показали нам гуманитарные науки.

С другой стороны, чувство ответственности достигает огромных размеров и, более того, продолжает увеличиваться по мере того, как личность и коллектив осознают все то, что они могут изменить.

Еще в начале прошлого века общественные отношения считались явлением природы, не подлежащим изменению. Следовательно, не было и чувства ответственности за них. Ибо нельзя чувствовать себя ответственным за то, чего нельзя изменить. Не здесь ли лежит фундаментальная связь эволюционирующего сознания с угрызениями политической и общественной совести, то есть, по существу, с классовой реальностью?

Профсоюзы и организованный авангард рабочего класса, который привил революционное мышление всему обществу в целом, сыграли существенную нравственную роль. Их деятельность по-новому открывала смысл ответственности для миллионов людей. Поэтому я придаю такое значение вкладу, внесенному в понятие нравственности борцами, ибо жизнь борца — это и есть как раз школа ответственности.

Я, как и вы, считаю, что данные, накопленные за последние сто лет гуманитарными науками, помогли лучше понять нравственный аспект сознания. И этот прогресс, по сути, связан с историческим материализмом. Проблемы, о которых мы говорим, зависят от общественных отношений, а не от «свободы воли» личности, и их решение по силам человеку. Осознание этой возможности не самопроизвольно, и в этом смысле я согласен с вами, что следует отказаться от одностороннего оптимизма в том, что касается нравственной стороны кризиса. Давление функционирующих сейчас структур и идеологий порождает деморализацию, пассивность или утопический бунт. Но вмешательство революционного движения способно — оно это доказывает ежедневно — победоносно бороться с этим давлением.

Клод Жефрэ

Боюсь, что в нашем споре о нравственном кризисе мы встали перед следующей альтернативой: или буржуазный гуманизм с его личными моральными ценностями, которые все больше теряют уважение, или революционный гуманизм, который, как вы прекрасно сказали, несет с собой большее чувство коллективной ответственности, а не просто чисто индивидуальное признание требований морали.

Но не кажется ли вам, что в настоящее время постоянно прогрессирует нигилизм? Нигилизм, атакующий в равной степени и христианский гуманизм, и мирской гуманизм буржуазного общества, и предполагаемые моральные требования марксистского гуманизма. Я думаю, что антигуманизм определенных кругов французской интеллигенции непосредственно связан с успехами гуманитарных наук. То, что гуманитарные науки с методологической точки зрения атеистичны и антигуманистичны — речь идет о гуманизме субъекта,— представляется мне абсолютно законным и даже вытекающим из метода этих наук. Но то, что достижения гуманитарных наук очень часто сопровождаются антигуманистической идеологией — вот это кажется мне очень важным явлением, над которым следует поразмыслить.

Мы присутствуем при смерти философии в том смысле, в каком ее понимали на Западе. Что характерно для нашей современной культуры, для самых ее передовых кругов,— так это констатация провала нашего представления о некоем космическом единстве мира в том смысле, в каком оно воплотилось в греческой философии. Речь идет также о провале представления об исторической целостности мира... Наша культура — а значит, и наша мораль — лопнула.

Люсьен Сэв

Совершенно справедливо, что определенный вид гуманизма устарел: тот вид, который воображает, что на человеческий субъект можно опираться как на научную базу. Этот гуманизм фактически имеет дело с абстрактным человеком. Люди же создаются и проявляются в **общественных отношениях.** Современные гуманитарные науки в этом отношении подтверждают опыт марксизма. Сознание субъекта — это скорее конечный, нежели исходный пункт. Но это углубление наших знаний о человеке именно позволяет нам научно подойти к конкретному человеку, к индивидууму и к процессу его персонализации. Диалектика объективных общественных отношений, их история в равной степени относятся и к индивидуумам. А социализм, коммунизм — не просто высшая стадия общественной организации, но кроме того, как говорит Маркс в «Капитале», общество, способствующее «развитию человеческих сил как цели в себе, настоящее царство свободы, которое может расцвести, только основываясь на другом царстве, другой базе — на основе необходимости».

Глубже всего характеризует капитализм то, что он переворачивает вверх ногами отношение между производством материальных благ и человеком. Живой труд есть только средство обратить в капитал мертвый труд. Так мертвое держит верх над живым.

Напротив, при социализме начинается устранение аномалии. Воспитание человека становится главной целью. Производство вещей, общественных благ превращается в необходимое условие, в средство. Здесь мы снова находим, но уже в исторической конкретности, высший нравственный императив по Канту: относиться к человеку как к цели, а не как к простому средству.

Именно развитие человеческих сил как цель в себе представляется мне одновременно и логикой исторического развития, и ответом на ваш вопрос о смысле прогресса и о смысле жизни.

Вы говорите, что в ряде вопросов полностью согласны с марксизмом. Это для нас вовсе само собой не разумеется, и мы считаем, что это очень важно. Между нами могут быть вполне реальные расхождения по вопросам, которые (в чем мы, с той или другой стороны, совершенно убеждены) действительно существенны.

Как мне кажется, среди пунктов, по которым мы расходимся, имеется во-

прос о человеческом аспекте, который, по вашим словам, не сводится к конкретному историческому анализу. Вы, разумеется, признаете, что до известной степени человек отражает исторические и общественные условия, но считаете, что он не сводится к этим условиям.

Глубокие изменения в морали, происходящие сегодня,— это вы, по-видимому, признаете — осуществляются на основе изменений действительности. Следовательно, на каком основании мы будем оставлять одну из сторон человеческой жизни и морали без того самого материального анализа, на котором, как мы оба считаем, она и основана?..

Клод Жефрэ

Я разделяю некоторые марксистские воззрения на будущее. С моей точки зрения, нельзя, например, абстрактно рассматривать социально-экономическую обусловленность личности. Но сводится ли человеческий аспект к историческому анализу?

Не трансцендентна ли человеческая личность по отношению к определяющим ее социальным условиям? Сознание не есть только отражение его собственного исторического бытия. Отчуждение человеческой личности не сводится только к социально-экономическим проявлениям этого отчуждения. Но почему?

Человек становится нравственным человеком только на уровне воли. Для этого недостаточно обладать более обширными знаниями, умением глубже анализировать исторические обстоятельства, ощущать глобальный смысл истории или даже находиться на уровне более глубокого познания человека.

Как перейти от факта к ценности? Как переключиться с научного анализа условий существования человека на истинно этическую проблему — проблему долга?

Вам сразу же вспомнится, вероятно, нравственный императив Канта. В каком-то смысле это императив недоказуемый, но он оказывает сильное воздействие на человеческое сознание. Я знаю, что марксизм сможет проверить его исторически посредством анализа социальных механизмов, которые выработало человечество. Однако мне кажется, что в человеческое сознание вписаны определенные недоказуемые ценности, которые человек ощущает и признает благом, даже если он не основывает мораль на религии.

Значит ли это, что такие ценности будут ценностями платоническими, абстрактными, трансцендентными в дурном смысле этого слова? Нет, ибо они должны выразиться в исторических свершениях, в установленной объективной реальности, в конкретизации, которая касается природы социальных отношений. Но я не думаю, что нравственный человек создается только путем переустройства социальных условий.

Признать, что одних институционных изменений недостаточно — значит, по-моему, оправдать внимание к специфическому отчуждению, связанному с осуществлением политической власти. На мой взгляд, оно не сводится к извращению экономических отношений. Это приводит меня к проблеме насилия, которая неотделима от проблемы власти.

Разве не следовало бы поразмыслить над тем, что в человеческом обществе врожденное насилие сопровождает осуществление власти? Разве не является насилие непременным законом всякого проявления власти внутри общества? Но я полагаю, что вне зависимости от общественных условий у человека всегда существует возможность не просто извращенного, но и глубоко безнравственного проявления свободы. Что же помешает человеку в более справедливом обществе бросить в машину ту песчинку, которая выведет ее из строя? Здесь мы сталкиваемся с загадкой человеческой свободы. Как христианин я считаю, что у человека сушествует одно «злое начало», которое представляется неустранимым и которое не зависит от простого экономического и социального освобождения. Здесь нам нужно обратиться к тому средству, которое на языке христианства мы называем «спасением» и которое не связано с историческими факторами.

Я полагаю, что вы предоставляете так называемым надстройкам некоторую независимость от экономического базиса. К надстройкам я отношу, в первую очередь, мораль, а также искусство и религию. Неужели вы можете вновь утверждать, что человеческое сознание с его своеобразием, заблуждениями и нравственными отклонениями является всего лишь отражением механизмов (да еще испорченных) общества?

Люсьен Сэв

Я согласен, чтобы эта проблема обсуждалась в рамках понятия отчуждения. Понятие отчуждения содержится и развивается не только в юношеских работах Маркса, но и в «Капитале». Его смысл заключается в следующем: в капиталистическом обществе производительные силы ускользают от производителей и становятся силой, которая их уничтожает. Но повсеместное развитие производительных сил и всеобщее отчуждение пролетариата способствуют за-

рождению высшего, коллективного контроля людей над общественными силами, а следовательно — свободного развития индивидуальности. По-моему, именно в этом заключается суть того, что действительно можно назвать марксистским гуманизмом и что совершенно не противоречит научной перспективе.

Для вас человеческие ценности относятся к области трансцендентности, к чему-то, не поддающемуся историческому анализу. Для меня все подвержено этому анализу, ничто не находится вне его. Некоторые возражают нам: раз вы называете себя гуманистами, то вы, марксисты, опираетесь на веру в человека и, в известном смысле, на трансцендентность. Такое словоупотребление не годится. Ибо речь идет о совершенно имманентной «трансцендентности» — а это уже не трансцендентность. Речь идет о совершенно разумной «вере» — а это уже не вера.

Только история, как таковая, обладает двояким смыслом, так как она развивается в соответствии с внутренней необходимостью: с одной стороны, она движется к разрешению противоречий классового общества, с другой — оказывает освободительное влияние на каждого человека в отдельности.

Разве это означает, что преобразования надстроек и общественного сознания зависят автоматически от преобразований базиса? Никоим образом. Переход к истинной сознательности и к справедливым делам требует и всегда будет требовать активного и ответственного вмешательства на каждом уровне,— разумеется, и при коммунизме. Но всегда — начиная с конкретного исторического базиса И когда исчезнет вся социальная основа для эксплуатации и угнетения человека не исчезнет ли и среда, на какой сможет развиваться соответствующий ей склад мышления?

Перевод с французского В. ОРЛА

НЕГАТИВНЫЕ ФУНКЦИИ ГЕРБЕРТА ГАНСА

Когда умер кантор Пейся, и младшего его сына все вдруг начали опекать, то он, мальчик Мотл, простодушно воскликнул: «Мне хорошо — я сирота!» Так шутил Шолом-Алейхем, искусный и тонкий мастер улыбки. Он любил приговаривать: «Юмор квасят на парадоксах, но заправляют чувством меры». И потому, отправив Мотла в Америку без гроша, он не позволил ему повториться: «Мне хорошо — я беден, как Иов!» В этом случае печальная улыбка обернулась бы уже черным юмором, ибо бедняки «не живут, а спасаются», ибо взамен бедности они имеют лишь «дырку от бублика, лишь рукава от жилетки и еще мор, язвы и болячки».

Но есть люди, которые предпочитают черный юмор. В частности, американский социолог Герберт Ганс. Забывая о чувстве меры, он от имени тех, кто «не живет, а спасается», сказал то, о чем промолчал мальчик Мотл.

Оформленные наукообразно, его идеи под заголовком «Позитивные функции бедности» опубликовал «Американ джорнэл оф сосиолоджи».

> «Я исследовал и описал 15 функций, которые выполняют бедные во имя всего остального американского общества, и в частности во имя богатых,— пишет Г. Ганс.— Я думал и о том, что может заменить эти функции и, стало быть, представить бедность как отнюдь не необходимое явление. Однако почти любая замена этих функций требует перераспределения дохода и власти».

Читатель удивится: неужели официозный социолог собирается держать речь о пользе бедности и посягнуть на общепринятое представление о том, что такое хорошо и что такое плохо?

Между тем такой поворот назревал давно, ибо, как известно, бедность не уничтожается заговорами и заклинаниями: в течение всего того времени, пока в Америке говорили об обществе изобилия и достатка, она оставалась реальной и серьезной проблемой. И хотя некоторые американские социологи доказывают, что западное общество претерпело развитие от «пирамидального типа структуры» к «ромбовидному»,— на имущественном дне пребывает все еще достаточное количество лиц, чтобы образовать тупой угол в нижней части ромбовидной фигуры.

Раньше Герберт Ганс не интересовался проблемой бедности; да и сегодня он не стал бы удивлять читателей сочинением о ее пользе, если бы не одно обстоятельство: в последние годы вдруг обнаружилось, что у бедности — большое будущее. В США обрели широкую популярность пессимистические прогнозы коллег профессора Ганса из так называемого «Римского клуба». Широкий анализ существующего порядка вещей убедил этих социологов, что его лучшие годы на излете и Запад, достигнув уже

всех пределов роста [1], приближается к порогу «экологической катастрофы», которая обернется «массовым голодом и обнищанием».

Даже если считать, что члены «Римского клуба», выразившие нынешнее настроение большинства американских интеллектуалов, хватили через край, то все равно наивно думать об упразднении в Америке бедности при существующем порядке вещей. В этой ситуации Герберт Ганс демонстрирует завидную гибкость ума. Поскольку лубочные сюжеты о райских кущах выглядели бы сегодня немодно, он предлагает запустить в употребление скандально-оригинальную теорию о пользе бедности.

Конечно, нельзя ждать от опытного и изворотливого социолога откровенно спекулятивной аргументации либо в модном сегодня на Западе духе мистических откровений («бедные ближе к богу!»), либо в духе евангелических изречений («бедных всегда имеете с собою») и поверхностно-мифологических воспоминаний («величайший на земле был и беднейшим»), либо в традиционном духе «бытовой психотерапии» в ее нормальном («бедность — не порок») и парадоксальном («стать богатым — значит скатиться вниз») выражении, либо, наконец, в духе «спасительного» тертуллианства, которое лучшим доказательством абсурдной идеи считает именно ее абсурдность.

Герберт Ганс встает на путь сциентизма, который даже не снился старым мудрецам. В преамбуле своей статьи он предупреждает читателя, что собирается защищать бедность, пользуясь функциональным анализом Мертона. Сущность этого анализа сводится к рассмотрению любых явлений с точки зрения их общественной полезности. Что же получается?

> «Существование бедности создает уверенность, что грязная работа кем-то делается; бедные выполняют многие виды работ, дающие выгоды богатым, и поддерживают государственную экономику, ибо низкооплачиваемые дают большие прибыли и платят львиную долю всех налогов...»

Еще в начале XVIII столетия, на заре буржуазной эпохи, английский моралист Мандевиль выразил эту идею в краткой формуле: то, что считается пороком, приносит кому-нибудь пользу, или: «частные пороки — общественные выгоды». Сегодня, в эпоху позднего капитализма, Герберт Ганс идет значительно дальше и выворачивает наизнанку идею Мандевиля: общественные пороки (бедность) — частные выгоды (для богатых).

Этим, однако, отнюдь не ограничивается вклад Ганса в развитие циничных социо-этических идей:

> «Бедные способствуют прогрессу и медицины, ибо, подобно морским свинкам, их используют в учебных и исследовательских больницах в качестве пациентов, на которых проводятся эксперименты. Последние субсидируются обеспеченными пациентами, для которых, собственно, и оказываются доступными одобренные медицинские нововведения».

Что ж, остается добавить, что у экспериментаторов нет недостатка в подсобном материале,— ведь бедные, по словам самого Г. Ганса, составляют 15% всего населения страны.

> «Бедные,— продолжает профессор,— хороши также и тем, что способствуют возникновению институтов, предназначенных для защиты всей остальной Америки от бедных. Я имею в виду хотя бы полицию, основными клиентами которой являются именно бедняки».

Этот «вывод» не вдохновляет на серьезную критику, но может породить вопрос: не лучше ли, например, «всей остальной Америке» защищаться от бедных не с помощью полиции, но посредством уничтожения самой бедности? Ни в коем разе, ответствует Ганс, ибо существование «всей остальной Америки» немыслимо без целого ряда тех позитивных функций, которые выполняют именно бедные:

> «Они гарантируют статус тех, кто не беден. В стратифицированном обществе люди нуждаются в четком осознании своего статуса. Бедные служат той надежной и постоянной меркой, которая позволяет им определить свой рост... Кроме того, они обеспечивают остальному населению разного рода эмоциональное удовлетворение; они рождают в нем чувство сострадания, жалости, развивают филантропические устремления, альтруизм и прочие моральные качества, словом, поддерживают в нем иллюзию преданности традиционной иудео-христианской этике. Наконец, существование бедняков дает другим чувство удовлетворения от того, что не они испытывают неудобства бедности».

---

[1] Именно так — «Пределы роста» — назвали свою коллективную книгу пессимисты из «Римского клуба». Подробнее об этом в монографии Э. Араб-оглы «В лабиринте пророчеств». М., «Молодая гвардия», 1973.

А в качестве примечания к этой мысли Г. Ганс цитирует

«фантастическую гипотезу некоего психиатра Чернуса: «Богатые и бедные находятся в садо-мазохистских взаимоотношениях: первые порой поддерживают вторых и тем самым удовлетворяют свои садистские потребности»...

Этот пассаж скорее всего можно списать за счет явных трудностей в поисках позитивных функций бедности. Но в целом материал, из которого Г. Ганс лепит свои фигуры, до неприличия податлив. Так, он пишет, что бедные способствуют политической стабилизации общества своей отрешенностью от политики:

«Если б все они участвовали в политических процессах, они потребовали бы лучшей работы и больших доходов, а это, в свою очередь, привело бы к новым конфликтам между имущими и неимущими».

Перечисление всех 15 позитивных функций бедности слишком бы нас утомило. К тому же картина в общем и целом прояснилась. Анализ Г. Ганса бесконечно ущербен. Он не допускает даже робких шагов в сторону исторического мышления. А ведь историзм не позволил бы, например, профессору Гансу распоряжаться законами логики как податливым дышлом, взахлеб расхваливать бедность и объявлять ее панацеей от всех несчастий. Исторический подход потребовал бы от него разобраться в причинах существования бедности и заставил бы его серьезно отнестись к идее, что конкретная (буржуазная) система — отнюдь не вечная «вещь в себе», что бедность, вопреки утверждению Ганса, есть не «позитивная истина», а грозный общественный порок.

Свое похвальное слово бедности американский социолог начинает с того, что попирает основную заповедь всей гуманистической философии, согласно которой «не человек для субботы, а суббота для человека» и «человек есть не средство, а цель сама по себе». Существование бедняка Г. Ганс рассматривает то как средство поддержания государственной экономики, то как средство строительства цивилизации, то как средство политической организации системы, то, наконец, как средство, гарантирующее обеспеченную субботу тому, кто не беден. Как известно, человек утверждает себя в мире всесторонне, тогда как бедность, подобно отсутствию элементарного снаряжения у альпиниста, резко уменьшает его шансы на движение. Подступать к вопросу о сущности бедности следует именно с этих позиций, с позиций элементарных человеческих чувств: «иных чувств, как человеческих, т. е. «субъективных»,— ибо мы рассуждаем с точки зрения человека, а не лешего,— не бывает» (В. И. Ленин).

Впрочем, было бы наивно заподозрить профессора Ганса в неумении рассуждать с субъективной точки зрения. Призывая бедных оставаться бедными и слагая от их имени благодарственные псалмы в сциентистском стиле, он преследует именно свои личные интересы придворного социолога. Человек рассуждает, исходя из человеческих чувств, а потому вряд ли Герберт Ганс сочинил свою статью, если бы сам находился в нижней части пресловутой «ромбовидной фигуры». Кроме того, замечено: тот, кто сетует на бессмысленность существования,— жизнерадостен, как Брюньон. Тот же, кто приветствует бедность, запрашивает, вероятно, большие гонорары за статью об ее пользе...

Если «дело Герберта Ганса» рассмотреть в единстве с официальной буржуазной пропагандой, то можно отметить: похоже, наступают времена, когда дискуссии приходится начинать с очевидного. Приходится, например, доказывать, что ученье — свет, а неученье — тьма, что разум лучше безумия, что лучше быть не бедным, чем бедным, что, наконец, нормальный человек никогда не станет произносить суфлируемую Гансом мысль: «Мне хорошо — я беден, как Иов». Если он беден, скорее всего, он воскликнет устами шекспировского героя: «Я беден, как Иов, но терпения у меня меньше!»

НОДАР ДЖИНДЖИХАШВИЛИ

◆

Публицистика

А. ЗВЕРЕВ

ДРУГАЯ МУЗЫКА

1. Нечто о землянике

Маленькая книжка, с суперобложки которой смотрит лицо совсем юного автора: дымчатые очки, разбросанные по плечам пряди спутанных волос. Автору 21 год; он студент Колумбийского университета. Филолог. Мог бы быть и биохимиком — факультет не имеет значения, поскольку на занятия он давно не ходит. Учиться? Полно: студенческая революция поважнее латинских глаголов. Да и кому она нужна, буржуазная наука — свалка мертвых фактов, система условных знаков: вызубри, когда умер Чосер и в чем особенности употребления стилистической инверсии Стендалем, и тебя будут именовать «доктор Кьюнен» и причислят к корпорации белых воротничков.

У книжки странное название: «Относительно земляники». На одном из митингов, когда «новые пролетарии» — студенты («старые пролетарии», рабочие, давно стали «шкурниками», и разговаривать с ними бесполезно) преподали университетскому начальству урок классовой борьбы и, в частности, приняли резолюцию с требованием восстановить отчисленных за прогулы, выступил профессор Дин и заявил, что университет — не место для игр в демократию. «Вы можете голосовать «за», а можете «против», это все равно, — сказал он. — Уж лучше бы вы мне рассказали, любите ли вы землянику».

Потом, бродя по изнемогающему от духоты Нью Йорку, Джеймс Кьюнен будет снова и снова размышлять о том, что профессор, наверно, в чем-то прав — ни митингами, ни сидячими забастовками многого не добьешься. Книга Кьюнена вышла в 1969 году. а события, в ней описанные, относятся к лету 1968-го, еще одному «жаркому лету», какие стали привычными для Америки в минувшее десятилетие. Студенческое движение переживало свой апогей. «Новая левая», поставлявшая движению его идеи, казалось, еще была полна сил. Но кое-кто уже стал задумываться: к чему, собственно, может в конечном счете привести «левый взрыв»? Да и что он собой представляет на практике, именно на практике, которая все заметнее расходится с теориями «непосредственных вспышек революционной энергии», союза «пролетаризированной молодежи» с угнетенными «третьего мира», борьбы за «нерепрессивную цивилизацию» и всем прочим, о чем так страстно вещают с трибун?

Джеймс Кьюнен был среди тех, кто первым открыто заговорил об этом разрыве. Он не пытался анализировать те доктрины, которыми руководствовалось студенческое движение; этим вскоре займутся люди, стоявшие у руля «новой левой». Он просто внимательно слушал лидеров СДО («Студенты за демократическое общество» — идейный и организационный центр борющейся американской молодежи), добросовестно выполнял их указания, а в дневнике делился своими сомнениями. Старался объяснить самому себе противоречия между словом и делом, с которыми сталкивался постоянно.

К 1968 году эти противоречия уже было трудно не заметить. Вот Кьюнен и его товарищи отправляются в Вашингтон поддержать марш протеста против нищеты отверженных, число которых в недостроенном «великом обществе» растет. Вечерняя запись в дневнике: «Предполагается, что после таких дел ты испытываешь прилив гражданских чувств и веры в справедливость борьбы». Предполагается. А как бы-

ло? Демонстранты шли по улицам мимо ко всему привыкших прохожих, и никто не обращал на них внимания — лишь репортеры сделали несколько снимков, да и то на всякий случай, ведь такие материалы успели набить оскомину. Полиция позаботилась о том, чтобы дело не пошло дальше скандирования лозунгов и двух-трех пламенных речей перед безмолвным Капитолием. Стоял чудесный, солнечный день. «Я немножко загорел, а в записной книжке у меня теперь есть адреса двух новых девушек».

Вот объявляется забастовка на факультете, все должны сесть во дворе прямо на землю и требовать прекращения войны во Вьетнаме. На ограде кто-то написал мелом: «Руки вверх и к стенке, мать твою...» — лозунг ультралевой негритянской организации. Кьюнен не экстремист; чуть ниже он выводит: «Извините, что порчу ограду, но в этот момент сжигают детей и гибнут люди, и прямая вина за это на нашем университете». Когда появляется полиция, он участвует в драке вместе с другими; тут уж не до тактических споров, враг, ненавистный «истэблишмент» — вот он, прямо перед тобой. В участке у них отберут ключи и расчески — случается, задержанные вскрывают себе вены. Кто-то, глядя им вслед, бросит: «Послать бы вас на передовую, в джунгли». А через час всех выпустят — обычный мелкий инцидент, есть дела и посерьезнее. И Кьюнену снова вспомнится фраза о землянике.

Он будет вспоминать ее еще много раз. Читая случайно попавший ему в руки журнальчик морских пехотинцев, где какой-то вернувшийся из Индокитая «герой» объясняется в любви к своей винтовке: «Она такой же человек, как и я, потому что она — моя жизнь... Моя винтовка и я защищаем нашу страну». Размышляя о том, что даже зло стало в Америке банальным, что творят его люди, о которых, понаблюдав их в быту, всякий отзовется с уважением — «образцовый семьянин», «прекрасный работник». Что можно отдать приказ о новых бомбардировках Вьетнама или «просто» выстрелить в спину негритянскому активисту, а потом отправиться на воскресную проповедь, играть с детьми, нежно прощаться с супругой, уходя на работу. И что необходимо, необходимо что-то коренным образом изменить в американской жизни, а когда это стараешься сделать и не щадишь себя, кончается все тем же — «земляникой».

На одной из страниц у Кьюнена вырвется: «Америка. Прислушайтесь внимательно. АМЕРИКА. Мне нравится, как это звучит. Мне нравится смысл, который мог бы стоять за этим словом. Мне ненавистно то, что оно означает... Я думаю об Америке, и мне бесконечно грустно. Ведь я американец, а посмотрите, что творит моя страна. И я, похоже, ничего не могу здесь сделать, ни я, ни кто другой. Да, мы сражались на улицах, и ходили в поход на Вашингтон, и штурмовали здание Пентагона — и что? Мы ушли в политику, мы склонили на свою сторону многих — и что? Плюну я на все это».

А еще раньше прозвучит очень характерное признание: «Самое ужасное, что иногда, пусть на секунду, у меня возникает чувство, что, может быть, я и не хочу, чтобы эта война кончилась, ведь что тогда мне делать, кого ненавидеть?»

Не знаю, что сталось с Джеймсом Кьюненом и его товарищами. Студенческое поколение, пришедшее им на смену, предпочитает баррикадам аудитории. Война все-таки кончилась. И молодые, самоотверженно боровшиеся против войны, так и не разобрались, что же им теперь делать, «кого ненавидеть». Опора, на которой все держалось, — отвращение к войне, объединявшее миллионы самых разных по своим взглядам людей,— исчезла. Прежде оказывалось достаточно только гнева и чувства морального долга. Теперь потребовались идеи. И их «новая левая» предложить не смогла.

Сегодня уже ни для кого не секрет, что кризис «новой левой» начался задолго до парижских соглашений по Вьетнаму, задолго до того, как одно за другим начали закрываться радикальные «подпольные» издания (в 60-е годы только в Нью-Йорке их выходило более 20) и в университетских городках установился относительный порядок. Кризис был неизбежен уже в силу того, что «новая левая» с самого начала выступила как типичное леворадикальное движение, не чуждое веяний маоизма и троцкизма и повторявшее все хорошо известные ошибки подобных движений: отказ от союза с «обуржуазившимся» рабочим классом, установку на «революцию» в культуре, которая будто бы должна предшествовать социальной революции, тактику, позаимствованную из арсенала анархистов, призывы к «моральному и сексуальному бунту» (Маркузе), рассматриваемому как единственное средство избежать самой главной опасности — «консерватизма восприятия и переживания», и т. п.

Джеймсу Кьюнену было смешно слушать выступление по радио бывшего шефа ФБР Гувера, сказавшего, что бунтующие студенты — такая же угроза Америке, как коммунисты: «Мы-то думали, что коммунисты — это закосневшая группка, которая по сравнению с нами вообще безвредна». «Новая левая» отреклась от наследства «старой левой» и обвинила ее в десятках смертных грехов — догматизме, бездеятельности и пр. Но перед лицом серьезных общественных проблем она оказалась в общем беспомощной, как истинные ее предшественники, «розовые» либералы предвоенной эпохи, — перед лицом развернутого наступления реакции в маккартистские времена.

«Новую левую» раздирали внутренние противоречия. Да и как можно было примирить маоистскую «Прогрессивную трудо-

---

А. ЗВЕРЕВ
ДРУГАЯ МУЗЫКА

вую партию» или троцкистский «Социалистический альянс молодежи» с последователями апостола «наркотической свободы» Тимоти Лири и сторонниками новомодного лозунга «власть секса»? Она ограничивалась критикой настоящего и более чем туманно высказывалась о путях, ведущих к иному будущему. У ее приверженцев эмоции явно брали верх над мышлением. Она с презрением отворачивалась от «средних классов» и их «прилизанной благопристойности», не замечая, что тем самым замыкает сферу своей деятельности студенческими общежитиями и клубами, где собираются интеллектуалы. Она всерьез верила, что миллионы юнцов, раскуривающих сигареты с марихуаной и штурмующих залы, где проходили концерты «Роллинг стоунз», завтра обретут революционное сознание. Даже грандиозный провал «Национальной конференции за новую политику» 1967 года, которая была созвана для создания партии, способной конкурировать с демократами и республиканцами, и закончилась чуть ли не рукопашной схваткой негритянских экстремистов с представителями СДО, даже безобразные сцены во время «осады Чикаго» год спустя, описанные Норманом Мейлером в одноименной книге, известной нашим читателям [1] мало что изменили в идеологической и тактической ориентации «новой левой».

Крах этого движения оказался закономерным и был воспринят как единственно возможный финал. Другое дело — интонации, преобладающие в статьях о закате «новой левой». Можно было, разумеется, торжествовать по поводу долгожданного «спокойствия», не обращая внимания на то, что «жаркое лето» сменилось не прозрачной осенью, а дождливым сезоном, тучами, сгущавшимися на горизонте. «Истерия законопослушных» (Мейлер) приняла маниакальный характер. Революционное брожение угасало, но случаи варварских расправ над студентами, хиппи, негритянской молодежью лишь учащались, и эти драмы разыгрывались прямо на улицах и на дорогах, побудив социолога Питера Марина осенью 1970 года с тревогой заявить, что страну захлестывают волны несдерживаемой ненависти обывателя ко всем протестующим, недовольным и просто не соответствующим некоему неписаному кодексу правильного образа жизни. Волны насилия, которые не удается обуздать.

Можно было, наоборот, всеми способами пытаться оживить чахнувшее на глазах движение «нового пролетариата», склонив его — как это всегда делается в кризисную пору — к методам терроризма, шантажа, своего рода партизанской войны на улицах американских городов. Этим усердно занимались идеологи крайне левого крыла «негритянской революции». Ту же радикальную тактику избрали для себя не желающие смириться с горькими уроками поражения «новой левой» группки ультрареволюционной молодежи. Начало 70-х годов ознаменовалось невиданным количеством преступлений по политическим мотивам. Больше всего шума наделал устроенный террористами взрыв в университете штата Висконсин. Здесь помещался центр математических исследований, работавший по заданию армии, и он был избран мишенью, но когда бомба взорвалась, убив находившегося в помещении молодого ученого, выяснилось, что ее подложили не под то здание — на воздух взлетел физический факультет, не имевший никаких контактов с Пентагоном.

Можно было, наконец, заняться публичным самобичеванием. Пример подал философ и поэт Пол Гудмэн, выпустив книгу, кокетливо озаглавленную «Новая Реформация. Заметки новообращенного консерватора». Такая автохарактеристика сразу же давала понять читателю, что Гудмэн, чей авторитет среди левой молодежи на протяжении 60-х годов был очень высок настоящей публикацией оповещает мир о том, что он, как говорится, свернул знамя. Действительно, с первых же страниц в книжке начинает мелькать изобретенный автором термин «радикальное идиотство», и на «новую левую» обрушивается не просто град стрел, а прямо-таки дубина критики. Аргументы, к которым прибегает Гудмэн, надо признать, более чем заурядны; порою они даже кажутся позаимствованными у самых благонамеренных буржуазных публицистов, писавших о «студенческой революции». В движении молодежи, которое сам «новообращенный консерватор» не столь давно не только поддерживал, а до известной степени и вдохновлял, Гудмэну видится теперь посягательство на сокровища духа, культ сознательного невежества, глупый максимализм и т. д.

Конечно, он совсем не против того, чтобы удовлетворить частные требования студентов — изменить, например, учебные программы, ослабить давление государства на университеты. Он готов признать, что молодежь не без оснований притязает на «контроль над теми функциями общества, которые ее непосредственно затрагивают». Реверанс в сторону вчерашних союзников сделан, чувство собственного достоинства сохранено. Засим следует самое главное. А главное в том, что Гудмэн разочарован. Он больше не верит в «моральную отвагу» молодых. Он не очень верит и в их «честность». Он отказывает им не только в «здравом смысле», но и в «политической волевой собранности». Жизнеспособность их движения представляется Гудмэну «метафизической тайной» — еще бы, после того, как столь убедительно доказана бессмысленность борьбы и нечистоплотность ее участников, остается и впрямь одной лишь магией объяснять тот факт, что движение продержалось десять лет, да и сейчас еще не вовсе сошло на нет.

Тут необходимы комментарии. Бесперспективность пути, которым пошли «новые левые», сейчас действительно очевидна. Но обращаясь к истории «левого взрыва», это-

[1] См. «Иностранную литературу» № 1 за 1971 г.

го центрального события американской жизни 60-х годов, нужно отделять друг от друга две далеко не прямой связью связанные вещи — идейную программу руководителей оппозиционного движения и побудительные мотивы множества его рядовых участников. Помнить, что людьми, которые штурмовали Пентагон, чтобы сжечь картотеку призывников, и шли на сомкнутый строй национальных гвардейцев с тюльпанами в руках, чтобы вложить их в дула винтовок, сжигали военные билеты, собирали кровь для борющегося Вьетнама, требовали «свободы — сейчас!» и равных прав для всех и не боялись тюрьмы за свои убеждения,— что этими людьми (их были тысячи) руководили не стремления к анархическому мятежу и не левацкий нигилизм по отношению к ценностям культуры. Ими руководило сознание своей гражданской ответственности, истоки которого когда-то довольно точно определил тот же Гудмэн: «Мы испытываем такое чувство, что история вышла из-под контроля, что теперь не мы ее творим, а она нам преподносит себя в готовом виде».

Когда история стала «преподносить себя» в виде бомбардировок Вьетнама, расстрелов негритянских демонстраций и полной бездуховности «потребительского общества», протестующая Америка вышла на площади, чтобы обуздать такую историю, вернуть человеку контроль над ней и возможность строить ее разумно. Какими бы ошибками ни изобиловала идеология и тактика «новых левых», нельзя забывать о тех потребностях общественного сознания, которые дали жизнь этому движению, о том мужестве и самоотверженности его участников, которые дали ему силу. И о том, что 60-е годы остались в американской истории временем невиданного после «красных тридцатых» взлета демократических настроений.

Толкуя о землянике, профессор Дин упустил из виду эту сторону дела. Ее обошел молчанием и «разочарованный» Пол Гудмэн. Между тем не это ли, в конечном счете, самое главное?

Однако на 60-е годы можно взглянуть и с другой стороны.

Они остались в американской истории еще и временем стремительного роста преступности, насилия, наркомании. Многим они запомнятся — по личному, пережитому опыту — как годы, когда распадались семьи и рушились этические нормы. Когда подростки убегали из дома и пополняли тысячные толпы «цветочных детей» — оборванных и жалких юных бунтарей, объединявшихся в коммуны хиппи и тщетно искавших себе место под неоновыми сводами огромного универсама, именуемого «потребительским обществом». Когда ночную тишину взрывал грохот мотоциклов, на которых неведомо куда неслись затянутые в кожу «ангелы ада» — банды, формировавшиеся из заурядных обывателей, днем исправно заполнявших конторские гроссбухи, а после работы спешивших на зловещий маскарад, чтобы узнать острый вкус ненаказуемого насилия и безоглядной «свободы». Когда нравы в школах стали напоминать нравы воровского предместья. Когда в больших городах с наступлением темноты опасно было выходить на улицу. Когда воздух казался пропитанным ненавистью и безнадежностью. Ненавистью от безнадежности.

В 1973 году профессор-социолог Гарвардского университета Дж. Уилсон и член правительственной комиссии по борьбе с наркоманией Р. Дюпон опубликовали цифры, над которыми нельзя не задуматься. На каждые 100 тысяч американцев — почти 7 убийц; это «рекорд» послевоенного периода. На каждые 100 тысяч — 131 грабитель; десять лет назад было вдвое меньше. 5 000 зарегистрированных наркоманов в одной Атланте; в 1963 году было 500. В Нью-Йорке — 1200 смертей от злоупотребления наркотиками ежегодно.

И общий вывод: «60-е годы начинались в атмосфере удовлетворенности положением дел в стране и уверенности в благоприятных перспективах... Конец десятилетия ознаменовался горьким разочарованием и ощущением безвыходности и неразрешимости как внутренних, так и внешних проблем».

«Бунтующие шестидесятые». «Больные шестидесятые». Существует ли здесь связь? Существует, и даже прямая. Во всяком случае, сами идеологи «новой левой» понимают, что это вещи взаимозависимые. И что неспособность движения приостановить (скажем пока так) явно болезненные процессы в общественной жизни — свидетельство тупика, в котором оказалось само движение.

Приходится быть самокритичным. За последние полтора года вышло несколько книг бывших лидеров «новой левой», которые пытаются разобраться в том, что же произошло. Определить, в чем сегодня заключается ответственность интеллигента. В какой форме она должна быть практически выражена.

Самая интересная из них, пожалуй,— книга Н. Хомского. Она называется «Причины, по каким необходимо государство». Это сборник написанных уже в новом десятилетии статей на самые разные темы: о процессе над Эллсбергом и Руссо, об университетах, о социальной психологии и т. д. Объединяет статьи довольно отчетливо просматривающаяся во всех них общественная позиция. Она-то больше всего и примечательна. Но прежде несколько слов о самом авторе.

Хомский — по-своему законченный тип американского интеллигента 60-х годов. Он всемирно известный лингвист, один из создателей учения о «порождающей грамматике». Он принимал самое активное участие в антивоенной кампании. Хомский не ограничивался моральным осуждением войны, считая себя обязанным разобраться в идеологической и политической подоплеке «американской агрессивности, которая ос-

---

А. ЗВЕРЕВ
ДРУГАЯ МУЗЫКА

тается агрессивностью, сколь бы благочестивой риторикой ее ни прикрывали».

Долг интеллигента, согласно Хомскому, в том, чтобы трезво анализировать причины и следствия событий, не увлекаясь «эмоциональной, точнее — истерической, критикой» и не переоценивая значения манифестаций и маршей протеста: ведь, по сути, они бесплодны. Тем не менее, когда 21 октября 1967 года колонны противников войны направились к Пентагону, чтобы нанести по нему, как выразился скептически настроенный Норман Мейлер, еще один «символический удар», Хомский был среди демонстрантов. Он участвовал в стычке с полицией, переросшей в настоящее побоище, и вместе с Мейлером, Полом Гудмэном, поэтом Робертом Лоуэллом, критиком Дуайтом Макдональдом и многими другими оказался в тюрьме.

На протяжении 60-х университетский кабинет Хомского нередко пустовал; его хозяина чаще можно было встретить на конференциях и семинарах, устраиваемых «новой левой». И с трибуны, и в печати Хомский утверждал, что не следует пренебрегать марксистскими методами социального анализа, вместе с тем считая неприемлемой выработанную марксизмом программу переустройства мира. Он объявил себя сторонником социализма, но такого, при котором не будет никаких ограничений свободной воли каждого,— «либертарного социализма», своего рода апофеоза анархистской мечты.

Фигура, как видим, достаточно сложная. Хомскому чужд дух той карнавальной несерьезности, без которого обходилось лишь редкое выступление «новых левых» и который приводил в такую растерянность Джеймса Кьюнена. Но взгляды Хомского полностью соответствуют программе «новых левых». Какие же уроки он извлек из ее очевидного поражения?

Он старается найти причины. Их, как ему кажется, две. Во-первых, интеллигенты, на которых опиралась «новая левая», слишком часто отступались от своего призвания, превратно толковали принцип ответственности. Их назначение — оставаться «привилегированным меньшинством... искать истину, скрытую под нагромождениями лжи и иллюзий, под напластованиями идеологии и классовых интересов». Их идеология в том, чтобы быть вне идеологии. Парадокс? По Хомскому — ничуть. Интеллигенты — это всегда духовная оппозиция авторитарной, антидемократической «системе» («классовым интересам», «идеологии», отбрасываемой во имя «чистого» знания). Многие об этом позабыли. Из тактических соображений пошли на компромисс с «системой», стали сотрудничать с ней. Надеялись, проникнув в «систему», усовершенствовать ее и не заметили, что не они ее изменяли, а, наоборот, она изменяла их. Принципы гражданского неповиновения обменяли на сомнительные посулы «общих усилий», и движение оказалось подорванным изнутри.

Во-вторых, была неверно определена главная цель. Весь пыл израсходовали на то, чтобы добиться прекращения войны. Война кончилась; развязавшая ее «технократическая элита» осталась, и ее устремления — все те же. Нужно было видеть сущность, а «новая левая» видела лишь внешние проявления.

Вывод: «Речь должна идти не о том, почему правительство лжет, а о том, почему ему удается делать это систематически. Не о том, почему властью злоупотребляют, но о том, почему система управления обществом допускает такие злоупотребления. Не о том, почему правительство систематически обманывает своих граждан, воспитывая их сознание на вздорных идеях и иллюзиях, но о том, почему сами граждане так охотно отрекаются от своих общественных обязанностей, оправдываясь тем, что так уж сложились их личные обстоятельства». Вот как суммирует воззрения Хомского рецензент его книги Ш. Волин.

Что ж, во всяком случае, радикально. Очень радикально: ведь предлагается, ни много ни мало, пересмотреть всю систему управления обществом, перестроить основы сознания рядовых граждан. Ход мысли Хомского нетрудно понять. Опыт «новой левой» не одного его убедил в том, что в поле ее зрения была лишь готовая продукция военно-промышленного комплекса, а нужно разобраться в том, как эта продукция производится, и что-то коренным образом изменить на самой конвейерной линии. Одно плохо: практически, в сегодняшних американских условиях, последнее столь же осуществимо, как мечта щедринского персонажа провертеть в земле дырку и взглянуть, что делается на другом конце света. Давно известно, что чем шире зазор между призывами и реальными возможностями, тем головокружительнее призывы. И тем отчетливее впечатление, что за ними стоит сознание собственной безоружности.

В одном Хомский несомненно прав — в том, что многие вчерашние левые сегодня, оправдываясь и рассуждая о тактике, переступили черту, которая в 60-е годы отчетливо разделяла два лагеря. Это не обязательно выражалось в открытых компромиссах с «системой». С одним «новообращенным консерватором» мы уже знакомы. Вот другой — философ Кристофер Лэш, выпустивший прошлой осенью книгу «Мир наций». Он не был столь радикален, как Гудмэн, но в 60-е годы его симпатии были, разумеется, никак не на стороне «истэблишмента». Теперь Лэш заявляет, что интеллигенция должна вернуться к «старой традиции консервативной критики новейшей культуры». Хватит взрывать; давайте склеивать реликты, уцелевшие после «левого взрыва». Хватит политики; давайте спасать культуру.

И здесь к Лэшу «вдруг» (если бы вдруг!) присоединяется Эдвард Шилс, который в своей последней книге «Интеллигенция и власть» доказывает то, что доказывал и в 60-е годы: интеллигенция и «власть» необ-

ходимы друг другу, их отношения должны быть отношениями союзников, а не врагов. «Власть нужно соединить с «традиционной культурой», с «наиболее глубокими и наиболее общезначимыми верованиями, идеями, взглядами». Интеллигенция призвана восстановить эту «традиционную культуру», в которой так остро нуждается «власть», ну а «власть», в свою очередь, не забудет укрепить социальный статус интеллигенции. Под мирным небом каждый возделывает свой сад...

Книги Хомского, Лэша, Шилса вышли почти одновременно. Разбирая их, один американский критик не без юмора заметил: «Последней потерей, которую мы понесли в ходе войны во Вьетнаме, явилась потеря нашей левой интеллигенции». Горько, но правда.

Взбудоражив умы и растормошив гражданскую совесть, «новая левая» уходит со сцены. Провозглашенные ею цели, в сущности, не достигнуты, хотя заслугу «новой левой» — и в борьбе против войны, и в движении за демократию — недооценивать нельзя.

Ее цели были благородными и высокими, но избранные ею методы опровергнуты развитием событий.

При этом она создала эпоху. Пеструю и полную противоречий эпоху, которая займет место в послевоенной истории США.

И эпоха уходит вместе с нею.

2. Фабрика миражей

Я не решусь сказать определеннее — «ушла». Хронологически 60-е годы отделены от нас уже солидной дистанцией, но речь здесь не о хронологии, а о сдвигах в общественном сознании, которыми и определяется смена периодов в духовной жизни и культуре.

Сдвиги несомненны, однако они происходят не в точном соответствии с бегом времени, отсчитывающим десятилетия. И в Америке по сегодня что-то вновь напомнит об атмосфере 60-х, которая медленно отступает все дальше в прошлое. В потоке информации, обрушивающейся с газетного листа, в этом немыслимом монтаже, где портрет покойного Бертрана Рассела соседствует с рекламой лучших в мире сигарет «Пол-Мол», а «все, что вы всегда хотели знать про секс и о чем стеснялись спросить», намеком (подробнее — в очередном бестселлере) сообщается вам вслед за новостями о полете «Аполлона-14»,— мелькнет вдруг заметка, точно бы переносящая из сегодняшней суеты на несколько лет назад. Мимолетная подробность или затерявшийся где-то в углу снимок на минуту вернут к жизни уже полузабытых действующих лиц недавно сыгранной пьесы, побудив снова размышлять над ее смыслом.

Небольшая — всего две странички — статья, появившаяся прошлой осенью в «Сатердей уорлд ревью», была озаглавлена «Отблиставший другой мир Энди Уорола». На журнальном развороте поместили фотографию: двое одетых во все черное мужчин, прислонившись к стене, похожей на декорацию в спектакле из сельской жизни, смотрят прямо перед собой в большой зал, откуда, судя по всему, только что вынесли все вещи. Рядом — женщина в темном длинном платье, чуть подальше еще одна — полуодетая, она красит губы перед трюмо.

Снимок, видимо, сделан в тот самый день, когда происходит описываемое в статье событие,— переезд студии Энди Уорола «Фэктори» («Фабрика») с 47-й Ист-стрит на Юнион-сквер, из района нью-йоркской богемы в район солидного бизнеса. Самый обыкновенный переезд. И нужно представить себе, чем была на протяжении 60-х «Фабрика», чтобы понять, насколько он символичен.

Энди Уорол. Одна из колоритнейших фигур минувшего десятилетия, живое воплощение его бунтарского духа и его болезненных грез. Человек, за которым долгие годы неотступно следовали любопытные, восторженные и ненавидящие взгляды, о котором ходили фантастические слухи и создавались дикие легенды. Художник, и творчеством и стилем создавший модель контркультуры — детища, рожденного от союза эстетического авангардизма и «новой чувствительности», от скрещивания идей «революции» в искусстве (означавшей полный отказ от задач познания и объяснения мира) и «революции» в морали (означавшей культ наркотиков и секса). «Новая левая» создала для контркультуры теоретический фундамент. Энди Уорол осуществил переход от теории к практике.

Его отец после первой мировой бросил свой жалкий надел среди родных чешских полей и отправился за океан, чтобы стать шахтером в Питтсбурге и погибнуть от отравления несвежей водой, не дотянув и до сорока пяти. Ондрей Вархола вырос в нищете и трудно пробивал себе дорогу. Энди Уоролом его сделала мода на поп-арт, одним из создателей которого был этот одаренный молодой модельер обуви и книжный иллюстратор.

В начале 60-х он раскрашивал и монтировал банки из-под консервированного супа фирмы «Кэмпбелл», потом стал изготовлять экраны из шелка и оклеивать их увеличенными кадрами кинохроники, запечатлевшей знаменитостей — Жаклин Кеннеди, Мао. Он одним из первых понял, что времена изменились и что публика более не нуждается в абстрактном экспрессионизме, который своей принципиальной «бессодержательностью» вызывающе отгораживался от презираемого им «плебса». Теперь требовалось

какое-то понятное и самым неискушенным свидетельство о действительности: чем примитивнее — тем лучше. «Потребительское общество» жаждало увидеть собственный лик отраженным словно бы в зеркале — «объективно», без эмоций, без истолкований и оценок. И оно получило искусство, механически воспроизводившее скудную гамму бытия этих «роботов, чьи действия дистанционно направляются справочником для покупателя»,— так по определению искусствоведа Люси Липпард, художники поп-арта воспринимали человека. Вы поклоняетесь потреблению во имя потребления; что ж, любуйтесь на банки консервов, на отрезки цветастой ткани, на гигантские голубые джинсы, на склеенные как попало обертки от сигарет,— другого искусства сегодняшняя реальность создать не в состоянии. Вы чтите кумиров, которых для вас фабрикуют газеты и кино,— нате, берите бесконечно повторяющуюся пустую улыбку Джеки, глядящие на вас в упор стальные глаза Мао, заполнившую весь экран всклокоченную гриву Джона Леннона, вам ведь безразлично, что это за люди, важно лишь, что о них «говорят все»...

К середине десятилетия Уорол вместе с другими «новыми реалистами» завоевал крупнейшие музеи Америки и Европы. Дело шло о перспективной отрасли «культурной индустрии» — творцы поп-арта были щедры на радикальные декларации, но понаторевшие в таких делах бизнесмены от искусства безошибочно определили цену подобной «революционности». Коль скоро в моде левизна, можно подзаработать и на левизне. Да и такая ли уж левизна? В книге той же Люси Липпард прямо сказано, что поп-арт «стремится подходить к миру скорее с положительных, чем с критических позиций».

Во всяком случае, от заказчиков не было отбоя. Присмотрев освободившееся здание небольшой фабрики, Уорол открыл здесь мастерскую, которая, руководствуясь его идеями, изготовляла творения искусства поточным методом, и не стал менять дощечку у подъезда. Самого его теперь больше интересовала кинокамера; пока помощники штамповали нарочито аляповатые клеенки, расписанные огромными кувшинками, и разыскивали всякий хлам для коллажей, Уорол придумывал темы будущих лент.

Вскоре он показал свои первые опыты в новом жанре. Об их содержании можно было судить по кратким и точным названиям: «Поцелуй», «Еда», «Сон». Фильмы демонстрировались для крайне ограниченного количества зрителей в нью-йоркской синематеке; те, кому удалось прорваться, увидели тот же поп-арт пришедшим в движение, точно бы в уороловские композиции из банок вмонтировали механизм и кто-то два раза повернул ключик.

На экране в полной тишине возникали слитые в поцелуе губы. Поцелуй длился вечность — точнее, 36 минут. Едва ощущение близящейся чувственной оргии овладевало залом, лента обрывалась, мелькали какие-то спутанные линии, а потом снова крупным планом давались те же губы. Перебив. Губы. Перебив. Губы. Перебив...

Целующихся в следующей ленте сменял человек, как будто выхваченный из толпы служащих, которые спешат домой после работы. Человек ел колоссальных размеров шампиньон. Со всех сторон его обкусывал. Жевал. Проглатывал. А шампиньон оставался таким же огромным. Через сорок пять минут в зале вспыхивал свет. Гриб был в полной сохранности.

«Сон» оказался испытанием для нервов покрепче. Этот фильм шел шесть часов, и за это время на экране сменялось ровно шесть бесконечно растянутых кадров. Все они в разных ракурсах показывали спящего голого мужчину: вздымающаяся и опадающая грудь, согнутое колено, приоткрытый рот под усами. Поэт-авангардист Джон Джорно являлся на «Фабрику» и, устроившись на кушетке, засыпал; перед кушеткой устанавливали камеру, которая снимала, пока Джорно, проснувшись, не выключал мотор. Фильм был снят за три дня; когда Уорол показывал его в синематеке, основоположник американского «подпольного кино» Джонас Мекас привязал автора лентой к креслу и на середине сеанса отправился взглянуть, как тот себя чувствует. На кресле валялись перерезанные концы ленты.

То, чем занимался в кино Уорол, представляло собой своего рода мистификацию, а можно сказать и резче — шарлатанство. Но это была мистификация с серьезными претензиями, шарлатанство с последовательной программой, эстетической и идейной. Уорол не штудировал пособия по режиссуре, не обладал никакими профессиональными знаниями и не стремился к ним. Фильм (впрочем, почему только фильм? — вообще искусство) для него представлял интерес не как процесс образного мышления, не как результат художественного познания, а как «коммуникация» — выражение своего взгляда на мир в самой наглядной, элементарной форме. Вся сложнейшая система переходов и связей, посредством которой факт действительности претворяется в факт искусства, ему была решительно не нужна.

От искусства оставалось лишь одно: жизнь Уорол брал не в будничном ее облике, а в вечно повторяющихся проявлениях — еда, сон, любовь. Эти проявления обособлялись от всего преходящего и «суетного», застывали в своей неподвижности. Уорол хотел показать их по-современному. Современное состояло в том, что и сон, и любовь, и еда выглядели чисто механически. Механически жующие челюсти. Механически вздымающаяся грудная клетка спящего. Однообразно, словно стакан на столике движущегося вагона, подрагивающие в эротическом экстазе губы.

Стирание всех различий между людьми, их законченная однотипность — страшный закон «потребительского общества» — происходит уже и на уровне самых первичных

действий и эмоций человека: так это пытались истолковывать. В действительности задача была совсем другая. Поп-арт никогда не обвиняет и не защищает; он в лучшем случае более или менее достоверно фиксирует.

Идеология поп-арта тоже сводится к тому, чтобы быть вне идеологии. «Серьезность» такого принципа, который Хомский считает обоснованием своей общественной позиции, здесь просто снижается, оказывается повторенной в виде невольной пародии. На верхнем этаже («новая левая») — «чистое» искание истины в противовес «классовым интересам». На нижнем (поп-арт) — демонстрируемый в натуральную величину живот натурально спящего человека, «чистая» истина в противовес любой интерпретации, любому художественному осмыслению с его неизбежным отходом от подобной «правды факта».

Сама природа поп-арта создала первый из тех миражей, сквозь которые приходится продираться, чтобы постичь подлинный смысл работы Уорола и его «Фабрики»,— мираж объективности, бесстрастной документальности производившейся здесь продукции (условно назовем ее художественной). Уорол как будто совершенно безразличен к своему материалу. Он занят чистым наблюдением, а результаты каждый волен толковать по-своему.

«Новая левая» желала видеть искусство рупором идей студенческого активизма. Контркультура в целом и Уорол в частности этим не удовлетворялись. Гошистские идеи должны были выступать в соединении с «новой чувствительностью» и даже подчиняться задачам «очищения» личности в кипении наркотической, сексуальной и прочих «революций», на которые так урожайны оказались 60-е годы. От этого целого в дальнейшем стали обособляться компоненты: гошизм (и вообще политическую завербованность) Уорол отбросил сразу же, «очищение» было перенесено из области задач искусства в повседневное бытие студии, определяя стиль ее жизни. Осталась сама «новая чувствительность», заполнившая ленты от первого до последнего кадра.

Никакой объективности, никакого «чистого наблюдения» здесь, понятно, не было. Была маска, многими принимавшаяся за сущность. В фильмах Уорола все было строго документально; почти все они снимались по одному и тому же принципу — неподвижной камерой, установленной в стенах «Фабрики» и запечатлевавшей то, что там происходило. Если показывали оргию — это была настоящая оргия, разыгрывавшаяся на 47-й Ист-стрит, если насилие — настоящее насилие, если патологию — не сыгранную актерами, а настоящую патологию. Другого почти не показывали.

Один из участников студии сравнил ее руководителя с «буддистом, достигшим вожделенной трансцендентности». Уорол старательно укреплял этот миф о себе. В интервью он жаловался на то, что ему не дается чувство полного равнодушия к другим, что он все-таки думает о чужой жизни, хотя «думать о ней — это слишком жестокое занятие». В фильмах старался как можно меньше выражать свое отношение к снимаемому; лучше всего было не выражать его вовсе. Предполагалось, что камера, двадцать четыре часа напролет из укрытия снимающая диван, на котором сменяют одна другую парочки, абсолютно бесстрастна, а извлеченная из нее по истечении суток лента, из которой не выброшено ни кадра, дает наивозможно объективное свидетельство («Диван»; эту картину Уорол демонстрировал только допущенным на «Фабрику»). Поскольку автор фильма не «организовывал» парочки, а, так сказать, просто подглядывал современным способом в замочную скважину, он не несет ответственности за то, что его лента меньше всего похожа на гимн человеку; он просто показывает вещи такими, как они есть, изображает жизнь в ее истинности. В этой безукоризненно логичной системе рассуждений выпадало «только» одно звено. А именно — в каком ракурсе давалось «изображение жизни». С какой точки. Для какой цели.

Об этом Уорол не говорил никогда. Сам он предпочитал сохранять дистанцию между собственным миром и тем, что возникал в его фильмах. Он жил отдельно от студии, трогательно заботился о старушке матери и каждое воскресенье отправлялся к мессе. Прямое биографическое объяснение его тематики и стиля отпадало; оставалось объяснять их задачами творческими. Его по-прежнему пытались представить «бунтарем» и «революционером», хотя однажды он с достаточной определенностью высказался на этот счет, разочаровав тех, кто хотел видеть в нем беспощадного обличителя уродств потребительства: «У машин меньше проблем, чем у нас. Я бы не прочь превратиться в машину, а вы?.. Мне кажется, было бы изумительно, если бы все стали совершенно одинаковыми».

«Позитивный» взгляд поп-арта на мир Уорол засвидетельствовал здесь с прямотой римлянина. И все-таки репутация «бунтаря» не поколебалась. Почему? Потому, наверно, что «новая чувствительность» в 60-е годы еще не отделялась от представлений о всем «левом»; это было что-то запретное, «подпольное». Нужно было время, чтобы развеялся и этот мираж — мираж революционности (ну, пусть не революционности, во всяком случае, оппозиционности) уороловских лент. Время пришло — к концу десятилетия, когда вслед за проложившими путь Уорол и Мекасом коммерческий кинематограф принялся на все лады «эпатировать» обывателя ультраоткровенностью и подробно изображенной сексуальной патологией, уразумев, что за этот-то «эпатаж» обыватель готов платить немалые деньги.

Однако Уорол и его студия на фильмах не зарабатывали, по сути дела, ничего. Большинство лент так никогда и не вышло за стены «Фабрики», другие демонстрирова-

---

А. ЗВЕРЕВ
ДРУГАЯ МУЗЫКА

лись в синематеке — для избранных. Лишь «Девицы из «Челси» (имеется в виду не лондонский район, а отель в Нью-Йорке) попали в коммерческий прокат и принесли полтора миллиона дохода.

Этот фильм, снятый в 1966 году и ознаменовавший начало нового периода (прежние свои картины Уорол называл «художественными», а то, что он снимал после «Девиц»,— «комедиями»), заставил всерьез говорить о творческих возможностях их автора. Изображая «дно» огромного города, Уорол заострял мотивы одиночества, жестокости, безумия, страшной взаимной изоляции людей и, с целью подчеркнуть, что контакты между персонажами носят совершенно условный, механический характер и лишены человеческого содержания, прибег к простому и удачному приему. Огромный экран (фильм был сделан для панорамного кино) на протяжении всей картины оставался разделенным надвое, действие шло в двух плоскостях, то относительно связанных и взаимодополняющих, то явно конфликтующих: подчеркнуто сентиментальная любовная сцена на правой половине экрана — банда, зверски избивающая торговца наркотиками, слева; на правой стороне — освещенный подъезд модного отеля, на левой — оборванный и грязный хиппи, рвущий на себе одежду и в припадке ярости молотящий кулаком по обезображенной похабными рисунками стене. Монтаж был необычен и порою выразителен, хотя все кончалось очередным свирепым бурлеском, растворявшим точно уловленные Уоролом приметы социальной действительности в море общих мест авангардизма: человек — животное, жизнь — абсурдный карнавал и т. д.

Уорол сделался знаменит, и слава его росла, хотя он отнюдь не прибавлял как художник. Новые его ленты — «Жара», «Плоть», «Мразь» — были замешаны на насилии и эротике. Снимал их помощник Уорола Пол Морриссей; сам Уорол сделал только «Одиноких ковбоев», а для других картин указал общие идеи. Настолько банальные идеи, что даже радикальные поборники «новой чувствительности», бурно протестовавшие, когда полиция нравов не пропустила на широкий экран «Голубую картину Энди Уорола», со всеми подробностями воспроизводящую половой акт, стали поговаривать об однообразии и застое.

И все-таки известность «Фабрики» делалась все громче. Фильмы, исключая «Девиц», оставались почти для всех тайной за семью печатями. О «Фабрике» же знали и тысячи людей, очень далеких от нью-йоркской богемы. Не об ее творческих установках. Об ее буднях.

Художественная фантазия сливалась на «Фабрике» с реальным бытом. То, что Уорол показывал на экране, здесь разыгрывалось в естественных декорациях. Об этом и говорили, сдабривая быль изрядной порцией небылиц. «Фабрика» служила и мастерской, и киностудией, и ночным клубом, и пансионом, где многие участники уороловского кружка жили месяцами. Она была тем центром контркультуры, где ее эстетические и нравственные принципы соединились, создав мираж, не развеивавшийся дольше всего,— мираж возвращенной цельности человеческого существования, мираж нового «века наивности». Под «наивностью» имелось в виду, что голос природы, подавленного и бунтующего «нутра» признается единственным мерилом моральной правоты, а все общепринятые понятия о разумном, должном, наконец, о пристойном отбрасываются, ибо это не более чем оковы, мешающие человеку жить полноценной жизнью.

Поднявшись товарным лифтом на пятый этаж неказистого дома, познавший прелести «новой чувствительности» интеллектуал, любопытствующий киноактер, отправившийся глубокой ночью на поиски наркотика хиппи попадали в другой мир — загадочный и блистательный мир, который был создан Энди Уоролом и декоратором «Фабрики» Билли Линичем. В окрашенной серебристыми красками прихожей его встречали сделанные из пластика полутораметровые плитки шоколада и запах амфетамина и ЛСД. Плавали под потолком наполненные гелием воздушные шары. Из приемника лился божественный голос Марии Каллас, записанный на представлении «Травиаты» в «Метрополитэн-опера». Потом на эстраду поднимался ансамбль «Велвет андерграунд», и девицы в ультрамини заходились ритмами бит и рок. а ближайший помощник Уорола Маланга хлестал по полу длиннейшим бичом, приобретенным у мексиканских скотоводов. Стрекотала спрятанная где-то кинокамера; ближе к утру вспыхивал экран и шли фильмы Уорола, снятые «для себя». По углам в художественном беспорядке были разбросаны изделия поп-арта, вызывающие самые прямые эротические ассоциации, и ассоциациями на этих «вечеринках» дело не кончалось. Кто-то затевал драки, кто-то бредил в сладком забытьи кокаиниста, кто-то просто глазел, стараясь взять в толк, что же все-таки происходит.

И надо всем царил Энди Уорол — отрешенный, в неизменных черных очках, задумчиво наблюдающий тот пир чувственной свободы, для которого на «Фабрике» с такой заботой создавали пропитанный оргиастической символикой антураж.

На 47-й Ист-стрит можно было встретить чуть ли не весь Нью-Йорк. Деятелей «новой левой» и «донов» мафии. Знаменитостей артистического мира — Монтгомери Клифта, Джуди Гарленд, Теннесси Уильямса, кураторов картинных галерей, богатых собирателей и торговцев поп-артом. Писателей и уличную шпану. Бородачей студентов, увлекшихся «революцией». Поставщиков героина. Добропорядочных «средних американцев», улучивших шанс обмануть бдительность супруги.

Все они приходили и уходили; оставались люди, относившиеся к «Фабрике» серьезно и связавшие с нею свою жизнь. Одних нашел сам Уорол. Других привели сюда случайно услышанные рассказы. Больше всего было тех, кого Уорол называл «бед-

ными богатыми маленькими девочками»,— вчерашних студенток, начинающих актрис, молоденьких секретарш. Уверовав в «новую чувствительность», они покидали свое место за семейным столом, во главе которого восседал преуспевающий папаша и вел речь о том, что пора бы всех патлатых отправить на принудительные работы куда-нибудь поближе ко Вьетнаму. На студии Уорола они искали возможности жить по-современному, так, как им хотелось. И мечтали однажды проснуться прославленными, как это бывает только в кино.

И то и другое было осуществимо. Никто не мешал на «Фабрике» сжигать свою молодость теми способами, которые тот или иной участник находил наиболее для себя подходящими. И слава здесь завоевывалась тоже без труда. Прежде чем попасть на «Фабрику», Хеди Ламар была профессиональной мелкой воровкой в универмагах — Уорол превратил ее в образцовый кинотип наркоманки. Айви Никольсон демонстрировала пляжные ансамбли в доме моделей — через полгода она была уже «сверхзвездой» уороловской студии. До нее тот же путь прошли (и не менее стремительно) «беби» Джейн Хольцер, и хрупкая Эди Сэджвик — живое олицетворение стиля «хип», и Сьюзен Хоффман («Вива») — незаменимая модель для сцен с изнасилованиями и разгулом темной стихии секса.

Исчезали они также стремительно. Живая, трагическая жизнь врывалась и в пышущий нездоровым румянцем мирок «Фабрики», и «век наивности» оборачивался веком саморазрушения и тягостных развязок. Эди Сэджвик, самая талантливая из «звезд», погибла в 1971 году от чрезмерной дозы барбитуратов. Год спустя, сжимая в руках Библию, бросилась вниз с балкона восемнадцатого этажа Андреа Фелдман — героиня «Жары». Билли Линича отвезли в клинику для душевнобольных — он зачитывался сочинениями Блаватской до тех пор, пока туманный мистицизм не внушил ему чувство полной нереальности своего бытия.

Другие просто брали на последние деньги билет куда угодно, только прочь из Америки, и след их терялся навсегда.

Уорол оставался равнодушен. «Звезды» уходили; на их место являлись десятки претендентов. Студию считали воплощением духа 60-х, но он-то безошибочно предчувствовал, что скоро зазвучат другие песни, и в своих фильмах все заметнее шел навстречу коммерческому кино. За всем происходившим на «Фабрике» он следил как бы со стороны, да он никогда и не верил в «новый инфантилизм» так, как верили «звезды», находившиеся под гипнозом его личности.

Пришел час, когда и ему пришлось на опыте удостовериться, сколь наивна сама мысль о «веке наивности», веке безмятежной гармонии, которая наступит, если все доверятся не разуму, а инстинкту. На одной из «вечеринок» новая «звезда», Валери Саланос, разрядила в него револьвер, крича, что Энди подавил и изуродовал ее творческую личность. Уорола удалось спасти; «звезду» следствие признало невменяемой. Выяснилось, что она образовала Союз истребления мужчин, этакую радикалистскую разновидность неофеминизма, и от его имени издала манифест: «Поскольку в нашем обществе жизнь в лучшем случае непереносимо скучна и поскольку для женщины в этом обществе не создано никаких условий, сознающим свой гражданский долг и ответственность и взыскующим подлинно интересной жизни женщинам остается одно — сбросить правительство, покончить с денежной системой, полностью автоматизировать все жизненные процессы и уничтожить мужской пол». «Что ж,— заметил Уорол, познакомившись с этим документом,— я лишь еще больше поколебался в своей вере в род человеческий».

Но «век наивности» еще не завершился. Еще устраивались вечеринки, еще снимались новые фильмы. Самые невероятные слухи о «Фабрике» продолжали ползти по Америке, пока осенью 1973 года Уорол не покончил с прошлым одним ударом: «Фабрика» была закрыта, всем участникам, кроме Моррисея, предложено поискать себе другое занятие, а на Юнион-сквер появилось новое предприятие — пока небольшое, но весьма многообещающее: «Энди Уорол филмз, инкорпорейтед».

«Звезд» заменили безукоризненно вежливые мальчики, коллажи убраны в специальный шкаф под стекло, а на лакированных столах поблескивают белые телефоны. Двери новой киностудии украшены латунной табличкой: «Просят позвонить и назвать себя». Один из бывших друзей Уорола, побывавший на Юнион-сквер, рассказывает, что не осмелился там даже закурить.

Миражи растаяли. Суть дела стала наглядной Побунтовав против «традиционной» культуры, контркультура чинно и благородно оформилась к ней на службу. Не на службу культуре истинной. На службу конформистской культуре, «массовой культуре», спокойно подождавшей, пока «новые реалисты» и «новые инфантилисты» переболеют болезнью левизны, и затем забравшей их под свое крыло, благо они сумели внести кое-что новое в обветшавший ассортимент псевдохудожественных поделок «для миллионов».

■

Да, времена уже иные. Гаснут звезды, вспыхнувшие в 60-е годы. Вопросы, волновавшие людей того десятилетия, утрачивают остроту. «Левый взрыв» становится историей. Как и его болезненное следствие — бум контркультуры.

У каждой эпохи есть своя, условно говоря, мелодия, своя музыкальная тональность. Скотт Фицджеральд назвал 20-е годы «веком джаза», и с тех пор каждый, кто вспоминал о потерянном поколении, вспоминал и об этой поразительно точной «музыкальной» характеристике этого времени, когда

А. ЗВЕРЕВ
ДРУГАЯ МУЗЫКА

джаз действительно не только был одним из самых волнующих художественных открытий, но и выражал — своей образностью, своими интонациями — психологический настрой вчерашних солдат мировой войны.

Подобрать сходную характеристику 60-х, наверно, труднее — слишком разноликим был этот период, и музыкальные ассоциации он может вызвать самые прихотливые от «Героической симфонии» до Элвиса Пресли.

Несомненно одно: сейчас звучит уже другая музыка. Происходящая в мире разрядка преобразила многое и в духовной атмосфере самой Америки; на смену своего рода «катастрофическому» настроению, выражавшемуся в формах и предельно серьезных, и почти что гаерских, приходит озабоченность сегодняшним и завтрашним днем с его очень реальными, ощутимыми проблемами — работой, семьей, распорядком жизни... В последние годы чувствуется явный поворот к будничному — он чувствуется и в психологии американцев и в литературе, и в тех спорах, которые завязываются на журнальных страницах. Кому-то уже кажется, что под знаком пристального внимания к повседневности пройдет все десятилетие. Да только, кто знает, не взорвется ли сама эта повседневность новой вспышкой непримиримых антагонизмов? Гадать всегда рискованно.

Да, что-то переменилось в американской жизни, и переменилось существенно. Новому десятилетию, вероятно, еще предстоит найти свой облик. Облик 60-х выступил теперь со всей определенностью. С достигнутой высоты исторического опыта легко вершить над ними идейный и моральный суд: ошибки видны как на ладони, тупики просматриваются отчетливо, точно с самолета, идущего на посадку над городом. Но за это знание нужно было заплатить, нужно было осилить саму вершину. А ее не осиливают без борьбы, без потерь и просчетов.

Шестидесятые уходят, оставляя свою неповторимую мелодию, еще различимую и сегодня, когда близится середина нового десятилетия. Оставляя свой рельефный след во времени. Свою особую страницу в той бесконечно длящейся летописи тревог и поисков, имя которой — история.

◆

Наши публикации

«Коммунизм — это юность мира». С этими словами Поля Вайяна-Кутюрье французская молодежь выступала в рядах Народного фронта. С этими словами умирали в гитлеровских казематах. Эти слова повторяются с гордостью сегодня.

К молодежи были устремлены в 30-е годы помыслы таких замечательных людей, как Поль Вайян-Кутюрье, Габриэль Пери, Анри Барбюс. Перед лицом фашистской угрозы Барбюс звал молодежь к единству. Он был одним из организаторов Международного конгресса молодежи против войны и фашизма, собравшегося в Париже в тревожные дни сентября 1933 года. В манифесте конгресса, принадлежащем перу Барбюса, говорилось: «Есть битва, в которой вы должны принять участие, битва последняя и решающая, между старым строем, который цепко держит нас, и новым строем, несущим человеку освобождение. Ибо капитализм стар, он означает вчерашний день. Социализм молод и означает завтрашний день. Он, как вы, полон сил и света. Вы — молодые, вы будущее, так станьте же социализмом в действии»[1]...

Сорок лет тому назад — 29—31 декабря 1934 года в Брюсселе проходила работа Международного антивоенного конгресса студентов. 43 страны прислали 380 делегатов — коммунистов, социалистов, либералов, пацифистов, борцов против колониализма, представителей студенческих организаций. Конгресс приветствовали Георгий Димитров и Максим Горький, Ромен Роллан и Поль Ланжевен.

С призывом к студенческой молодежи мира обратился Анри Барбюс. Он говорил о главном — прямой угрозе миру со стороны фашизма: «Что бы ни нес тебе фашизм во всех областях — он прежде всего несет войну».

Мысли Барбюса о фашистской угрозе, о катастрофе — политической, экономической, идеологической,— которую означает господство нацизма, о гибели — духовной и физической,— которую он уготовил молодежи, всем людям доброй воли, целым народам и нациям, по-прежнему актуальны. События наших дней свидетельствуют о том, что неофашизм представляет реальную опасность и сегодня.

Не устарели сегодня и анализ социального положения студенчества, содержащийся в речи Барбюса, и точная характеристика истинного смысла демагогического заигрывания с молодежью фашизма, еще в ту пору пытавшегося взять на вооружение в борьбе против социализма фальшивый лозунг «конфликта поколений».

Текст обращения Барбюса к Международному антивоенному конгрессу студентов публикуется на русском языке впервые.

Ф. НАРКИРЬЕР

[1] Цит. по книге: А. Видаль, Анри Барбюс — солдат мира. М., 1962, стр. 274.

АНРИ БАРБЮС

ОБРАЩЕНИЕ К СТУДЕНТАМ И ИНТЕЛЛИГЕНТАМ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ

Товарищи! Я обращаюсь ко всем вам и к тем, кого вы здесь представляете: людям самых разных стран, самых различных убеждений, к целому поколению; я обращаюсь к тебе, интеллигент послевоенного периода.

Ты родился во время войны или после войны. Ты не представляешь себе, что такое война. Ты знаешь о ней только по смутным слухам, по нечеткому отражению в самых различных книгах или по разноречивым рассказам ее участников, многие из которых ничего в ней не поняли. Возможно, твой отец или брат были убиты на этой войне, а ты вырос без них.

Ты вырос в атмосфере победы или в атмосфере поражения (и та и другая одинаково губительны), ты вырос в период крушения того или иного режима и угасания той или иной цивилизации или, точнее, империи. Ты видел, как гибло многое, ты видел бесконечную смену идеалов, «моральных и духовных ценностей», и вот, наконец, экономический кризис взял за глотку и тебя самого.

Ты вырос в обстановке вымыслов, иллюзий, нужды. Ты познал отчаяние, но не постиг его истинных причин. Ты вырос в пустоте.

Ты выбит из колеи и материально, и морально (скоро ты поймешь, что это одно и то же).

Ты оторван от себя самого. Ты оторван от людей.

Ты потерял опору в жизни. Ты ищешь.

Тебе страшно — не потому, что ты труслив, а потому, что ты слеп.

Но тебя мучает тревога: ты считаешь, что помимо твоего личного дела ты несешь ответственность за души других.

Ведь ты молод, ты учишься сам, чтобы потом учить других. Ты хочешь стать преподавателем, инженером, художником. Ты — будущий духовный наставник.

Молодой человек на социальном фронте — это и преемник, и зачинатель. Сегодняшний ученик — отец будущего мастера. Ты чувствуешь свое назначение, ты ищешь себя, с тем чтобы потом другие нашли себя.

Итак, что же у тебя в руках, молодой человек, погрязший в том, что именуют «философией кризиса»? На что ты можешь опереться?

На университет, на школу, на твою будущую профессию?

На твой класс, который, по всей вероятности, является классом мелкой буржуазии?

Но университет тебе ничем не поможет. Твое бедственное положение — частица всеобщего кризиса. Таких, как ты, слишком много, а это значит, что ты, отдельно взятый, являешься лишним. Все вокруг тебя редеет, суживается, пустеет. Ограничивается число студентов, закрываются учебные заведения, упраздняются факультеты, сокращаются стипендии. Дошло до того, что тебе начинают чинить всякие препятствия, чтобы у тебя возникло отвращение к своей профессии, чтобы ты избрал другую.

Ты видишь, как среди интеллигентов растет безработица. Ты видишь, как все больше и больше подрывается материальное будущее людей, получивших высшее образование. Как повсеместно падает квалификация, как со всех сторон подкрадывается бедность, подстерегая тех, кто хочет добиться места под солнцем с помощью кулака или рассчитывает на выигрыш в жизненной лотерее, подкарауливая немногих счастливчиков, которым удалось проскользнуть сквозь все препоны в надежде получить звание, которого они, безусловно, заслуживают.

Твой итог не блестящ. Кризис грубо попирает твои заветные идеалы, отдает их на волю случая, делает их недостижимыми.

Но хуже другое. Ведь речь идет здесь и о твоем достоинстве.

Университет, в котором ты учишься и который тебя обманывает, является государственным учреждением. Учреждением, суть которого во всех странах, кроме Советского Союза, состоит в сохранении буржуазного строя и прославлении капитализма. Вот почему, наряду с программой обучения, в университетах существует **другая программа**, диктаторская, цель которой — сделать из тебя интеллектуального агента капитализма, сутенера системы эксплуатации. Университет — это нечто вроде огромного бюро пропусков, в котором проверяются твои личные данные, чтобы затем использовать твои знания в интересах господствующего строя, как используются все духовные и моральные завоевания людей.

В пяти старых частях света — важно, чтобы ты повторял себе эту истину,— университет является не чем иным, как огромным бюро пропусков. Только в шестой части света дело обстоит иначе.

Итак, ты будущий офицер, будущий учитель. Ты должен будешь взять на себя практическое руководство каким-нибудь ответственным участком эксплуатации трудящихся. Привилегированное положение, в котором ты находишься, воспитывает ду-

кастовости, который отделяет тебя от эксплуатируемых масс и отрывает от подлинной общественной жизни. Тебе дают особое воспитание не столько для того, чтобы ты передавал другим полученные тобой знания, сколько для передачи приказов. А поскольку ты можешь служить только меньшинству, против интересов всего общества, ты не можешь **служить** в истинном смысле этого слова.

Знания — наука, техника, культура — нуждаются в естественной связи с общественной жизнью, чтобы гармонично развиваться вместе с социальным движением и в самом сердце этого движения. Так должно было быть при разумном общественном строе. Добавим: так оно теперь и есть при советском строе. Но повсюду, во всех других странах существует разрыв между наукой и общественной жизнью. Наука перестала быть наукой, превратившись в средство господства для меньшинства, которое находится у власти. Именно в этих целях тебя и хотят прежде всего использовать.

В теперешних условиях тебе, ученому, представителю науки, будут хорошо платить, с тобой будут считаться, но только в том случае, если ты согласишься быть прислужником власть имущих.

Вся наша общественная жизнь охвачена сетью политического надзора. Теперешние хозяева придают ему большое значение. Тактика капиталистов состоит в том, чтобы доверять все управление технической службой агентам охранки. Ты должен решить, хочешь ли ты вступить в эту полицию.

Ты пытаешься проявить независимость? Нужно ли рассказывать тебе известную историю некоторых профессоров или историю учителей из Ниццы — классический пример того, что происходит кое-где сегодня и что, вероятно, будет происходить повсюду завтра.

Вот как обстоит дело с тобой, зависящим от воли случая. И ты еще мечтаешь о будущем! Я говорю совершенно ясно: ты оторван от себя самого, ты оторван от людей.

Твой класс? Предположим, что ты принадлежишь к среднему классу. Сегодня он ничего не может тебе дать. Он может еще больше затянуть тебя в общий хаос. Ты находишься в авангарде класса, который не играет больше прежней роли. Ты уже не можешь рассчитывать на него, это он может рассчитывать на тебя.

А потом? Дальнейшее зависит от тебя.

Нужно действовать, и ты готов к этому, потому что ты явился.

Ты молод, значит, у тебя есть силы. Твои силы — это твое единственное богатство в наши дни. Употреби же их на что-то стóящее. И прежде всего на то, чтобы разобраться в окружающей действительности и понять, как ты должен поступать, чтобы возродить себя.

Где искать настоящий путь, ясность, веру, надежду, прочную опору в вихре событий?

Перед тобой фашизм, который охотнее всего вербует молодежь.

Фашизм обращается к тебе и предлагает выход из затруднительного положения. Он целиком приспосабливается к твоим пожеланиям. (Здесь нет ничего удивительного — ведь такова его вывеска.) Он подлаживается к твоим идеалам, но только делает вид, что его заботит твоя судьба.

«Нам нужны люди сильные и молодые, чтобы покончить с беспорядком, чтобы строить заново»,— говорит фашизм.

Что строить заново? Привычный старый буржуазный порядок.

Разумеется, нужно разрушать и нужно строить. Но чтобы строить что-то настоящее, следовало бы разрушить как раз тот режим, который фашизм призван сохранить во что бы то ни стало. Значит, чтобы действовать правильно, следовало бы начать с уничтожения фашизма, взявшего на себя миссию омолодить все одряхлевшее.

Что обещает фашизм молодому поколению?

Славу телохранителя крупных дельцов, позволяющего им порабощать трудящихся, угнетать массы и разжигать войну. Он учит молодое поколение предавать дело трудящихся, включая крестьян, мелкую буржуазию и интеллигенцию.

Какие идеалы он несет, какую веру, какое учение, могущее стать точкой опоры в хаосе верований и идей?

Он несет молодежи «священную» войну против трудящихся. Он несет ей новые виды расовых войн, ведь социальный вопрос в глазах фашизма — это конфликт между евреями и неевреями. Он несет ненависть к другим нациям. Он несет шовинизм, который отупляет народы и обрекает их на гибель, дурман, который толкает их всех в общую могилу.

Он несет среди прочих путаных идей такую ребяческую идею, как **бунт молодежи против старшего поколения.** Что означает этот пресловутый конфликт поколений? Ничего, кроме пустой мистики, бури в стакане воды.

Молодежь, несомненно, обладает самым мощным творческим потенциалом. Она — движущий элемент, конструктивный элемент, потому что будущее принадлежит ей. Но все зависит от того, какое она находит себе применение, и смешно, когда пытаются мобилизовать созидательные силы молодежи, чтобы сохранить систему, которая является причиной всех бед нашего времени. Кстати, всякая здоровая логика доказы-

вает, что молодежь нуждается в сотрудничестве со старшими. Страх молодых перед изменениями нередко сильнее, чем их жажда приключений.

Свою чрезмерную готовность к борьбе они проявляют охотно, но поверхностно. Они склонны быть революционерами только по мелочам. Подчас им свойственна поразительная близорукость, которая мешает видеть неизбежность глубоких преобразований. Необходимо, чтобы они работали не против старших, а совместно с ними.

Но фашизм уводит тебя в сторону и внушает тебе надежду, что ты станешь вождем. Вождем чего? Уточнить это было бы нелегко. Да уточнения и не важны: дело тут не в словах; слово «вождь» может ослепить кого угодно. Фашизм использует самым подлым образом боевой задор молодежи и ее стремление к славе. Он предлагает тебе быть вождем на словах, в действительности ты будешь слугой.

«Но,— заявляют фашисты,— у нас есть планы. Прекрасные, совершенно новые планы реорганизации общества с точки зрения внешней, а также внутренней политики». Однако новым в этих планах является только камуфляж. Под ним все по-старому. Это обветшалый строй ограбления, политических скандалов, коррупции и несправедливости. И все это заключено в жуткий каркас режима полицейских и палачей.

А что тебе несет в области культуры фашистский порядок с его пренебрежением к массам и народам, с его бешеной классовой ненавистью, с его всеобъемлющей системой наказаний и преследований за убеждения?

Выморочную литературу и фальшивое искусство, которые не уходят больше своими корнями в жизнь, которые — ты это прекрасно видишь — не соответствуют твоим устремлениям.

Бесцеремонно специализированную, истощенную и порабощенную науку, раздробленную и разбросанную, лишенную общей идеи, размаха, созидательной силы. Это — хилая официальная наука, превратившаяся в орудие административной власти, нацеленное только на одно: направить исследования ученых в область подготовки войны. Ибо всякий свободный расцвет науки разорвал бы цепи и путы фашизма.

Что бы ни нес тебе фашизм во всех областях — он прежде всего несет войну. Его теории и методы, которые не содержат ничего положительного ни в личном, ни в общественном плане, совершенно явно ведут к бойне.

Фашистский неоимпериализм — это гипертрофированное развитие одной нации за счет других, международная экономическая война, которая, как и сопротивление эксплуатируемого класса, неизбежно подразумевает подавление с оружием в руках.

Причины конфликтов возникают мгновенно. Угроза со стороны Саара [1], угроза из Центральной Европы. События в Марселе — это повторение Сараева [2]. Не сегодня завтра могут произойти другие, еще более опасные события.

Посмотри, что постоянно предпринимается против Советского Союза и Китая [3]. Призрак войны преследует ослепленную молодежь с пустым желудком. И война начинается — действительно начинается: в форме военного обучения студенческой молодежи, в форме допризывной подготовки, курсов медсестер, вербовки военных врачей и летчиков. Война поглощает ресурсы народного образования прежде, чем поглотить самих людей.

По всей земле твои братья, представители национальных меньшинств и коренные жители колоний, страдают от двойного угнетения — национального и классового; твои сестры-студентки, девушки и женщины, представительницы сегодняшней интеллигенции, также страдают от двойного гнета — как работницы интеллектуального труда и как женщины, и все они подвергаются еще большим преследованиям и опасностям.

Но среди картины сбитого с толку человечества, увлекаемого половодьем безумных, ведущих к самоубийству теорий,— причем делаются попытки, чтобы и ты сознательно бросился в этот водоворот,— тебе является величественное зрелище, уже не раз приковывавшее твои взгляды.

Это Союз Советских Социалистических Республик, который создал новое общество на целом континенте: сотрудничество работников физического и умственного труда, процветание, человеческое достоинство, народовластие, великолепное гуманное и рациональное решение проблемы национальностей и национальных меньшинств, безупречный и логичный интернационализм.

Ни безработицы, ни нужды, ни расовой ненависти, ни несправедливостей, ни политических скандалов, ни финансового мошенничества и расточительства. Материальная, духовная и моральная победа перед лицом всего мира.

---

[1] Речь идет о попытках французского правительства в 1934 году оккупировать Саарскую область, которая с 1925 года была включена в таможенную территорию Франции, однако находилась под управлением международной правительственной комиссии Лиги Наций. *(Здесь и далее — примечания переводчиков).*

[2] В 1934 году в Марселе хорватскими террористами были убиты министр иностранных дел Франции Ж. Л. Барту и югославский король Александр I.

[3] В конце 1931 года японские войска оккупировали северо-восточный Китай. Правящие круги США, Великобритании и Франции, заинтересованные в том, чтобы столкнуть Японию с СССР, потворствовали японской агрессии. В 1933—1934 гг. Чан Кай-ши с помощью империалистических держав начал военные действия против советских районов Китая, в результате чего после тяжелых боев в октябре 1934 г. Красная Армия Китая оставила Центральный Китай.

Этой стране, где все цветет и растет, в то время как вокруг все увядает и гибнет, угрожает война: экспансионистские устремления Японии [1], враждебные происки других капиталистических держав, во главе которых стоит циничная гитлеровская Германия и международный поборник реакции, лицемерная Англия, для которых успехи Советского Союза означают явно угрожающий вызов. Война против Советского Союза готовится подспудно, хотя он полон сил и его колоссальные пространства делают его непобедимым. Это он, именно он является фактором мира во вселенной. Он сумел заставить прислушаться к своему голосу, он сумел внести немного здравого смысла в двусмысленную болтовню Лиги Наций, в которой он выступает как защитник народов.

Пора подниматься на борьбу!

Час сопротивления настал. Настал час бороться за цель, в которой твои интересы сливаются с интересами всех и которую ты не можешь предать, не предав самого себя.

Ты уже показал, что можешь мыслить самостоятельно, что ты не являешься слепым орудием, которое твои враги могут использовать по своему желанию и в своих целях.

Ты уже не в одном сражении доказал решимость спасти дело мира и прогресса, воплощенное в массах, от угроз терпящего банкротство общественного строя, не имеющего других перспектив, кроме катастрофы.

Пусть студенты и студентки отстоят от фашизма и его официальных пособников университетский фронт.

Встаньте рядом с рабочей молодежью, рядом с лучшей частью интеллигенции, которая мыслит достаточно честно, чтобы понимать, у которой достаточно чистая совесть, чтобы желать. Вперед, молодые товарищи, вставайте на путь, на котором вы совершите то, для чего вы созданы!

Вперед, против национализма и шовинизма, которые превращают вас в безумцев и убийц!

Против фашизма и его идеологии, против его преступлений, совершаемых по отношению к отдельным людям и ко всему человечеству!

Против террора, за освобождение политических заключенных!

Против коварных форм государственного фашизма, который прикрывается маской демократии!

За ваши собственные экономические требования и за экономические требования трудящихся!

За вашу свободу и за свободу всех народов!

За поддержку населения колоний, заточенного в своих странах, как в концентрационных лагерях!

В защиту Советского Союза!

За мир в труде и культуре!

Перевод с французского и публикация М. БОЛДЫРЕВОЙ и Е. НЕЧАЕВОЙ

---

[1] В 1933 году пропаганда войны против СССР со стороны японской военщины достигла апогея. Япония предприняла попытку захватить КВЖД, японское правительство отказалось принять советские предложения о пакте ненападения.

◆

БЕРНАР БЮФФЕ

Трудно представить себе пустынный Париж. Париж без машин, без спешащих, снующих толп пешеходов, движущихся сплошной лавиной.

Трудно представить это, если вы не видели работ Бернара Бюффе. Взгляните на его картину «Канал Сен-Мартен» (1956 г.). Здесь торжествуют четкие, прямые горизонтали набережной, вертикали домов, отражающихся в воде, резкая, напряженная трапеция моста, перекинувшегося через канал. Высохшие деревья черными тенями смотрятся на фоне домов и утреннего неба. Настроение щемящей грусти не покидает зрителя. Не видно ни единого прохожего. Но присутствует художник. Вот на небе, сверху он оставил свою колючую, как проволока, подпись. Это его Париж. Париж Бернара Бюффе.

Родился художник в Париже в 1928 г. в семье военного. В 1944 г.— Школа изящных искусств. В возрасте 19 лет, сразу после второй персональной выставки, Бюффе получает Премию критики. Он становится знаменитым. Его работы покупают музеи и частные собрания. О нем пишут статьи. Среди его друзей и восторженных поклонников его творчества — такие разные люди, как Жан Кокто и Жорж Сименон.

Быстрый успех не испортил молодого художника. Он держится замкнуто, редко берет заказы, необычайно серьезно относится к творчеству, отвергает снобизм в искусстве.

Многие исследователи творчества Бюффе отмечают единство и цельность его стиля, верность тому языку, который наиболее полно помогает выразить основную идею его творчества — мысль о неустроенном мире и одиноком человеке, не находящем в нем места для себя.

Стиль этот сложился не сразу и возник через увлечение и преодоление влияний экспрессионизма. Эти влияния заметны в ранних работах Бюффе.

В знаменитой картине «Лежащий человек» (1947 г.) впервые тема одиночества «ведет» за собой такие приемы, как нарочито «неизящный», «проволочный» рисунок, угловатость всех форм, полное пренебрежение внешней живописностью. С этой темой связана серия «Цирк», созданная в 1955—1956 гг.,— целый цикл огромных картин маслом и серия рисунков и гравюр, раскрывающих мир униженного и обездоленного человека.

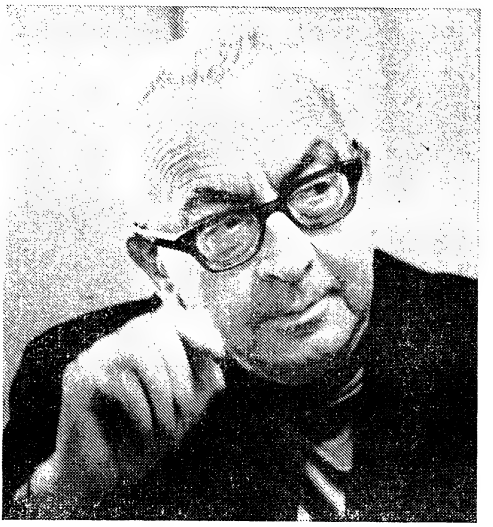
Вглядитесь в глаза его клоунов — и вы поймете их благородство и одиночество. Художник отождествляет себя с ними, когда гримирует свое лицо, превращая его в клоунскую маску. И это не позерство: художник сам ведет жизнь подвижника в искусстве, образы клоунов — его своеобразные автопортреты. Среди многочисленных портретов Бюффе один из лучших — «Портрет Жана Кокто» (1955 г.). Духовную сущность Кокто — замечательного поэта, художника, драматурга и критика — Бюффе передает, отказываясь от возможностей масляной живописи. Его «Кокто» — своеобразный символ изысканного художественного интеллекта. Отсюда — схематизм портрета. Главный акцент — лицо, исполненное необычайного благородства, и руки артиста. Выразителен сложный, «кристаллический» рисунок спинки кресла. Портрет отлично «построен», крепок по рисунку (Бюффе — один из сильных рисовальщиков современности).

Эта «построенность» отличает многочисленные натюрморты Бюффе, среди которых наиболее характерен знаменитый «Натюрморт с рыбой». Лейтмотивом композиции выбрана горизонталь. Все подчинено ей: формат картины, предметы, расположенные на фоне глухой кирпичной стены, край стола, рыба, помещенная на переднем плане и связывающая все предметы воедино. Синий кувшин слева и ручка красного ковша справа уравновешивают композицию. Уместно в качестве своеобразной антитезы вспомнить в связи с этой работой натюрморты Шардена, крупнейшего мастера XVIII в. У старого французского мастера предметы «очеловечены», уютны, чего никак нельзя сказать, глядя на картину Бюффе. Здесь они «антиутилитарны», остры, «колючи», страшны. Рыба скалит зубастую пасть, кувшин хищно изогнулся, а груши в вазе похожи на две острые бритвы. Сам цвет картины напряженный и «режущий»: мысль о разладе мира вещей с человеком как бы продолжает тему неустроенной действительности. Бюффе — мизантроп по отношению к обществу, в котором он живет. Однако, как справедливо заметил один японский критик: «Мизантропия Бюффе не что иное, как вывернутая наизнанку любовь к людям».

Вероятно, именно этим творчество Бюффе привлекает к себе внимание.

Л. ДЬЯКОВ

Наши гости



«ПИШУ О РАБОЧИХ ФРАНЦИИ»

(В редакции «Иностранной литературы» — французский писатель Андре Ремакль)

Андре Ремакль — марселец. В его романах — «Время жить», «Летайте на «Каравелле», «Бухта Мальдорме» — Марсель, юг Франции, Прованс присутствуют неизменно, как их существенная, неотъемлемая составная часть. Однако местный колорит вовсе не делает Ремакля писателем региональным, прованским. Проблемы, круг вопросов, которыми он интересуется, носят общефранцузский характер, затрагивают самые чувствительные нервы современного буржуазного общества.

Андре Ремакль и его жена — журналистка Розетт Ремакль — в этом году приехали в Советский Союз впервые, осуществив, наконец, свою давнюю мечту. Желание посетить СССР возникло у них еще в начале трудных 40-х годов, когда они вступили в коммунистическую партию Франции и, находясь в подполье, вели борьбу с фашизмом, печатали листовки, писали антифашистские лозунги на стенах домов. Но и после победы за работой и заботами все как-то не представлялось случая повидать Москву...

А. Ремакль рассказывает о своем жизненном пути. Его отец был главным редактором газеты «Солей». Там и начал свою карьеру Андре, а в 1933 году перешел в газету «Марсей Матен». В июне 1940 года он основал газету «Руж миди» — орган коммунистической партии, выходившую вначале подпольно.

— Но после войны «Руж миди» прекратила свое существование из-за конкуренции, как исчезли многие прогрессивные политические ежедневные газеты,— говорит наш гость.— Я перешел в газету «Марсейез», которая сначала была органом Национального фронта, а потом стала газетой нашей партии. Я и до сих пор сотрудничаю в «Марсейез» — заведую там отделом литературы и телевидения. После путешествия по Советскому Союзу — оно включает Москву, Ленинград и Одессу,

город-побратим Марселя, — собираюсь опубликовать серию репортажей о советской культуре.

Наш разговор заходит о романе «Время жить», получившем в 1966 году премию «При попюлист». Он переведен на русский язык.

Писатель поясняет:

— Я пишу о рабочих Франции. Материал для романа я взял из анкет опроса, проведенного газетой «Марсейез» среди трудящихся Прованса. Главная идея выражена уже в названии. Роман рассказывает о рабочем-строителе Луи Люнелли. В поисках заработка он вынужден тратить на сверхурочную работу все свое свободное время — ведь ему нужно содержать семью, оплачивать квартиру, машину, вещи, купленные в кредит.

Вместе с тем это и роман о любви — супружеской и материнской, которую омрачают условия жизни. Роман о счастье, которое так трудно сохранить в наше время.

Критика неоднократно подчеркивала эмоциональность, свежесть чувств, молодое восприятие жизни, присущие романам Ремакля.

— Немногие из наших писателей интересуются проблемами жизни трудящихся,— говорит А. Ремакль,— а те, кто пишет на эту тему, сталкиваются с трудностями издания. С другой стороны, произведения о рабочем классе замалчиваются французской критикой. Издатели же аргументируют свои отказы печатать их тем, что эти произведения якобы не имеют спроса даже у самих трудящихся, которые после целого дня изнурительного труда хотят читать детективы. Издатели подходят к произведению литературы как к товару. Поэтому успехом у них пользуется «Мотылек» — вещь в общем-то пустая. Ее напечатали тиражом в 1250 тысяч — тираж романов Арагона 40—50 тысяч — и сопроводили шумной рекламой.

Что касается поэтов, то нередко они вынуждены сами оплачивать издание своих стихов, особенно молодые, иначе им не пробиться к читателю.

— Последняя работа? Я написал роман «Улица Трех Солнц» и перед отъездом отдал его издателю... Одинокая незамужняя женщина смотрит телевизионную передачу, которая пробуждает в ней воспоминания давних лет; ей было пятнадцать, когда в Марселе на улице Трех Солнц фашисты депортировали около двух тысяч человек. Никто из них не вернулся. Среди погибших был юноша, которого она любила... Теперь эта улица застроена новыми красивыми домами, но память о прошлом жива...

Думаю, что этот сюжет может показаться очень знакомым многим советским людям. И вы и мы пережили эту трагедию. Ее забыть невозможно. Пусть же литература поможет нам сделать правильные выводы из уроков истории.

Л. ЗАВЬЯЛОВА

◆

Среди книг

Издано в СССР

В ПОИСКАХ «ПТИЦЫ-ПРАВДЫ»

Португальская поэзия XX века. Перевод с португальского. Составление, предисловие и справки об авторах Е. Голубевой. Москва, «Художественная литература», 1974. 256 стр.

Этот сборник вышел из печати как раз в те дни, когда все мы внимательно следили за сообщениями радио и газет о событиях, потрясших Португалию в апреле 1974 года.

Вот почему с особым чувством открываем мы эту небольшую лимонного цвета книжечку, с тонким абрисом античной вазы на обложке, надеясь благодаря собранным в ней стихам, а иногда и между их строк угадать, почувствовать те высказанные или невысказанные надежды, светлую веру в свободу и ожидание ее, которыми жила Португалия многие десятилетия.

На первых страницах сборника — стихи выдающегося португальского поэта Фернандо Пессоа (1888—1935), тонкого лирика, философа и смелого новатора в области стихотворной формы. Печатался он не только под своим именем, но и под тремя псевдонимами. Перед нами четыре поэтических отражения одной индивидуальности, в чем-то противоречивые, но во многом схожие, а порой и повторяющие друг друга.

У Фернандо Пессоа мы встречаем стихи, в которых звучат и антимилитаристские мотивы («Мамин сын») и поистине уитменовская любовь ко всему человеческому: «Я хотел бы вселенную эту таскать на руках, точно старая няня — младенца»... («Очнуться от города Лиссабона...»). Но как часто поэт оказывается не в силах победить разлад, царящий в его душе, беспокойство, «зыбь тоски», сознанье, что жить ни к чему, ощущение безысходности: «все на свете не то и не так!» — и тогда вырывается горькое признание: быть поэтом — «это просто мой способ быть одиноким». Стремление найти свое «я», желание слиться с природой, обрести счастье в простых, обыденных вещах и в то же время попытки оторваться от повседневной реальности — все тщетно, собственная судьба представляется поэту катастрофой, а жизнь — тюрьме подобна.

С особой пронзительностью и болезненной четкостью эта трагическая раздвоенность, неприкаянность, недовольство собою и обществом, неспособность совершить что-то решительное, свойственные португальским романтикам и модернистам начала века, обнажились в творчестве Марио де Са-Карнейро, в двадцатишестилетнем возрасте покончившего с собой:

Почти любовь, почти триумф над бездной,
почти надежда и почти мечта...
Но жар души расплескан бесполезно,
все — призрак, все — пустая суета...

Я созидать хотел, но вижу ныне,
что ни единой цели не достиг...
Все тягостно, во всем царит унынье,
всего коснулся я на миг.

Чуть больше солнца — стал бы жаркой пылью.
Чуть больше неба — я бы в нем исчез.
Не донесли надломленные крылья
всего на взмах до голубых небес.

(«Почти». Перевод Е. Витковского)

Эти мучительные поиски выхода из творческого тупика и той духовной тюрьмы, какой представлялось буржуазное общество многим литераторам, подготовили со временем рождение нового отношения к дей

ствительности, более ясного осознания роли художника и его задач. Такой поворот наметился в конце 20-х годов — в период захвата власти фашизмом.

Конфликт личности отступает теперь на второй план, неудовлетворенность собой и окружающим приводит к переоценке своего творчества и своей жизненной позиции. Взгляд, прикованный ранее к больной, мятущейся душе, обращается к людям: «Мне нужен, до боли нужен кто-то, кого б я мог одарить!» (Антонио Жедеан. «Кто-то»). Появляется чувство ответственности за беды человеческие:

Когда я плачу,
Плачу не я.
Плачет людская беда...

(А. Жедеан. «Капля воды». Перевод А. Косс)

Представители возникшего в 30-е годы течения — неореализма — по-новому воспринимают и самого человека — как существо цельное, гармонично сочетающее в себе разные противоречивые начала. Человек — естественное порождение земли и природы, гражданин, хозяин жизни и своего жизненного пути:

Здесь, с собою наедине,
я, грешник, каюсь себе
в том, что я — это именно я,
что посмел встать за руль корабля
и что смею корабль мой вести
по мной избранному пути...

(Мигел Торга. «Часослов». Перевод Л. Цывьяна)

В поэзию входят живые, реальные люди, деревенская и городская беднота, с их беспросветной нуждой и заботами, мелкие чиновники, обреченные на безрадостное и однообразное существование (Мануэл да Фонсека. «Рóманс муниципального бухгалтера». «Хор служащих»; Папиниано Карлос. «Песнь Катарине»; София де Мелло Брейнер. «Эти люди»; Жоан Аполинарио. «Бедняки поднимаются рано...», «Надо людям сказать...»).

Аллегорические зарисовки вокзалов, заполненных пассажирами, тоскливо ожидающими «дальних поездов» — к ним часто обращались португальские поэты для выражения несбыточной мечты,— оторваться от трагической действительности, спрятаться от нее, умчаться от «жестокой яви» в поисках миражей и далеких стран. Но непреодолимый страх перед незнаемым сковывал и удерживал их от бегства: «Уехать, о бог мой, уехать!.. Страшусь отъезда!» (Ф. Пессоа под псевдонимом Алваро де Кампос. «Там, я не знаю где...»).

Начиная с 30-х годов в поэзии пробиваются совсем другие интонации, протест против общества приобретает вполне направленное, конкретное и политическое звучание.

В стихотворении «Вторжение (1940—1941)» Жозе Гомес Феррейра создал гротескную, символическую картину мертвого, поверженного города, показав, что фашизм несет не только физическую смерть, но и нравственное, духовное умирание. В остросатирической поэме «Открытие любви» Даниэл Филипе обнажил антигуманную сущность фашистской диктатуры, с ее системой слежки, тюрьмами, ее страх перед живыми прекрасными чувствами, которые она не в силах победить: любовью, свободой, поэзией, надеждой, неистребимой верой в человечность.

По-новому воспринимается теперь и роль поэзии:

...слово стать должно острее лезвия:
красота первейшая поэзии —
в том, что гнев ее необходим.—

(Перевод А. Наймана)

провозгласил Карлос де Оливейра в стихотворении «В кузнице словарной — звон и дым...».

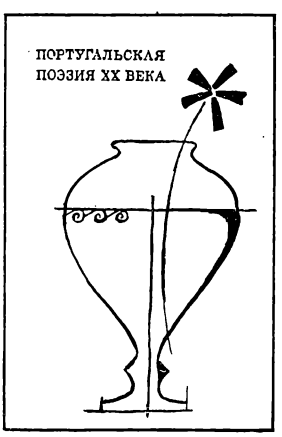
Революционное назначение поэзии, поэзии-воительницы, воспел Мигел Торга в своей «Биографии»:

Свидетельствую, что отныне нет
поэзии
изысканной и нежной.
Подобна пленнице она,
что, вырываясь из ворот темницы —
так искра рвется из огня,—
стремится яростью неистовой излиться.

(Перевод Л. Цывьяна)

В условиях фашистского диктата и жестокой цензуры поэзия, вобравшая в себя все чаяния народа и всю «португальскую боль», стала воплощением правды и жизни, которая немыслима без борьбы. Если жажда свободы мучительней голода — «преступно в наши дни молчать!» Даже если от убийц не скрыться и ты погибнешь, не увидев победы, знай, что ты «придвинул победу ближе».

Особое место в книге занимают стихи деятелей демократического движения Португалии Луиса Вейги Лейтана и Антонио Боржеса Коэльо. Подобно многим борцам за свободу и демократию в Португалии они подвергались преследованиям и на себе испытали гнет фашистских застенков. Но и в тюрьмах, похожих на могильные склепы, не умирает трепетная мечта о свободе,



и туда залетает сказочная «птица-правда», и там рождается поэтическая песня вольности:

Птица, пролетай своим путем!
Там, в далекой жизни, может быть,
люди спросят как мы здесь живем.
Ты ответишь: нас не победить.

(Антонио Боржес Коэльо. «Двор». Перевод М. Квятковской)

Жизнь показала, что борьба и жертвы, принесенные сторонниками демократии в Португалии, были не напрасны, но путь к свободе долог, и новое время ставит перед поэтами новые цели и задачи.

Н. ПОПОВА

ДАЛЕКОЕ И БЛИЗКОЕ

Элизабет Гаскелл. Крэнфорд. Перевод с английского И. Гуровой. Предисловие А. Елистратовой. Комментарий И. Гуровой. Москва, «Художественная литература», 1973. 205 стр.

«21 дек. 1851.
Милочка Тотти!
Мне нужно сказать тебе кучу вещей гораздо больше чем можно успеть за четверть часа которыми я располагаю и сегодня воскресенье и я с удовольствием уселась написать тебе в новом платье с голубыми лентами просто прелесть куплены к Рождеству — и недорого стоили «элегантная экономность» как мы говорим в Крэнфорде — теперь, наверное, ты думаешь, что я сошла с ума, но это не так, просто я написала парочку рассказов о Крэнфорде для «Домашнего чтения», и ты уж позволь мне цитировать самое себя».

Так, в письме к подруге, пародируя стиль своих героинь, упоминает Э. Гаскелл о «Крэнфорде» — по утверждению зарубежных критиков, лучшем ее произведении, вошедшем в фонд английской классики. Со времени своего выхода эта книга выдержала более 170 изданий в Англии и США.

История создания книги не совсем обычна. «Началом «Крэнфорда» послужил один очерк для журнала «Домашнее чтение» — тогда я и не думала продолжать»,— писала Гаскелл эссеисту Джону Рескину. Однако Диккенсу, издававшему этот журнал, так понравился очерк, что он уговорил писательницу продолжить «крэнфордские записки», как он их называл. Шутливый тон, обычный для диккенсовских писем, не скрывает его восхищения этим произведением Гаскелл: «Не будь вы самой недоверчивой из известных мне женщин, всегда готовой увидеть лесть в чистейшей монете похвал, я назвал бы ваши записки очаровательными, отделанными самым нежным и приятным образом, но так как вы — это вы, я ограничусь сообщением, что я назвал это «Любовная история в Крэнфорде» и отправил в типографию».

Изменение первоначального намерения Гаскелл — вместо одного очерка постепенно возникала хроника крэнфордской жизни — сказалось и на общей концепции произведения, и на его структуре. Так, первые главки имеют отдельные, не связанные друг с другом сюжеты. В дальнейшем, по мере расширения масштабов книги, сюжетные линии в какой-то степени переплетаются и переходят из одной главки в другую. Кроме того, одним из центральных персонажей крэнфордских записок вполне мог бы стать прямодушный и безыскусный капитан Браун — антагонист претенциозной мисс Деборы Дженкинс. Однако писательница опрометчиво допустила его погибнуть под колесами поезда в начале повествования, о чем сама потом горько сожалела. И не случайно большинство мужских образов «Крэнфорда» — мистер Холбрук, Питер Дженкинс и даже эпизодические мистер Хоггинс и Джем Хирн — разнообразные вариации на тему преждевременно погибшего капитана Брауна. Но самое существенное — это постепенное выявление общей концепции произведения, по мере того как из рассказов складывалась целая книга, объединенная героями и местом действия.

Хочется снова вспомнить Диккенса. Мы знаем, что «Посмертные записки Пиквикского клуба» из отдельных юмористических дорожных приключений, которые должны были служить сопроводительным текстом к картинкам модного иллюстратора, постепенно переросли в сюжетно связанный роман, а главный герой — из эксцентричного и наивного до глупости чудака превратился в благородного и по-своему мудрого гуманиста. Нечто подобное произошло и у Гаскелл с ее крэнфордскими записками и их главной героиней мисс Мэтти.

Перед нами — маленький провинциальный городок Крэнфорд (прототипом для него послужил Натсфорд — городок, где жила в детстве писательница), с его размеренной, мирной, небогатой событиями жизнью, с его простодушными недалекими обитателями, всецело поглощенными каждодневными заботами и маленькими развлечениями — визитами, карточной игрой, невинными слухами и сплетнями, а главное — постоянными потугами сочетать аристократизм образа жизни со скромными средствами, которыми они обладают.

Сначала, подобно героям «Пиквикского клуба», персонажи повернуты к читателю своей забавной стороной, своими слабостями, чудачествами, предрассудками. В первой же главке мы узнаем, по каким непреложным законам приличия живут крэнфордские дамы. «Визиты наносились и отдавались согласно строгим правилам и установлениям»— например, затягивать визит дольше пятнадцати минут не следует. И «так как все твердо помнили это правило, то ни о чем интересном, разумеется, никто никогда не разговаривал. Мы обменивались короткими фразами на общепринятые темы и вставали, чтобы проститься ровно через пятнадцать минут».

На первый взгляд «Крэнфорд» может показаться хроникой никчемных людей и никчемных событий, однако, если вдуматься, понимаешь, что эта повесть затрагивает насущные проблемы человеческой жизни.

Значение книги состоит в искусстве писательницы на материале веселой комедии нравов поставить «вечные» морально-этические проблемы — это и делает близкими для современного читателя те далекие времена. В Крэнфорде руководствуются не только «приличиями», здесь властвует и более высокий принцип — принцип «человечности». Кастовые предрассудки обитательниц Крэнфорда входят в постоянное противоречие с присущей им добротой и благожелательностью. Живые воплощения напыщенной аффектации во всем, что касается «светскости» и «хорошего тона», эти милые крэнфордские дамы (а в Крэнфорде царствует слабый пол) проявляют истинную самоотверженность, помогая несчастным и обездоленным — будь то больной странствующий фокусник «сеньор Брунони», или осиротевшая Джесси Браун, или разорившаяся мисс Мэтти. Жителям Крэнфорда свойственны не только отзывчивость, но и чувство собственного достоинства, доверие к людям, отсутствие духа стяжательства. Постепенно из бытовых сценок, из пестроты резко индивидуализированных персонажей возникает облик города, где люди живут по особым, им присущим этическим нормам мышления и поведения. В этом-то и заключается глубокое единство разрозненных эпизодов крэнфордской жизни.

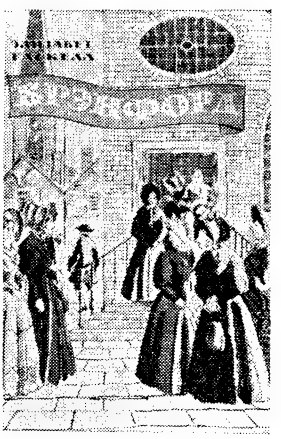
Патриархальному быту и этическим нормам Крэнфорда противопоставлена практика соседнего промышленного города Драмбла, часто упоминаемого в книге. Драмбл имеет явное сходство с индустриальным Манчестером, городом, где Гаскелл провела бóльшую часть своей жизни и о жестоком быте и нравах которого написала свой знаменитый роман «Мери Бартон» («Из манчестерской жизни»), хорошо известный советскому читателю.

Как центральный персонаж книги, как воплощение крэнфордской морали, постепенно вырисовывается мисс Мэтти — чудаковатая, невежественная, но обладающая добрым сердцем, чувством собственного достоинства и полная безграничного доверия к людям. Когда банк (не случайно он находится в Драмбле), куда вложены скромные сбережения мисс Мэтти, прекратил платежи, трогательная старушка думает прежде всего не о собственном разорении, а о своей ответственности перед теми бедными фермерами, у которых остались неоплаченными бумаги этого банка. Поэтому-то она и считает себя обязанной обменять фермеру Добсону теперь уже бессмысленные бумаги на деньги. Вынужденная после разорения заняться торговлей чаем, мисс Мэтти беспокоится, не повредит ли ее предприятие другому торговцу — мистеру Джонсону. Отец рассказчицы (а «Крэнфорд» написан от первого лица), бизнесмен из Драмбла, назвал ее щепетильность «отъявленным вздором» и заметил, что не представляет, «как стали бы жить торговцы, если бы они только и делали, что соблюдали интересы друг друга». «И, быть может, для Драмбла это не годилось, однако в Крэнфорде все уладилось как нельзя лучше»,— добавляет рассказчица.

Вся история разорения мисс Мэтти, поведение ее преданных подруг, самоотверженной служанки Марты и вообще всех жителей Крэнфорда, готовых помочь ей в беде, показывают торжество принципа «человечности» над духом практицизма и стяжательства, царящим в Драмбле. Таким образом, и роман «Мери Бартон», где возникает образ индустриального Манчестера, города-тюрьмы, «раскаленного, страшного, дымного, гнусного Вавилона Великого», по определению Гаскелл, и книга об идиллически патриархальном Крэнфорде приводят читателя к одним и тем же выводам о необходимости взаимного сочувствия «общечеловеческим» страданиям — только ведут они к этим выводам с противоположных сторон.

Живо и увлекательно написанное предисловие А. А. Елистратовой — существенное дополнение к первому советскому изданию этой книги Гаскелл. Предисловие рисует обстановку, в которой создавался «Крэнфорд»; в нем прослеживается связь этой повести с жизненными впечатлениями самой писательницы, описан патриархальный быт городка Натсфорда. Предисловие так проникнуто духом «доброй старой Англии», что воспринимается читателем как органическая часть этой веселой и умной книги.

К. АТАРОВА



«ЗЛОЙ ГАРПУН ЯВИ И ОГОНЬ НАДЕЖДЫ»

Вильям Хайнесен. Черный котел. Роман. Пропащие музыканты. Роман. Перевод с датского. Предисловие И. Куприяновой. Москва, «Прогресс», 1974. 527 стр.

«Злой гарпун яви...» — этот образ может показаться экзотичным, но для жителя Фарерских островов он обыден.

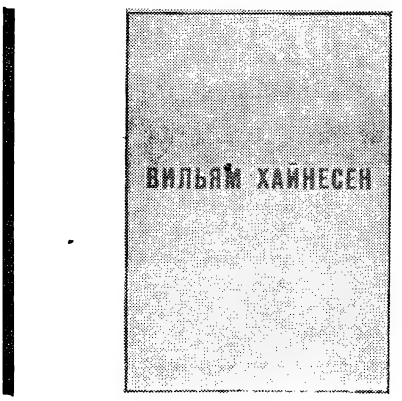
Веками здесь били морского зверя гарпунами, веками из уст в уста передавались фарерские сказания, в которых неотделимо, словно нити в просмоленном канате, сплетены суровая явь и огонь надежды светлого вымысла. Но к моменту, когда закрываешь последнюю страницу книги Вильяма Хайнесена, настолько сживаешься с его героями, что полностью принимаешь и то, что сначала кажется чересчур экзотичным или простодушно-наивным.

Есть книги, в которых предисловие без особого труда можно превратить в послесловие. В однотомнике В. Хайнесена этого сделать нельзя. Слишком мало мы знаем о Фарерских островах, их жителях, фарерской истории и культуре. Вот почему весьма содержательное предисловие И. Куприяновой следует рассматривать как вводную и даже обязательную главу к обоим романам.

Вильям Хайнесен — фаререц. Но пишет по-датски. Близость фарерцев к датской культуре исторически объяснима: с 1380 года Фарерские острова входят в состав Датского королевства, правда пользуясь при этом автономией в решении вопросов внутренней жизни. Первые шаги как писатель и журналист Вильям Хайнесен сделал в Дании. Это и понятно, ведь литературный язык фарерцев был признан официально лишь в 1939 году, а первые стихотворные сборники Хайнесена вышли в двадцатых годах.

Фареры — это двадцать четыре скалистых острова в северо-восточной части Атлантического океана, из которых лишь восемнадцать обитаемы. Здесь живет около сорока тысяч человек. И девять из десяти связаны с морем. Фарерцы с гордостью говорят: «Мы занимаем первое место в мире по тоннажу рыболовных судов на душу населения». Людям моря и отданы симпатии Хайнесена как в романе «Ноатун» (1938), так и в «Черном котле» (1949).

Одиннадцать лет, разделяющие две эти книги, вобрали в себя годы войны и принесли на Фареры едва ли не больше социальных и нравственных перемен, чем все одиннадцать веков существования фарерцев.



После оккупации Дании фашистской Германией в 1940 году Фареры были заняты английской армией. Жители островов стали поставщиками рыбы для Англии, остро нуждавшейся в продовольствии. Это принесло судовладельцам и спекулянтам фантастические барыши, которые трудовой люд Фарер оплачивал ценою жизни: в море их ждали минные поля, подводные лодки и вражеские самолеты.

События тех лет и легли в основу романа «Черный котел». «Котел — это мирный оазис среди опустошений войны, приют для измученных моряков, пристанище для сбившихся с пути беженцев, садок для размножения религиозных сект, теплое гнездышко для спекулянтов всех мастей»,— такими строками вводится читатель в этот небольшой, но кипящей страстями и социальными конфликтами мир. И хотя бомбы редко попадали на сами острова, «злой гарпун яви» опрокинул, казалось бы, незыблемые традиции маленького народа, разорвал привычные связи, разрушил многие нравственные представления.

Автор предисловия отмечает: «В романе нет центрального героя... многочисленные персонажи существуют разобщенно, каждый погружен в мир своих забот и переживаний».

Да, нет главного героя, нет и явной сюжетной пружины, но в галерее мастерски выписанных портретов отчетливо виден водораздел — психологический, нравственный, социальный. С одной стороны, семья, вернее целый клан, моряка Ивара Бергхаммера с хутора Кванхус, с другой — крупный спекулянт-судовладелец, ловкач и мошенник Опперман, а также спекулянты рангом пониже, сектанты, ханжи, журналисты. Отточенным за годы сотрудничества в прогрессивных газетах пером политического сатирика разоблачает Хайнесен продажную камарилью, наживающуюся на крови простых фарерцев и кричащих при этом о своем патриотизме. Фигуры Оппермана или, скажем, редактора Скэллинга поначалу кажутся гротескными. Но вот следует несколько точных реалистических деталей, и образы обретают земную убедительность и оттого становятся еще более отвратительными.

Когда читаешь «Черный котел», то на память приходит предельно точная формулировка Мартина Андерсена-Нексе, оказавшего серьезное влияние на формирование мировоззрения Хайнесена и на все его творчество. Нексе писал: «Любовь к родине — это что-то необъяснимое. Как полынь, она лучше всего растет на скудной, каменистой почве. Она проявляется, чистая и прекрасная, у тех, кому не за что благодарить родину. Но, как полынь, она возбуждает аппетит богатых, тех, кому есть за что благодарить землю родины... Если нужно чествовать родину, то выступает одна сторона... Если же нужно бороться и умирать за родину, то тут уже требуется другая сторона, та, где растет полынь и родной язык — нужда и нищета».

«Злой гарпун яви» убивает тех, кто дорог

сердцу писателя. Гибнет в море от пулеметной очереди фашистского самолета Ивар Бергхаммер, умирает на больничной койке другой моряк — жених сестры Ивара, кончает самоубийством его брат, сходит с ума сестра Ивара — Ливе, в образе которой автор воплотил все подлинно чистое, безыскусное...

Скудная, каменистая почва Фарер дает настоящих патриотов, но пока еще здесь не поднялась сила, которая бы сумела одолеть тех, кого горе родины, горе народа лишь вдохновляет на ханжеские речи, тех, «чья родина там,— как писал Нексе,— где можно побольше напихать золотых талеров в бумажник». Тем более примечательна заключительная страница романа. Два немолодых чудака решают покинуть Фареры. Их суденышко перехватывает английский морской патруль. Тогда один из беглецов стреляет из винтовки и кричит: «Можете стереть нас в порошок своими пушками, но живыми вы нас не возьмете!» А другой «беспрестанно запускал ракеты сигнала о бедствии».

Роман «Черный котел» сам звучит как такой сигнал. Ведь он вышел в 1949 году, когда Данию, а вместе с ней и Фареры (фарерский лёгтинг — парламент — не имеет права голоса в вопросах внешней политики) вопреки воле народа втянули в агрессивный североатлантический блок.

Когда-то Гоголь советовал «бить в прошедшем настоящее». «Черный котел» отвечает этому завету. Но в еще большей степени гоголевские слова могут послужить эпиграфом к роману «Пропащие музыканты» (1950), действие которого относится к кануну первой мировой войны.

Одна из своеобразных черт творческого почерка Хайнесена заключается в том, что многое в его художническом видении основывается на фарерских народных сказаниях, сатирических песнях и легендах. Любовь к ним фарерцев может поспорить даже с привязанностью к своим сагам исландцев, которая является едва ли не общепринятым эталоном преданности национальному фольклору. С особой силой это раскрывается в романе «Пропащие музыканты».

Необычное по форме повествование о трагической судьбе трех фарерцев, музыкантов и поэтов, трех неудачников освещено неповторимым фарерским фольклором. И будь то далеко не божественные псалмы или фрагменты из саг, разящая усмешка сатирических песен или дышащие морской удалью старинные песни матросов — все это настолько органично и естественно вплетается в ткань романа Хайнесена, что понимаешь: в этом — один из важных источников оптимизма писателя, его веры в народ, в саму жизнь.

Да, гибнут музыканты-неудачники, гибнут потому, что не поняли простой истины: «добро должно быть с кулаками». Нелегко приходится их семьям и друзьям, но не убита вера в музыку и добро, в талант и верность, в труд. Оле Ольсен — один из старых матросов, который никогда не молчал о том, что он считал правильным и справедливым, не раз пускавший в ход во имя этого свои кулаки, этот фарерский Кола Брюньон, в сущности, определяет идею книги, когда сам с собой рассуждает о вдове музыканта — Элиане: «Элиана из тех людей, которые надеются. Из тех, кто не теряет надежды. Кто надеется всегда. А люди, которые надеются, никогда не становятся совсем несчастными, потому что они живут своей надеждой, на которую они надеются. И таких людей надо ободрять, подливая масла в огонь их надежды».

И конечно, нельзя считать случайным то, что один из последних своих романов, вышедший в 1964 году, Хайнесен называет «Добрая надежда». События в нем происходят на Фарерах в конце XVII века. Герой наделен действенной любовью к людям, это — борец за их права. Именно эти черты, по признанию самого писателя, он ценил в своих близких друзьях — писателях-коммунистах Отто Гельстеде и Хансе Кирке.

В день семидесятилетия Отто Гельстеда Вильям Хайнесен писал: «Спасибо Отто Гельстеду! Каким чувствуешь себя богатым, когда есть на свете человек, которому ты так бесконечно благодарен... Твои стихи высечены из современности, но закалены для вечности». Неудивительно, что человек, адресовавший эти слова писателю-коммунисту, и сам является большим другом советского народа. Советским людям он посвятил немало добрых строф в написанном после поездки в СССР поэтическом цикле «Вечерние зарисовки паломника» (1972).

Советский читатель не впервые встречается с творчеством выдающегося писателя. Его новеллы и стихотворения уже появлялись в различных сборниках и антологиях. И все же настоящее знакомство состоялось сейчас, когда произошла встреча с наиболее значительными произведениями В. Хайнесена.

С. БЕРКИН

Издано за рубежом

ПО ПРИКАЗУ СОВЕСТИ

Josef Rybák. Kouzelný proutek. Praha, Československý spisovatel, 1974.

Книга воспоминаний народного художника Чехословакии Йозефа Рыбака «Волшебный прутик» вышла вторым, расширенным изданием, дополненным иллюстрациями самого автора. (Первое издание появилось в 1968 году.) И снова книга

привлекла внимание читателей и критики богатством заключенного в ней материала, обаянием личности писателя. Здесь история жизни не одного человека, а целого поколения, пережившего первую мировую войну, горечь гитлеровской оккупации и, наконец, рождение Чехословацкой Социалистической Республики.

Детство Йозефа Рыбака совпало с началом XX века: он родился 1 мая 1904 года. И символически воспринимается совпадение дня рождения писателя с празднованием Первого мая рабочими его родного города Писека — словно сама судьба навсегда связала его с рабочим классом, его борьбой.

Так и получилось. Жизнь Йозефа Рыбака — сына многодетного бедняка ремесленника — невозможно отделить от жизни чехословацких трудящихся в бурные, переломные годы начала нашего века. Поэтому и его воспоминания не превратились в «историю одной семьи», а приобрели характер всеобщности — повествования об участи бедняков, людей труда в капиталистическом обществе.

В этой среде обездоленных и родилась легенда о «волшебном прутике». Ее рассказывал детям отец писателя. Днями и ночами плел он корзины из прутьев вербы. Не случайно «синяя птица счастья» приняла в его сказках образ вербового прутика, который принесет счастье тому, кто к нему прикоснется. Отцу не удалось найти свой «волшебный прутик»: он погиб, подобно многим тысячам других, на полях сражений первой мировой войны. Но в сознание детей он заронил надежду: «Может быть, его найдете вы, когда вырастете большими».

О том, как он искал «волшебный прутик», ведет писатель свой рассказ, а старая легенда придает его воспоминаниям внутреннее единство и мягкое очарование нестареющей народной мудрости.

Бывает, что сказка становится явью. Оказывается, существовал он, этот «волшебный прутик», и сыну действительно удалось найти его. В служении людям, в борьбе за их лучшее будущее — в борьбе, которая принесла счастье не одному только сыну бедного корзинщика.

В утверждении активного отношения к жизни — одна из сторон философского осмысления автором символики «волшебного прутика», но еще не самая главная. Весьма примечательно для Рыбака, что, написав о необходимости самому бороться за свое счастье, он тут же добавляет: «А также нужно, чтобы рядом с тобой были друзья, которым можно доверять». В трагические дни после мюнхенского сговора он размышлял о судьбе своей страны и своего народа, о Советском Союзе, помощь которого отвергло буржуазное правительство Чехословакии.

Мысль о неоценимом значении верной дружбы настойчиво звучит в книге, и история становления личности перерастает у Рыбака в историю становления передовой части его поколения,— вот почему так часто вместо слова «я» писатель употребляет «мы».

Йозеф Рыбак принадлежит к тому поколению чешской трудовой интеллигенции, родившемуся вместе с новым веком, которому при его вступлении в сознательную жизнь, по выражению Ладислава Штолла, «открывал глаза Октябрь». Это поколение Юлиуса Фучика, Лацо Новомеского, Эдуарда Уркса, Бедржиха Вацлавека, Яна Швермы, составившее гордость и славу социалистической Чехословакии и в большинстве своем заплатившее жизнью за верность родине и коммунистическим убеждениям в годы гитлеровской оккупации.

Все они были друзьями и соратниками Рыбака. Вместе со словацкими писателями и публицистами — Франей Кралем, Петром Илемницким, Владимиром Клементисом и Ладиславом Новомеским — он яростно сражался в Братиславе за новую литературу и искусство, за торжество социалистических идей; вместе с Юлиусом Фучиком, Яном Швермой, Эдуардом Урксом трудился в «Руде право», «Гало-новинах», «Творбе», работал и в тяжкие годы оккупации, когда коммунистическая печать была загнана в глубокое подполье, и в тревожные дни Пражского восстания, и в трудное послевоенное время.

Рыбаку, как и его друзьям, приходилось выступать и работать в разных жанрах литературы. Рыбак был и публицистом, и литературным критиком, и искусствоведом, не раз оставлял он начатую книгу для настоятельно необходимых «сегодняшних дел»: для статей в «Руде право» или «Творбе», для выступлений на собраниях или выполнения партийных поручений.

Так же поступали и его друзья. Писатель рассказывает: «Йозеф Копта, не раз убеждавший меня, что пора бы уж бросить газеты и посвятить себя литературе, говаривал мне: «Газеты для писателя — школа. Но нужно уметь вовремя из них уйти. Иначе вы пропали». ...А я встречал на лестницах (в редакции «Руде право».— **С. В.**) пропащего Ивана Ольбрахта и пропащего Йозефа Гору, а потом здесь были и мы, тоже такие же пропащие, но счастливые, потому что книжки могли быть, но могли и не быть, а вот это должно было быть обязательно. И не могло не быть.

И никто из нас не поддался соблазну делать только то, что было ему приятно. Мы должны были находиться здесь. Это был приказ совести».

В этом весь Рыбак — «рабочий пера» (как назвал его Вилем Новый), прежде всего коммунист, партийный работник, а уж затем — и именно в этом качестве — писатель.

В приведенном отрывке находит свое завершение и философская идея, вложенная Рыбаком в старую легенду о «волшебном прутике»: счастье достается тому, кто за него борется, оно не в личном благополучии, а в самой борьбе за счастье многих, за счастье народа, по призыву сердца, по «приказу совести».

Йозеф Рыбак начинал свою литературную деятельность как поэт и, по словам Иржи Тауфера, «никогда не переставал быть им», но свою первую книгу стихов он опубликовал лишь в пятьдесят четыре года.

Поэтическое мировосприятие автора определяет его манеру письма: лирические описания природы родного Писека, словацких гор и лесов, поэтизация простой, казалось бы, отнюдь не поэтичной жизни бедняков, их повседневного труда, взволнованные страницы о народном горе, народном возмущении и гневе...

Выступая в книге в качестве иллюстратора, Йозеф Рыбак поражает своим умением лаконично, всего лишь несколькими штрихами передать характернейшие черты человека, окружающей природы. Таковы его портреты друзей (написанные нередко с оттенком добродушного юмора), колоритные словацкие народные типы, пейзажи Чехии и Словакии.

Слияние в творческом методе Рыбака — рассказчика, публициста, поэта и художника особенно отчетливо ощущается в массовых сценах, которые помогают писателю полнее и глубже показать сложнейший исторический процесс пробуждения классового сознания трудящихся, их переход от стихийных вспышек недовольства и гнева к сознательной борьбе за свои права, к пониманию того, что именно они «несут на своих плечах будущее мира».

Примечательна в этом отношении сцена прощания матерей, жен и детей с отправляемыми на фронт солдатами во время первой мировой войны.

Ворота казармы охранялись часовыми. Толпа провожающих хлынула к воротам, требуя, чтобы солдатам разрешили попрощаться с родными. Попытки четников разогнать женщин и детей ни к чему не привели. Рыбак тонко улавливает, как меняется настроение людей, как на смену просьбам и слезам приходят брань и угрозы, как нарастает гнев и в какой неудержимый поток превращается в конце концов поначалу робкая и послушная толпа. Читатель слышит гул этой толпы, видит эту массу отчаявшихся, готовых на все людей.

Еще более выразительна сцена шествия инвалидов по улицам Братиславы к учреждению, ведающему социальным обеспечением жертв войны.

«Шли калеки с изуродованными ногами, с трудом ковыляя на костылях; шли безрукие, у которых свисали с плеч пустые рукава; шли живые скелеты, истощенные туберкулезом; слепцы, постукивающие перед собой по камням белыми палками; шли несчастные, обожженные ипритом, с изувеченными лицами; шли убогие, насквозь продырявленные осколками гранат, с руками, раздробленными пулями дум-дум, шли оглохшие от взрыва мин, поминутно дергаясь, будто выплясывали танец святого Витта.

Они тоскливо оглядывались, а на их лицах застыли стыд, отчаяние, тревога и чувство вины за то, что они живут, что вернулись с войны, пережили пекло битв, избежали братских могил, будто тем самым допустили что-то нечестное. И вот теперь они лишь прибавляют забот людям, у которых в голове уже совсем другие мысли. Они стыдились, что напоминают людям о том мучительном прошлом, о котором уже никто не хочет слышать».

Эта толпа инвалидов, жалкая и страшная, даже несколько гротескная, воспринимается как живой антивоенный плакат, как символ разрушительной силы войны.

В последних главах книги, где речь идет о гитлеровской оккупации Чехословакии, о первых днях освобождения Праги Советской Армией, «содружество» Рыбака-писателя и Рыбака-художника особенно плодотворно.

Рассказывая, например, об отряде чешских солдат, которые осенью 1938 года рвались защищать родину, но чувствовали, что уже поздно и усилия их бесполезны, Рыбак использует в качестве символа черный цвет. Отряд идет ночью. Кругом тьма: черное небо, черная земля, «на черном фоне черные силуэты деревьев», «черные стены строений», «черные крыши города с черными башнями и река с пенящейся черной водой»... Все это передает состояние отчаяния и скорби, охватившее народ после Мюнхена.

В сцене прихода Советской Армии роль такого «эмоционального конденсатора» играет золотистый цвет, помогающий автору воссоздать атмосферу торжественной, ликующей праздничности, царящей в те дни в Праге. «Казалось, вся Прага утопает в золотистой дымке, которая в лучах майского солнца становилась еще золотистее и золотила печаль, возносящуюся над мертвыми и их могилами с красными гирляндами».

Книга «Волшебный прутик» не только вобрала в себя и завершила многое из того, что содержалось в ранних произведениях писателя (в сборнике рассказов «Поля и леса», в романах «Крыши над головой», «Солнце и хлеб»), и не только раскрыла новые стороны его разностороннего таланта. Она познакомила читателей с подлинно положительными героями нашей эпохи — людьми необычайной скромности и самоотдачи, способными на повседневный, никогда не прерывающийся подвиг труда во имя счастья других, во имя торжества самых светлых идеалов человечества.

С. ВОСТОКОВА

КОНТРАСТЫ САНДЖАКА

Ćamil Sijarić. Kad djevojka spava. Sarajevo, Veselin Masleša, 1973.

Каждая новая книга Чамила Сиярича — событие для читателей и критики не только в Сараеве, где живет и работает писатель. Еще недавно в литературных журналах появились статьи и рецензии о его романах «Битва на Мойковце» (1968), «Конак» (1971), а сейчас с большим интересом встречен сборник рассказов «Когда девушка спит».

Югославский критик Митхат Бегич писал, что к художественному слову Сиярича «надо привыкнуть, как к воздуху, которым мы дышим», то есть принять его таким, какое оно есть, с его естественной неповторимостью, искренностью и живительной необходимостью. Творчество писателя — от первой книги рассказов «Рам Буле» (1953) и романа «Бихорцы» (1956) до произведений, написанных в 70-е годы,— сравнивают с широким красочным ковром, основа у которого славянская, а орнамент — восточный.

Ч. Сиярич удивительно постоянен в выборе места действия своих произведений. Он пишет о своих земляках из Санджака. Этот особенный, живописный и пестрый край богат контрастами. Область Санджак с городами Биело-Поле (где родился Ч. Сиярич), Нова Варош, Приеполье, Плевля расположена на стыке трех югославских республик: Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговины. Здесь на каждом шагу удивляет смешение примет мусульманского востока и балканского славянства: в этих местах и сейчас еще можно встретить людей в турецкой феске или чалме, говорящих по-сербскохорватски, в этом краю попадаются и монастыри, и мечети с тонкими иглами минаретов, шумные базары в долинах и угрюмые горные села в стороне от дорог и от всей «остальной» жизни.

Если в романе «Конак» и других своих произведениях Ч. Сиярич обращался к событиям далекого исторического прошлого, то в рассказах сборника «Когда девушка спит» первостепенную проблему современности — проблему войны и мира— он ставит на материале второй мировой войны, когда в горах Югославии бушевал огонь народно-освободительной борьбы, когда ужасы фашистской оккупации обрушились на страну, на Санджак, на земляков писателя, на него самого.

Село Кладницы. Трагедия войны и поэзия материнства, на первый взгляд, показаны как нечто несовместимое в рассказе, названном по имени его героини — «Тодора». Гитлеровцы учинили дикое насилие над захваченной в плен юной партизанкой. Ее отец оказывает сопротивление насильникам и погибает. Односельчане чтут его память. Война окончилась, а у Тодоры растет сынок — все зовут его «немчиком», «маленьким швабом». Село отвернулось от Тодоры, как от зачумленной, никто с ней не разговаривает, люди умолкают и расходятся при ее появлении. Автор не осуждает своих земляков, не обижается на них и его героиня Тодора. Ведь она тоже дитя этого мира.

Концовка у рассказа неожиданная. Крестьяне после освобождения решили поставить в селе памятник герою — отцу отвергнутой ими Тодоры. Приехавший из города скульптор принялся за работу. Но когда в торжественный момент после речей ораторов упало красное покрывало, собравшиеся увидели совсем не тот памятник, которого они ожидали: на мраморе оказалось высечено всего одно слово — «ТОДОРА». Одно только слово, но оно напомнило всем о героизме юной партизанки и ее горькой судьбе.

Чамила Сиярич сумел передать в рассказах крестьянское простодушие и лукавство, своеобразный народный юмор соотечественников, так естественно сочетающийся с тонким, мягким юмором самого автора, сочувствующего своим героям и принимающего их такими, какие они есть. В его иронии — глубокая печаль, в его скрытой улыбке — любовь к этим людям, родным, близким, своим.

В таком народном ключе повествуется и об одном достоверном событии в рассказе «Суд над Мусой». В ожидании прихода в село немецких оккупантов богатые крестья. не устраивают суд над «коммунаром» Мусой, чтобы продемонстрировать свою лояльность по отношению к новой власти. До сих пор вот так, на веревке, водили по деревне только скотину, а сейчас ведут человека, ведут Мусу, который был связан с партизанами. Но судилище не состоялось. Настроение «судей» круто меняется, когда становится известно, что к селу приближается колонна партизан.

Выделяется в сборнике и рассказ «Когда девушка спит, пахнет яблоками», давший название всей книге,— история, которая произошла в селе Костенице уже после освобождения от фашизма, когда люди принялись строить на пепелище новую жизнь. Но опустело село после войны. Кто погиб, кто ушел на заработки — остались только старики, старухи да стареющие девушки. Здесь давно уже забыли о последних свадьбах.

Неумолимый и закономерный ход послевоенной жизни с бурной индустриализацией и ростом городов не обошел стороной даже глухие горные селения, вовлек молодых деревенских парней в водоворот новых стремлений и планов, новых привязанностей и привычек. На прощанье промчался на коне по деревенской улице статный парень Драгутин, которого все считали женихом красавицы Джуи. Из мужчин остался в селе только глухонемой мельник Гаврила. Через четыре года Драгутин возвратится из города больной и поселится у школьной учительницы. А вскоре в селе сыграют две свадьбы: учительница выйдет замуж за Драгутина, а Джуя — за глухонемого мельника. Быть может, в таком повороте событий — как всегда у Ч. Сиярича неожиданном — намечается и выявляется реалистическое изображение жизненных противоречий и психологических конфликтов.

Смешение славянских и восточных красок особенно наглядно в рассказах «Южные ветры», «Запах листьев орехового дерева» и в «Рассказах у воды». Они проникнуты грустью и полны трагической символики, которая чувствуется не только в тихом шуршании опадающих листьев, но и в словах о несбывшейся любви погибшего на войне солдата. Ч. Сиярич снова и снова возвращается к теме войны, чтобы высказать свою боль и свой протест. Он пишет о дорогах войны: «Это те дальние дороги, о которых думают веками. Не перестают о них рассказывать и вечно помнят погибших и пропавших без вести, зеленую траву на братских могилах, запертые ворота и двери домов, босых детей...»

Одни рассказы Ч. Сиярича похожи на предания и народные легенды. Другие напоминают живые зарисовки с натуры, сценки и миниатюры. В них — чеканный слог и звонкое серебро и филигранная отточенность народного слова, свежая и чистая струя народного духа. И в самом деле, рассказы Ч. Сиярича можно сравнить с живительным источником, который освежает в палящий жаром день. А язык и образ мыслей героев Ч. Сиярича, крестьян из Санджака? К ним действительно надо привыкнуть, как к горному воздуху, которым наполнен мир рассказов Ч. Сиярича. Исконная народная мудрость предлагается здесь то в виде простых и предельно ясных повествований о судьбах людей, то в виде по-восточному загадочных притч, поражающих своей афористичностью.

Ю. БРАГИН

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

Нагиб Махфуз. Аль-хубб тахталь-матар. Аль-кахира, Мактабат Миср, 1973 (на арабском языке).

Сейчас Нагибу Махфузу 62 года. Он полон сил и богат житейским опытом; художник взыскательный, большого таланта, он чутко улавливает малейшие перемены в социальной жизни Египта и живо на них откликается. Перу писателя принадлежит двадцать романов, семь сборников рассказов, множество статей по проблемам литературы, искусства, общественной и политической жизни.

Нагиб Махфуз пишет о Египте, о крутых социальных поворотах 50—70-х годов XX века в жизни страны не только с позиции свидетеля исторических событий, но поднимается в своих произведениях до глубоких обобщений.

Познание нового человека, формирующегося в результате социальных перемен,— процесс очень сложный для каждого литератора, не всегда прямой и ясный. На этом пути у Махфуза есть свои достижения и потери.

Поражение в июньской войне 1967 года вызвало глубокое разочарование и растерянность среди некоторой части египетской интеллигенции. Этот духовный кризис нашел отражение в сборниках рассказов Нагиба Махфуза: «На остановке» (1969) и «История без начала и конца» (1971).

Но со временем ощущение беспомощности человека перед миром, мотивы отчаяния и безысходности, столь характерные для рассказов этих сборников, сменились стремлением разобраться в конкретных проблемах, стоящих перед страной.

В новой повести «Любовь под дождем» к Махфузу возвращается утраченное им на время реалистическое ощущение современности.

Название повести символично. Автор пишет о любви чистой, готовой на самопожертвование, о любви преданной, прошедшей испытание временем и невзгодами. Любовь по расчету, любовь за деньги тоже описана в повести. Дождь же символизирует ненастье, обрушившееся на страну, стихию, в борьбе с которой проверяются силы каждого. Подвергается испытанию и любовь — чувство, олицетворяющее собой саму жизнь.

Внутренняя тема повести — минувшее поражение в июньской войне 1967 года. Но здесь вы не найдете широкого изображения событий тех тяжелых для страны дней. Нагиб Махфуз исследует этические проблемы, вставшие перед личностью, будь то интеллигент или мелкий собственник, чиновник или рабочий. Хотя в книге нет описания боевых действий, военных эпизодов, у читателя остается ощущение фронтовой обстановки.

Сюжет повести образуют судьбы и взаимоотношения главных героев. Вот подружки Сания и Алият, недавние студентки. Обе жаждут романтической любви, обе готовы на самопожертвование, но жизнь грубо и цинично напоминает им об иллюзорности их мечтаний. Молодая девушка Мона обнаруживает немалые душевные силы, защищая свое женское достоинство («лучше остаться старой девой, чем стремиться выйти замуж любой ценой»). Надер, киноактриса — ее лю-

бовь разбила война. А Самра Вагда, держательница притона, напротив, нагрела руки на несчастье других.

Многообразны и мужские персонажи: умудренный опытом прожигатель жизни, самодовольный ловелас, циник и трус Хусни Хигази; внутренний эмигрант и пораженец адвокат Хаммуда; самоотверженный в любви и дружбе, благородный Хамед, прошедший через тюремные камеры по обвинению в коммунистической пропаганде; искренние в своих чувствах и поступках чистильщик обуви Ашмави и официант Бадран; мужественный Ибрагим, сын Бадрана, солдат, ослепший на фронте; Мазрук, неудачник, который все чаще и чаще задумывается над тем, как жить; слабохарактерный Салам, жених Моны.

Душевный мир этих людей отражает моральное состояние общества, познавшего горечь национального унижения. «Люди никак не придут в себя после поражения»,— говорит один из героев.

Как писателя-реалиста Махфуза интересует этический потенциал его героев — их отношение к проблемам долга, личного и общественного. Вместе с тем он чутко улавливает и персонифицирует в художественной форме социальные перемены, происходящие в стране. Так в образах Сании, Алият, Моны автор стремится показать судьбы женщин в новых условиях. Сания и Алият — дочери бедных родителей, получившие высшее образование, что стало возможным только после революции 1952 года. Им приходится преодолевать и пережитки прошлого, с одной стороны, и, противостоять воздействию массовой культуры западного мира с ее проповедью вседозволенности — с другой.

В повести убедительно показан рост национального самосознания египетского народа, прежде всего простого люда. Писатель разоблачает антипатриотизм тех, кто в критические для родины времена живет мелкими мирскими радостями. «Как бы найти место, где не говорят о войне! Меня интересует лишь мирная и беззаботная жизнь,— рассуждает Хаммуда.— Если путь к ней через поражение — я готов и на это, милости просим!»

Для произведения в целом характерна резкая поляризация персонажей. Сторонникам дружбы с Советской Россией противостоят ориентирующиеся на Америку; молодым солдатам-патриотам— пораженцы в тылу. Сам Махфуз определенно симпатизирует представителям новой интеллигенции, детям городской бедноты, крестьян, чиновников, ремесленников, мелких служащих — Хамеду и Ибрагиму, Сании и Алият. Писатель осуждает богачей, которые делают все, чтобы спасти своих детей от фронта, и тех молодых беззаботных людей, что заполняют кафе, рестораны и за бокалом вина рассуждают о женщинах, боге, нравах, агрессии, в то время как другие — в окопах. Махфуз на стороне тех, кто борется за родину.

В повести 45 коротких (по 3—4 страницы) главок. Действие развертывается стремительно, динамично. Но характеры развиваются постепенно, шаг за шагом. Финал — встреча двух героев повести с палестинцем, борцом за родину, за правое дело — открывает перспективу, путь в будущее.

В. ШАГАЛЬ

КОГДА БОГИ ОТСТУПАЮТ

Адхуник непали кабита. Катманду, Непал раджкия прагья пратиштхан, 1972 (на непали).

Немало экзотических названий у высокогорного Непала, и среди них — Страна богов. Боги издавна обитали здесь — и в созданных воображением чертогах на священной гималайской вершине Кайлас, и в созданных руками талантливых зодчих бесчисленных храмах долины Катманду, боги прочно обосновались и в средневековой непальской литературе.

В средние века местные правители состязались не на поле боя, а на ниве искусства. Главной сферой соперничества была архитектура. На очень скромных по размерам территориях княжеств где только возможно возводились многоярусные священные пагоды. Огромные изображения божеств возникали прямо на площадях. На первый взгляд, таким гигантским музеем под открытым небом выглядел Непал и в начале 1974 года, когда мне довелось побывать там. В этой музейной тесноте, кажется, просто не найти места для нового, современного. Тем не менее оно властно утверждает себя, вырвавшись за пределы старых городов стремительными лентами шоссейных дорог, очертаниями современных зданий... В известной мере это сочетание прошлого и настоящего характерно и для развития непальской литературы.

Историческая судьба далекого гималайского королевства сложилась таким образом, что законы средневековья парализовали его жизнь вплоть до середины нашего столетия. Но с 1951 года, когда была сверг-

нута феодальная клика Рана, всемерно препятствовавшая контактам Непала с остальным миром, в стране быстро растет здание новой поэзии с новым идейным и образным строем.

С ней знакомит читателя «Современная непальская поэзия» — первая большая антология, выпущенная Непальской академией наук. Открывает ее страницы творчество Лекхнатха (1884—1965) — одного из первых поэтов, отважившихся восстать против формального традиционализма. «Он обогатил непальскую литературу,— справедливо отмечает во вступительной статье известный непальский критик Басудев Трипатхи,— в двух отношениях: с одной стороны, придал непосредственность ее прежнему, витиеватому стилю, с другой — впервые высказал мысль о необходимости реформ в социальной и духовной жизни». Все это, безусловно, так, хотя Лекхнатха, несомненно, прежде всего волновали вопросы морально-этического совершенства личности. Об этом размышлял он, создавая свои поэмы, в которых за щитом аллегории ощущался протест автора против тирании Рана. В поэзии Лекхнатха боги уступили место человеку, правда, еще очень абстрактному и стремящемуся к идеалу, который во многом определяли религиозно-нравственные нормы.

Первым, кто освободил личность от уз божественного провидения, кто, не удовлетворившись формулой «человек равен богу», противопоставил их друг другу в стихотворной строке «вы любите бога, а я людей...», был художник разностороннего дарования Балкришна Сама (род в 1903 г.). Новую концепцию личности он утверждал новым для непальской поэзии свободным стихом, вслушиваясь в поэтические интонации близких ему иноязычных поэтов, среди которых был и Маяковский. Особенно звонко, молодо и оптимистично звучал в устах поэта гимн человеку в 50-е годы, когда пришел конец вековой изоляции страны:

Крепка человеческой дружбы нить.
С помощью этой нити
Сумеем звезды объединить
ракетами
и приручить их...

(«Пусть будет». Перевод П. Железнова)

К сожалению, яркие стихи этого плодотворного периода творчества поэта составители не сочли нужным включить в антологию, обеднив тем самым представление о стихотворной палитре Балкришны.

Итак, в непальской поэзии боги отступают, превращаясь в многочисленные, но, в сущности, однозначные литературные символы. Внимание поэтов переключается на человеческую личность, однако на этом этапе еще не осознается ее единичная значимость. Стихи широко представленных в антологии Лакшмипрадаса Девкоты (1909—1959), М. Б. Б. Шаха (литературный псевдоним короля Непала Махендры, 1920—1972), Сиддхичарана Шрестхи (род. в 1912 г.), Бхавани Бхикчу (род. в 1911 г.), Мадхавпрасада Гхимире (род. в 1919 г.) и других написаны под воздействием традиционного индуистского представления о том, что личность, нерасторжимо слитая с природой, не имеет самодовлеющего значения. В плане поэтики это представление реализовалось во взаимопроникающей метафоричности: вся природа в своей одухотворенности практически приравнивалась человеку, а человек представал в виде образной проекции природы.

Ощущение единства творца-человека с творцом-природой послужило благодатной почвой для восприятия эстетических принципов романтизма. Исходя из этих принципов, Девкота в ранних стихах воспевает жизнь на лоне природы, проповедуя идею несовместимости человечности с тем, что Ф. Шлегель определял термином urbanität. На романтическом противопоставлении поэзии — жизни, ее прозаическим мерзостям строит он и свое написанное уже на склоне лет стихотворение «Сумасшедший», в котором высказывается отношение художника к действительности Непала конца 40-х годов.

Свое творческое «я» поэт противопоставляет миру «здравого смысла», утверждающему ложь и насилие:

...Вы умны и красноречивы,
Ваши формулы всегда безошибочны,
Но в моей математике
Один минус один — все равно один...
Для меня ничто тот,
Кто для вас Махатма[1].
Но того, кто для вас ничто,
Я поднимаю на устремившуюся ввысь
арку похвал...
Ваше небо —
Мой ад.
Ваша религия —
Мой грех,
Ваш прогресс
Для меня — шаг назад.
Как видишь, друг,
Я абсолютно сумасшедший...[2]

50-е годы — период приобщения Непала к веку скоростных самолетов и космических ракет — заставляют поэтов не только поиному воспринимать время и пространство, но и восторженно ощущать реальное приближение их затерянной в горах страны к остальному миру, пробуждают гордое чувство братства с другими народами земли.

Брат всех — мой брат
Сестра всех — сестра моя
Мой дом — дом всех
Потому что живем мы все
В одном мире! —

(«Мы — непальцы»)

пишет Девкота, которого, как и многих его современников, привлекали в философско-этическом наследии наиболее прогрессивные идеи. Доктрина древних упанишад о «единстве бытия», рождавшая чувство единства не только с природой, но и с человечеством, истолковывается непальской поэ-

[1] Святой, буквально: «великая душа».
[2] Здесь и далее перевод стихов принадлежит автору рецензии.

зией этого периода в интернационалистическом духе.

Ужасы далеких войн XX столетия воспринимаются поэтами как глубоко личная трагедия:

Томимый жаждой,
Зачерпываю воду из Багмати
И подношу к губам.
Но вместо живительной влаги
В ладони моей дымится кровь.
Что случилось вдруг с водой земли
В просвещенный двадцатый век?
. . . . . .
Как безумный, бреду я по свету.
Ганг, Хуанхэ, Миссисипи,
Волга, Нил, Амазонка.
Но всюду вода
обжигает мои ладони,
Медленно просачивается сквозь пальцы
И алыми каплями тяжело ранит землю...

(Биджай Бахадур Малла. «Вода этой земли»)

Книга «Современная непальская поэзия» представляет главным образом тех поэтов, поэтическое дарование которых наиболее полно раскрылось в 50-е годы — в период романтического подъема. Иная поэтическая доминанта характерна для следующего десятилетия, когда в стране усложнилась социально-политическая ситуация, обострилась реакция непальцев на социальную неустроенность, на экономическую отсталость страны.

В эти годы все отчетливее дает себя знать «новая поэзия», с присущими ей трезвыми, часто очень горькими оценками и сопоставлениями. Отрицание романтического восприятия рождает и иные принципы поэтического творчества. В «новой поэзии» эмоциональность все больше уступает место логике, чувство — интеллекту, описание явления — его анализу. Происходит «опрощение» стиха, ломается привычная структура, пропадает музыкальность, а порой и ритм.

В стихах «новых поэтов» труднее найти мажорную тональность. Гораздо чаще в них ощущается острая озабоченность автора-гражданина судьбой своей страны и народа. Представителям «новой поэзии» присущ интерес к внутреннему миру индивидуальности, причем обращение к отдельной личности приводит большей частью к осознанию этапов ее социального становления. В антологию включены стихи самого старшего представителя «новой поэзии» Мохана Коиралы (род. в 1926 г.). Его протест, как правило, облекается в форму сложных символических построений, которые затрудняют восприятие поэтического замысла.

Особое место в развитии непальской «новой поэзии» принадлежит Шерчану Бхупи (род. в 1936 г.). Его стихи отнюдь не чужды народной песенной образности. Вместе с тем поэту присуще и принципиально новое поэтическое восприятие жизненных явлений. Успокаивающая прозрачность метафор, связанных с миром природы, чередуется у него с нарочито утяжеленными, режущими слух образами, вырастающими на урбанистической почве. Говоря о Бхупи, нельзя не отметить весьма редкое для непальской поэзии в целом качество — образную емкость его поэтического слова.

Грудь мальчика
вдавлена колесом.
Рука откинута
ладонью кверху.
Линия жизни на ней длинная,
длинная,
Как мои былые мечты.

(«Мои былые мечты»)

Венчают антологию стихи Байраги Каинла (род. в 1940 г.) — одного из тех, кто возглавляет в Непале литературную школу «Третье измерение». Развивающееся в русле «новой поэзии», это движение выступает за то, чтобы «сердцем художественного произведения сделать «третье измерение» — мысль и этим утолить голод современного растущего интеллекта».

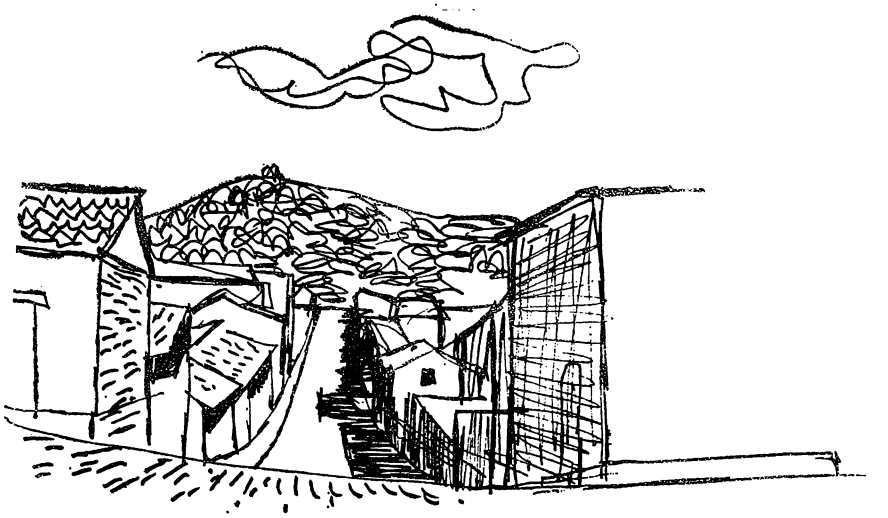
Весьма сбивчивые и противоречивые в своих теоретических обоснованиях, поэты этого направления в художественной практике утверждают мысль о несовместимости интеллектуального величия современного человека с существующим и поныне миром средневекового прошлого. Взрывая рифму, мелодию, ритм традиционного стиха, голос Байраги Каинла врывается в тишину ночных улочек Катманду:

...Прочь, развалины,
Разорвись, сердце улиц!
Путь восстанию,
Дорогу Колумбу,
Распрямившему плечи,
Поднявшему голову
Величественно, гордо...

(«Обращение опьяневшего к ночной улице»)

Антология знакомит читателя с тринадцатью поэтами, тринадцатью творческими индивидуальностями, не исчерпывая, разумеется, весь непальский поэтический мир. Тем не менее книга дает представление о путях развития современной поэзии страны, позволяет судить, насколько она богата и многогранна.

Л. АГАНИНА



АНТОН РЕФРЕЖЬЕ

ИЗ МЕКСИКАНСКИХ ЗАРИСОВОК

Стоит первая неделя января — мы с Лайлой отправляемся в Мексику. Мы покидаем наш дом в Вудстоке холодным, снежным утром и едем по забитому машинами шоссе. К вечеру останавливаемся у въезда в маленький городок штата Вирджиния, в скромном мотеле на краю соснового леса.

Почти все время погода стоит отвратительная — мокрый снег, гололед, а ближе к югу — туман. Мы едем по шоссе, пока не начинает смеркаться, проезжаем большие города и городки и сворачиваем только когда нужно запастись горючим, провизией или переночевать. Перед нами расстилается бесконечная лента дороги, и не с кем даже словом перекинуться — так далеко пролегает наш путь от основных жизненных центров страны.

7 января

Границу мы пересекаем вечером в штате Техас. Первую ночь в Мексике проводим в городе Пьедрас-Неграс. Как и во всех пограничных городах, здесь чувствуется смешение двух культур — американской и мексиканской. Городок не представляет собой ничего особенного — магазины для туристов, набитые дешевыми сувенирами, ресторанчики и бары. И все же мы — в Мексике. Мы знаем, что вступили в необыкновенную и удивительную страну, где испанским конкистадорам, несмотря на все их старания, так и не удалось до конца уничтожить древнюю культуру ацтеков, толтеков, тарасков и других индейских племен.

8 января

При свете утреннего солнца едем по пустыне, окрашенной в мягкие тона. Плоская серая равнина — и на ней пятна низкорослого кустарника, высятся кактусы, нагромождения каменных глыб. Вдали, слева от нас, в лиловатой дымке смутно вырисовываются горы Сьерра-Мадре. Постепенно они приближаются. И вдруг преграждают нам путь — среди серо-бурых красок пустыни появляется мягкая зелень

деревьев растущих по склонам; они взбираются все выше, подступают чуть ли не к самым вершинам, обнаженными зубьями врезаются в небо.

Начинаем извилистый подъем — дорога вьется по склону. По ту сторону перевала — снова бескрайняя равнина простирается до самого горизонта.

На другой день останавливаемся в отличном мотеле у дороги — среди маленького оазиса из зеленых пальм. Мерцает гладь бассейна зеленеет трава. После голой пустыни оазис приятно ласкает глаз. По соседству находится Матехуала — серый, пыльный городок. Здесь нет деревьев и очень мало воды. Но мотель удобно расположен на пути туристов и достаточно комфортабелен.

Приняв теплый душ, сразу чувствую себя посвежевшим — усталости после путешествия как не бывало. Мы проходим в ресторан и садимся у большого окна, откуда видна автострада. По ней шагает ослик, на котором едет женщина с ребенком, а рядом идет мужчина, ведя животное на поводу. Мужчина идет согнувшись — на спине у него тяжелый глиняный сосуд в плетеной корзинке.

За соседним столиком сидят две американки средних лет. К ножкам стола привязаны две собачонки в вычурных, утыканных блестками ошейниках. Официант приносит четыре бифштекса — по-одному клиенткам и два для собак. Из окна видно, как маленькие мексиканские мальчуганы работают на участке вокруг мотеля. Позже, когда стемнеет, они вернутся домой в город и получат на ужин тарелку бобов.

9 января

На седьмые сутки после отъезда из Нью-Йорка, к вечеру, мы достигли цели нашего путешествия — города Уруапана в юго-западной части Мексики. Несмотря на скверную погоду, мы за короткий срок проехали более трех тысяч миль. С самого утра я отправился в ткацкую мастерскую. Переношу краски и холсты, которые я привез с собой, наверх, в комнату над стенками. В течение трех месяцев она будет служить мне студией, в то время как внизу ткачи будут изготовлять гобелен по моим эскизам. Мастерская эта принадлежит моим друзьям — Уолтеру и Банди (племянница писателя Майкла Голда). Здесь было вытканно немало гобеленов, в том числе гобелен в 28 футов длиной для Нью-Йоркского городского банка.

12 января

В Уруапане жизнь течет тихо, размеренно. Это одно из немногих мест, еще не испорченных туризмом, который является главной статьей дохода национальной экономики Мексики. На древнем языке тарасков, на котором говорили еще до испанского вторжения и на котором сегодня все еще говорят в деревнях округи, слово «уруапан» означает «там, где цветут цветы».

В Уруапане 92 тысячи жителей, это один из самых крупных городов Мексики.

Сосновые леса, плантации авокадо, апельсиновые и лимонные рощи окружают его. Неподалеку на берегах озера Патскуаро раскинулся рыбачий поселок. Через город течет река Куратисио — она вытекает из-под скал в верхней части города, пересекает знаменитый парк и, проделав часть пути под землей, питает расположенные неподалеку от города водопады.

Центральная площадь всегда полна народу. Ее окружают деревья, посаженные еще в 1700 году. В центре воздвигнут памятник группе армейских офицеров, казненных по приказу императора Максимилиана за сопротивление французским интервентам.

Каждый день я пересекаю эту площадь по пути в мастерскую. Иногда сажусь на чугунную скамейку и рисую под лучами январского солнца. Жизнь на площади не замирает ни на минуту. То какой-нибудь мужчина или женщина принесет из отдаленной деревеньки на продажу вышивки, поделки из камня или дерева, то бродячие музыканты устраивают представление, то долговязый мужчина в коричневом сарапе с зеленым попугаем на плече предсказывает будущее. Сейчас два человека идут со стороны фонтана. Медленно, мелкими шажками передвигается нищий слепец. Старая тараскская шляпа низко надвинута на лоб — до самой оправы темных очков. Он крепко держит за руку стройную девушку. Ее платье, поношенное и залатанное во

Тореодор. 1955 г.

Из работ Бернара Бюффе

Из цикла «Клоуны». 1955 г.

Канал Сан-Мартен. 1956 г.

Даллас. 1958 г.

Из цикла «Клоуны». 1955 г.

многих местах, выглядит безупречно чистым. Волосы, заплетенные в косы, перехвачены лиловой лентой с большим бантом. Она то и дело поглядывает на детей, которые резвятся и играют у фонтана. Видно, что ей тоже хотелось бы побегать и поиграть. Но вместо этого она медленно бредет ведя старика, кружит по площади, останавливаясь перед сидящими на скамейках.

14 января

По пути в мастерскую я задерживаюсь возле мастера Энрике. На каменной стене рядом с его станком висит эскиз гобелена «Девочки с подсолнухами», над которым он сейчас работает. Штриховой набросок он держит под натянутыми нитями, постепенно зачерчивая мой эскиз разноцветной пряжей. Время от времени он прекращает работу и, чтобы окрасить пряжу, идет в дальний конец двора, где над костром кипит краска в маленьком чане. Над двором поднимаются клубы едкого дыма. Желтые, розовые, лиловые, черные пряди шерсти живописно развешены для просушки на банановых деревьях — яркие пятна на фоне ярко-синего утреннего неба.

По наружной лестнице поднимаюсь на второй этаж к себе в мастерскую и останавливаюсь у большого окна, не в силах оторваться от банановых и лимонных деревьев, усеянных желтыми плодами. За ними видны оранжевые черепичные крыши, а дальше — сплошной зеленый ковер, прорезанный острыми пиками вулканов. Посреди двора на станине прядильного станка сидит мальчишка — занятия в школе заканчиваются после обеда. Снизу доносится шлепанье ткацкой рамы. Это Энрике работает. Иногда я слышу, как он напевает какую-то печальную любовную песню, а временами — веселую, задорную или боевую песню Революции.

18 января

В воскресенье люди с восходом солнца приходят в город, чтобы продать свои поделки. Те, что из дальних деревень, идут всю ночь. А иные пришли даже с вечера. Они спят прямо на площади — мутно очерченные фигуры, закутанные в сарапе, лежат, прижавшись к стене, а рядом у костра расположилось семейство — женщины в ребосах, мужчина в шляпе, надвинутой на лицо. Вот на площади появляется человек, таща на спине фантастическое

сооружение из стульев и стола. Женщины несут лакированные подносы, рыбаки — рыбу с озера Патскуаро. Еле ползут старые помятые грузовики; в кузовах — люди, затиснутые среди бананов, апельсинов, хитроумных корзин с керамикой, красиво сплетенных из пальмовых листьев и ветвей.

Рынок здесь небольшой. Он не похож на громадные базары Мехико или Гвадалахары, но индейцы-тараски придают ему особый колорит. Это красивый народ. Мужчины в белых рубашках и белых брюках, в плоских шляпах с маленькими кисточками. Женщины — в фиолетовом и черном. В 1520 году Бернал Диас писал о рынке того времени: «...он состоит из отдельных рядов — для торговцев золотом и драгоценностями, а также для торговцев продуктами, веревками, обувью и шерстью...» Только одного товара нет на современном рынке. В давние времена были ряды, где торговали пленниками — мужчинами, женщинами, детьми.

Рынок раскинулся по соседству со старой церквушкой. Вдоль узких аллей выстроились ларьки с натянутыми над головой белыми полотнищами. Между ними то здесь, то там видны кусочки синего неба. Над рядами, где торгуют фруктами, стоит аромат апельсинов, зеленых лимонов, плодов папайи, нарезанных полукружиями, край мякоти усеян маленькими черными точечками семян. Женщины с грудными младенцами и маленькими детьми сидят здесь весь день, детишки постарше шныряют среди плотной людской толпы. Вот женщина кормит грудью ребенка.

Пройдя длинный фруктовый ряд, попадаешь в царство овощей. Здесь запахи другие, цвета тоже. Сквозь толпу пробирается индеанка. Она согнулась в три погибели под тяжестью огромного мешка с углем. Босые ноги ее тяжело ступают по булыжнику. Дальше — ларек курандеры (местной знахарки), увешанный гирляндами сушеных летучих мышей, каких-то птичек, броненосцев, вяленой рыбы, пучками трав, уставленный склянками с разноцветными порошками, всевозможными амулетами. Кажется, вылечиться можно от всего...

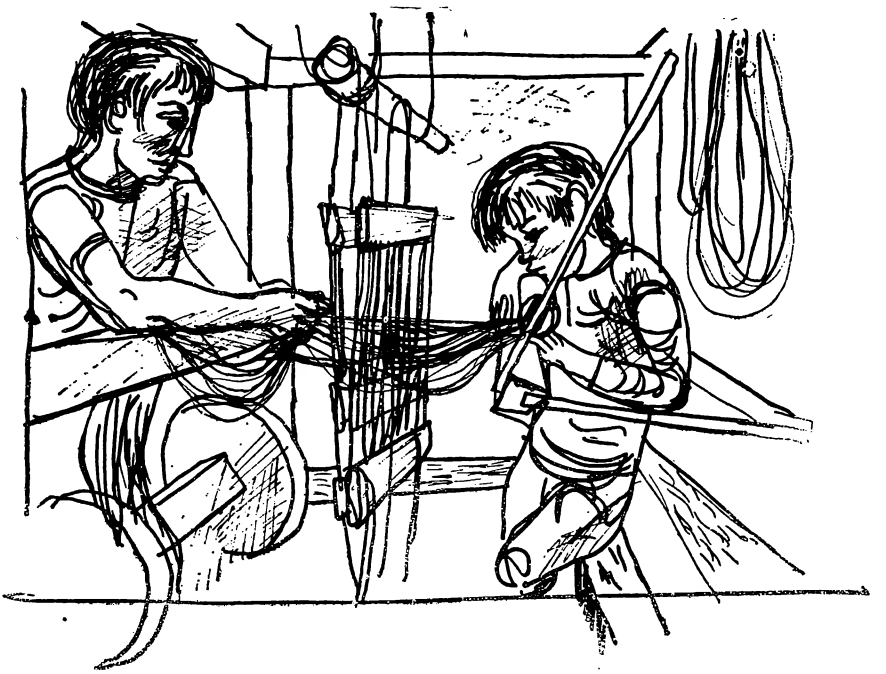
В мясном ряду, словно диковинные цветы, висят гирлянды из кусочков сала среди сосисок, мясных туш и внутренностей. Мальчишка едет на велосипеде, придерживая за рога ободранную, кровоточащую голову быка, которую он водрузил себе на плечи. Теперь попадаю туда, где торгуют керамикой из терракоты, пиалами с синими разводами по белому полю, огромными кувшинами для зерна и воды. Дальше — всякий металлический лом. Куски металла, старые замки, груды бронзы, молотки, старые ножи и ключи. Ларьки с дешевыми украшениями.

Затем — длинный «туннель» цветов. Сладкие, острые запахи. Пожилая женщина в золотых серьгах, в ярко-оранжевой юбке и пунцовой шали поверх черной блузы сидит, окруженная белыми каллами. Волосы у нее заплетены в косы. Я как раз пришел на рынок за цветами — сегодня день рождения Лайлы. Каких здесь только нет цветов, каких нет красок! И каллы, и гладиолусы, и красные гвоздики. Индеанки-тараски продают полевые цветы — маленькие, желтые на длинных зеленых стеблях. Я покупаю гладиолусы и сразу становлюсь сродни всей этой движущейся массе людей.

Вернувшись в гостиницу, где мы остановились, захожу на кухню, чтобы попросить хозяйку поставить цветы в воду. Хозяйка, не поняв, рассыпается в благодарностях за любезный подарок. А Лайла в свой день рождения остается без цветов.

19 января

Между делом пишу торговца углем, с которого сделал набросок вчера. Я видел, как он подошел к тротуару и опустился на колени, а жена обмотала его веревкой, чтобы крепче держался на спине огромный мешок с углем. Мне хотелось передать в рисунке ощущение тяжести, запечатлеть веревку, врезавшуюся в тело. Вспомнились великие рисунки Ван Гога — его шахтеры. Как он сочувствовал труженикам! Как хорошо их знал! Он жил среди них, разделяя радости и горести их скромной жизни. Вспоминая великого художника, я старался избежать поверхностной живописности. Как легко изобразить живописного нищего или прелестную девчушку, которая весь день сидит на рынке и следит за ларьком. Даже заплаты на одежде бедняка могут выглядеть живописно и ярко. Но в этом будет лишь половина правды.



Утром, зайдя во двор, я увидел в мастерской ткача Мануэля, который с помощью маленького сынишки натягивал нити на раму. Тут же сделал набросок с них. Потом из этого может получиться неплохая картина.

20 января

Узкие улицы застроены одноэтажными глинобитными домиками. Ярко-оранжевые крыши лентой окаймляют прямоугольники зеленых двориков, засаженных деревьями и кустами. Дома выкрашены в самые разные яркие цвета — в зависимости от вкуса владельца. Я иду мимо желтого дома — в духе Пикассо. Мимо голубого с коричневым — в духе Брака. Затем мимо желтого с белой каймой и ставнями — попеременно ярко-синими, фиолетовыми, черными. Из распахнутых дверей несется мелодия «Подмосковных вечеров» — подумать только, в такой дали от Москвы — здесь, в Мексике! Улица круто спускается под гору — ноги скользят на булыжной мостовой. Улица сбежала вниз и снова пошла наверх. Только я начал подниматься в гору, как из открытых дверей мне под ноги выплеснули ведро воды. Из-за угла выходит мужчина с осликом. К бокам животного привязано по длинному бревну, концы их волочатся по мостовой. В тени у дома сидит женщина и продает земляные орешки.

22 января

Внизу за площадью, в самой бедной части города, на боковой улочке, куда заворачивают автобусы, извергая из выхлопных труб черные клубы дыма, я знаю маленькую парикмахерскую. Я часто хожу мимо. Но сегодня я увидел там нечто, привлекшее мое внимание, и зашел. На задней стене висит портрет. Портрет Карла Маркса. В парикмахерской широкоплечий мужчина с большими черными усами беседует с группой людей. «Pasea» [1],— сказал парикмахер, взглянув на меня. «Благодарю, — отвечаю я.— Мне бы хотелось посмотреть ваши картины». «Пожалуйста»,— говорит хозяин. Портрет Карла Маркса в тяжелой золотой раме. Стекло засижено мухами. Рядом висят портрет Ленина, гравюры с изображением Карденаса, за угол одной из них засунута старая газетная вырезка (его речь об аграрной реформе), старая фотография Сапаты. «Спасибо. Картины у вас очень интересные»,— говорю я. «Да,— соглашается парикмахер.— Заходите еще, пожалуйста». Выйдя на улицу, я оборачиваюсь и вижу над входом грубо выписанную красными и черными буквами вывеску: «Парикмахерская «Сталинград».

26 января

Я рисовал в мастерской, когда раздался вой городской сирены. Подойдя к окну, я увидел, как Энрике выбежал из мастерской. Позже я узнал о происшедшем. Улицей ниже несколько рабочих рыли траншею близ домов, чтобы проложить электрический ка-

[1] Входите *(исп.)*.

АНТОН РЕФРЕЖЬЕ
ИЗ МЕКСИКАНСКИХ ЗАРИСОВОК

бель. Рабочие стояли по грудь в траншее, как вдруг в нее рухнули стены глинобитных домов. Оползла и школа на углу улицы. К счастью, детей в классах не было. Зато двое рабочих оказались погребенными под развалинами. Когда спасатели отрыли их, один был уже мертв. Другой — еще жив, но смертельно ранен.

Вечером, спускаясь к площади, я намеренно прошел мимо места бедствия. С улицы видно была вся внутренность классных комнат. Вокруг валялись куски обвалившейся стены. Стены в одной из классных комнат были зеленые, на них висели детские рисунки. Раскрашенная бумага слегка шевелилась на ветру.

28 января

Мы едем в старом, разболтанном, облупленном автобусе. Он еще на ходу, хотя вообще-то его давно следовало отправить на покой. То и дело вдали мелькают деревеньки, мы въезжаем в одну из них и останавливаемся на площади. Нас сразу окружают торговцы мороженым, пирожными, клубникой и свежим апельсиновым соком. Одни уже пролезли в автобус. Другие поднесли свой товар прямо к окнам. Дорога вьется по плоской равнине. Вот у края ее стоит несколько человек возле мешков с маисом; на земле лежат связанные цыплята и козы. Автобус останавливается. Мешки и живность поднимают на крышу автобуса и привязывают там. Пассажиры входят внутрь — мужчина с маленьким поросенком, девочка с петухом. Последним входит пьяный слепой. Свободных мест нет, и он садится прямо на пол рядом с шофером. Снова остановка, и новые пассажиры уже лезут прямо через него. Однако никто не злится, всем весело. Нас обгоняет быстроходный туристический автобус с кондиционером, и мы едем за ним в клубах поднятой им пыли.

Снова остановка. Входит парень в белой домотканой рубахе и штанах. За ним молодая беременная женщина в выгоревшей голубой ребосо. На руках у нее спящий малыш, а за юбку держится мальчуган лет пяти. Сзади в последнем ряду есть свободное место. Мужчина проходит мимо меня и садится. Женщина останавливается возле меня. Большой живот оттопырил ей юбку, а на животе, под грудью, привязан малыш. Я встаю и уступаю ей место. Она смущенно садится, но не благодарит меня. Мы проезжаем несколько селений, и женщина встает. Поднимается со своего места и мужчина, проходя мимо, зло смотрит на меня в упор. В тот момент я не понял почему, но позже один мой друг объяснил все безрассудство моего поведения. Оказывается, я бросил вызов традиционным правам мужчины. Я оскорбил его на глазах у людей. Словом, эта история могла окончиться для меня куда более плачевно.

У дороги часто попадаются кресты, иногда по два или по три — в память о тех, кто погиб при аварии или был сбит машиной. Иногда автобус чуть не наезжает на дохлого ослика. А несколько дней назад по до-

роге в Уруапан на крутом повороте мы натолкнулись на грех дохлых лошадей, которые лежали вытянув ноги и загораживали проезд. Наткнись мы на такое ночью, могла бы произойти авария.

2 февраля

Пожалуй, еще только в Советском Союзе можно увидеть столько памятников и монументов, как здесь. В Уруапане, у входа в вокзал, стоит памятник машинисту, который, спасая людей, вывел из селения горящий поезд с динамитом, но сам погиб при взрыве. Я пришел на станцию встретить друга. Как и следовало ожидать, поезд из Мехико опаздывал. На платформе собралось много народу. Но вот, наконец, раздался свисток, и из-за поворота появился поезд. Стайка босоногих мальчишек бросилась к концу платформы, где обычно останавливается спальный вагон. Пассажиры выходят. Худенький мальчуган лет десяти выносит багаж. Он еле тащит чемодан и все же не бросает его, так как получит за это несколько сентаво.

5 февраля

День конституции. Мы едем в Хикильпан через Самору. Делаем крюк в сто километров, чтобы еще раз посмотреть в городской библиотеке фрески. Ороско. Библиотека расположена в длинном здании с высокими потолками и деревянной обшивкой на уров-

не подоконников А между окнами Ороско написал серию фресок. Они — черно-белые, с пятнами серого и черной размывкой — изображают сцены революции: казнь какого-то человека, который падает в открытую могилу; конец битвы; мертвые лошади вперемежку с грудой тел — руки, ноги, фигура женщины, разыскивающей кого-то среди мертвых...

Домой возвращаемся по длинной плоской долине, усеянной кактусами. Внезапно у дороги я замечаю какие-то черепа и кости. Останавливаемся. Они настолько выбелены солнцем, что, видимо, лежат здесь уже давно. Подобрав два черепа, я возвращаюсь с ними к машине. Молодые пастухи покатываются со смеху, глядя на «сумасшедших» туристов.

Февраль...

Городская площадь полна солдат в серой, как оливки, форме, с винтовкой за спиной. Оказывается, убили местного героя, который подобно Робин Гуду грабил богатых и делил добычу с бедняками. Прошлой ночью он попал в ловушку, устроенную солдатами в лесу. Здесь же на площади я узнаю, что студенты Морельского университета устроили шествие в память о нем. В городе царит тревожная атмосфера. Солдаты собираются маленькими группками, как будто ждут, что вот-вот что-то произойдет.

Сегодня начало великого поста, а вечером — праздник на площади. В течение долгих месяцев люди собирают яичную скорлупу (иголкой прокалывают в яйце отверстие и выпивают содержимое). Потом они раскрашивают яйцо яркими красками, набивают конфетти, заклеивают кружочками разноцветной бумаги или фольгой. Праздник начинается рано вечером, местный оркестр играет на эстраде. Начинается гуляние (ребята движутся в одну сторону, девушки в другую). Парень подкрадывается к той девушке, которая ему нравится, и разбивает об ее голову яйцо. Девушка хихикает и идет дальше с подружками. Бывает, правда, что скорлупа наполнена мукою или водой. Тогда девчонки вопят и бросаются за обидчиком. К десяти часам вечера мостовая превращается в разноцветную мозаику из конфетти, все становится пестрым — и одежда, и волосы гуляющих. Но вот праздник окончен, и люди расходятся по домам.

7 марта

Всякий раз, как я, бродя по городу, захожу в один особенно бедный район на окраине, я вижу прямо посреди улицы, где играют маленькие дети и ходят старики, открытый сточный колодец. «Кто-то давно уже забрал крышку от люка,— в ответ на мой вопрос поясняет женщина, сидящая на пороге розового дома.— Кому-то она понадобилась». Я представил себе, что будет, если ребенок вдруг свалится туда,— сильное течение подземной реки мигом унесет его. Возможно, так и случалось, но мало кто об этом знал.

В другой раз я увидел женщину, которая подметала пыльную мостовую перед домом. Она мела только до середины, а там пусть метут соседи, это уже не ее дело. Но тут поднялся ветер, взвихрил пыль, и вскоре чисто подметенный ею кусок мостовой стал таким же, каким и был. В общем-то пустяк, но весьма характерный, подумал я. Многое изменилось в Мексике с 1910 года, когда мексиканский народ поднял знамя революции. Конечно, и сегодня еще кое-что осталось от тех революционных настроений. В стране созданы индейские общины, профсоюзы, время от времени проявляют активность студенты...

9 марта

Года два тому назад здесь, в Уруапане, я купил у одного человека несколько статуэток (ангела, человека на ослике, кота, удивительно просто сделанного скорпиона). Автор этих вещиц — непрофессионал, но, насколько я мог судить, немало повидал древних скульптур. Сейчас я у всех расспрашивал о нем, но его давно уже никто не встречал. Тогда мы с Банди решили поехать в его селение Турикуаро.

Мы отъехали всего на несколько километров от шоссе и очутились на проселке, не значащемся на картах. Едем туда, куда ведет колея. Иногда сбиваемся с пути — там, где дорога пыльная и никаких следов вообще нет. Переезжаем через высохшие русла

АНТОН РЕФРЕЖЬЕ
ИЗ МЕКСИКАНСКИХ ЗАРИСОВОК

речушек, из которых вертикально к небу торчат стволы деревьев. Приходится все время следить, чтобы колеса не застряли между корнями. Нас обгоняет старое, разболтанное такси, подняв невероятное облако пыли. Вот уж этого никто не ожидал...

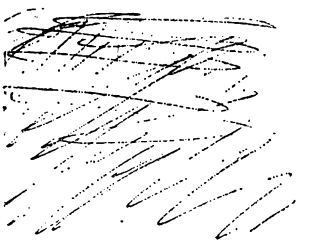
Наконец мы попали в деревню, отыскали дом Исмаеля Видалеса. «Отца нет дома,— говорит нам его сынишка.— Он в лесу рубит деревья для своей мастерской». Притулившись к пальме, стоит незаконченный каменный остов, который, словно футляр, накрывает однокомнатный деревянный домишко. «Он уже давно не работает,— продолжает мальчик.— Он строится. Но скоро снова начнет работать».

Разочарованные, мы поехали домой по той же густой пыли, думая лишь о том, чтобы успеть до темноты попасть на шоссе. Добравшись до небольшого холма с одиноким деревцем, остановились передохнуть. Вскоре появилось все то же такси, обогнавшее нас ранее,— на этот раз пустое. Шофер притормозил. «Что-нибудь случилось?» — спросил он. Поблагодарив его мы объяснили, что просто отдыхаем. «Ужасная дорога,— говорит он.— Я буду кретином, если еще когда-нибудь сюда поеду». И он рассказал нам, что вез тяжело больного человека, которого родственники взяли из городской больницы, чтобы он мог умереть у себя дома, в деревне. Через некоторое время шофер уехал, а вслед за ним двинулись и мы.

«Люди всегда хотят вернуться в родные места перед смертью,— сказал Банди.— Если человек заболевает и попадает в больницу, он боится там умереть и прилагает все усилия к тому, чтобы вернуться домой. Я знаю в Уруапане одну женщину очень бедную. Муж у нее умер. Она работала швеей, чтобы прокормить детей. Старший сын ее уехал в Мехико на заработки. Но вот однажды она узнает, что сын очень болен и умирает в больнице. Той же ночью она села с детьми в автобус и поехала в Мехико. Она обошла все больницы в поисках сына — она же не знала, где он лежит. Так его и не нашла. Спустя некоторое время ее старшая незамужняя дочь забеременела. Когда начались схватки, друзья отвезли ее в ближайший город, где она умерла от родов. Мать приехала туда, чтобы забрать тело, но больница отказалась выдать труп, пока не будет заплачено по счету. Денег у бедной женщины не было. Что было дальше и что сталось с ребенком, я не знаю».

Март...

Рядом с вокзалом за путями находится арена, где происходит бой быков. В воскресенье после полудня туда по пыльной дороге направляются толпы людей, множество машин и автобусов. Сейчас около четырех часов — час корриды. Большинство зрителей занимает дешевые места на солнечной стороне, поэтому она пестрит красочной одеждой и мужскими соломенными шляпами. Теневая сторона дороже, публика здесь более степенная. Хотя уже четыре часа, а по традиции представление начинается точно, половина мест еще свободна. Сейчас не сезон. Крепкий коренастый тараск в хорошо сшитом сером костюме вместе с женой и двумя детьми поднимаются по ступенькам на свои места. За ними следуют несколько известных в городе дельцов.



К половине пятого зрители на солнечной стороне начинают проявлять беспокойство. Без четверти пять: свист, крики, несколько пустых бутылок из-под кока-колы летят на арену. Местный оркестр, расположенный высоко под навесом, начинает вступление, несколько тактов — и музыка обрывается. «Гоните назад деньги»,— кричит какой-то человек на солнечной стороне, и остальные подхватывают его крик. Церемониймейстер и несколько человек из его свиты покидают ложу. Они спускаются по ступенькам в узкий проход вдоль деревянного барьера, ограждающего арену,— там к ним присоединяется группа солдат с винтовками на плече. Пройдя полкруга, вся компания исчезает в главных воротах, ведущих в загон для быков.

Теперь зрители молчат. Вскоре появляется та же компания в сопровождении нескольких тореро в своей роскошной форме, расшитой золотом. Они идут по проходу и исчезают в двери под рекламой кока-колы. Время идет, но зрители молчат. «Нет денег. Нет и быков»,— говорит моя соседка. Я спрашиваю, что она имеет в виду. «Импресарио не заплатил за быков. Сборы-то плохие». В это время парень, сидевший на солнечной стороне, перелез через барьер на арену. Вышел на середину, повернулся к музыкантам, поклонился и взмахнул рукой. Музыканты, откликаясь на шутку заиграли задорную мелодию, а парень под рев толпы принялся лихо отплясывать твист.

Наконец представление начинается.

Солнце заходит за вулканами, когда последний бык выбегает на арену. Постепенно темнеет. Зрители в амфитеатре потихоньку поднимаются и двигаются по направлению к выходу, подальше от арены. Я с трудом различаю между ними очертания быка и матадора. Я думаю о смерти, неизбежно ожидающей внизу, и о том, что людей это уже больше не развлекает.

За ареной, у входа, освещенного одной тусклой электрической лампочкой, несколько мужчин разделывают туши мертвых быков — по традиции мясо отдают в больницы и другие общественные учреждения. Некоторые рестораны ставят в меню мясо убитых быков как лучший свой деликатес.

В темноте в плотной толпе зрителей я по пыльной дороге возвращаюсь к себе в отель.

20 марта

Последний гобелен окончен. Сегодня утром Энрике снял его с рамы, и теперь он висит на стене. Получилось неплохо. Гобелен ведь не виден целиком, когда он в работе, так как его наматывают на барабан. Поэтому всегда ждешь сюрприза. Девочка с подсолнухами, изображенная на гобелене,— моя внучка Ким. Теперь работа полностью завершена. Через несколько дней мы упакуем вещи и на машине отправимся в Мехико к друзьям. А потом через неделю вернемся обратно в Штаты.

Перевод с английского Т. ШУМЕЙКО.

Из месяца в месяц

АВСТРИЯ

«ОБЩЕСТВО РОБЕРТА МУЗИЛЯ»

В Вене основано «Общество Роберта Музиля», одного из крупнейших австрийских писателей XX века. В задачи Общества входит сохранение и подробное изучение литературного наследия Музиля, а также подготовка новых изданий его произведений, снабженных основательным комментарием, в первую очередь, его неоконченного романа «Человек без свойств».

АНГЛИЯ

ИНТЕРВЬЮ ЧАРЛЬЗА ПЕРСИ СНОУ

Известный английский писатель, ученый и общественный деятель Чарльз Перси Сноу дал интервью Дж. Роберту Москину, представителю журнала «Сатердей ревью». Основные вопросы, затронутые Ч. П. Сноу, касались состояния современной английской и американской литератур.

На вопрос Роберта Москина, как повлиял закат британской империи на творчество современных англий-

На экраны страны вышла новая киноверсия «Трех мушкетеров», поставленная Ричардом Лестером с участием группы «Биттлз». Фильм отличается стремительным ритмом, изобилует трюками и забавными ситуациями. В нем заняты крупнейшие звезды мирового экрана: Чарлтон Хестон, Джеральдина Чаплич, Рэкел Уэлч, Катрин Денёв. В роли д'Артаньяна молодой английский актер Майкл Йорк.
На снимке — кадр из фильма.

(Журнал «Филмз энд филминг»)

ских писателей, Ч. П. Сноу ответил: «Мне думается, что великие литературы создаются не в те периоды, когда страна находится на вершине своей исторической славы, но тогда, когда нация борется за самоутверждение. Вспомним Англию и Россию». Современная английская литература, по мнению Ч. П. Сноу, переживает сейчас кризис: писатели в основном заняты изучением своего внутреннего «я». Жизненный опыт, воспроизведенный в их произведениях, чрезвычайно ограничен.

Говоря о состоянии английской прозы, Ч. П. Сноу особо отметил положение в драматургии: «Состояние драматургии весьма плачевно. Авторы по большей части пишут для маленьких театров, пьесы рассчитаны на небольшую аудиторию. И хотя игра актеров превосходна, в целом пьесы очень слабы».

Американская литература, как полагает Ч. П. Сноу, тоже прошла уже свой «великий» период развития — эпоху Готорна и Драйзера. Норман Мейлер, по мнению Ч. П. Сноу, мог бы стать при каких-нибудь других историко-социальных условиях неплохим историческим романистом типа Виктора Гюго или Чарльза Диккенса. «Но он слишком поглощен американским аппаратом средств массовой информации, журнализмом, шумихой».

Отвечая на вопрос о судьбах современного реализма, Ч. П. Сноу сказал: «Реализм на Западе переживает закат. Он не моден. Хотя, с другой стороны, к реализму постоянно обращаются представители «нового журнализма» — яркого явления в современной американской литературе. И все же классический, серьезный, традиционный реализм переживает трудную фазу. Но я думаю, вернее, надеюсь, что наступит пора, когда писатели вновь обратятся к реализму. Для меня реализм — это наиболее правдивый способ отражения действительности. Марсель Пруст был последним великим писателем классического реализма».

Ч. П. Сноу, как пишет Роберт Москин, только что закончил новый роман «Наблюдатели». Это произведение никак не связано с его многотомной эпопеей «Чужие и братья». «Наблюдатели» — книга о людях его поколения.

НОВАЯ «БРИТАНИКА»

Вышло пятнадцатое издание Британской энциклопедии. Американский журнал «Атлантик» посвящает этому событию обширную статью, освещающую историю Британской энциклопедии и прослеживающую те изменения, которые она претерпела на долгом пути своего неоднократного пересоздания.

В начале XX века, говорится в статье, напечатанной в журнале «Атлантик», редактор 11-го издания «Британики» подсчитал, что для оплаты расходов на ее издание была израсходована сумма, равная стоимости полмиллиона овец. Тридцать лет назад статья об очередном издании «Британики» была озаглавлена «160 миль слов». Сегодня, чтобы возвестить о выходе 15-го издания, был снят фильм «5 тысяч умов», в котором рассказывается, что для подготовки ее к печати понадобилось пятнадцать лет, 2,5 миллиона человеко-часов работы и затрачено 32 миллиона долларов. Чтобы прочесть всю новую «Британику», содержащую 41 миллион слов, нужно в течение года читать по восемь часов ежедневно.

15-е издание состоит из трех частей. 1-я часть однотомная — Пропедия. В этом томе информация объединена по тематическому принципу, и обычный алфавитный порядок здесь отсутствует. Затем следуют 10 томов иллюстрированного указателя, который содержит более 100 тысяч заметок по 750 и менее слов. Предполагается, что указатель будет наиболее часто используемой частью «Британики» и послужит воротами к Макропедии — 19-ти томам, в которых различные отрасли знания будут освещены уже детально и глубоко. Некоторые разделы, как, например, раздел о Китае или изобразительных искусствах, являются, по существу, целыми книгами по отдельным вопросам. Часто они содержат исчерпывающую информацию. Основные разделы Макропедии: Материя, Энергия, Искусство, Земля, Жизнь на Земле, Человеческое общество, Технология, Религия, История человечества, Человеческая жизнь, Отрасли знания.

Была предпринята попытка упорядочить систему Макропедии с помощью компьютера. Она продолжалась девять месяцев и стоила 3 миллиона долларов, но в 1970 году от этой идеи пришлось отказаться. Программисты не смогли договориться с редакторами.

БОЛГАРИЯ

ПЕРВЫЙ ОПЫТ

Издательство «Българаски писател» выпустило в свет книгу «Вдохновленные народом». Составленная критиками Б. Ничевым, М. Наимовичем и Н. Янковым, эта книга является сборником критических статей о произведениях болгарской художественной литературы, удостоенных в разные годы Димитровской премии.

Большинство критиков представлено в сборнике своими лучшими работами: П. Зарев — о романе Г. Караславова «Простые люди», С. Султанов — о сборнике Н. Хайтова «Дикие рассказы», М. Наимович — о поэме В. Петрова «Погожей осенью», М. Николов — о поэзии П. Пенева, П. Данчев о сборнике стихотворений П. Матева «Чайки отдыхают на волнах», И. Цветков — о сборнике рассказов Й. Радичкова «Пороховой букварь».

Многие статьи построены так, что читателю становится ясно, какое место занимает анализируемое произведение не только в творчестве его автора, но и в болгарской литературе вообще.

На сцене Софийской народной оперы осуществлена постановка нового болгарского балета «Дочь Калояна» Марина Големинова, повествующего о драматическом периоде в истории Болгарии, когда умный, дальновидный политик, расширивший границы болгарского государства царь Калоян стал жертвой заговора бояр. Эта постановка, как отмечает пресса, свидетельствует о том, что новый балет Марина Големинова является одним из лучших произведений на историческую тему в болгарском искусстве.
На снимке — исполнительница роли Целгубы — Мариана Денева.

(Журнал «Болгария»)

Это относится прежде всего к работам Е. Каранфилова о книге Л. Стефановой «Вулканы Мексики дымят», Б. Ничева о трилогии Д. Талева и Т. Жечева о романе Э. Станева «Иван Кондарев».

«Вдохновленные народом» — первый опыт болгарской критической антологии, охватывающей тридцатилетнее развитие болгарской литературы.

ВЕНГРИЯ

ВКУС, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛЬТУРА

Под таким заголовком газета «Непсабадшаг» поместила большую статью, посвященную выходу в свет в издательстве «Кошут» сборника «Вкус и культура».

В сборник включены работы теоретического характера, исследующие исторические закономерности развития вкуса. Наряду с ними печатаются социологические исследования, дающие представление об уровне художественного вкуса широких масс. Предметом особого разговора стал также вопрос развития вкуса у школьников.

Автор статьи Габор Баняи отмечает, что проблемы художественного вкуса являются сейчас темой исследования многих литераторов, искусствоведов, социологов.

По его мнению, наиболее интересны статьи таких известных критиков и теоретиков литературы, как Пал Панди, Миклош Саболчи, Иван Витаньи.

ГДР

ЮБИЛЕЙ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Исполнилось 25 лет одному из крупнейших издательств ГДР — издательству детской литературы «Киндербух-ферлаг». 125 миллионов книг выпустило оно за четверть века. 140 авторов и переводчиков художественной литературы, 80 авторов научно-популярной литературы, 100 графиков составляют актив издательства.

Большое внимание издательство уделяет книгам советских писателей. Оно публикует произведения Гайдара, Маршака, Михалкова, Пантелеева, Кассиля, Носова. 20 лет назад издательством были выпущены «Трэни» Людвига Ренна и «Тинко» Эрвина Штриттматтера. «Два крупнейших писателя положили тогда начало серьезной, проблемной, современной литературе для детей»,— пишет в газете «Нойес Дойчланд» главный редактор издательства Фред Родриан. Число современных писателей, которые пишут сейчас для детей, все время растет. Это и Бенно Плудра, и Гюнтер Гёрлих, и Курт Давид, и Уве Кант.

«Проблема развития детской литературы — пробле-

ма эстетически-идеологическая,— пишет Фред Родриан.— Мы должны хорошо знать жизнь детей, понимать их психологию, их радости и горести, уметь правильно отражать все это в нашей литературе. Я думаю, что главная задача нашего издательства — помочь решению этой проблемы».

Газета «Нойес Дойчланд» отмечает также большую роль конференций, которые устраивает «Киндербухферлаг». На этих конференциях, проходящих в разных городах, собираются писатели, критики, научные работники. Они обсуждают вопросы фантастики в детской литературе, отражения в литературе жизни школы, юмористической литературы для детей.

«ДРАМАТИЧЕСКИЙ РАССКАЗ» АРМИНА МЮЛЛЕРА

На XV фестивале пролетарского искусства, состоявшемся в мае этого года, среди награжденных премиями Свободных немецких профсоюзов был писатель и драматург Армин Мюллер, автор нашумевшей пьесы «Франциска Лессер» (см. «ИЛ» № 5, 1972 и № 9, 1974). К фестивалю была приурочена премьера новой пьесы Армина Мюллера «Семь желаний», поставленная Веймарским Национальным театром (режиссер спектакля — Герхард Нойбауер). Действие пьесы, или, как ее назвал драматург, «драматического рассказа» ограничено рамками одного дня. Этот торжественный день для молодого инженера Рольфа и его невесты Марион — канун их бракосочетания. Радостное, праздничное настроение молодых людей, приход брата Марион — Ганнеса, подарки, поздравления, мирная беседа о планах на будущее, о делах на предприятии, где вместе работают Ганнес и Рольф...

Но постепенно атмосфера становится все более напряженной. Выясняется, что Рольф, который проделал огромную работу по внедрению в производство нового компьютера, действовал самовольно и допустил серьезные нарушения трудовой дисциплины. Несмотря на то, что о Рольфе написана хвалебная статья и фотография его помещена в газете, над ним нависла угроза выговора. И решать этот вопрос должен Ганнес, как его непосредственный начальник.

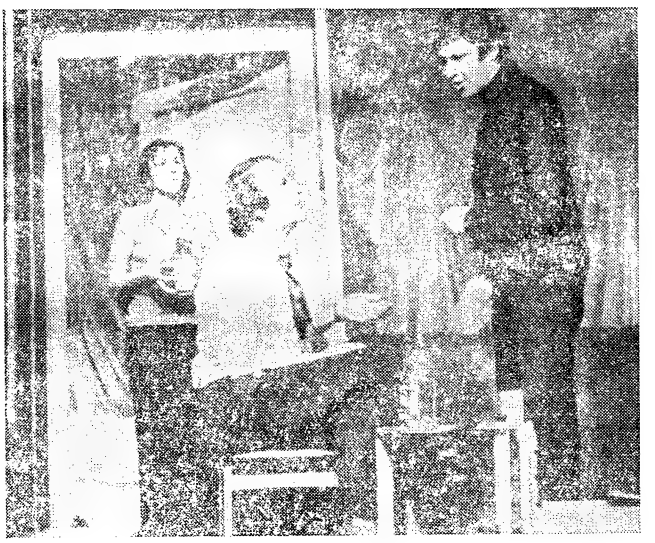
Возникает сложная, конфликтная ситуация, так как самовольное поведение Рольфа как бы санкционировано Ганнесом, и он должен принять какие-то меры.

Армин Мюллер не дает готового ответа на вопросы, которые он поставил перед героями. Он предоставляет самому зрителю возможность решать, что будет дальше с этими людьми, которых, при всех их разногласиях, объединяет одно общее дело, интересы которого для них выше, чем их личные взаимоотношения.

В беседе с корреспондентом газеты «Нойес Дойчланд» Армин Мюллер сказал: «В этой пьесе мне хотелось показать, что пропасть между конфликтами личными и общественными все время уменьшается. ...Моя пьеса посвящена людям, которые требуют от других того же, что и от себя. Публика сердечно встретила премьеру спектакля, и это показывает, что мой замысел вступить со зрителем в творческий диалог удался».

Актеры Роземари Дайбель, Фред Диско и Карл Альберт в спектакле «Семь желаний».

(Газета «Нойес Дойчланд»)



ФРГ

ТЕАТР В ЭМИГРАЦИИ

Как сообщает пресса, в Мюнхене в помещении театрального музея открылась выставка «Театр в эмиграции, 1933—1945».

Внимание посетителей выставки привлечено в первую очередь к судьбам артистов, режиссеров, драматургов и других деятелей театрального искусства, которые были вынуждены во время нацистского режима покинуть свою родину.

Для обозрения выставлены документы, фотографии, программы, афиши, макеты декораций и другие материалы. Экспонаты выставки служат иллюстрацией к тому периоду истории немецкого театра, когда он находился в эмиграции.

Наряду с такими крупными представителями немецкой сцены, как Бертольт Брехт, Эрвин Пискатор и Фриц Кортнер, на выставке представлены также и австрийские деятели театра: Макс Рейнгардт, Ё. фон Хорват и другие.

РЕСПУБЛИКА ЗАИР

«РАССКАЗЫВАЮЩИЕ БАРАБАНЫ»

Театр Мвондо, что на языке бемба означает «Рассказывающие барабаны»,— это самодеятельный театральный коллектив, созданный четыре года назад группой выпускников средней школы в деревне Чибамбо на реке Луапула в 230 километрах от города Лубумбаши. В группе 16 человек, в большинстве своем молодые учителя и студенты, двое из них европейцы, живущие в Лубумбаши.

Репертуар театра разнообразен: западные драматурги от Мольера до Теннесси Уильямса, которых члены труппы сами переводят на язык бемба, пьесы африканских авторов, инсценировки сказок и собственные пьесы из местной жизни, создаваемые коллективно всей труппой.

Перед гастролями представитель труппы отправляется в деревни, куда должен приехать театр, беседует со стариками, расспрашивает жителей об интересных событиях, а потом — во время гастролей — устраиваются представления, острые и злободневные, в которых используются не только деревенские темы, но также местные танцы, ритмы, мелодии.

Популярность театра, по свидетельству рецензента журнала «Африкэн артс», давно переросла границы района, где он был создан. Театр выступает в Лубумбаши, Шабе, Киншасе, его спектакли передают по заирскому радио и телевидению.

ИРАК

СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР «АЛЬ-АКЛЯМ»

Как сообщает багдадская газета «Аль-Джумхурия», вышел специальный номер литературного журнала «Аль-Аклям», посвященный недавно состоявшемуся фестивалю арабской поэзии в Марбиде.

В номере помещены выступления делегаций арабских и социалистических стран, приглашенных на фестиваль, стихи поэтов, участвовавших в нем, и исследования поэтического творчества.

ИРАН

1200-ЛЕТИЕ СИБАВЕЙХИ

В городе Ширазе состоялся юбилейный фестиваль, посвященный 1200-летию со времени кончины знаменитого основоположника арабской научной грамматики, перса по происхождению, Сибавейхи.

Сибавейхи родился в небольшом городке Аль-Байда недалеко от Шираза. Свое образование он получил в городе Басра, который был одним из крупных центров средневековой арабо-мусульманской культуры. Учителем Сибавейхи был выдающийся арабский ученый-филолог аль-Халиль.

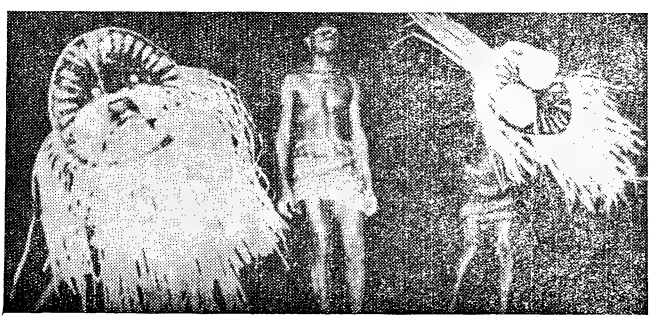
В совершенстве овладев всеми тонкостями арабского классического языка, Сибавейхи выдвинулся как глава басрийской грамматической школы. С этой школой соперничала школа грамматиков города Куфи, возглавлявшаяся ученым-филологом, также персом по происхождению, аль-Кисаи, который был учителем сыновей багдадского халифа Харуна ар-Рашида. Однажды, как повествуют арабские историки, халиф устроил в Багдаде ученый диспут по грамматике между главами соперничающих школ — Сибавейхи и аль-Кисаи. На роль арбитра был приглашен некий бедуин. (Кочевые арабы-бедуины считались носителями самого чистого арабского языка.) После долгих и ожесточенных прений победа была присуждена аль-Кисаи. Глубоко уязвленный Сибавейхи покинул Багдад и уехал к себе на родину в Аль-Байду, где вскоре умер.

Основной труд Сибавейхи, прославивший его имя,— фундаментальный свод грамматики арабского языка «Аль-Китаб» («Книга»). Он лег в основу всех последующих арабских грамматических трудов.

В дни фестиваля, посвященного Сибавейхи, в Ширазе состоялась международная научная конференция, в которой приняли участие вместе с иранскими учеными филологи и лингвисты из стран Арабского Востока, Европы и Америки. Они выступили с докладами о Сибавейхи и его трудах.

Конференция рекомендовала учредить кафедру имени Сибавейхи в Пехлевийском университете, приступить к сбору рукописей и микрофильмов его основного труда «Аль-Китаб» в различных библиотеках мира и создать «Библиотеку Сибавейхи» при его мавзолее в Ширазе, которая хранила бы исследования на различных языках, посвященные выдающемуся ученому.

Выступление актеров театра Мвондо.
(Журнал «Африкэн артс»)



ИСПАНИЯ

ИЗБРАННЫЕ ПИСЬМА ХУАНА РАМОНА ХИМЕНЕСА

В Барселоне опубликованы «Избранные письма» Хуана Рамона Хименеса. Это издание является событием в литературной жизни страны не только потому, пишет обозреватель литературного еженедельника «Инсула» Хосе Луис Кано, что в Испании эпистолярное наследие писателей печатается крайне редко, но и потому, что сам поэт придавал своим письмам большое значение. Он обрабатывал их, как художественные произведения, стремился сберечь их — сохраняя у себя черновики или копии. Когда в 1935 г. он собирался издавать свое собрание сочинений в 21 томе, то избранные письма должны были составить отдельный том.

«Я редко садился за стол, чтобы ответить на письмо,— пишет Хименес в одном из черновиков, найденных составителем книги Франсиско Гарфиасом. Свои ответы я создавал, словно стихи, там, где они настигали меня: в поезде, в поле, на улице, дома».

Кано сообщает интересную подробность. Из пяти писем Хименеса, адресованных ему лично и вошедших в книгу, он получил всего три. Черновики остальных двух писем хранятся, как и весь архив Хименеса, в пуэрто-риканском университете и, по-видимому, никогда не были отправлены адресату.

НОВАЯ КНИЖНАЯ СЕРИЯ

Издательство «Таурус» начало выпускать новую книжную серию «Писатель и критика». Это сборники эссе и статей различных авторов, посвященные личности и творчеству крупнейших писателей Испании и Латинской Америки. Серия предназначена как для специалистов, так и для широкого читателя.

Уже вышли книги о Гальдосе, Мачадо и Гарсии Лорке. В рецензии на сборник «Антонио Мачадо» отмечается его удачная композиция. В книге несколько тематических разделов: воспоминания о поэте, отзывы об отдельных его сборниках, критические и литературоведческие статьи. Среди наиболее интересных материалов — литературный портрет Мачадо, созданный Рафаэлем Альберти, и рецензия Хуана Рамона Хименеса на первую книгу поэта «Томления», опубликованная в мадридской газете в 1903 году.

Портрет заключенного работы Алиджи Сассу.
(Газета «Унита»)

ИТАЛИЯ

ТЮРЕМНЫЕ РИСУНКИ САССУ

В 1938 г. молодой художник-антифашист Алиджи Сассу после пребывания в тюрьмах Рима и Милана был препровожден в Фоссано, на север Италии, где фашисты в одном из старинных замков устроили темницу для своих политических противников. Там молодому художнику было разрешено «практиковаться в своем ремесле». Получив краски и бумагу с тюремной печатью на каждом листе, Сассу начал много и увлеченно работать. Он рисовал портреты своих товарищей по заключению, писал акварели, создавал композиции на исторические сюжеты, делал множество эскизов на самые различные темы.

Шестьдесят «тюремных листов» с графикой и акварелями Алиджи Сассу впервые были выставлены в художественной галерее «Портичи» в Турине.

Внимание критики и посетителей особенно привлекли портреты из серии «Политические заключенные» и автопортрет художника.

НОВЫЙ СБОРНИК РЕНЦО РОССО

Вышла новая книга рассказов талантливого итальянского прозаика Ренцо Россо «Светлокожие люди». Автор включил в этот сборник одиннадцать коротких новелл, некоторые из них занимают всего две-три странички текста. Тематика самая разнообразная. Название всему сборнику дал рассказ, повествующий о судьбе певца Фемия. Все, кто читал бессмертную «Одиссею», помнят образ этого певца, одного из двух людей, пощаженных Одиссеем и его сыном Телемахом в Песне двадцать второй, в которой описывается пир в доме Одиссея и убийство женихов, пытавшихся соблазнить Пенелопу. В отличие от Гомера, итальянский писатель дает, однако, свой вариант судьбы певца. В рассказе «Светлокожие люди» (под этими людьми понимаются сам Одиссей и его сородичи) Фемий ранен ножом в спину и умирает, осознав «коварство Одиссея». Дело, однако, не в том, что Ренцо Россо отступил от традиционного истолкования судьбы Фемия,— это только один пример того, как писатель строит сюжет.

В этой оригинальной книге действуют и люди и, еще чаще, животные, причем они, как правило, оказываются менее жестокими, чем люди, которых Россо изображает зачастую склонными к злу и насилию. Примечателен один из рассказов. Действие происходит в XVI веке. Монах Луис де Сотомайор по распоряжению своих начальников должен присутствовать на процедуре публичного сожжения еретика, осужденного инквизицией. С предельным лаконизмом автор описывает сцену казни. Когда же монах возвращается обратно, он видит в окне одного из домов сидящую неподвижно и глядящую на него в упор кошку, в глазах которой отражается желтый отблеск еще не погасшего костра. Сытая кошка спокойно и внимательно наблюдает за всем, что происходит на площади. Писатель достигает очень большого эмоционального эффекта, совершенно не прибегая к рассуждениям и морализированию. В рассказе «Чайки» супружеская чета чаек летит над океаном и скорее угадывает, чем понимает, происшедшую катастрофу: корабль, объятый пламенем и обреченный на гибель.

Итальянская пресса дает очень высокую оценку книге Ренцо Россо. Критик газеты «Унита» Марио Лунетта называет ее первоклассной и лучшей из всего, что до сих пор выходило из-под пера талантливого писателя. Со своей стороны, критик Арнальдо Бочелли пишет в «Стампе», что Ренцо Россо в каждой новой своей книге предстает перед читателем в новом качестве и дело не только в формальных, стилистических, но и в идеологических его исканиях. Паоло Милано в «Эспрессо» особо подчеркивает оригинальность творческого почерка Ренцо Россо.

Книга «Светлокожие люди» — четвертая по счету книга Россо, дебютировавшего в литературе в 1960 году. С самого начала писателя интересовала моральная, философская, психологическая проблематика,— кстати, Россо и по образованию философ. Вначале он отдавал дань психоанализу, но писал в традиционной манере. Позднее, однако, стало очевидным, что Россо попал в полосу внутреннего кризиса, что он и сам признал во время одной из литературных дискуссий. Впоследствии его интересы переместились из сферы чисто психологической в сферу этико-социальную. Последняя книга свидетельствует о новом периоде исканий: Россо занимает позицию некоей отстраненности от своего материала. Представляется не случайным, что предисловие к книге «Светлокожие люди» написал Итало Кальвино: между обоими писателями есть духовное сродство, и оба они непрестанно ищут новых путей.

КАНАДА

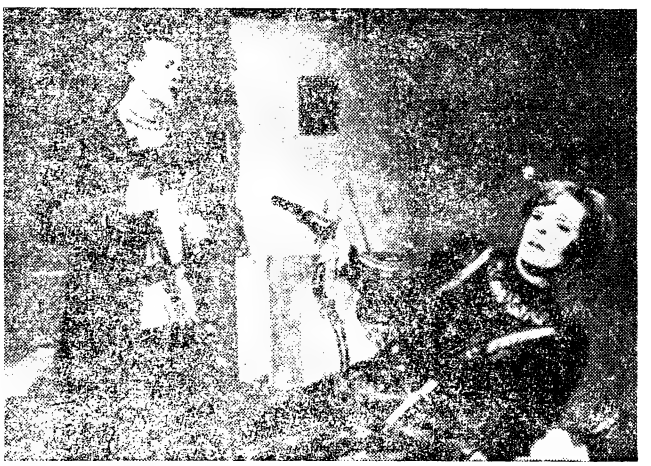
«ДЕТСТВО, ПРОВЕДЕННОЕ В ВИННИПЕГЕ»

Одна из старейших канадских поэтесс Дороти Лайвси выпустила недавно сборник рассказов под заглавием «Детство, проведенное в Виннипеге». Эта книга, написанная на основе собст-

---

Большим успехом у зрителей Торонто пользуется пьеса А. П. Чехова «Медведь», идущая в Классическом театре. Энтони Парр и Паулин Кэри в сцене из спектакля.

(Журнал «Перформинг артс»)



венных воспоминаний Лайвси, повествует об открытии ребенком для себя мира, о непрерывном удивлении, которое этот мир вызывает.

За простой и безыскусно рассказанной историей детства маленькой Элизабет угадывается большое мастерство автора, глубокое понимание психологии ребенка. Книга проникнута любовью к родному краю, к неповторимой красоте его природы. Точные и выразительные характеристики героев, теплота и лиризм, так характерные для Лайви-поэтессы, отмечают и сборник ее рассказов. По мнению рецензента журнала «Кенэдиен литерейче», книга «Детство, проведенное в Виннипеге» — значительное явление современной канадской литературы.

КНР

«ПРЕКРАСНАЯ ОБСТАНОВКА» И «КЛАССОВАЯ БОРЬБА»

В газете «Гуанмин жибао» опубликована статья Цзян Тяня «Отражать прекрасную обстановку и описывать классовую борьбу». В статье излагаются требования пекинского руководства к работникам литературы и искусства Китая. Маоистский автор объявляет главной задачей всех литераторов описывать «прекрасную обстановку», сложившуюся ныне в Китае, и при этом невольно делает важные признания: «Некоторые товарищи в творчестве не смеют касаться классовых противоречий, особенно не смеют описывать период великой пролетарской культурной революции, не смеют описывать классовую борьбу и борьбу линий после великой пролетарской культурной революции».

Трудности, которые встают перед всяким пишущим в Китае на современную тему, хорошо известны. Но все же находятся желающие писать о нынешней «прекрасной обстановке». Правда, Цзян Тянь недоволен тем, как они пишут: «Некоторые товарищи считают, что прекрасную обстановку могут передать лишь описания хороших людей и хороших дел. Некоторые товарищи не смеют описывать классовую борьбу и борьбу линий в условиях прекрасной обстановки, так как боятся, что такое описание нарушит картину прекрасной обстановки и извратит действительность. Эта точка зрения, противопоставляющая прекрасную обстановку и классовую борьбу, чисто формальная».

Цзян Тянь отмечает в китайских литературных произведениях последних лет «тенденцию к бесконфликтности». С этим нельзя не согласиться. Славословие дается литераторам легче, чем лавирование в догматических дебрях «борьбы линий» и «классовой борьбы», где так легко оступиться, запутаться и пропасть в условиях «прекрасной обстановки», созданной маоистами в Китае.

Претензии Цзян Тяня к китайским литераторам отнюдь не выходят за рамки маоистских догм. Он совершенно серьезно утверждает, что предписанный им рецепт творчества на современную тему — панацея от всех зол, и завершает статью тем, что провозглашает «наступление новой волны подъема литературно-художественного творчества».

КУБА

ЮБИЛЕЙ ПИСАТЕЛЯ

«Гасета де Куба» поздравила с шестидесятилетием крупного кубинского писателя Онелио Хорхе Кардосо, известного советскому читателю по сборнику рассказов «Коралловый конь».

Герои его рассказов—крестьяне и рыбаки. Подробности их быта, их колоритный говор писатель передает красочно и достоверно.

ЛИВАН

НОВЫЙ ЖУРНАЛ ПО ВОПРОСАМ КУЛЬТУРЫ

В Бейруте вышел первый номер журнала «Аль-Фикр аль-Муасыр» («Современная мысль»). Главный редактор нового журнала — известная публицистка Алия Мамдух. Первый номер содержит, как сообщает журнал «Ат-Талиа», материалы состоявшейся в Каире конференции на тему «Культурный климат, свобода и творчество», в которой приняли участие известные египетские писатели, статью о творчестве современного прогрессивного египетского поэта Фуада Нагма, очерк о кубинском революционере Эрнесто Че Геваре, а также другие статьи и материалы, посвященные актуальным вопросам современной культуры и идеологии.

«АЛЬ-АДАБ» О ПАЛЕСТИНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Ведущий ливанский литературный журнал «Аль-Адаб» посвятил свой августовский номер за этот год литературе арабов Палестины. Номер включает статьи видных арабских критиков и литературоведов о литературе палестинских арабов в условиях британского колониального режима и после образования государства Израиль в 1948 году, а также рассказы и стихи палестинских авторов, представляющих литературу палестинского Сопротивления.

МАРОККО

ТЕАТРАЛЬНЫЕ ФЕСТИВАЛИ

В последние годы марокканское театральное искусство добилось значительных успехов. Марокканский театр приобрел известность как в арабских странах, так и в Европе. В Марокко регулярно проводятся фестивали профессиональных и любительских театров. Так,

недавно там состоялся XV национальный фестиваль любительского театра, в котором приняли участие самодеятельные коллективы разных районов страны.

Большим событием в культурной жизни явился фестиваль современного арабского театра, в котором приняли участие коллективы десяти арабских стран и Организации освобождения Палестины.

НИГЕРИЯ

ИНТЕРВЬЮ ПИСАТЕЛЯ

Известный нигерийский писатель Чинуа Ачебе (его романы «И пришло разрушение», «Покоя больше нет», «Человек из народа» и несколько рассказов опубликованы в Советском Союзе) в интервью представителю Лондонского африканского центра сказал: «Сейчас модно говорить о том, что африканские писатели должны писать на национальных языках, но для этого нужно хотя бы начать обучать этим языкам в школах и колледжах». На вопрос о том, будет ли он писать книгу о гражданской войне в Нигерии, Чинуа Ачебе ответил, что книгу о войне он писать не собирается, но считает, что изменившееся положение народа как-то отразится в его новых произведениях. Писатель не согласен с теми, кто считает гражданскую войну в Нигерии обычным межплеменным конфликтом, он полагает, что это явление более сложное.

Он коснулся еще одного важного для всех африканских писателей вопроса — об издании книг — и сказал, что пришло время для создания жизнеспособных африканских издательств и сами писатели обязательно должны принять участие в этом. Сам он пытался совместно с поэтом Кристофером Окигбо организовать издательство, но их деятельность была прервана войной (К. Окигбо погиб в 1967 г.). Со времени окончания войны Ч. Ачебе не опубликовал ни одного романа. В ближайшее время должен выйти из печати сборник его эссе.

ПЕРУ

«СЭПА БЫЛА МОЕЙ ЛУЧШЕЙ ШКОЛОЙ»

Книга перуанского журналиста Уго Нейры «Уилька: рассказывает перуанский крестьянин» получила первую премию на латиноамериканском литературном конкурсе «Каса де лас Американас». Герой книги — индеец кечуа Сатурнино Уилька, один из ведущих деятелей аграрного движения среди крестьян Куско. Когда в 1973 году Нейра приехал в Куско, чтобы написать книгу о борьбе крестьян за землю, он обратился именно к Уильке, самому старому и активному руководителю этой борьбы.

Уилька рассказывал свою историю пятнадцать дней. Несмотря на старость, он прекрасно помнит даты, события и имена. Огромное влияние на его судьбу оказало, по его словам, пребывание в исправительной колонии Сэпа. Он попал туда в середине 60-х годов, во

Сатурнино Уилька рассказывает.

(Пренса Латина)

время подъема крестьянского движения в Перу. Там он впервые познакомился с профессиональными революционерами. Раньше Уилька не умел ни читать, ни писать, не знал испанского языка. «Сэпа была моей лучшей школой,—скажет он впоследствии.— Оттуда я вернулся еще более убежденным борцом за наши права».

ПОЛЬША

«ХРОНИКА ЛЮБОВНЫХ СОБЫТИЙ»

Так называется новый роман Тадеуша Конвицкого, вышедший в издательстве «Чытельник», сразу же вызвавший широкий отклик в печати.

«Хроника любовных событий», как пишет Януш Термер в газете «Трибуна люду», по теме и проблематике является как бы продолжением одного из самых интересных произведений Конвицкого «Дыра в небе».

«И в той и в другой писатель возвращается в страну своего детства и юности, провинциального быта, чтобы, обобщив опыт тех лет, определить основу существования его поколения. Страна детства для Конвицкого не Аркадия, остров бесконфликтного счастья; говоря о «лучезарном небе», автор глядит на свою юность как человек зрелый, умудренный опытом второй мировой войны и послевоенных лет, внесший существенные поправки в традиционные понятия мелкобуржуазного, мещанского гуманизма, его принципов и добродетелей».

Как-то Конвицкий сказал, что герой его книг «болен памятью». Герой романа «Хроника любовных событий» тоже «болен памятью». Действие романа разыгрывается за несколько месяцев до начала войны. Герой его, смертельно больной человек, обращается к своему прошлому, к своей юношеской первой любви. Действие происходит в Вильнюсе перед войной, когда все было наполнено предчувствием приближающейся катастрофы. В этой атмосфере развивается трагическая любовь Алины и Витольда.

Как пишет Вл. Мационг в «Новых ксёнжках», Конвицкий удивительно поэтично пишет о, казалось бы, банальных вещах, у него не «просто любовь», а одно из проявлений тоски и надежд людей той эпохи, для которых любовь была чем-то необычным, важным, огромным.

«Прозу Тадеуша Конвицкого,— говорит Вл. Мационг,— породила потребность в элегии, он пишет о мире детства с позиции человека, много пережившего, с позиции какого-то до конца невыясненного жизненного опыта, когда все лучшее видится в прошлом».

В статье «Ромео и Джульетта — 1939» в еженедельнике «Культура» Анна Буковская пишет:

«В современном мире, когда человек редко живет оседло, тема мира детства и вырастающая из нее тема Родины приобретает особое звучание. Обращение к этому миру — одна из излюбленных тем литературы XX века, в том числе и современной польской».

Сравнение нового романа с книгой «Дыра в небе», отмечает критик, позволяет увидеть ту эволюцию, которую пережила проза Конвицкого. Она стала шире пользоваться «монтажом», стала более ассоциативной, более многозначной, но осталась той же неповторимой по атмосфере, характерной для лучших книг Конвицкого, какими являются «Современный сонник» и «Дыра в небе».

«Хроника любовных событий» продолжает ту же линию его творчества, которая несомненно свидетельствует о высоком ранге этого писателя и его месте в современной литературе».

Я. Вальц в статье «Пан Тадеуш возвращается», опубликованной в еженедельнике «Политика», говорит о Конвицком как о писателе, творчество которого свидетельствует о высоком уровне польской литературы.

Портрет Тадеуша Боя-Желенского работы Станислава Выспянского.
(Журнал «Театр»)

СТОЛЕТИЕ БОЯ-ЖЕЛЕНСКОГО

21 декабря исполняется 100 лет со дня рождения Тадеуша Боя-Желенского, расстрелянного гитлеровскими оккупантами во Львове в июле 1941 года.

Писатель, критик, публицист, литературовед, переводчик, Бой-Желенский оставил после себя большое литературное наследство. Особенно значительным вкладом в польскую культуру является «Библиотека Боя», насчитывающая около 100 томов, куда входят переведенные писателем произведения французских классиков: Рабле, Вийона, Монтеня, Мольера, Монтескье, Руссо, Дидро, Бомарше, Стендаля, Мериме, Бальзака, Пруста и многих других.

Бой-Желенский был профессором Львовского университета, когда в город вошли оккупанты.

«Он мог,— пишет о нем в журнале «Театр» известный театральный критик Войцех Натансон,— спастись бегством, но пренебрег этой возможностью... Мне кажется, что он смотрел на приближающуюся смерть с той самой надменной иронией,

с какой всегда встречал любое проявление глупости и ограниченности варваров, которые были не в состоянии понять, что никакая, даже самая грубая сила не может сломить силы духа».

Польская литературная общественность широко отмечает столетие со дня рождения писателя и ученого.

РУМЫНИЯ

ДЕЙСТВЕННЫЙ, АКТИВНЫЙ ХАРАКТЕР ЛИТЕРАТУРЫ

Издательство «Эминеску» выпустило антологию «Миссия современного писателя» — сборник высказываний румынских художников слова о задачах социалистической литературы. Книга, объединившая на своих страницах выступления писателей Румынии в период с августа 1944 г. по август 1973 г., дает представление о проблемах, волновавших творческую интеллигенцию в годы создания новых общественных отношений в стране.

Самый значительный раздел антологии посвящен проблеме «Литература и общество». «И действительно,— замечает рецензент журнала «Лучафэрул» Д. Кристя,— чтобы ясно представить себе сущность происшедших в литературе последнего тридцатилетия изменений, надо понять прежде всего, в чем состоит задача писателя, его связь с эпохой, с читательской публикой».

Утверждение активной роли писателя в жизни общества, защита литературы, обращенной к жизни, к делам народа,— таковы в основном, как явствует из приведенных в антологии высказываний, идейные позиции румынских писателей, свидетелей и участников процессов социалистического обновления Румынии.

ВЫСТАВКА «30 ЛЕТ ИСТОРИИ РУМЫНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»

Так была названа выставка, организованная Музеем румынской литературы в дни празднования тридцатилетия со дня освобождения Румынии от фашистского ига.

Рядом с книгами по истории румынской литературы, принадлежащими перу Дж. Кэлинеску, Дж. Ивашку, Ш. Чокулеску, Т. Виану, Ал. Пиру, Д. Мику и других, на полках разместились «Словарь литературных идей» А. Марино, «Историография румынской литературы» М. Букура, коллективные труды «Румынская литературная пресса», «История и теория компаративизма в Румынии».

«Оставив позади период неуверенных поисков и тенденциозного толкования иных направлений,— пишут в «Ромыния литерарэ» критики К. Брезу и М. Тэнэсеску,— история нашей литературы последнего тридцатилетия, опираясь на прочную теоретическую основу — философию диалектического и исторического материализма,— добилась серьезных успехов».

Значительными вехами на этом пути стали, по словам авторов обзора труды О. Крохмэлничану «Румынская литература и экспрессионизм», З. Орни «Истоки румынского романтизма», М. Попы «Словарь современной румынской литературы», Д. Мику «Современный румынский роман», М. Чобряну «Современный рассказ» и другие. Впечатляет количество монографий, посвященных как творчеству классиков, так и достижениям лучших писателей социалистической Румынии.

США

«ПЕНТИМЕНТО» ЛИЛИАН ХЕЛЛМАН

Перевести название последней книги американского драматурга Лилиан Хеллман довольно трудно. «Пентименто» — термин, обозначающий особый феномен, встречающийся в живописи.

Объясняя замысел своей книги, Лилиан Хеллман писала: «Краска со временем становится прозрачной, и, когда это случается, на некоторых полотнах проступают контуры прежней картины. Это явление называется «пентименто», художник как бы «раскаялся» — переосмыслил свои старые представления о чем-то, они заменяются иным восприятием, отражая способность человека в разное время видеть по-разному. Именно так я хотела показать людей в моей книге».

Старое глазами нового, новое глазами старого — принцип, по которому Лилиан Хеллман построила свою книгу воспоминаний. Контуры прежней жизни, проступающие через резкие очертания сегодняшнего дня, постепенно вырисовывают всю жизнь писательницы.

Именно концепция связи и пересечения времен, как пишет критик в «Таймс литерари саплмент», отличает эту книгу воспоминаний Лилиан Хеллман от первой «Несостоявшаяся женщина», опубликованной в 1969 г. В свое время «Несостоявшаяся женщина» наделала много шума в литературном мире Америки из-за включенных в нее Лилиан Хеллман портретов Скотта Фицджеральда, Дороти Паркер, Эрнеста Хемингуэя, Дэшила Хэммета. «Пентименто» — воспоминания совершенно в другом роде. Здесь нет сенсационных фактов, не все люди, встречи с которыми описывает Лилиан Хеллман, известны широкой публике. Они, по большей части, важны только для самой писательницы. Нет в книге и строгой хронологии, точного указания мест. Старое, как замечают критики, и в самом деле пробивается через новое и властно заявляет о своем праве на память мысли и чувства. Импрессионистская манера в подаче материала — основной художественный принцип, который характеризует эту необычную книгу воспоминаний.

Критики высоко оценивают новое произведение Лилиан Хеллман. Обозреватель «Нью-Йорк таймс бук ревью» называет «Пентименто» книгой, в которой жизнь передана ясным словом искусства».

НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ ВОЛЬТЕРОВСКОГО КАНДИДА

С 1956 года, когда Леонардом Бернстайном была создана партитура к инсценировке знаменитого вольтеровского «Кандида», композитор написал немало других произведений (в том числе знаменитую «Вестсайдскую историю»), однако музыковеды до сих пор считают «Кандида» лучшим его творением. К сожалению, сценическая судьба мюзикла сложилась неудачно: поставленный 18 лет назад в одном из театров Бродвея, он не имел успеха. Причину тому большинство критиков усматривало в несовпадении между искрометной, истинно галльской по своему духу музыкой и тоже талантливым, но написанным в ином, «бытовом» ключе либретто.

«Музыка Бернстайна к «Кандиду» стала легендой,— пишет театральный обозреватель газеты «Нью-Йорк таймс» Клайв Барнс.—И вот театр «Челси» превратил эту легенду в действительность».

Речь идет о новой сценической редакции мюзикла, показанной недавно в одном из так называемых внебродвейских театров. Новое либретто, написанное Хью Миллером, дало возможность создателям спектакля донести до зрителя не только глубину и мудрую язвительность философской повести Вольтера, но также и ее изящество. Саркастическая издевка над философией легковесного оптимизма, воплощенной Вольтером в образе наставника Кандида доктора Панглосса, который при любых обрушивающихся на его ученика несчастьях не перестает уверять, что «все к лучшему в этом лучшем из миров», прозвучала в спектакле, по мнению критиков, удивительно свежо и современно.

Немалую роль в успехе спектакля сыграло его постановочное решение (режиссер Хэролд Принс). Злоключения Кандида и его возлюбленной Кунигунды разыгрываются на множестве небольших игровых площадок, расположенных среди зрителей и соединенных круговым балконом и движущимися переходными мостиками. Оркестр, разделенный на четыре группы, также размещен среди публики. Спектакли театра «Челси», отмечает рецензент журнала «Нью рипаблик», и раньше отличались смелостью постановочных замыслов, берущих свое начало в экспериментальных работах советского режиссера Охлопкова, однако именно здесь, в «Кандиде», коллективу удалось впервые достичь максимальной адекватности содержания и театральной формы.

ТУРЦИЯ

ПАМЯТИ БОЛЬШОГО ПИСАТЕЛЯ

Пресса продолжает публиковать материалы, посвященные памяти Кемаля Тахира — одного из выдающихся прозаиков, чьи романы переведены на многие языки мира. С двумя из них — «Люди пленного города» и «Кровавое ущелье»—знакомы и советские читатели. Журнал «Янысма» и двухнедельник «Еди тепе» посвятили Кемалю Тахиру специальные номера.

Долгие годы томился выдающийся художник в тюрьмах, куда был брошен реакционным режимом за свои прогрессивные убеждения. Свыше двух лет провел он в тюрьме города Чанкыры в одной камере с Назымом Хикметом. Там родился замысел серии его романов, включающей свыше десяти томов и охватывающей огромную историческую эпоху — от основания Османской империи до наших дней.

Когда в печати появилась первая книга рассказов Кемаля Тахира, Назым Хикмет писал ему из тюрьмы: «Благодарю тебя, брат мой, за то счастье и гордость, которые ты дал нам возможность испытать!»

С той поры в течение тридцати лет Кемаль Тахир был в центре литературной и общественной жизни Турции. Его романы-исследования не оставляли равнодушными ни его единомышленников, ни его противников.

Критик и социолог Селяхаттин Хиляв, касаясь вклада писателя в отечественную культуру, пишет: «Кемаль Тахир представлял собой редчайший в нашем обществе тип интеллигента. О нем будет еще много написано исследований. Я хочу подчеркнуть его заслуги как мыслителя. Своими книгами и даже своей личной жизнью он перевернул наши традиционные представления, которые, начиная со школьных учебников, вдалбливала в наши головы господствующая идеология. Для нашего поколения его просветительская роль возбудителя идей огромна. Используя достижения мировой культуры и научной философии, он доказал нам, что о явлении реакционном или прогрессивном можно судить только с классовых позиций и в историческом аспекте. Значение его книг, место его идей в нашей культуре нуждаются в обстоятельном исследовании. Но ясно одно: зерна, брошенные Кемалем Тахиром, дадут всходы».

ФИНЛЯНДИЯ

«СПЛАВЩИКИ»

Как сообщает финская газета «Кансан уутисет», уже свыше 70 лет на сцене Финского Национального театра в Хельсинки и в театрах других городов Финляндии с неизменным успехом идет комедия из народной жизни — «Сплавщики», принадлежащая перу классика финской литературы Теуво Паккала. С теплым юмором повествует в ней автор о нелегкой, полной тяжелого физического труда и лишений жизни финских сплавщиков леса, противопоставляя их — людей смелых, искренних, готовых прийти на помощь в трудную минуту,— корыстолюбивым и лицемерным сельским клерикалам и чиновникам.

Сцена из спектакля Туркка — Матти Виеновирта, Кустаа — Томи Пяйвяляйнен.

(Газета «Кансан уутисет»)

Полная комических коллизий, остроумных и неожиданных поворотов сюжета, тонких и точных психологических наблюдений, пьеса с ее живыми, необыкновенно колоритными персонажами, словно явившимися на сцену театра из глухих сельских уголков Финляндии, не утрачивает своей привлекательности для зрителей и по сей день. Непреходящему успеху жизнерадостной комедии Теуво Паккала, возникающему у зрителя ощущению сопричастности происходящему на сцене, способствует мастерская постановка пьесы (режиссер Вилли Аувинен), музыкальное сопровождение: сольные и хоровые песни, разнообразные и красочные народные танцы (автор музыки — известный финский композитор О. Мериканто).

ФРАНЦИЯ

ПРАЗДНИК «ЮМАНИТЕ» — ПРАЗДНИК КУЛЬТУРЫ

Французская печать отметила небывалый успех традиционного праздника «Юманите», состоявшегося в этом году, как и в предыдущие годы, в парижском пригороде Курнёв. Праздник привлек широкие массы трудящихся — не только жителей столицы, но и приезжих из других городов: было продано шестьсот тысяч входных билетов. В дни праздника 5 574 француза и француженки вступили в ряды коммунистической партии.

В «Городе книги» работали киоски 82 издательств, во встречах с читателями участвовало 250 авторов; посетители приобрели, в общей сложности, на четыре миллиона франков художественной и политической литературы. Публику живо заинтересовали выставки: «Наука на службе человека» и «У истоков современной живописи. Импрессионизм». Оживленные споры развернулись на семинаре «Коммунисты, искусство и литература» под председательством Ги Бесса; перед читателями выступили писатели и критики Андре Стиль, Пьер Гамарра, Клод Прево, Франс Вернье. Объединенные музыкальные коллективы из Будапешта и Москвы под открытым небом исполнили «Реквием» Берлиоза в присутствии сотен тысяч слушателей.

Писатель Андре Вюрмсер в статье «Реквием прошлому» показал культурно-политическое значение праздника «Юманите». Ни одна выставка живописи не привлекла столько зрителей, как выставка первых импрессионистов в Курнёве — разве только выставка Пикассо, состоявшаяся там же в прошлом году. Ни один фестиваль книги не распространил столько литературы, как «Город книги». Да, именно о культуре идет здесь речь, и реплик недоброжелателей даже не было слышно, они затерялись в торжественном молчании Сотен Тысяч, из которых многие впервые попали на концерт... Эти люди, пишет Вюрмсер, живут под бременем многих забот, им не хватает и времени, и знаний, и даже просто привычки наслаждаться искусством. «Но Музыка и Живопись пришли к ним, в Курнёв, и они все вместе поняли Моне и прислушались к Берлиозу». По словам Вюрмсера, даже самому Берлиозу не доводилось за всю его жизнь слышать свой «Реквием» в таком исполнении, при таком взволнованном внимании массы народа. «Мы осуществили мечту старого композитора, его надежду на то, что он будет услышан толпами»...

Робер Мерль поделился впечатлениями от праздника

«Юманите» в статье, озаглавленной «Голод и жажда». Писателя поразила атмосфера тепла, интернациональной и человеческой солидарности, которая царила на празднике в Курнёве. «Когда народ приглашает, он это делает от всего сердца. Сюда позвали всех французов, да и представителей многих других народов: здесь и североафриканцы, и никто не оскорбляет их кличкой «бик», здесь негры, на которых никто не смотрит как на дикарей, здесь вьетнамцы и камбоджийцы — им не угрожает ни один «джи-ай», и никто не обзовет их «желтопузыми». Если вы истосковались по братству, входите сюда, в Курнёве не разъединяют, здесь объединяют».

Мерль пишет о том, как взволновала его та жажда красоты, культуры, которая привела многие тысячи людей на выставки, концерты, дискуссии, на встречи с писателями. «На этом празднике «Юма» можно было увидеть, сколько людей жаждут любви и знаний».

Это был мой первый художник. Он и его друзья разбудили во мне интерес к живописи. Некоторые из них были очень бедны, но я шил им всем, даже совсем молодым, а они дарили мне свои картины. С художников я никогда не брал денег. Пикассо всегда повторял: «Эти брюки обошлись мне слишком дорого»,— с первого же визита он расплачивался со мной своими литографиями.

— Как вы с ним встретились?

— Он послал за мной. Его друг, художник Андре Вердьэ, пришел к нему в гости в моем костюме из толстого портьерного шелка. При нашей первой встрече Пикассо сказал мне: «Итак, Сапоне, если вы захотите работать на меня, я буду работать на вас».

— Легко ли было шить для Пикассо?

— Конечно, я не мог выполнить все, чего бы хотелось. Он носил ткани только ручной работы. Я искал их для него на сельских ярмарках в Греции, Югославии, у себя на родине. Помню, первый раз я принес ему образцы шотландских пледов. Он разложил их на полу. «Люди, которые сделали эти ткани,— не чужды живописи»,— сказал он и выбрал один из них. Пикассо обожал причудливые вельветы, особенно любил сочетание бежевого с коричневым. Однажды я достал для него ткани этих тонов и сшил их полосами, а потом сделал ему из этого полотнища пиджак — это вошло в моду. В другой раз я сшил ему платье Арлекина из обрезков, которые были у меня в мастерской, тона хорошо гармонировали. Когда я принес его Пикассо, у него был Кокто. Пикассо надел платье и начал в нем танцевать. «Вот это работа! — воскликнул он.— Но я не собираюсь разыгрывать шута в этом одеянии». Думаю, он ни разу не надел его вне дома, но часто показывался в нем друзьям. Он любил развлечения и больше других художников был способен на необычайные выдумки. Скуку он ненавидел... Пикассо никогда не отказывался от того, что я

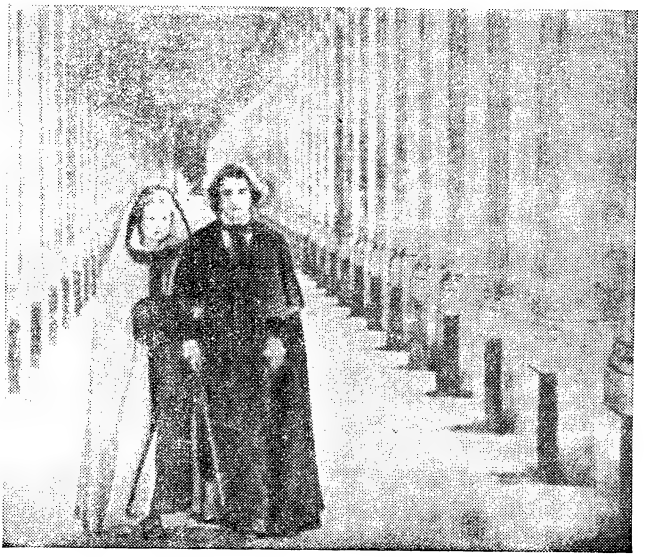
ИСТОРИЯ КАРТИННОЙ ГАЛЕРЕИ

В Ницце открылась картинная галерея, сразу же привлекшая внимание как французской, так и зарубежной прессы. История этого собрания картин действительно любопытна. Хозяин галереи — бывший портной, обшивавший многих известных западных художников. Среди его клиентов были такие выдающиеся мастера современной живописи, как Пикассо и Джакометти. Вот что рассказал корреспонденту французской газеты «Монд» владелец галереи:

— Я родился в деревне Беллона, близ Неаполя. Когда в 1950 году я открыл в Ницце мастерскую, я ничего не знал о живописи и никогда не был в музее. Однажды меня посетил Манфредо Борси, который произвел на меня большое впечатление, мне захотелось узнать, чем он занимается.

На французском телевидении режиссер Клод Сантелли осуществляет экранизацию «Исповеди сына века» Альфреда де Мюссе.
Исполнители главных ролей — Мари-Кристин Барро и Сами Фрей.

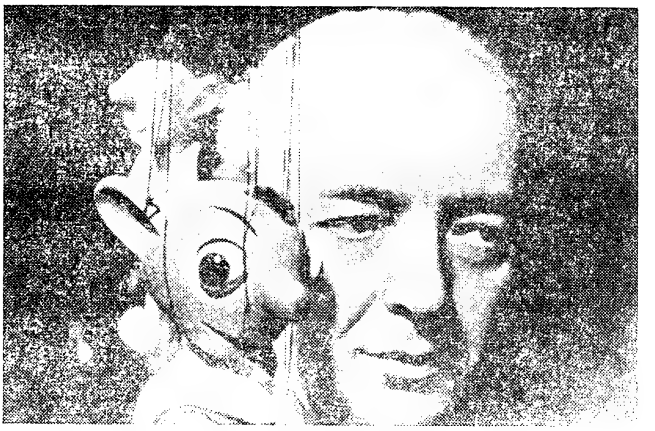
(Газета «Юманите»)



ему приносил. Был период, когда мы жили рядом, и я каждый день приносил ему что-нибудь сделанное специально для него... Я сшил для него по крайней мере 200 брюк и 100 пиджаков и пальто. Как почти все мои клиенты, он предоставлял мне полную свободу.

— Сколько всего у вас картин? Вы выставляете и картины Пикассо?

— За 20 лет через мои руки прошли тысячи работ — масло, рисунки, литографии, но нужно было жить. Если бы все сохранилось, я был бы необычайно богат, однако осталось немного. Но у меня сохранилась книга, в которой каждый мой клиент делал рисунок — теперь это антология современной живописи.



Йозеф Скупа со своей куклой Гурвинеком.

(Газета «Руде право»)

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

НАЙТИ СВОЕ МЕСТО В ЖИЗНИ

Среди книг, посвященных современности, особое внимание чешской критики привлек новый роман Богумила Ржиги «Доктор Мелузин».

Доктору Мелузину 53 года, он заметная фигура в пражских медицинских кругах — заведующий терапевтическим отделением крупной столичной клиники, автор ряда научных трудов.

После событий 1968 года Мелузин лишился жены, уехавшей за границу. В состоянии глубокой душевной депрессии он покидает Прагу и переселяется в сельский поселок Ветров, чтобы работать простым районным врачом.

Сельская жизнь оказалась ему по душе. Сын садовника, опекавшего в свое время «панский» парк, он с детства любил природу. В Ветрове он скоро почувствовал, что очень нужен людям. Неожиданно для себя он обрел здесь и новую любовь, новую семью, новое счастье.

Но историей «второго рождения» Мелузина далеко не исчерпывается смысл и содержание романа. Великолепный знаток сельской жизни, Ржига окружает своего героя многоликой галереей жителей сегодняшней чешской деревни.

Уже в ранних книгах — «Земля настежь», «Две весны», «Крестьянин» — писатель прослеживал те коренные изменения, которые произошли на селе после 1945-го, в особенности же после 1948 года. В «Докторе Мелузине» он не отошел от этой темы, но углубил ее, стремясь показать, как социалистические преобразования деревни отразились на психологии сегодняшних сельских жителей, как духовно обогатили их.

Мелузин нашел там людей, которые его поняли, полюбили, оценили, которые оказались ему близкими, необходимыми.

Чешская критика высоко оценивает значение романа «Доктор Мелузин».

УСПЕХИ ЧЕШСКОГО КУКОЛЬНОГО ТЕАТРА

В Пльзени с большим успехом прошел смотр чешских профессиональных кукольных театров — фестиваль «Скупова Пльзень — 74».

Имя выдающегося чешского кукольника народного артиста ЧССР Йозефа Скупы неразрывно связано с этим городом. Здесь он начинал свою работу в театре: сначала в качестве художника, затем актера-кукловода и, наконец, основателя и бессменного руководителя прославленного «Театра Шпейбла и Гурвинека».

Папаша Шпейбл и его лукавый сынишка Гурвинек стали популярнейшими героями кукольных спектаклей не только среди детей, но и взрослых.

Фестиваль «Скупова Пльзень — 74» был юбилейным. На нем подводились итоги деятельности чешских профессиональных кукольных театров за четверть столетия их существования. Знаменательным годом, открывшим новую эпоху в жизни кукольных театров Чехии, был 1949 год, когда, после победы трудящихся в февральские дни 1948 года, кукольные ансамбли, перейдя в ведение государства, перестали быть «побочными детьми» школ, общественных или спортивных организаций и частных лиц, получив стационарные сценические площадки и равные права с остальными театрами республики. В 1949 году открылся Центральный театр кукол в Праге, а вслед за ним — кукольные театры в Брно, Либерце, Чешских Будейовицах, Кладно и ряде других городов.

На фестивале «Скупова Пльзень — 74» были представлены все пятнадцать профессиональных кукольных театров Чехии и в качестве гостя выступал словацкий кукольный театр из Кошиц.

Внимание к задачам социалистического воспитания молодого поколения, высокий уровень профессионального мастерства, неустанные поиски новых форм и методов воздействия на маленьких зрителей, продемонстрированные участниками смотра, стали ярким свидетельством крупных успехов чешских кукольных театров, заслуженно получивших мировое признание.

ШВЕЦИЯ

«ДЯДЯ ВАНЯ» НА ШВЕДСКОЙ СЦЕНЕ

В своей последней работе Королевский театр Швеции обратился к творчеству А. П. Чехова и поставил спектакль «Дядя Ваня», который, по мнению критики, стал большим художественным достижением театра.

«Режиссер Гуннель Линдблом бережно следует тексту пьесы, она не предлагает сверхмодных сценических приемов, не навязывает зрителю прямолинейных решений,— отмечает рецензент газеты «Ню даг»,— в спектакле чувствуется слаженность актерского ансамбля, единство настроения».

РЕСПУБЛИКА ШРИ ЛАНКА

НОВАЯ ПРЕМИЯ

Много делается для развития литературы и искусства в Республике Шри Ланка. Страна, историко-культурная традиция которой насчитывает не одно тысячелетие, в течение четырех с половиной веков находилась под ярмом белых «хозяев». Сейчас независимая и суверенная Шри Ланка возрождает национальные традиции.

Недавно в стране была учреждена новая премия — за большой вклад в развитие ланкийской культуры,— «Премия президента». Первым ее лауреатом стал Мартин Викремасингхе — 84-летний писатель, основоположник реализма в современной сингальской литературе. Премию ему вручил президент республики У. Гопаллава.

Сразу после завершения торжественной церемонии, происходившей на празднованию Дня литературы в Коломбо, Мартин Викремасингхе передал денежную часть премии министру культуры Шри Ланки С. С. Кулатиллеке. «Я хочу,—сказал с трибуны старейшина ланкийской литературы,— чтобы эти деньги были использованы на стипендию лучшему студенту Университета Шри Ланки». Решение Мартина Викремасингхе было с благодарностью воспринято в культурных и научных кругах страны.

М. Викремасингхе — большой друг Советского Союза. Многие его произведения переведены на русский язык и хорошо известны советскому читателю. М. Викремасингхе — автор вышедшей в 1962 г. на сингальском языке книги «Расцвет Страны Советов». Это публицистическое произведение — результат поездки писателя по СССР. С большой теплотой пишет автор об истории Советской страны, о ее людях, об этапах строительства нового общества, о социалистической культуре. В творчестве писателя последних лет большое место занимает литературная критика.

Сцена из спектакля «Дядя Ваня».

(Газета «Ню даг»)

ЮГОСЛАВИЯ

ЛЕГЕНДАРНЫЙ КОМИССАР

Издательство «Единство» в югославском городе Сисак опубликовало монографию под названием «Легендарный комиссар Филип Кляич — Фича», которую написал белградский писатель Филип Радулович.

Эта книга посвящена первому комиссару Первой пролетарской бригады Югославии, который во время второй мировой войны участвовал в освобождении около 70 населенных пунктов страны. Еще при жизни комиссара народ сложил о нем немало легенд, выражая в них любовь и уважение к своему герою. Несколько лет назад Филипу Кляичу был воздвигнут на его родине памятник.

Филип Радулович в своей книге создает картину жизни Югославии того времени.

Вышедшая в свет монография не оставила равнодушными югославских читателей, которые в своих многочисленных письмах к автору выразили надежду увидеть фильм о жизни любимого героя. Откликнув-

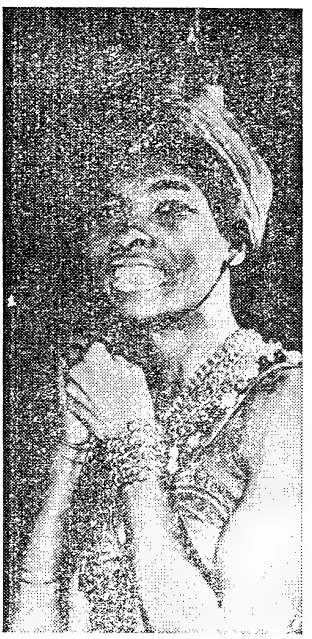
шись на эти просьбы, Филип Радулович пишет в настоящее время сценарий по своей книге. В работе над фильмом примут участие «Кинематографический центр» СР Сербии из Белграда и загребский «Ядранфильм».

ЯМАЙКА

НАРОДНЫЙ БАЛЕТ

Национальный театр танца возник на Ямайке в 1962 году, вскоре после предоставления этой бывшей колонии независимости. Художественный руководитель театра Рекс Нетлефорд в интервью для агентства Пренса Латина рассказал, что его художественное кредо — выразить в танце неповторимые особенности быта и культуры Ямайки. «Когда мы берем европейскую мелодию, мы интерпретируем ее в национальном духе, используя для этого народные африканские и карибские ритмы».

Актеры сталкиваются со многими трудностями в своей работе. Танцоры, музыканты и певцы полны энтузиазма и любви к балету, они работают, как профессионалы, не получая при этом регулярного жалованья. До сих пор кое-кто считает, что идея создания национального народного балета абсурдна и что может существовать лишь классический балет. «Не всегда встречают понимание наши попытки соединить традиции классического балета с народными формами танца,— говорит Нетлефорд.— Для одних мы слишком современны, для других современны недостаточно».



Одна из основательниц национального ямайского балета Шейла Барнет.
(Пренса Латина)

В театре существует интересная традиция. Ведущие танцовщики отправляются преподавать в сельские школы, там они учат детей и одновременно сами изучают местные танцы, а вернувшись, используют новые элементы танца в своих спектаклях. «Еще рано говорить об особом ямайском балетном стиле или школе. Сейчас мы лишь закладываем фундамент для этого»,— сказал Нетлефорд в заключение интервью.

Хисая Морисигэ и Хидэко Такаминэ в главных ролях в фильме «Годы сумерек».
(Газета «Майнити»)

ЯПОНИЯ

«ГОДЫ СУМЕРЕК»

Писательница Савако Ариёси, автор произведений, посвященных наболевшей социальной проблеме — одинокой и неприкаянной старости,— широко известна в Японии. Ветеран японской кинорежиссуры Сиро Тоёда, который экранизировал лучшие произведения японской литературы первой половины XX века, создал фильм на основе нашумевшего романа писательницы «Годы сумерек», рассказывающего о судьбе престарелых людей.

В главной роли Модзо, старика, впавшего в детство, выступает талантливый актер Хисая Морисигэ, в роли преданно ухаживающей за ним снохи — замечательная актриса Хидэко Такаминэ, знакомая нам по фильму Дзендзо Мацуяма «Бедные без имени, но прекрасные». Фильм «Годы сумерек» включен японскими критиками в число лучших десяти фильмов года.

Авторы этого номера

КАЗИМИРА ИЛЛАКОВИЧ — KAZIMIERA IŁŁAKOWICZ (род. в 1892 г.).

Польская поэтесса, прозаик, переводчица, лауреат премии Министра культуры и искусства первой степени В послевоенные годы поэтесса опубликовала «Стихи, 1940—1954» («Poezje. 1940—1954»), «Легкомысленное сердце» («Lekkomyslne serce», 1959), «Шепотом» («Szeptem», 1966), сборники избранных стихов разных лет (выходили в 1949, 1956, 1964, 1968 гг.), три книги автобиографической прозы (1957, 1958, 1968.), сборник пьес (1969), книжки стихов для детей.

Публикуемые стихи взяты из второго тома «Собрания стихотворений» («Wiersze zebrane», Warszawa, PIW, 1971, t. 2).

■

ГУРДИАЛ СИНГХ (род. в 1933 г.).

Индийский писатель, публицист, пишет на пенджабском языке. Сын батрака двенадцатилетним мальчиком вынужден был оставить школу, чтобы помогать родителям. Юношей, в трудных условиях, продолжал образование и стал учителем.

Г. Сингх — автор более десяти книг, повествующих в основном о жизни индийского крестьянина.

Повесть «Поминальный огонь» (Дели, Навюг, чандни-чаук, 1964) была удостоена премии штата Пенджаб, переведена на государственный язык республики — хинди.

■

ЦИРИЛ КОСМАЧ — CIRIL KOSMAČ (род. в 1910 г.).

Югославский писатель, действительный член Словенской академии наук и искусств, до 1974 г. был председателем Союза писателей Югославии, лауреат многих литературных премий.

Перу Ц. Космача принадлежит несколько сборников рассказов, в том числе «Из моей долины» («Iz moje doline», 1958), «Новеллы» («Novele», 1960). По его сценариям поставлено несколько художественных фильмов.

На русский язык переведена книга Ц. Космача «Счастье и хлеб», в «Иностранной литературе» напечатана «Баллада о трубе и облаке» (№ 2—3, 1970), рассказ «В тот чудесный день» вошел в двухтомник «Повести и рассказы югославских писателей».

Рассказ «Кузнец и дьявол» печатается по тексту журнала «Наша содобность» (1959), рассказ «Тантадруй» взят из первого тома «Избранных произведений» (Ciril Kosmač. Izbrano delo, Ljubljana, 1970).

■

СЕЛЬСО АМЬЕВА — CELSO AMIEVA (род. в 1911 г.).

Сельсо Амьева (литературный псевдоним испанского писателя Хосе Мария Альвареса) был участником Гражданской войны в Испании; после победы сил реакции эмигрировал во Францию. В период фашистской оккупации страны — узник концлагеря. С 1944 г. находился в отрядах Сопротивления.

Сельсо Амьева — автор романов, сборников стихов и рассказов, издававшихся преимущественно в Мексике. В 1974 г. удостоен Международной премии поэзии имени Леона Фелипе.

Послесловие к роману М. Делибеса «Пять часов с Марио» написано для нашего журнала.

■

РИЧАРД ДЭВИС БАХ — RICHARD DAVIS BACH (род. в 1936 г.).

Американский писатель. Летчик по профессии. Служил в американской авиации с 1956 по 1962 г. Затем — журналист и

сотрудник журнала «Флайнг». Опубликовал множество очерков, статей, рассказов. Автор нескольких популярных книг об авиации, в том числе «Чужой на земле» («Stranger to the Ground», 1963), «Биплан» («Biplane», 1966), «Ничего случайного» («Nothing by Chance», 1969) и др.

Мы публикуем его повесть-притчу «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» («Jonathan Livingston Seagull». New York, The Macmillan Company, 1970), переведенную во многих странах и имевшую большой читательский успех.

■

ПАНТЕЛЕЙ ЗАРЕВ (род. в 1911 г.).

Болгарский литературовед, критик и общественный деятель, академик, профессор Софийского университета, председатель Союза болгарских писателей, лауреат Димитровской премии, главный редактор журнала «Научна мисл».

Перу П. Зарева принадлежит большое количество работ по проблемам болгарской литературы, в их числе «Болгарское возрождение» («Българското възраждане», 1938), «Литература как познание» («Литературата като познание», 1945), «Болгарская литература» («Българска литература», 1950), «Стиль и художественность» («Стил и художественост», 1959), «Классика и современность» («Класика и съвременност», 1961) и др., а также обширное историко-литературное исследование в четырех томах «Панорама болгарской литературы» («Панорама на българската литература», т. I—IV, 1966—1974).

Статья «Драматургия гуманистическая и современная» была напечатана в еженедельнике «Литературен фронт» (июль 1974).

■

АНРИ БАРБЮС — HENRI BARBUSSE (1873—1935).

Французский писатель и общественный деятель. Член Французской коммунистической партии с 1923 г. Автор романов «Огонь» («Le feu», 1916), «Ясность» («Clarté», 1919), направленных против империалистической войны. Организованная им международная группа «Кларте» (1919) сыграла большую роль в сплочении прогрессивных сил художественной интеллигенции. Барбюсу принадлежат также роман «Звенья» («Les enchaînements» 1925), «Правдивые повести» («Faits divers», 1928), документальная книга «Палачи» («Les bourreaux», 1926), биографическая «Золя» («Zola», 1932), много работ в области литературной критики и публицистики.

Большинство его произведений переведено на русский язык.

Анри Барбюс был руководителем и организатором многих международных антифашистских конгрессов.

Мы публикуем текст обращения А. Барбюса к Международному антивоенному конгрессу студентов, проходившему в Брюсселе в 1934 году.

■

АНТОН РЕФРЕЖЬЕ — ANTON REFREGIER (род. в 1905 г.).

Американский художник, монументалист, график, видный участник движения борьбы за мир. Обучался в художественных школах США, Парижа, Мюнхена. В 30-е годы выполнял многие орнаментальные росписи для общественных зданий. Автор получивших известность 16 панно для американского павильона на Всемирной выставке в Нью-Йорке в 1939 г.

Работы А. Рефрежье неоднократно публиковались в советских специальных и общих изданиях, имеются в музеях Америки, нашей страны — в Эрмитаже и Музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.

На первой международной выставке в Москве на тему «Сатира в борьбе за мир» в 1969 г. А. Рефрежье был удостоен первой премии и золотой медали «Борец за мир».

Очерк «Из мексиканских зарисовок» получен от автора в рукописи.

■

ЗВЕРЕВ АЛЕКСЕЙ МАТВЕЕВИЧ (род. в 1939 г.).

Советский литературный критик, кандидат филологических наук, научный сотрудник Института мировой литературы им. Горького АН СССР. Автор статей по проблемам современной американской литературы.

■

ХАРИТОНОВ МАРК СЕРГЕЕВИЧ (род. в 1937 г.).

Советский критик и литературовед, автор ряда статей по немецкоязычным литературам.

◆

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА» ЗА 1974 ГОД (№№ 1—12)

РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ, ПЬЕСЫ

АВСТРАЛИЙСКИЕ РАССКАЗЫ (Предисловие А. Петриковской), № 5.

Андони, Сотир — И умертви плоть свою (Рассказ. Перевод с албанского Т. Серковой), № 9.

Базен, Эрве — Крик совы (Роман. Перевод с французского Н. Брандис и А. Тетеревниковой), № 9, 10.

Босев, Росен — Слова, написанные на небе (Рассказ. Перевод с болгарского Л. Лихачевой), № 9.

Браун, Анджей — Был час выбора... (Рассказ. Перевод с польского М. Игнатова), № 7.

Брезан, Юрий — Впечатления (Рассказ. Перевод с немецкого Р. Гальпериной), № 10.

Буттитта, Пьетро А.— Листок (Повесть. Перевод с итальянского и послесловие Ю. Добровольской), № 4.

Вальзер, Мартин — Дуб и кролик (Немецкая хроника. Перевод с немецкого Елены Якушкиной), № 2.

Волошиновский, Юлиан — Висла (Рассказ. Перевод с польского З. Шаталовой), № 7.

Галина, Лада — Осенью в дубравах (Рассказ. Перевод с болгарского М. Михелевич), № 9.

Гальегос, Ромуло — Земля под ногами (Роман. Перевод с испанского В. Крыловой. Предисловие Юрия Дашкевича), № 5, 6.

Грюн, Макс фон дер — Местами гололед (Роман. Перевод с немецкого Н. Бунина и В. Стеженского), № 6, 7.

Дайке, Гюнтер — Путь домой (Рассказ. Перевод с немецкого И. Исакович), № 10.

Делибес, Мигель — Пять часов с Марио (Роман. Перевод с испанского Елены Любимовой. Послесловие Сельсо Амьевы), № 11, 12.

Денев, Младен — Фён (Рассказ. Перевод с болгарского Т. Рузской), № 9.

ИЗ АЛБАНСКОЙ ПРОЗЫ. № 9.

ИЗ ПОЛЬСКОЙ ПРОЗЫ (Вступление В. Х.), № 7.

Иноуэ, Ясуси — Сны о России (Главы из романа Перевод с японского и вступление Б. Раскина), № 2.

Йохо, Вольфганг — Свобода пришла не сразу... (Рассказ. Перевод с немецкого И. Горкиной), № 10.

Кант, Герман — Выходные данные (Роман. Перевод с немецкого И. Каринцевой. Послесловие П. Топера), № 3, 4, 5.

Кант, Герман — Жизнеописание. Часть вторая (Рассказ. Перевод с немецкого Л. Бару), № 10.

Карпентьер, Алехо — Погоня (Повесть. Перевод с испанского Р. Линцер. Предисловие Юрия Дашкевича), № 8.

Кауэн, Питер — Трактор (Рассказ. Перевод с английского Ю. Родман), № 5.

Кейто, Нэнси — Воришки (Рассказ. Перевод с английского Ю. Родман), № 5.

Космач, Цирил — Кузнец и дьявол. Танта-друй. (Рассказы. Перевод со словенского и вступление Александра Романенко), № 12.

Кутяли, Дик — Сельский учитель. Апельсины. (Рассказы. Перевод с албанского Т. Серковой), № 9.

Лиц, Ганс-Георг — Граушиммель (Рассказ. Перевод с немецкого Е. Михелевич), № 10.

Маннеркорпи, Юха — Мартышка (Рассказ. Перевод с финского В. Смирнова), № 2.

Маршалл, Алан — Серая кенгуру. Ну и штучка! (Рассказы. Перевод с английского О. Кругерской), № 5.

Мердок, Айрис — Черный принц (Роман. Перевод с английского И. Бернштейн и А. Поливановой. Послесловие М. Урнова), № 8, 9, 10, 11.

Мери, Вейо — Серебряное крыло (Рассказ. Перевод с финского В. Смирнова), № 2.

Михайлова, Лиляна — Денгра (Рассказ. Перевод с болгарского М. Михелевич), № 9.

Моравиа, Альберто — Из книги «Другая жизнь» (Рассказы. Перевод с итальянского Г. Богемского), № 8.

Мортон, Юзеф — Ключ Клементины, божьего человека (Рассказ. Перевод с польского М. Игнатова), № 7.

Моруа, Андре — Из «Писем к Незнакомке» (Перевод с французского Г. Савицкой. Вступление Е. Евниной), № 1.

Нонвайлер, Гейнц — Голые стены (Рассказ. Перевод с английского Ю. Родман), № 5.
Олли — Гипсолизоб и др. рассказы (Перевод с финского Б. Рейхмана), № 2.
Попов, Васил — Дискуссия (Рассказ. Перевод с болгарского Л. Лихачевой), № 9.
Путрамент, Ежи — 20 июля... (Документальная повесть. Перевод с польского М. Игнатова. Послесловие Д. Краминова), № 8.
Радичков, Йордан — Из книги «Пороховой букварь» (Рассказы. Перевод с болгарского Н. Глен), № 2.
РАССКАЗЫ БОЛГАРСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ, № 9.
РАССКАЗЫ ПИСАТЕЛЕЙ ГДР (Вступление Сергея Львова), № 10.
РАССКАЗЫ РУМЫНСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ, № 8.
РАССКАЗЫ ФИНСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ, № 2.
Рихтер, Эгон — Первый миг свободы (Рассказ. Перевод с немецкого Р. Гальпериной), № 10.
Саэди, Голамхосейн — Страх (Повесть. Перевод с персидского и вступление Алексея Михалева), № 4.
Северняк, Серафим — Мой отец (Рассказ. Перевод с болгарского Т. Колевой), № 9.
Сингх, Гурдиал — Поминальный огонь (Повесть. Перевод с пенджабского И. Кудрявцевой и И. Рабиновича), № 12.
Скотт, Уильям Невиль — Герой. Маски (Рассказы. Перевод с английского Ю. Родман), № 5.
Солдати, Марио — Актер (Роман. Перевод с итальянского и послесловие Г. Брейтбурда), № 1, 2.
Стратиев, Станислав — Земля вертится (Рассказ. Перевод с болгарского Н. Глен), № 9.
Фернандес, Адель — Ранний плод — горький плод (Повесть. Перевод с французского Тамары Ерофеевой. Послесловие Л. Видясовой), № 3.
Фуэнтес, Карлос — Кукла-королева (Рассказ. Перевод с испанского Э. Брагинской), № 3.
Чернеску, Адриан — Ночь без сна (Рассказ. Перевод с румынского М. Фридмана), № 8.
Штефанаке, Корнелиу — Жизнь по карточкам (Рассказ. Перевод с румынского М. Фридмана), № 8.
Щепанский, Ян Юзеф — За перевалом (Рассказ. Перевод с польского И. Колташевой), № 7.
Эгурен, Густаво — Тени на белой стене (Повесть. Перевод с испанского Скины Вафа), № 1.
Эрдэнэ, Сэнгийн — Год синей мыши (Повесть. Перевод с монгольского Г. Матвеевой), № 11.

К 670-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ И 600-ЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ ФРАНЧЕСКО ПЕТРАРКИ

Парандовский, Ян — Петрарка (Перевод с польского В. Борисова. Послесловие Я. Парандовского), № 6.

СТИХИ

Ай Цин — Я люблю эту землю и др. стихи (Перевод с китайского Л. Черкасского), № 10.
Бахман, Ингеборг — Подскажи мне, любовь и др. стихи (Переводы с немецкого Александра Голембы и Ирины Грицковой. Предисловие А. Карельского), № 3.
Беньямин, Ласло — Там со мною ты, конечно, будешь и др. стихи (Переводы с венгерского Бориса Слуцкого и Натэллы Горской), № 2.
Бергер, Уве — Вечная юность немецкой поэзии и др. стихи (Переводы с немецкого Александра Голембы и Ирины Грицковой. Вступление Льва Гинзбурга), № 10.
Бянь Чжи-линь — Сердце древнего города. Бездельник (Перевод с китайского Л. Черкасского), № 10.
Гельстед, Отто — Бремя жизни и др. стихи (Перевод с датского Надежды Григорьевой), № 3.
Гильен, Николас — В ритмах народных танцев (Перевод с испанского Инны Тыняновой), № 1.
Дельгадо, Вашингтон — «Отбирает тебя у меня...» и др. стихи (Перевод с испанского Бориса Слуцкого), № 10.
Дитлевсен, Тове — Живет юная девушка и др. стихи (Перевод с датского Надежды Григорьевой), № 3.
ИЗ ВЕНГЕРСКОЙ ПОЭЗИИ (Предисловие Е. Малыхиной), № 2.
ИЗ ДАТСКОЙ ПОЭЗИИ (Предисловие Н. Крымовой), № 3.
ИЗ ПЕРУАНСКОЙ ПОЭЗИИ (Вступление Сергея Гончаренко), № 10.
ИЗ РУМЫНСКОЙ ПОЭЗИИ (Вступление Кирилла Ковальджи), № 8.
Иллакович, Казимира — Зима и др. стихи (Перевод с польского и вступление Н. Астафьевой), № 12.
КИТАЙСКАЯ ЛИРИКА 30—40-х ГОДОВ (Вступление Л. Черкасского), № 10.
Ли Гуан-тянь — Тоска по родине (Перевод с китайского Л. Черкасского), № 10.
Мелинеску, Габриэла — «Родина — смена людей...» и др. стихи (Переводы с румынского Кирилла Ковальджи и Юнны Мориц), № 8.
Неруда, Пабло — Море, колокола... (Из последней книги стихотворений. Перевод с испанского и вступление Павла Грушко), № 7.
Пенчева, Станка — Мое время и др. стихи (Перевод с болгарского Лорины Дымовой). № 9.
Пеониду, Элли — Имя мое Маргарита и др. стихи (Перевод с греческого и вступление С. Ильинской), № 11.
Пита, Феликс Родригес — Ленин (Перевод с испанского Инны Тыняновой), № 4.
Плат, Сильвия — Рой и др. стихи (Перевод с английского и вступление Андрея Сергеева), № 1.
Росе, Хуан Гонсало — «В смертный час я хотел бы поле...» и др. стихи (Перевод с испанского Сергея Гончаренко), № 10.
Саба, Умберто — Улица милосердия и др. стихи (Переводы с итальянского Евгения Солоновича, Татьяны Макаровой. Вступление Евгения Солоновича), № 4.
Симпсон, Луис — Американские мечты и др. стихи (Перевод с английского Олега Чухонцева Вступление А. Зверева), № 6.

Сореску, Марин — Паспорт и др. стихи (Переводы с румынского Юрия Левитанского, Льва Беринского, Кирилла Ковальджи), № 8.

Станку, Захария — Перед окнами дождь... и др. стихи (Переводы с румынского Юнны Мориц, Кирилла Ковальджи, Льва Беринского), № 8.

Тарва, Далантайн — Дня грядущего начало (Перевод с монгольского Геннадия Ярославцева), № 11.

Тянь Цзянь — Красный ворон и др. стихи (Перевод с китайского Л. Черкасского), № 10.

Хейнесен, Вильям — Бог-человек (Перевод с датского Евгения Винокурова), № 3.

Хэ Ци-фан — Ночной пейзаж. Ослик (Перевод с китайского Л. Черкасского), № 10.

Целан, Пауль — «Седина твоей листвы, осина...» и др. стихи (Переводы с немецкого Е. Витковского, Виктора Топорова, А. Парина, Г. Ратгауза, В. Куприянова. Предисловие С. Апта), № 5.

Цзан Кэ-цзя — Плеть (Перевод с китайского Л. Черкасского), № 10.

Шайнер, Донат — Далекий вчерашний день и др. стихи (Вольный перевод с чешского Владимира Солоухина), № 5.

Шимборская, Вислава — Allegro ma non troppo и др. стихи (Перевод с польского Асара Эппеля. Предисловие Владимира Огнева), № 7.

Шипош, Дюла — Если не за что умереть... и др. стихи (Перевод с венгерского Олега Чухонцева), № 2.

Юань Шуй-по — Гвозди (Перевод с китайского Л. Черкасского), № 10.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ИЛЛЮСТРАЦИИ

Бах, Ричард — Чайка по имени Джонатан Ливингстон (Повесть-притча. Перевод с английского Ю. Родман. Послесловие М. Туровской), № 12.

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

Ариосто, Лудовико — Из «Неистового Роланда» (К 500-летию со дня рождения. Перевод с итальянского Евгения Солоновича. Вступление Н. Томашевского), № 9.

ЛИРИКА ЧОН ЧХОЛЯ — «На небосводе вечном...» и др стихи (Перевод с корейского и вступление Александра Жовтиса). № 5.

Нерваль, Жерар де — Знать и лакеи и др. стихи (Перевод с французского и вступление Мих. Кудинова), № 1.

Унамуно, Мигель де — «Я скоро буду сослан в память..» и др стихи (Перевод с испанского Сергея Гончаренко. Предисловие И. Тертерян), № 2.

ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛОВ

Журнал «ВСЕСВИТ», № 6.

Ведина, Валерия — Творческое счастье Юлиана Кавальца.

Косач, Юрий — Мышиная возня на «корабле дураков».

Ларни, Мартти — Украинским друзьям о Финляндии и финнах (Перевод с финского В. Смирнова).

Павлычко, Дмитро — Знакомьтесь — журнал «Всесвит».

Фремонтье, Жак — Слово — рабочим «Рено» (Отрывки из книги «Рабочая крепость: «Рено». Перевод с французского Ярославы Собко. Послесловие Юрия Покальчука).

Якимович, Татьяна — «Самая большая авария французской драматургии».

«ПЛАМКУ» — 50 лет, № 1.

Орлинов, Орлин — Мартовский дождь. Зимняя песня. (Стихи. Перевод с болгарского Г. Ефремова).

Германов, Андрей — «Молодость грустит не долго...» и др. стихи (Перевод с болгарского Лорины Дымовой).

Стефанова, Лиляна — Счастливая. Лейпциг, 33-й (Стихи. Перевод с болгарского Риммы Казаковой).

Голев, Владимир — Ностальгия по тополям Середина лета (Стихи. Перевод с болгарского Лорины Дымовой).

Божилов, Божидар — Переводческое искусство (Стихи. Перевод с болгарского Лорины Дымовой).

Жотев, Добри — Одна ночь... и др. рассказы (Перевод с болгарского М. Михелевич).

Каранфилов, Ефрем — Гео Милев (Перевод с болгарского Л. Лерер).

ПОСВЯЩАЕТСЯ ЛЕНИНУ. Гео Милев — Слова прощания. **Серафим Северняк** — Сто тридцать метров, которым нет конца... (Перевод с болгарского З. Карцевой).

КРИТИКА

Балашова, Т.— Кто не устал от изобилия... (Социальные контрасты во французском романе начала семидесятых), № 8.

Бейлис, В.— Дорога (Заметки о современной нигерийской драме), № 2.

Британишский, В.— Путь к простоте (Поэзия Ярослава Ивашкевича), № 2.

Вавилов, Вл.— Новые цвета времени (Заметки об африканском романе 70-х годов), № 10.

Голик, И.— Буржуазная критика: политика и литература. № 10.

Головин, Е.— Поэзия конкретная и конкретность поэзии, № 5.

Зарев, Пантелей — Драматургия гуманистическая и современная (Перевод с болгарского С. Пархомовской), № 12.

Затонский, Д.— Шекспир, Стриндберг, Дюрренматт — и современное искусство, № 8.

Зверев, А.— Через зону пустоты, № 3.

Ивашева, В.— В атмосфере кризиса (Заметки о некоторых особенностях английской литературы 70-х годов), № 11.

Кант, Герман — Наши слова — аргумент в классовом споре (Перевод с немецкого М. Сергеева), № 2.

Каранфилов, Ефрем — Современность и обогащение литературных жанров (Перевод с болгарского А. Опульского), № 3.

Ландор, М.— «Общество изобилия» — и смысл жизни (Заметки об американских новеллах), № 4.

Мендельсон, М.— Чем абсурден «абсурдистский» роман?, № 9.

Млечина, И.— От крушения к исцелению (Мартин Вальзер — романист и драматург), № 4.

Садковский, В.— В борьбе за социалистическую культуру (Перевод с польского Г. Гудимовой и В. Перельман), № 5.

Тертерян, И.— Новейший парадоксалист, № 7.

Федоренко, Н.— Кавабата: взгляд в прекрасное, № 7.

Фесуненко, Игорь — В реке, где много пираний (С литературными иллюстрациями из произведений Станислава Понте Преты. Перевод с португальского В. Свирченко), № 9.

Фучик, Юлиус — Человек и революция (Малоизвестные статьи. Перевод с чешского и вступление Л. Будаговой), № 11.

Харитонов, М.— «Привычные святыни покидая...», № 12.

Хорев, В.— Поиски и перспективы (Заметки о польском романе последних лет), № 7.

Шнейдер, М.— Жизнь, отданная борьбе (К 75-летию со дня рождения Цюй Цюбо, 1899—1935), № 1.

К 175-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А. С. ПУШКИНА

Немет, Ласло — Пушкин (Перевод с венгерского Т. Воронкиной. Вступление В. Лакшина), № 6.

ОТКЛИКИ, ВСТРЕЧИ, ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Рефрежье, Антон — Из мексиканских зарисовок (Перевод с английского Т. Шумейко), № 12.

Чугунов, К.— Либерия: проблемы деколонизации, № 7.

ПИСАТЕЛЬ И ВРЕМЯ

Акутагава Рюноскэ — Мысли о литературе (Составление, перевод с японского и вступительная статья В. Гривнина), № 3.

Домбровская, Мария — О писательском мастерстве (Перевод с польского Г. Гудимовой и В. Перельман. Предисловие Я. Станюкович), № 1.

Уильямс, Теннесси — Мы идем навстречу друг другу... (Составление и перевод с английского С. Митиной. Предисловие Г. Злобина), № 5.

ЗАМЕТКИ ПИСАТЕЛЯ

Анашенков, Борис — Этот холодный, холодный, холодный мир, № 2.

ОБЪЯСНЕНИЯ В ЛЮБВИ И ДРУГИЕ ПРИЗНАНИЯ. Криста Вольф об Анне Зегерс. Гельмут Гауптман о Бруно Апице. Герхард Хольц-Баумерт об Эрвине Штритматтере. Фред Родриан о Максе Вальтере Шульце (Перевод с немецкого Ольги Бобровой) № 10.

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Кириченко, Т.— Последняя встреча с Давидом Альфаро Сикейросом, № 4.

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

Барбюс, Анри — Обращение к студентам и интеллигентам молодого поколения (Перевод с французского и публикация М. Болдыревой и Е. Нечаевой. Вступление Ф. Наркирьера), № 12.

ПУБЛИЦИСТИКА

Болдуин, Джеймс — Имени его не будет на площади (Отрывки из книги. Перевод с английского И. Гуровой. Послесловие М. Стуруа), № 2, 3.

Вильегас, Серхио — Стадион (Сокращенный перевод с испанского Юрия Павлова), № 8.

Дери, Тибор — Отложения дней (Фрагменты из книги Перевод с венгерского Н. Подземской. Послесловие О. Россиянова), № 9.

Зверев, А.— Другая музыка, № 12.

Караганов, А.— Зависимость искусства, № 11.

Касаус, Виктор — Хирон в памяти (Фрагменты. Перевод с испанского и вступление Н. Булгаковой), № 1.

Комиссаржевский, В.— Пространство, которое не может оставаться пустым (Из заметок о зарубежном театре), № 5, 6.

МЫ С ТОБОЙ, ЧИЛИ (По страницам чехословацкого сборника. Перевод с чешского и вступление Л. Будаговой), № 2.

Нгуен Туан — Звенья в цепи времени (Перевод с вьетнамского, вступление и примечания М. Ткачева), № 4.

НЕОБРАТИМОСТЬ ПЕРЕМЕН (Из репортажей и очерков румынских писателей. Перевод с румынского и вступление Мих. Шульгина), № 8.

Орландер, Кайса — Репортаж из «общества благоденствия» (Перевод с немецкого Э. Венгеровой), № 3.

Рундберг, Арвид — Мемуары шведского рабочего (Отрывки из книги. Перевод со шведского Н. Крымовой), № 11.

Тимосси, Хорхе — Последняя битва президента Альенде (Перевод с испанского и вступление В. Волкова), № 5.

Фриз, Фрид Рудольф — Северная мозаика (Главы из книги. Перевод с немецкого Г. Косарик), № 10.

Христозов, Николай — По следам «пропавших без вести» (Документальная повесть. Перевод с болгарского Л. Лихачевой. Предисловие автора), № 9, 10.

ЭКРАН И ВРЕМЯ

Рубанова, И.— «Вторгаться строго и сурово...» (Заметки о польском кино), № 7.

КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

Заметки на полях

Александров, Д.— Глубина под гладью потока, № 10.

Балашова, Т.— «За» или «против» новой критики?, № 1.

Баталов, Э.— Путь к вершинам, № 10.

Бейлис, В.— Навстречу читателю, № 9.

В ДУХЕ ВРЕМЕНИ, № 9.

Владимиров, Ю.— За демократизацию культуры, № 3.
Вульф, В.— «Сможет ли Бродвей шагать дальше?», № 8.
Галкин, А.— Призраки возвращаются, № 6.
Горбунов, А.— Жив ли Уолден? (Коммуны в Англии и США), № 4.
Давыдов, Ю.— Либерализм и «нигилистическая культура», № 9.
ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОГО ДИАЛОГА (Перевод с французского В. Орла. Вступление А. Галкина), № 12.
Джинджихашвили, Нодар — Разум рождает и чудовищ, № 5.
Джинджихашвили, Нодар — Негативные функции Герберта Ганса, № 12.
Ермонский, А.— Завтрашний день польской культуры, № 11.
Желоховцев, А.— Литературный конвейер, № 2.
Желоховцев, А.— Классический роман и догматическая критика, № 7.
ЗАКРЫТИЕ ЖУРНАЛА «ИНТЕЛЛЕКЧУЭЛ ДАЙДЖЕСТ», № 8.
Кувалдин, В.— Изнанка писательского ремесла, № 8.
Кукаркин А. — Личность под прессом «геополитики», № 12.
Николаевская, А.— Мираж «честного диалога», № 4.
Романенко, Александр — Свобода творчества и развитие культуры, № 5.
Салганик, М.— Первый съезд писателей Бангладеш, № 11.
Фридман, М.— Реализм и новаторство, № 1.
Ханжин, С.— На качелях (Размышления над размышлениями), № 7.

НАШИ ГОСТИ

Добровольская, Ю.— О себе и читателях (Итальянские писатели — в «Иностранной литературе»), № 5.
Ершов, Д.— Поэт, драматург, романист (Л. Форсель — в «Иностранной литературе»), № 5.
Завьялова, Л.— «Пишу о рабочих Франции» (В редакции «Иностранной литературы» — французский писатель Андре Ромакль), № 12.
Зверев, А.— «Поэзия — это всегда открытие» (Рид Уитмор — в «Иностранной литературе»), № 11.
Канторович, М.— Нетленность писательского ремесла (Ана Мария Матуте — в «Иностранной литературе»), № 1.
Карлов, А. — Действительность — основа творчества (Французские писатели — в «Иностранной литературе»), № 6.
М. Т.— Год мира, год труда (Вьетнамские писатели — в «Иностранной литературе»), № 4.
Пархомовская, С.— Пример обновленной судьбы (В «Иностранной литературе» — болгарские критики), № 9.
Перехватов, В.— «И я думаю о братьях...» (В редакции «Иностранной литературы»— поэт из Сьерра-Леоне Сил Кокер), № 11.
Фиш, Радий — На языке поэзии (Метин Эльоглу — в редакции «Иностранной литературы»), № 10.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЗА РУБЕЖОМ

Безрукова, Мирослава — Гордость Венгрии (К 90-летию Кишфалуди-Штробла), № 11.
Дьяков Л.— Бернар Бюффе, № 12.
Е. З.— Искусство Герхарда Бондцина, № 5.
Каверин, В.— Мир, увиденный впервые, № 1.
Львова, Е.— Светлин Русев, № 4.
Макаров, Ан.— Свет и воздух Франции (К 100-летию первой выставки импрессионистов), № 8.
Матусовская, Е.— От побережья Атлантики до берегов Миссисипи (Американские народные художники), № 3.
Полякова, Н.— Эмиль Нольде, № 2.
Потабенко, С.— Неиссякаемый источник вдохновения, № 9.
Романенко, Александр — «В мире наших плакучих ив...», № 6.
Уразова, Людмила — Искусство монументальной скульптуры, № 7.

СРЕДИ КНИГ

Издано в СССР

Атарова, К.— Далекое и близкое, № 12.
Барто, Агния — Совсем не рецензия, № 10.
Беркин, С.— «Злой гарпун яви и огонь надежды», № 12.
Богатко, Ирина — «В глубь сердца перо погружая...», № 9.
Бурташов, Феликс — Увидеть новое, № 7.
Вашкевич, М.— Розы и розги, № 2.
Гончарова, Т.— В стране кондоров, № 8.
Горбунов, А.— «Монарх интеллекта», № 8.
Грузинова, А.— За что убили Дани Мадараса?, № 5.
Джугашвили, Г.— О жизни прежнего и нового Алжира, № 1.
Завадская, Е.— Совершенство линии и цвета, № 11.
Игнатьев, Д.— «Многозвучье нашего столетья» № 10.
Карлов, А.— «Что за прелесть эти сказки!..», № 5.
Косс, А.— «Как дерево в огне...», № 7.
Левидова, И.— В доме англичанина, № 9.
Лисевич, И.— «Человек на все времена», № 3.
Макаренко, В.— Встреча с народным юмором, № 10.
Малевич, О.— Два романа Йозефа Томана, № 6.
Мамонтов, С.— Чистые родники лирики, № 1.
Михайлов, Ал.— «Все, как было...», № 6.
Млечина, И.— Роман: прошлое и современность, № 2.
Панкратова, Элеонора — «Сердитый» роман об Исландии, № 1.
Погоржельский, Д.— В мире добра и зла, № 3.
Померанцева, Е.— Годы учения Лорана Паскье, № 9.
Попова, Н.— В поисках «птицы-правды», № 12.
Разговоров, Никита — Камешки с берегов детства, № 11.
Ронская, Г.— Вечером, у очага, № 6.

Рутько, Арсений — Сабас Хауреги и его сыновья, № 10.
Сикорский, В.— В поэзии есть все, № 11.
Степанов, Л.— Панорама современного египетского рассказа, № 5.
Топер, П.— Повседневный интернационализм, № 3.
Харламова, Л.— Хорошая речь коротка, № 7.
Чавчанидзе, Д.— «Эти люди с посмертной славой», № 8.
Ярославцев, Геннадий — Серьезно, обстоятельно, заинтересованно, № 11.

Издано за рубежом

Аганина, Л.— Когда боги отступают, № 12.
Антонов, Николай — Поэтические предсказания, № 9.
Богемский, Г.— Рабы «общества потребления», № 3.
Брагин, Ю.— Контрасты Санджака, № 12.
Брагинский, А.— «Великолепная восьмерка» классиков стиля, № 2.
Востокова, С.— Как это было в чешском пограничье, № 7.
Востокова, С.— По приказу совести, № 12.
Гальперина, Е.— Минус бесконечность — трагедия Гаити, № 1.
Гиленсон, Б.— Воспоминания моряка, № 7.
Гиленсон, Б.— Крестный путь Нахо Рамиреса, № 11.
Злобин, Г.— Упражнения в кантианстве, № 1.
Зонина, Л.— Внимая ужасам войны..., № 5.
Ивашева, В.— Воображение или действительность?, № 5.
Ильина, Г.— «Молчать не смеешь...», № 5.
Кристя, Валерну — Репортаж о прошлом, № 8.
Лаффит, Жан — Талант — бесспорный, книга — спорная, № 7.
Мамонтов, С.— Жизнь и смерть венесуэльского каудильо, № 6.
Минич, Воислав — Роман об одном народе и одном времени, № 10.
Мотылева, Т.— Критическая проза поэта, № 2.
Мотылева, Т.— Луис Фюрнберг — критик и публицист, № 11.
Наркирьер, Ф.— «Такой была наша любовь...», № 10.
Николеску, Татьяна — Мечтать, надеяться, бороться, № 8.
Прожогина, С.— Пробуждение, № 3.
Ротенберг, Т.— Вариации на современные темы, № 8.
Симонян, Л.— Об учителях и об учениках, № 3.
Соколовская, Н.— Две книги Редлинского, № 1.
Ульрих, М.— Огонь души нетленной, № 9.
Фридштейн, Ю.— Джон Осборн — раздумья и сомнения, № 10.
Харлап, Л.— Связать прошлое с настоящим, № 9.
Химирски, Красин — Во имя «поющего завтра», № 6.
Шагаль, В.— Взгляд в будущее, № 12.
Чернышев, В.— Легкокрылая муза поэта, № 9.

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ, № 1—12.

АВТОРЫ ЭТОГО НОМЕРА, № 1—12.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Н. А. АБАЛКИН, Л. А. ГВИШИАНИ, Л. П. ГРАЧЕВ, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, В. Д. ЗОЛОТАВКИН (отв. секретарь), **И. Ф. ЗОРИНА, Е. Ф. КНИПОВИЧ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, Е. Н. ПРАЛЬНИКОВ** (зам. главного редактора), **А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, Б. Л. СУЧКОВ, С. П. ЧЕРНИКОВА, К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ.**

Художественный редактор **Л. Б. Филиппова.** Технический редактор **Л. Д. Фарафонтова.**

Адрес редакции: Москва 109017, Пятницкая ул., д. 41. Телефон 233-51-47.

Издательство «Известия Советов депутатов трудящихся СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

Сдано в набор 3/X 1974 г. А10373. Подписано к печати 10/XI 1974 г.
Бумага 70×108$^{1}/_{16}$=9 бум. л.=18 п. л. (25,2) усл. печ. л.+1 вкл. Уч.-изд. л. 28,20.
Тираж 560.000 экз. (1-й завод: 1 — 400 000 экз.). Зак. 3355.

Журнал выходит один раз в месяц.

Типография издательства «Известия Советов депутатов трудящихся СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.